



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

**THE PENNSYLVANIA STATE
UNIVERSITY LIBRARIES**



Salias de Turnemir

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ГРАФА
Sobranie sochinenii

Е. А. САЛІАСА.

~~~~~  
Томъ XVII.

~~~~~  
Пятое колесо. — Былые гусары. — Избушка на курьихъ
ножкахъ. — Сенатскій секретарь.

—————♦♦♦—————
Издание А. А. Карцева.

—————♦♦♦—————
МОСКВА.

Типо-Литографія Г. И. ПРОСТАКОВА, Петровка, домъ № 17, Савостьяновой.
1896.

ПЯТОЕ КОЛЕСО.

РОМАНЪ.

Худое колесо громче скрипитъ!
(Пословица).



I.



а углу кривого, глухого переулка и площадки, скверно вымощенныхъ, противъ церкви Успенія Богородицы, убого приютился маленькій деревянный сѣроватый домикъ. Обвалившіяся кое-гдѣ доски обнажили срубъ, черный и загнившій; окна покосились... Ворота съ калиткой и заборъ, покачнувшись и повиснувъ къ сторонѣ улицы, были подперты въ двухъ мѣстахъ толстыми бревнами. Двѣ желтыя жестянки на столбахъ воротъ гласили: одна—что этотъ домъ принадлежитъ мѣщанину Сивцову, другая—свободенъ отъ поста.

Внутри ветхаго домика, въ трехъ комнатахъ, съ кислото-дохлою атмосферой, жилъ Ѳедосѣй Ивановичъ Сивцовъ, съ женой и двумя сыновьями, Петромъ и Павломъ.

Сивцовъ былъ высокій и худощавый блондинъ, съ просѣдью и маленькою плѣшью на маковкѣ, лѣтъ сорока, бывшій крѣпостной богатаго барина, вышедшій на волю въ качествѣ двороваго человѣка, не воспользовавшись при этомъ ни клокомъ земли. Крестьяне той деревни, изъ которой онъ былъ когда-то взятъ во дворъ, получили, по уставной грамотѣ, полторы десятины на душу, а „Ѳедошка“ получилъ только, да и то случайно, барскіе сѣрые съ лампасами брюки изъ аглипкой матеріи и желтую фуляровую жилетку... На счастье Ѳедошки, онъ, будучи взятъ „во дворъ“, попалъ подъ команду стараго дворецкаго, который началъ кормить его

ежедневно десятками колотушекъ и затрецинъ, но за то и обучилъ всему на свѣтѣ... Ѳедошка чрезъ десять лѣтъ умѣлъ читать и писать, умѣлъ орудовать въ оранжереяхъ съ цвѣтами п въ огородахъ съ овощами, умѣлъ играть на гитарѣ, умѣлъ пѣть на клиросѣ обѣдную и всенощную, и, кромѣ того, читать изрядно Апостола, и, наконецъ, главное—умѣлъ скроить и сшить всякое платье.

Наконецъ, этотъ Ѳедошка, когда сталъ Ѳедосѣемъ, умѣлъ—умѣть!.. Со дня и часа, когда онъ узналъ отъ станowego пристава на деревнѣ и отъ батюшки въ храмѣ, что „вышла воля“, онъ двинулся изъ деревни, имѣя только одно право неотъемлемое—итти въ барскихъ брюкахъ съ лампасами на всѣ четыре стороны. Но бѣда была въ томъ, что у вольнаго, но безземельнаго Ѳедосѣя уже была жена и двое мальчишекъ. Съ этого дня и часа онъ перепробовалъ вахлять все, что только даетъ въ руки и въ ротъ кусокъ хлѣба. Всякое дѣло онъ перенималъ быстро и вахлялъ изрядно, ни хорошо, ни дурно. Онъ былъ убѣжденъ, думалъ и говорилъ, что „все можно сдѣлать, только постараться“.

И вотъ, занимаясь всѣмъ и ничѣмъ въ особенности, прежній Ѳедошка сталъ Ѳедосѣй Ивановичъ Сивцовъ, московскій мѣщанинъ и домовладѣлецъ. Его знакомая и пріятельница, просвирня приходской церкви Успенья, постригшаяся вдругъ въ монастырь, продала ему домикъ свой за тысячу рублей въ разсрочку на десять лѣтъ.

Хозяйка, жена его, маленькая, толстая, но легкая на подъемъ, орудовала по хозяйству и сновала по дому и по двору, переходя и зиму и лѣто въ одномъ и томъ же платьѣ отъ полмыя раскаленной русской печки, гдѣ варился обѣдъ, прямо на морозъ, въ ледникъ или въ сосѣдную лавочку. Хозяинъ сидѣлъ въ углу горницы и сапѣлъ надъ починкой замка дверного, или гитары, или картуза.

Но это были минуты отдыха, а не работы. Работа, которую онъ теперь жилъ, было временное званіе причетника, за болѣзнь дьячка его прихода. До замѣны дьячка Сивцовъ жилъ исключительно портняжествомъ, но безъ вывѣски... „Такъ! Кто что дастъ сшить!“ Въ день выздоровленія дьячка Сивцовъ предполагалъ наняться конторщикомъ въ магазинъ или поваромъ въ клубъ... А то опять портняжничать...

— Мы не пропадемъ, говорилъ онъ.

Жена изо всѣхъ занятій своего Ѳедосѣя Иваныча предпо-

читала портняжество, ибо отъ этого ремесла и двое ихъ мальчишекъ, Петька и Пашка, бывали одѣты. Правда, что у любимца отца Петьки была суконная куртка черная съ зелеными рукавами. Да вѣдь даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Два мальчугана, Петька и Пашка, были удивительно похожи. Многіе думали, что братья близнецы по рожденію. Оба одного роста, оба свѣтловолосые, бѣлые и румяные, что называется бѣлобрысые, пухлые въ щекахъ и съ полнотою въ тѣлѣ, свидѣтельствующею о попеченіи матери, выражавшемся всегда въ кормленіи. Какъ кормила она ихъ по рожденіи грудью до полутора года чуть не силкомъ, такъ кормила и теперь что называется „на убой“, въ особенности Пашку любимца.

Пашка, младшій сынъ, былъ немного прытче брата, развязнѣе, словоохотливѣе съ чужими, озорнѣе съ сосѣдними ребятами, и поэтому конечно больше куралесилъ и дома.

Петька былъ угрюмѣе, неповоротливѣе, будто степеннѣе и тише, но въ сущности лѣнивѣе и по нраву мечтатель. Онъ былъ любимцемъ отца потому только, что любилъ музыку. Когда отецъ игралъ на гитарѣ, Петька сидѣлъ смиренно. Проворный Пашка, наоборотъ, никогда вынести не могъ музыки и спасался отъ нея вонъ изъ дому, а прежде, лѣтъ двухъ отъ роду, онъ даже начиналъ завывать отъ гитары отца благимъ матомъ, какъ собака воетъ отъ фортепiano.

Федосѣй Иванычъ считалъ своего Петю умнѣе брата, глубокомысленнѣе, и возлагалъ на него всѣ свои надежды въ будущемъ. Ни слова не говоря женѣ, мѣщанинъ рѣшилъ, что Петѣ не быть мѣщаниномъ.

„Есть такія двери, чрезъ которыя пройдя, всякій мужланъ выходитъ въ господа и генералы!“ соображалъ и мечталъ Сивцовъ.

И вотъ въ эти-то двери онъ твердо рѣшилъ направить своего Петю, глубоко вѣря, что со временемъ будетъ у него сынъ баринъ; такой же, каковъ былъ его собственный баринъ, отъ котораго онъ при выхожденіи на волю получилъ аглицкіе брюки. Разумѣется, дѣло это отлагалось до того времени, когда Петѣ минетъ 11 или 12 лѣтъ. А пока Сивцовъ училъ уже сына грамотѣ, заставлялъ читать Апостола, заставлялъ писать по линейкамъ.

Сначала мать не обращала вниманія на эти уроки и не

думала о томъ, зачѣмъ собственно мужъ своего любимца пытается грамотой, совсѣмъ чловѣку не нужною „ни на какого дьявола“. Самъ Петька не очень былъ радъ, что любовь и предпочтеніе къ нему отца выражается въ обученіи грамотѣ. Къ тому же и усвоивалъ мальчуганъ грамоту туго и съ трудомъ. Пашка былъ очень доволенъ, что не учился, хотя, прислушиваясь въ зимніе вечера къ ученію брата и объясненіямъ отца, понемногу выучился тоже, и не хуже брата.

Однажды, когда Пашка случайно похвастался предъ матерью своими познаніями, прочитавъ ярлыкъ на банкѣ вреня, Сивцова диву далась и руками развела.

— Да какъ же это ты, Паша... Вѣдь тебя тятка не обучала.

— А я, мамка, про себя обучился... Слушаючи.

— Какъ про себя?.. Коли охота у тебя была, сказался бы, тятка бы и тебя стала учить... Скажись ему...

— Какая охота. Эвось! Что ты! воскликнулъ Пашка, отмахнувшись обѣими руками и даже шарахнувшись отъ матери.

— Такъ почему же обучился, коли охоты не было?

— Съ тоски! Отъ одури, что ль?..

И Пашка объяснилъ, что онъ волей-неволей выучился читать „про себя“, ибо по цѣлымъ часамъ „слушаючи“ то, что вколачивалъ отецъ братишкѣ, его такая одурь брала, что онъ нехотя все запоминалъ.

Это открытіе подѣйствовало на мать, но не имѣло никакого значенія въ глазахъ самого Сивцова. Онъ не повѣрилъ, что Пашка выучился „отъ одури“ и „про себя“, и провѣрять познаніе младшаго сына даже не сталъ...

— Гдѣ ему выучиться! Все вреть. Ему бы вотъ въ бабки играть, да на заборяхъ штаны рвать.

Наконецъ минуло Петькѣ 13 лѣтъ, а Пашкѣ 11, Пашку отецъ отдалъ въ обученіе, ради угомона, чтобы не свертѣлся мальчишка совсѣмъ отъ праздности и озорства. И сталъ Пашка паренькомъ въ мелочной лавкѣ, на побѣгушкахъ и на посылкахъ.

— Покудова! сказала Сивцовъ.—А тамъ видно будетъ, въ какое мастерство его опредѣлить.

Петькѣ, любимцу, выпала совсѣмъ иная доля.

Его свезли въ „емназію“, сшили ему мундиръ со свѣтлыми пуговицами и съ серебрянымъ воротникомъ и форменную

кшапку. День, въ который Петя въ первый разъ облачился въ мундиръ и пошелъ въ гимназію—былъ одинъ изъ счастливейшихъ дней въ жизни Сивцова.

Онъ видѣлъ любимца-сынишку на той дорогѣ, гдѣ тѣ двери, чрезъ которыя проходятъ въ баре и генералы.

Мать вздыхала и молчала. Но если бъ у нея спросить, что она мыслить или чувствуетъ, то, вздохнувъ, она не съумѣла бы отвѣтить ничего.

Смутно ей казалось, что оба парня сына не на мѣстѣ. Отдать бы ихъ къ сапожнику, къ портному, ну, хоть вотъ поблагороднѣе, къ кондитеру, что ли, гдѣ и конфеты и пряники дѣлаютъ.

Лавочникъ, къ которому поступилъ Пашка, былъ пузатый и сдобный мѣщанинъ съ круглою русою бородою и ласковыми бѣлыми глазами. Онъ постоянно, безъ видимой причины, улыбался всему и всѣмъ, и знакомымъ, и покупателямъ, и даже полицейскимъ, которые забирали товаръ въ кредитъ, но безъ записи въ книжки.

Хозяинъ, Кузьма Ильичъ, обращался съ Пашкой серьезно, приказывалъ кратко, едва шевеля губами, односложно и однозвучно, но не замучивалъ зря, не дрался, даже и не ругался...

— Не зѣвать. Не зѣвать, паренекъ. Добѣги-т-ко, паренекъ... Отпусти-т-ко, два фунта, паренекъ... Погляди-т-ко, паренекъ, повторялъ хозяинъ однимъ и тѣмъ же тономъ день-деньской...

— Эхъ, паренекъ, опростоволосился, наболванилъ, судрилъ, замѣчалъ хозяинъ, вздыхая, но даже не досадливо, и какъ бы обращаясь не къ Пашкѣ, а къ судьбѣ или велѣнію Божьему.

Только разъ перемѣнилось у хозяина лицо, измѣнился и голосъ, и онъ сказалъ Пашкѣ:

— Ну, паря, въ другой разъ я тебѣ за такое столько вихровъ надеру, что на волосяной матрацъ хватить.

Да и была причина. Пашка, отпуская керосинъ, пролилъ, поджогъ прелитое, чуть самъ не сгорѣлъ и чуть лавку съ товаромъ не спалилъ.

Когда Сивцовъ навѣдывался повидать Пашку, спросить, доволенъ ли имъ хозяинъ, что случилось рѣдко, то лавочникъ отзывался кратко...

— Ничего, навькааетъ. Полагать надо, прочный парень.

„Прочный“ означало, что въ Пашкѣ прокъ будетъ, что онъ выйдетъ въ прикащики, а тамъ гляди и свою лавку откроетъ, какъ завсегда бываетъ.

II.

Пашкѣ дѣло лавочное нравилось и онъ скоро совѣмъ обошелся. Его подвижному и приткому нраву было не мудрено проводить день-деньской на ногахъ, встрѣчать и провожать всякій народъ, отвѣшивать, отрѣзать, отмѣривать, отругиваться и отшучиваться, и вообще служить. Кормилъ его хозяинъ хорошо, въ жолу, сколько влѣзеть; всякую провизию, которая начинала портиться, хозяинъ позволялъ съѣдать, и самъ конечно помогаль.

— Все равно собакамъ бросать. Упиши, наренекъ.

И Пашка уписываль за обѣ щеки и рыбу „съ духомъ“, и зелененькій творогъ, и медъ съ „отдачей“, и ветчину съ червячкомъ, и все, что было не годно въ продажу, но было не смертельно.

За это же время Петька сидѣлъ на лавкѣ въ гимназiи, но его всѣ звали уже по фамиліи, и онъ скоро привыкъ отвѣчать на зовъ, хотя сначала ему казалось диковинно, что его уже зовутъ какъ отца его: Сивцовъ.

Уроки мальчуганъ училъ съ трудомъ, отецъ помочь много не могъ, ибо „пошла матерiя“, которой онъ и самъ не осиливаль: Ѳедосѣй Иванычъ только наблюдалъ, чтобы сынишка зубрилъ уроки, но выучилъ ли онъ заданное, когда идетъ въ гимназію, или нѣтъ, и какъ выучилъ — этого мѣщанинъ знать не могъ. Черезъ два мѣсяца Петька отсидѣлъ уже раза четыре въ карцерѣ.

Сивцовъ исполнился и сходилъ въ гимназію справиться, но объяснился онъ больше со швейцаромъ, а не съ начальствомъ. Швейцаръ, старый солдатъ, за двугривенный все узналь и рассказалъ Сивцову:

— Балы его совѣмъ дрянные. Двоекъ много по всѣмъ предметамъ, есть и единицы. Вы его дома ожгите, совѣтоваль швейцаръ.—Наши взысканья казенныя, только вѣдь для одного страха. Ими лѣниваго не проймешь. Вы дома розгами его жиганите разочка два въ мѣсяць. Вотъ и наладится все...

Но Сивцовъ, объяснившись съ сынишкой, не жигануль

его, а загрузилъ. Мальчикъ клялся, что не можетъ ничего сдѣлать. Выучить урокъ, идти, знаетъ, а начнетъ учитель спрашивать, выходитъ что онъ ничего не знаетъ.

— Придираются! думалъ Сивцовъ. — Будь дворянинъ, либо купца богатаго сынъ—была бы другая совсѣмъ матерія.

Петька увѣрялъ, однако, что его товарищи такого объ немъ мнѣнія, что онъ прилеженъ, да тупъ. Надзиратель это имъ и ему объяснилъ.

— Охота есть, да мозговъ мало! сказалъ Петька, передавая слова надзирателя. При этомъ онъ спросилъ у отца, что такое мозги?

— Въ головѣ они—мозги.

— Да что оно собственно... И сколько ихъ должно быть въ головѣ? Дюжина, что ль, аль болѣе...

Сивцовъ долго глядѣлъ сыну въ лицо, но ни слова не отвѣтилъ, а затѣмъ подумалъ и сказалъ:

— Ничего. Обойдется!

Почти каждую субботу, вечеромъ, Петька ходилъ въ лавку за братомъ и оба шли ночевать домой. Воскресенье проводили они вмѣстѣ, передавая обоюдно впечатлѣнія недѣли. И въ итогѣ бесѣдъ была зависть одного брата къ другому.

Одинъ изъ двухъ смутно сознавалъ, что его доля хуже, что ему досталась по милости отца горькая чаша, которую онъ только началъ отпивать отъ краевъ, а дна ей не видно.

Этотъ завистникъ былъ „емназистъ“, любимецъ отца. Разумѣется, Федосѣй Ивановичъ, подслушавшій говоръ сыновей и угадывавшій ихъ тайные помыслы, усмѣхался многозначительно и думалъ про себя:

„Будь у меня деньги, я бы васъ обоихъ въ люди направилъ, а не въ мужики“.

Сивцовъ много и часто думалъ теперь о томъ, какъ выручить младшаго сына изъ „побѣгущекъ и лавочныхъ пареньковъ“. Онъ не хотѣлъ, чтобы Павелъ оставался въ овощной лавкѣ, и ужъ если нельзя его опредѣлить въ гимназію по его малограмотности, то по крайней мѣрѣ отдать его въ обученье мастерству. Жена настаивала тоже на выборѣ болѣе благороднаго ремесла для сына—къ часовщику или къ кондитеру. Для нея почему-то часы и конфеты представлялись всегда особенно хорошими предметами... Особенно конфеты. Несомнѣнно, что Павелъ вышелъ бы изъ міра москательныхъ и бакалейныхъ товаровъ въ міръ сладкихъ печеній или часовой механики, но судьба не захотѣла этого.

Однажды не старый и никогда не болѣвшій въ жизни Федосѣй Ивановичъ пришелъ домой, жалуясь на страшную боль въ груди. Черезъ три дня онъ былъ безъ памяти, и по совѣту сосѣдей жена рѣшила, скрепя сердце, свезти его въ больницу...

Черезъ двѣ недѣли послѣ этого, придя навѣстить мужа, женщина узнала, что ей предлагаютъ за мужа хорошія деньги, если она отдастъ его на взрѣзь докторамъ.

— Очень ужъ имъ любопытно его нутро! объяснилъ ей отставной солдатъ, прислуживавшій въ больницѣ.

— Да коли взрѣжутъ — да онъ помретъ? спросила женщина.

— Да онъ ужъ упокойникъ! Что ты дура. Аль ты думала онъ жить можетъ? У него пречудная болѣзнь была. Другой бы въ одинъ день померъ, а онъ двѣ недѣли упирался...

Женщина не согласилась на взрѣзь мужа. Поэтому его взрѣзали безъ ея вѣдома и прочитавъ надъ нимъ замѣчательную лекцію студентамъ, возвратили ей уже „потрошеннаго“.

Смерть Сивцова поставила вдову съ дѣтьми въ трудное положеніе. Весь доходъ на прожитокъ состоялъ въ томъ, что онъ выработывалъ, будучи мастеромъ на всѣ руки. Прежде всего приходилось продавать не оплаченный еще виолнѣ домъ, братъ старшаго сына изъ гимназіи и итти жить въ наемную квартиру.

Но судьба помогла... Бездѣтная вдова генеральша, жившая по сосѣдству, узнавъ объ участи семьи Сивцова, явилась на помощь, предложивъ взять къ себѣ Петю и платить за него въ гимназію. Вдова согласилась и, продавъ домикъ, переехала въ нанятый уголъ. Пашка, конечно, остался у лавочника, но уже и жилъ у него въ качествѣ настоящаго батрака, т. е. помимо прежняго дѣла мель помы и ѣздилъ съ бочкой за водой. Черезъ полгода барыня уѣхала въ Малороссію, но взяла съ собой и Петю, обѣщая не оставлять его, обучать и въ люди вывести.

Барыня была добрая. Помимо Пети, у нея была на воспитаніи дѣвочка изъ цыганокъ, были три удивительныя кошки, шесть собакъ, канарейки, бѣлки и попугай. Были и три компаніонки...

Сивцова прожила пять лѣтъ послѣ мужа и видѣла какъ изъ Пашки вышелъ отличный прикащикъ, смысленный, толковый, порядливый.

— Просто золото парень! говорилъ про него лавочникъ, и уже платилъ золоту десять рублей въ мѣсяцъ. Если бы Пашка былъ пожадиѣ, то потребовалъ бы у хозяина и получилъ бы вдвое больше.

Старшаго сына Сивцова уже не увидала. Она умерла, зная, однако, что ему не только не худо у генеральши, но даже отъѣнно хорошо какъ.

III.

Прошло всего восемь лѣтъ, и однажды осенью въ овощную лавку явился незнакомый молодой баринъ, въ сѣромъ пальто, худощавый и блѣдный, и спросилъ Павла Сивцова.

Прикащика въ лавкѣ не было; онъ отлучился по дѣлу на Козье Болото.

— Вамъ, господинъ, на что нуженъ Павелъ Ѳедосѣичъ? спросилъ у пришедшаго молодой парень изъ-за прилавка.

— Нужно видѣть...

— По торговлѣ... Тамъ самъ хозяинъ дома.

— Нѣтъ. Мнѣ нужно по особому дѣлу, свысока отозвался баринъ.—Я зайду вечеромъ опять.

И онъ ушелъ.

Это былъ Петръ Сивцовъ, прибывшій наканунѣ въ Москву.

Сивцовъ, окончивъ курсъ въ губернской гимназiи, прiѣхалъ въ Москву поступать въ университетъ. Благодѣтельница барыня, взявшая его на свое попеченiе, продолжала озабочиваться его судьбой неослабно и упрямо. Еслибы не эта женщина, добрая, простодушная и далеко не энергическая, но упрямая, то Петръ давно бы уже бросилъ ученiе. Еще въ четвертомъ классѣ его брало сомнѣнiе, осилить ли онъ ту грамоту, чрезъ которую въ „люди“ выходятъ. Онъ уже сознавалъ ясно, что много силъ потрачено имъ въ борьбѣ съ недающеюся наукой или дающеюся съ бою. Онъ видѣлъ, что его товарищи идутъ и подвигаются легко, гораздо легче, чѣмъ онъ. Иной товарищъ учить полчаса тотъ урокъ, надъ которымъ онъ, Петръ, сидитъ три и четыре часа. А знаетъ онъ его хуже товарища.

Въ пятомъ классѣ онъ остался на второй годъ, и затѣмъ, при переходѣ въ шестой, ему предлагалъ богатый помѣщикъ мѣсто управителя огромнаго имѣнiя, съ большимъ жалованьемъ.

Когда Петръ заявилъ, что онъ въ сельскомъ хозяйствѣ ничего не смыслить, то помѣщикъ хохоталъ, говоря:

— То-то и дорого. Воровать не будешь. Ты знаешь ли, другъ любезный, что значить: а-гро-номъ?

— Знаю! Это греческое слово и...

— Ну тамъ греческое или персидское, мнѣ все едино. А знаешь ли, какъ его по-русски перевести надо?

— Нѣтъ. Дайте подумать.

— Зачѣмъ! Я тебѣ переведу. Агрономъ значить: разоритель. А ты коли ничего не смыслишь въ агрономіи, то, стало, воровать не будешь и мудрить не будешь и стало и меня не разоришь.

Петръ почти согласился... Но барыня благодѣтельница уперлась... Какъ же это? Шестъ лѣтъ какъ она порѣшила и ждетъ, что Петръ будетъ студентомъ и на службу поступить, а тутъ вдругъ въ управители имѣнія онъ пойдетъ и съ званіемъ мѣщанина останется. И Сивцовъ продолжалъ лямку тянуть и дотянулъ ее до университета. Но эта лямка потеряла ему бока, да и ни одни бока. А потеряла разумъ и сердце.

За это же время братъ Пашка былъ уже давно въ лавкѣ Павломъ Федосѣичемъ и уже не бѣгалъ на посылкахъ, а самъ гонялъ и за вихры дралъ двухъ мальчугановъ, взятыхъ хозяиномъ въ обученье. Павелъ былъ правая рука хозяина да и пожалуй „обѣ“ руки, такъ какъ лавочникъ не въ мѣру раздобрѣлъ, облѣнился и улыбался на встрѣчу покупателю уже не добродушно, а сонливо. Извѣстный кушъ, скопленный и лежащій мирно въ банкѣ, сильно усыплялъ лавочника.

Павелъ Сивцовъ со своей стороны бойко, честно и со смѣлкой вель дѣло хозяина, но уже начиналъ подумывать и о себѣ... Онъ скопилъ изъ жалованья малую толику денегъ, да отъ покойной матери имѣлъ триста рублей. Всѣ поставщики лавочника его любили и уважали. Всѣ знали, что лавка облѣнившагося мѣщанина только и держится что прикащикомъ. И всѣ они, будто стоворясь, совѣтывали молодцу „отойти и свое заведеніе открыть“, при чемъ, конечно, обѣщали свой кредитъ въ волю... Но такъ прошло болѣе года... Павелъ Сивцовъ колебался. Мысль начать свое дѣло конечно пріятно щекотала самолюбіе, и ему не разъ слышалось во снѣ, что его будто кто-то называетъ „хозяинъ“. Но боязнь почина брала верхъ. Павелъ по натурѣ ненавидѣлъ „журавля въ небѣ“.

„А ну, прогоришь? Послѣднія деньжата ухнешь, и ступай опять въ прикащики къ новому хозяину, злому иль пьяному. Этотъ, по крайности, добрый и ласковый“.

IV.

Прикащикъ, узнавъ теперь, что его спрашивалъ какой-то баринъ, котораго никто прежде въ лавкѣ не видалъ никогда, удивился.

— Худой такой! Не старый... Лѣтъ тридцать, а то и меньше. Изъ себя тощій и желтый. Словно изъ больницы выписался.

Такъ описали барина мальчуганы лавки.

— Не знаю, гадалъ прикащикъ.—Кто бы такой? Никакихъ дѣловъ у меня въ Москвѣ съ господами нѣтъ. Зайдетъ опять—узнаемъ, а не зайдетъ—Богъ съ нимъ.

Однажды около полудня, Павелъ, перетаскавъ съ дрогъ въ лавку много мѣшковъ съ мукой, собирался уже обѣдать въ сосѣдней съ лавкой горницѣ. Онъ ругалъ одного мальчугана за разсыпанный при отпускѣ покупателю крахмаль, когда въ лавку вошелъ тотъ же молодой, худощавый господинъ и спросилъ Павла Сивцова.

Павелъ вышелъ, глянулъ на вошедшаго господина и хотѣлъ уже сказать: Чего прикажете...

— Паша... выговорилъ господинъ и протянулъ руки.

Павелъ Сивцовъ стоялъ истуканомъ. Ему что-то мерещилось, чего онъ и понять не могъ. Что-то знакомое въ чемъ-то совсѣмъ не знакомомъ... А отъ слова „Паша“ екнуло въ сердцѣ! Онъ еще ничего не сообразилъ, когда пришедшій уже обнялъ и цѣловалъ его.

— О-охъ... Петя... Господи! заоралъ прикащикъ на всю лавку и, обхвативъ брата въ свои здоровыя лапы, прижалъ его крѣпко къ своему тулупу, забывъ, что онъ весь выпачканъ въ мукѣ.

— Охъ, измаралъ я тебя... забормоталъ онъ, краснѣя какъ дѣвица.—Иди. Иди сюда вотъ, въ горницу, затормошился онъ, потянувъ брата за руку.

Оба вошли въ маленькую горницу и мгновенно молча оглядывали другъ друга съ видимымъ любопытствомъ.

„Мужикъ совсѣмъ!“ подумалъ одинъ.

„Бариномъ выгладить!“ подумалъ другой.

— Ну какъ ты, Паша? Какъ поживаешь...

— Ничего. Слава Богу. Ты какъ? Откуда? На долго ли? Что дѣлаешь?

— Братья усѣлись у столика и засыпали другъ друга вопросами. Наконецъ все было сказано, повѣдано, объяснено.

— Стало быть, будешь ты теперь въ новерситетъ ходить. Такъ! Ну, а потомъ что же?..

— Потомъ? Не знаю... Видно будетъ...:

— Отчего жъ ты такъ похудаль? Хвораль, что ль?

— Ни разу. За всѣ годы, что мы не видались, только разъ у меня нога болѣла, оступился и вытянулъ жилу. Голова вотъ болить часто.

— Голова. Отчего? Отъ ученья, небось.

— Нѣтъ, разсмѣялся Петръ Сивцовъ.—Просто мигрень... т. е. просто... какъ бы сказать... нервныя боли.

— Нерваны... Какъ то-ись?.. удивился Павелъ.

Петръ смолчалъ и потушился, затѣмъ, не отвѣтивъ брату, онъ выговорилъ:

— Ты когда свободенъ бываешь?..

— Къ полуночи, иногда и раньше.

— А утромъ какъ?..

— Утромъ мы со свѣтомъ отпираемъ.

— Какъ же намъ повидаться, на свободѣ? Въ воскресенье, стало быть?

— Мы и въ воскресенье послѣ обѣдни торгуемъ.

— Когда жъ ты свободенъ?..

— То-ись какъ? Да я всегда... Ты приходи какъ хощь...

— Знаю. Но ты ко мнѣ когда можешь-зайти въ гости?

— Я отпрошусь. Хозяинъ всегда отпуститъ.

Петръ смолчалъ... А затѣмъ перевелъ рѣчь на другое.

— Вишь ты какой молодецъ. Толстый, румяный. Небось и силенъ?

— Нѣту-ти... Гдѣ силенъ!..

— Два пуда подынешь одною рукою.

— Два. Какъ два? У насъ мѣшки бываютъ и въ шесть пудовъ.

— И ты подымаешь ихъ?

— На спину взваливаютъ... А такъ подымать не пробо-валъ. Пуда четыре. Можно.

— А я, Паша, два пуда съ трудомъ двигаю.

— Что жъ такъ?

— Да ужъ такъ...

Братья разстались, обѣщавъ другъ другу часто видаться.

V.

Петръ Сивцовъ, поступаая въ университетъ, колебался между юридическимъ факультетомъ и медицинскимъ. Поступить на второй было выгоднѣе въ будущемъ. Онъ однако поступилъ на юридическій факультетъ, усердно началъ посѣщать лекціи, но дома заниматься совершенно не могъ, не имѣя времени. Приходилось давать уроки, чтобы существовать. Уроки эти, числомъ три, онъ досталъ легко, ибо условія его были болѣе чѣмъ скромныя—десять рублей въ мѣсяцъ. Однако эти уроки его утомляли страшно и двойкою. Тяжело было вбивать науку въ двѣ тупыя башки и третью не тупую, но блажную и разсѣянную голову одного маменькина баловня. Не менѣе тяжело было и ходить на эти уроки въ слякоть и сырость, а потомъ въ морозъ. Концы были дальніе. Съ одного урока на Арбатъ приходилось итти къ Краснымъ воротамъ. Братья видались очень рѣдко, Петръ отдыхалъ въ воскресенье и праздники отъ непосильной работы и становился настолько угрюмъ и нелюдимъ, что ему не хотѣлось даже видѣть брата. Павелъ не могъ отлучаться среди недѣли изъ лавки, а въ воскресенье еще менѣе чѣмъ въ будни, такъ какъ въ эти дни мелочная торговля шла еще шибче, благодаря праздному люду. Однихъ подсолнуховъ продавалъ Павелъ въ праздникъ почти всегда на пять рублей, да и лисабонское вино, которое готовлялось на Швивой горкѣ, тоже шибко шло. Запереть лавку, ради свиданія съ братомъ, Павелъ считалъ убыточнымъ и потому не честнымъ относительно хозяина. Самъ же лавочникъ настолько облѣнился, что въ праздничный день, придя отъ ранней обѣдни, уписывалъ наединѣ цѣлый пирогъ съ капустой и ложился отдыхать. Вставъ около часу, онъ обѣдалъ плотно и снова ложился отдыхать, затѣмъ, проснувшись часомъ въ семь, онъ пилъ квасъ и, посидѣвъ за воротами дома, шелъ ужинать, послѣ чего, конечно, съ трудовъ дня шелъ уже не отдыхать, а просто опочивать.

Все торговое дѣло было въ рукахъ Павла Федосѣвича, какъ еслибъ онъ былъ самъ хозяинъ. Честный и немного наивный молодецъ неуклонно соблюдалъ интересы своего хозяина, простодушно полагая, что „завсегда всѣ прикащики такъ-то“...

— Вотъ буду когда самъ хозяиномъ, отдохну. А теперь

гдѣ же, думаль и говорилъ прикащикъ.—Наше дѣло такое. Поѣсть и помолиться времени почитай не урвешь, а не то чтобы гулять.

Разъ въ мѣсяцъ однако братья видались, или студентъ шель посидѣть съ братомъ въ горницѣ смежной съ лавкой, или лавочникъ ради большого двенадесятаго праздника запералъ лавку, и прикащикъ могъ итти въ номера къ брату.

Въ эти дни полной свободы Павелъ Сивцовъ, сидя у брата, бывалъ какъ самъ не свой. Онъ даже какъ-то особенно все взмахивалъ руками или возилъ ногами по полу... Привычка къ занятію, къ постоянному движенію, къ тому, что отъ зари до зари и голова занята и всѣ члены заняты, дошла у него до того, что праздность приводила его въ какое-то тревожное, болѣзненно-тоскливое состояніе.

— Эхъ кабы поскорѣе... звучало гдѣ-то на глубинѣ души.— Покорѣ бы.

А „поскорѣе“ искренно и бессознательно относилось къ празднику и праздному состоянію. Организмъ уставалъ отъ спокойствія и желалъ, чтобы поскорѣе этотъ пустой день миновалъ.

Бесѣды братьевъ бывали всякія, но не клеились. Студентъ не интересовался заботами, мечтами и всею жизнью брата лавочника. Даже то, что было событіемъ въ жизни Павла, не трогало Петра.

Однажды прикащикъ явился взволнованнымъ и повѣдалъ брату страшное приключеніе. Въ складѣ лисабонскаго на Швивой горкѣ побывала полиція. Приходилъ и къ нимъ въ лавку съ допросомъ самъ квартальный надзиратель. Павелъ не мало подивился, какъ холодно отнесся братъ къ этому происшествію. За то и жизнь студента не была любопытна ни капли для прикащика.

Однажды Петръ Сивцовъ былъ очень встревоженъ и блѣденъ, когда его навѣстилъ братъ. У нихъ въ университетѣ была сходка, вмѣшалась, конечно, полиція, да не помощникъ пристава, а самъ полицеймейстеръ. Петръ много и долго рассказывалъ брату всю исторію; но Павелъ понялъ только одно, что дѣло все происходило на дворѣ университета, что самое дѣло выѣденаго орѣха не стоитъ, и что братъ съ товарищами „безобразничаютъ“.

„Съ жиру бѣсятся!“ подумаль прикащикъ, но, поглядѣвъ на худого, желтолицаго брата, долженъ былъ сознаться, что

должно быть бѣсятся-то онъ и ему подобные не съ жиру, а съ чего-нибудь другого, ибо жиру и званья нѣтъ.

„Съ ученья“, рѣшилъ Павелъ.

VI.

Прошелъ годъ жизни студенческой и прикащичьей.

Для Петра Сивцова годъ казался подъемомъ въ крутую гору... Подъемъ тяжелый, усиленный, который казался тѣмъ ужаснѣе ему, тѣмъ мудренѣе и даже безотраднѣе, что въ сердцѣ его не было увѣренности или вѣры въ необходимость этого подъема.

— Да зачѣмъ? звучаль будто какой-то голосъ и больно отдавался на сердцѣ. Не остановиться ли и вернуться? Вѣдь это не нужно... Да, но вернуться не возможно.

Онъ переносился мыслью назадъ, на пройденный путь съ дѣтства, и говорилъ со злобой, съ ненавистью, будто обращаясь къ кому-то, кто невидимкой толкаетъ его впередъ...

— Ломоносовы удирають, бѣгутъ учиться, а мы движемся благодаря затрещинамъ сзади... А - то бы попятились. И сколько усилій, сколько труда. И зачѣмъ? Развѣ я счастливъ? И развѣ я буду счастливъ?

Вернувшись домой, обыкновенно къ семи часамъ вечера, въ холодную сѣрую горницу, послѣ не сытнаго по количеству и по качеству обѣда, Петръ чувствовалъ во всемъ тѣлѣ какую-то скверную болѣзненную истому, даже душу гнетущую. Тотчасъ, не зажигая огня, ложился онъ въ темнотѣ на кровать, но не спалъ, а глядѣлъ во тьму во всѣ глаза.

И въ этой тьмѣ ему рисовалась ужасная, безобразная картина... Его собственное существованіе!

Картина житья-бытья студента, бобыля, бѣдняка, безъ родни, безъ друзей, одиноко пробивающагося какъ сквозь густую чащу лѣса и выбивающагося изъ силъ, чтобы попасть изъ одного общественнаго положенія въ другое. Кто не знаетъ этой картины... Тысячи прошли чрезъ этотъ „пургаторій“. Но былъ ли это прямой путь изъ ада въ рай... Вотъ вопросъ. Не наоборотъ ли?

„Вѣдь я тоже не Ломоносовъ! часто бурчалъ въ темнотѣ студентъ Сивцовъ. Не только не буду имъ, но даже не былъ имъ. Да, я мальчишкой, на задворкѣ нашего домика, не былъ

Ломоносовымъ. Ничто меня не манило и не влекло въ „храмъ науки“... Прихоть отца толкнула на тернистый и долгій путь... Путь не по силамъ. Какое-то скитаніе въ ночи крошечной. И я не только не вижу разсвѣта, но даже не знаю когда и откуда его ждать. Ну вотъ четыре года пробуюсь въ Москвѣ студентомъ. Можетъ быть, по слабосилію, и всѣ пять или шесть лѣтъ? И затѣмъ сойду... со студенческой скамьи и выйду на всѣ четыре стороны свѣта Божьяго. Въ какую же сторону я пойду... На службу государственную? Кто же это мнѣ дастъ? Тетушекъ и кумушекъ - покровительницъ нѣтъ. Собственное природное дарованіе? Или собственная благопріобрѣтенная дерзость. Ихъ тоже нѣтъ. Куда же идти? Въ учителя!? Не по профессіи, не по призванію, а за неимѣніемъ лучшаго... А это вколачиваніе четырехъ правильныхъ арифметики, подлежащаго со сказуемымъ, склоненій и спряженій, городовъ и рѣкъ въ разныя деревянные головы... Право, свои вколачивать чугуною бабою съ пѣсню въ гурьбѣ землекоповъ и плотниковъ веселѣе, пріятнѣе, легче, а главное... здоровѣе... Свѣтъ науки, сопрічастіе къ интеллигентному слою, даютъ право быть смятымъ въ толпѣ разночинцевъ или случайно выскочить... Ужъ больно дорого оно стоитъ. Себѣ дороже!.. Мозги должны тоже, что кишки, работать изъ поколѣнія въ поколѣніе, чтобы навыкнуть, окрѣпнуть и осиливать легко всякую пищу... А когда отецъ орудовалъ „штрументомъ“ или хоть даже иглой и шиломъ, а всѣ прадѣды и прабабка сохой, косой и топоромъ, то въ роду навыкли дѣйствовать лапы и ступни, а мозги навыкли только смѣкать кой-что съ грѣхомъ пополамъ. А сердце, духъ, навыкли робѣть. Коли не людей, такъ мыслей, задачъ, цѣлей далекихъ... На этомъ пути, который меня надорвалъ и надрываетъ, что я узналъ и увидѣлъ? Увидѣлъ, что я одинъ какъ перстъ среди ста миллионныхъ людей и что есть многое на свѣтѣ очень желаемое и недостижимое. Узналъ я вѣрно только одно, что я ничего не знаю и не узнаю... Что самый свѣтлый разумъ видитъ кругомъ одну тьму и чѣмъ разумъ свѣтлѣе, тѣмъ эта тьма для него сильнѣе. Узналъ, наконецъ, что счастье личное отъ положенія не зависитъ и что оно тѣмъ возможнѣе и достижимѣе, чѣмъ ниже человекъ стоитъ“..

Въ этихъ размышленіяхъ студентъ проводилъ цѣлые часы, какъ бы разглядывая себя и разбирая свое существованіе пониточкамъ.

Для Павла Сивцова этотъ годъ прошелъ такъ же однообразно, какъ и прежніе, незамѣтно, въ мелкихъ заботахъ. Только одно случилось за это время пустое и мелкое, но Павла озадачило, удивило и заставило даже цѣлый день поохать наивно и добродушно.

Онъ пошелъ къ какому-то барину получить долгъ по книжкѣ. Его заставили ждать въ людской, а затѣмъ перевели въ лакейскую. И тутъ просидѣлъ онъ съ часъ и отъ тоски сталъ озираться внимательнѣе. Въ стѣнѣ было огромное зеркало до полу... Поглядѣлъ на него Павелъ Ѳедосѣевъ, видитъ — все оно удивительно чисто, будто не зеркало, а окошко или большая дверь, а за ней другая такая же лакейская и другой такой же... Павелъ Ѳедосѣевъ сидитъ въ нагольномъ тулупѣ и мнетъ шапку. И вдругъ захотѣлось Сивцову повнимательнѣе поглядѣть на этого „себя“. Всталъ онъ, подошелъ и оглядѣлъ себя съ головы до пятъ... Ну вотъ онъ живой стоитъ. Удивительно! Никогда не приходилось ему видѣть себя „эдакъ“. Въ маленькое зеркальце онъ свое лицо видалъ, а всего себя разглядѣть, во весь ростъ, отъ головы остриженной въ кружокъ и до сапожицъ со сморщенными голенищами, никогда еще не приходилось. Некогда было, да и зеркала не было, и вдругъ увидѣлъ онъ теперь что „этотъ онъ“, этотъ Павелъ Сивцевъ—совсѣмъ ужъ не таковъ, какъ онъ думалъ.

Это ужъ не мальчуганъ и не паренъ, а цѣлый мужикъ широкоплечій. А на лицѣ... удивительно!.. Усы и бородака... Онъ ихъ видалъ въ свое зеркальце, что виситъ у него въ горницѣ при лавкѣ... Видалъ и будто не замѣчалъ. Или замѣтилъ да не подумалъ о нихъ.

— Бородака кругомъ. И усы... Фу ты, пропасть! Мужикъ совсѣмъ... Будь деньги, то по видимости совсѣмъ въ хозяева годенъ. Степенство какое-то. Ахъ ты Господи!

Наивно и искренно изумляясь, долго разглядывалъ себя Павелъ въ это зеркало. Такъ былъ онъ пораженъ нечаянностью и занятъ своею особой, что, когда вошелъ лакей, даже вздрогнулъ и смутился, какъ еслибъ его на воровствѣ поймали.

Получивъ деньги и снеся ихъ хозяину, Павелъ весь день думалъ о себѣ... и о себѣ... Это случилось съ нимъ въ первый разъ въ жизни.

Видно этотъ нечаянный случай или казусъ былъ предзнаменованіемъ въ жизни прикащика.

Через недѣлю послѣ этого, хозяинъ его, отойдя разъ на отдохновеніе послѣ обѣда, отошелъ въ вѣчность.

Когда это произошло, вдова его, прикащикъ, а равно и всѣ знакомые не мало дивились.

— И болень не былъ! Просто отдохнуть пошелъ, покушамши. Вотъ она, воля-то Божья.

Только одинъ изъ сосѣдей покойнаго, по ремеслу часовщикъ, не удивился вѣсти о смерти лавочника, а почему-то сказалъ:

— Надо было ждать. Удивительно, что давно не померъ. Ужъ года почитай три какъ кровь въ немъ выхода не имѣла и горѣла.

— А почему такъ? спрашивали нѣкоторые.

— А вотъ не дѣлай ничего, да жри за троихъ, да спи день и ночь... Вотъ и узнаешь почему такъ.

Смерть хозяина-лавочника мало повліяла на дѣла и положеніе Сивцова. Единственный наслѣдникъ его, 16-лѣтній сынъ; былъ слабоумный малый, а хозяйка, никогда не вмѣшивавшаяся въ дѣла, ничего въ нихъ не понимала. Разумѣется, судьба Павла Ѳедосѣева не измѣнилась вслѣдствіе его собственной робости...

Не зная что дѣлать и куда дѣваться, онъ убѣдилъ вдову не прекращать торговли и не продавать лавки. Онъ боялся новаго хозяина, злого и придиричиваго. Да и захочетъ ли еще новый хозяинъ держать прикащика. Самъ еще, пожалуй, займетъ дѣломъ, а его пустить на всѣ четыре стороны. Разумѣется, Сивцевъ, хорошо съ дѣтства извѣстный всему кварталу на семь большихъ улицъ и переулковъ, всѣмъ обывателямъ, могъ бы легко найти себѣ другое мѣсто прикащика не хуже, а пожалуй и лучше... Его даже зазывали и переманивали съ годъ назадъ во вновь открытый большой москательный магазинъ... Но Павелъ видѣлъ и зналъ только то, что было. у него подъ носомъ, и боялся всего, чего не зналъ.

— Другое мѣсто... Другой хозяинъ... Другіе покупатели... Да какъ же это... Нѣтъ, ужъ лучше такъ, какъ было за- всегда.

Убѣдить вдову продолжать торговлю было не трудно... Прикащикъ брался за все, такъ какъ лавка и всѣ дѣла были уже давно въ его рукахъ. Вдовѣ приходилось только получать деньги, да откладывать для дурашнаго сына, который въ шест-

надцать лѣтъ все еще продолжалъ сидѣть у окошечка и улыбаться ласково всѣмъ, на все...

Многіе добрые люди уговаривали Павла Ѳедосѣича купить у вдовы лавку въ разсрочку и повести торговлю на свое имя. Но Павелъ смущался, краснѣлъ, пыхтѣлъ и руками разводилъ.

Посторонніе люди глядѣли и головами качали. Нѣкоторые даже говорили въ сосѣдствѣ:

— Славный парень, рѣдкостный. Другой бы давно, а ужъ теперь бы все непременно не токмо лавку, а капиталъ - то вдовы съ дуракомъ сыномъ подобралъ бы къ рукамъ. Живо бы разжился, такъ что во вторую гильдію бы вышелъ.

Взять лавку и торговлю уговаривалъ Павла даже и брать-студентъ... Но брать-прикащикъ отвѣчалъ:

— Ладно. Успѣется... Что жъ мнѣ... Я одинъ. И жалованья мнѣ дѣвать некуда, а не токмо на выручку и барыши... глаза закидывать.

VII.

Прошло еще два года.

Положеніе студента Сивцова было то же, неопредѣленное, ничего не дающее и ничего не обещающее. Терпѣливое ожиданіе завтрашняго дня.

Положеніе прикащика Сивцова становилось все яснѣе, все легче... Павелъ теперь былъ почти полнымъ хозяиномъ. Вдова лавочника не вмѣшивалась ни во что. И лѣнива она была, да и хворая. Бородатаго малаго, котораго она, по привычкѣ, продолжала звать „Пашей“, она считала, если не сыномъ, то родственникомъ и вѣрила въ него всею душою, но не потому, что лицо Павла Ѳедосѣева всѣмъ говорило о его честности. Будь онъ негодяй, вдова все равно довѣрилась бы ему. Она вѣрила по своей бабьей глупости.

Со смертью хозяина лавки произошла только та перемѣна, что Павелъ занялъ цѣлую горницу въ квартирѣ хозяйки. Въ лавкѣ же Павелъ Сивцовъ былъ повидимому такъ же самостоятеленъ, какъ и прежде, ибо лавочникъ еще живо былъ въ этомъ отношеніи покойникомъ.

Въ дѣйствительности же въ положеніи Павла Сивцова была большая перемѣна, которой онъ самъ себѣ сначала не могъ исполнѣ уяснить. Мысль, что онъ одинъ, что во всякомъ дѣлѣ,

самомъ важномъ, надо рѣшать самому и не у кого попросить ни приказанія, ни совѣта, заставляла его робѣть и гордиться одновременно. Быть самому себѣ головой—бѣда.

Вѣдь шутка ли сказать, какія дѣла бываютъ! Однажды предлагали Павлу взять заразъ сто пудовъ рафинаду, въ кредитъ,—только возьми.

Бывало прежде пойдетъ Павелъ къ хозяину и всячески постарается, чтобы полусонный хозяинъ сказалъ твердо: да, или нѣтъ. Какъ гора съ плечъ. Его дѣло, что ни случись. А теперь на рукахъ или на плечахъ навалится дѣло и рѣшай его самъ. Ко вдовѣ не пойдешь, она ничего не смыслить, а самому рѣшать—бѣда.

Однако Павелъ рѣшалъ изрѣдка дѣла не менѣе важныя, чѣмъ сто пудовъ рафинаду въ кредитъ. И вдругъ незамѣтно Павелъ сталъ усмѣхаться, разговаривать съ покупателями и даже съ городовымъ на особый ладъ. Въ немъ явилось, во всей фигурѣ, въ лицѣ и голосѣ что-то новое, — какая-то горделивость.

Разумѣется, теперь еще болѣе и еще чаще всѣ поставщики лавки подговаривали Сивцова купить фирму у вдовы, но Павелъ попрежнему упирался.—Наконецъ и сама вдова стала просить Сивцова взять все на свое имя, уплатить ей что слѣдуетъ, въ разсрочку, безъ всякихъ документовъ, „подушѣ“. Разговоры между Сивцовымъ и лавочницей бывали ежедневно и стали самымъ любимымъ времяпрепровожденіемъ, но толку изъ этого не выходило никакого.

— Зачѣмъ, говорилъ Сивцовъ.—Живите себѣ тутъ, а я буду заправлять. Еще успѣется самому въ хозяева выходить, да я, почитай, и такъ хозяинъ. Захоти я васъ обчистить, то какъ липку обчищу, ей Богу!

— Это вѣрно, смѣялась въ отвѣтъ лавочница.

Сивцовъ вставалъ теперь получасомъ позже. Бывало, приходилось ему вставать чуть свѣтъ и прибирать кое-что въ лавкѣ, прежде чѣмъ ее отворять. Теперь же на это были прикащикъ и двое парнишекъ. Но отворять лавку Сивцовъ не позволялъ никому. Это было его дѣло и съ этимъ дѣломъ связывалось у него что-то особенное, что онъ отлично чувствовалъ, но передать и объяснить бы не могъ.

Какъ прежде, много лѣтъ назадъ, еще юношей, такъ и теперь онъ самъ растворялъ двѣ глухія двери настежь, навѣпивалъ двѣ продольныя вывѣски и затѣмъ становился въ

дверяхъ лавки, снималъ шапку и крестился на обѣ стороны. Нѣсколько крестныхъ знаменій и поясной поклонъ въ правую сторону, столько же крестныхъ знаменій и поясной поклонъ въ лѣвую сторону, а затѣмъ онъ нахлобучить шапку, оглянется на прохожихъ съ такимъ видомъ, какъ будто говоритъ:

— А ну-т-ко, какъ все на свѣтѣ происходитъ? По вчерашнему, или новое что?

И убѣдившись, что все по-вчерашнему, что господинъ городской стоитъ на томъ же мѣстѣ, извошкики стоятъ, или проѣзжаютъ, прохожіе, болѣе все сѣрый людъ по раннему времени, двигаются. Налѣво, за домомъ, на высококомъ деревѣ вороны сидятъ, какъ всегда сидѣли много лѣтъ. Направо, за вторымъ сѣренскимъ домикомъ майора заборъ покосился и свѣслся на улицу... Вотъ, вотъ упадетъ! А онъ эдакъ-то седьмой годъ падаетъ.

Затѣмъ Сивцовъ, убѣдившись, что все на свѣтѣ Божьемъ обстоитъ попрежнему, по-вчерашнему, даже и заборъ майора, входилъ въ лавку и, оглянувши полку, прилавокъ, вѣсы, картонки, кузовки, бочки, проходилъ въ сосѣдную горницу, шириной въ квадратную сажень. Тутъ стоялъ столикъ, два стула и сундукъ вмѣсто дивана днемъ и вмѣсто кровати для прикащика ночью.

Милѣ этой горницы ничего не было для Павла. Сколько сотенъ ночей проспалъ онъ на этомъ сундукѣ, подкладая подъ себя сначала свой тулупъ, потомъ матрацъ подержанный, купленный хозяиномъ на Смоленскомъ рынкѣ.

Тутъ же когда-то, кажется еще такъ недавно, сидѣлъ онъ на стулѣ, а хозяинъ на другомъ, и они пили чай. Теперь же онъ садится на томъ стулѣ, что спиной къ окошку, а противъ себя сажаетъ прикащика, и какъ бывало хозяинъ его обучалъ, уму разуму наставлялъ, такъ и онъ теперь поступаетъ.

И съ этого дня какъ за спиной Сивцова не было хозяина, какъ ему приходилось орудовать на свой страхъ, онъ вдругъ часто сталъ подумывать:

„А вѣдь на свѣтѣ-то Божьемъ хорошо жить! Куда бы не хотѣлось умирать“.

Ему казалось даже и въ пасмурный день, что на улицѣ свѣтло. Всѣ лица казались ему лицами довольными. Случалось иной разъ, что иной извощикъ, стоящій на углу,

жалится, что овесъ дорогъ и ихняго брата много расплодилось, но Сивцевъ этому не вѣрилъ. Это ужъ такая у людей сноровка!

Случалось, что кто изъ покупателей вдругъ богатѣлъ, начиналъ въ лавкѣ забирать больше—другой покупатель прогоралъ и тоже жаловался на свою судьбу, но Сивцову казалось, что всякая настоящая бѣда и напасть на свѣтѣ бывають отъ оплошности человѣческой, или наказаніемъ за грѣхи.

Ему чудилось, что съ нимъ никогда никакой бѣды не приключится. Да и какая же у него можетъ быть бѣда? Дѣйствуй по-Божески—и ничего худого не будетъ!

Наконецъ однажды хозяйка захворала и, лежа въ постели, заявила Сивцову, что ей пора умирать.

— Какъ пора? удивился Сивцовъ.—Зачѣмъ?

— Пора, Паша. И безиремѣнно я помру. Будь милостивъ, бери лавку.

Сивцовъ, какъ и всегда, отвѣчалъ:

— Подождемъ, увидимъ.

— Некогда ждать. Сказываютъ тебѣ, помирать пора мнѣ. Сынишка мой, самъ знаешь, подшибленный. Будь милостивъ, давай дѣло покончимъ. Сестра моего парня возьметъ къ себѣ, а ты тутъ расположишься... И рухлядь вся тутъ останется... Вотъ на моемъ мѣстѣ и почивать будешь... Женисься, самъ тутъ разведешься ребятами...

И хозяйка, лежа въ постели, ежедневно призывала къ себѣ Сивцова и пилила его нескончаемо—даже въ лавкѣ доглядѣть за дѣломъ времени не было.

Многіе изъ покупателей и знакомыхъ, зная, что хозяйка собирается умирать, тоже болѣе чѣмъ когда-либо подговаривали Сивцова брать лавку.

И наконецъ Павелъ со внутреннею дрожью на сердцѣ вымолвилъ:

— Что жъ, я не прочь...

Дѣло передачи лавки произошло безъ всякихъ актовъ и документовъ. Хозяйка перетолковала съ Пашей сколько и когда онъ уплатитъ ей сыну, или ей сестрѣ, которая малому сына возьметъ къ себѣ.

Говорили ей, чтобъ она взяла съ Сивцова писанные документы, но она отмахивалась такъ, какъ еслибъ ей предлагали веревку чтобъ удавиться. Павелъ не настаивалъ, ему тоже казались эти документы совсѣмъ ненужными.

— Неушто же я чужія деньги украду, думаль онъ.
 Когда дѣло было рѣшено на словахъ, лавочница исповѣдалась, причастилась и умерла.

— Ну вотъ и слава Богу! были ея послѣднія слова.

VIII.

Черезъ недѣлю квартира при лавкѣ опустѣла. Коломенская мѣщанка приѣзжала, взяла малоумнаго парня съ собою, взяла комодъ, зеркало, чайную посуду, купленную лѣтъ двадцать назадъ, которая стояла цѣлехонька въ стеклянномъ шкафу, еще кое-что. Остальное все осталось, какъ было, на мѣстѣ, а Сивцовъ обязался выплатить за весь домашній скарбъ, оставшійся ему какъ бы покупкой, всего только двѣсти рублей.

И вдругъ однажды утромъ Павелъ Сивцовъ оказался хозяиномъ. Въ лавкѣ не произошло никакой перемѣны. Онъ уже давно былъ главнымъ заправилой, но въ квартирѣ была семья, теперь же и квартира изъ четырехъ горницъ была пуста.

И въ первые же дни, когда Сивцовъ отправлялся пообѣдать въ квартиру, гдѣ вновь нанятая женщина—сорокалѣтняя баба готовила кушанье, ему изрѣдка становилось тоскливо на сердцѣ, даже жутко.

Четыре пустыя горницы, тишина, чего-то не хватаетъ...

Вѣстимо не хватаетъ лавочника съ семьей, хотя и не велика она была, да все живые люди тутъ были.

Потомъ стало сдаваться Павлу, что не хватаетъ чего-то другого...

И разъ какъ-то давно знакомый ему покупатель, приходскій дьяконъ, зайдя взять фунтъ карамелекъ, сказалъ Сивцову такое слово, что его въ жаръ бросило.

А слово было простое...

— Теперь вамъ, Павелъ Федосѣичъ, подругу жизни нужно.

Павелъ усмѣхнулся и произнесъ стыдливо:

— Какъ можно-съ...

— Вѣрно вамъ сказываю. Какой же вы хозяинъ, коли у васъ не будетъ жены-хозяйки. Хорошо это въ прикащикахъ такъ было одиночествовать, а теперь жениться надо. Да и невѣста у меня для васъ заготовлена. Ей-Богу!...

— Какъ можно! отсмѣивался Павелъ, свѣсивъ и заворачивая карамельки въ бумагу.

— Да-съ! Дѣвица единственная въ своемъ родѣ, улыбаясь продолжалъ дьяконъ.

Но Сивцовъ уже пересталъ улыбаться, насупился и, поставивъ на прилавокъ перевязанную веревочкой покушку, выговорилъ:

— Пожалуйте...

И это слово доказало отцу-дьякону своею интонаціею, что разговоръ надо прекратить.

А между тѣмъ вечеромъ, когда Сивцовъ освидѣтельствовалъ и сосчиталъ выручку, а затѣмъ пришелъ въ свою квартиру, то, вмѣсто того, чтобы сѣсть заваривать чай, онъ сѣлъ въ углу и сталъ смотрѣть какъ шипѣлъ и пыхтѣлъ, какъ будто злился на кого, пузатый, гладко вычищенный самоваръ.

Предъ этимъ столикомъ, предъ самоваромъ, стоялъ стулъ. Сивцовъ сталъ смотрѣть на него, и вдругъ ему почудилось, что на этомъ стулѣ сидитъ молодая женщина въ розовомъ платьѣ, съ большими глазами, съ бѣлыми щеками.

Сивцовъ боязливо поднялся со стула и кликнулъ прикащика.

— Иди-ка чайку испить! выговорилъ онъ страннымъ голосомъ.

Ему стало такъ жутко, какъ еслибы какое привидѣніе почудилось ему въ горницѣ.

Усѣвшись за самоваръ и бесѣдуя о томъ какъ нынѣ надо въ торговлѣ ухо держать востро, какъ можно изъ-за одной гнилой колбасы влетѣть чуть не въ острогъ, Павелъ Сивцовъ все-таки бесѣдовалъ разсѣянно. Ему то тамъ, то сямъ, то въ углу горницы, то на подоконникѣ около него, то въ громадныхъ размѣрахъ, то въ крошечныхъ, на столѣ, на блюдечкѣ, въ верхочекъ величины, мерещилось все одно и то же: фигурка въ розовомъ платьѣ.

И Сивцовъ потиралъ себѣ лобъ.

Когда онъ легъ спать предъ полуночью, то вдругъ спросилъ самъ себя:

— А что коли спросить у отца-дьякона, кто это такая будетъ...

IX.

Петръ Сивцовъ тоже сталъ иначе смотрѣть на міръ Божій. И если его братъ смотрѣлъ на него съ крылечка лавки и находилъ, что все кругомъ обстоитъ хорошо и благополучно,

то Петръ Сивцовъ, наоборотъ, находилъ кругомъ себя все сѣрыми, даже черными.

Ему казалось, что нѣтъ счастливыхъ людей на свѣтѣ, а если попадаются счастливые люди и радостныя лица, то это непременно дураки. Умный человѣкъ не можетъ быть счастливъ.

Незамѣтно, не зная самъ съ какихъ поръ, студентъ Сивцовъ сталъ раздражителенъ. Все сердило его, иногда слегка, иногда приводило даже во гнѣвъ. Фасады великолѣпныхъ домовъ съ зеркальными стеклами сердили его, блестящія экипажи съ великолѣпными сытыми конями и въ особенности кучера, ревѣвшіе на него, какъ изъ бочки: „берегись“, бѣсили его. Генералы и вообще военные тоже производили на него странное впечатлѣніе. Военной формы онъ не могъ вынести. Чиновники въ картузахъ разныхъ вѣдомствъ заставляли его внутренно усмѣхаться. Ордена на военныхъ и статскихъ производили на него совершенно необъяснимое дѣйствіе.

Въ университетѣ у него было не болѣе трехъ или четырехъ товарищей, съ которыми онъ разговаривалъ. Судя по мундирамъ, полинялымъ воротникамъ, по недостающимъ кое-гдѣ пуговицамъ, по шинели, или пальто, обтрепанныхъ снизу, по ихъ угрюмымъ заботливымъ лицамъ и быстрой походкѣ— у нихъ было все то же, что и у Сивцова.

Были у него товарищи-франты, но съ ними онъ знакомъ не былъ, держался отъ нихъ въ сторонѣ. Они бывали любезны со своими товарищами, но въ ихъ любезности была какая-то особенность, какъ еслибъ они были не студенты, а инспектора, или благодѣтели. Верхнее платье свое они вѣшали у швейцара отдѣльно, на особой вѣшалкѣ. Эту вѣшалку давно кто-то прозвалъ: „сіятельской висѣлицей“.

Когда Сивцовъ былъ уже на третьемъ курсѣ, положеніе его нѣсколько улучшилось. Помимо временныхъ уроковъ онъ досталъ постоянный урокъ: преподавалъ русскій языкъ уже два года.

Этотъ постоянный доходъ, почти обезпеченный еще на годъ впередъ, позволилъ студенту Сивцову перестать мыкаться по разнымъ угламъ и квартирамъ: то у часовщика, то у сапожника, то у барыни-регистраторши съ дюжиной собаченокъ.

Теперь онъ нанималъ маленькую горницу въ концѣ длиннѣйшаго корридора. Это были меблированныя комнаты „Александрія“. Горница Сивцова раздѣлялась перегородкой. На

пространствѣ пяти съ небольшимъ аршинъ стоялъ диванъ, у котораго одна ножка была подломлена, и два кресла, изъ которыхъ у одного провалилось сидѣнье. Предъ ними орѣховый столъ, полинялый, весь въ пятнахъ, удивительно искусно ка-чавшійся. И уже мѣсяца четыре какъ студентъ каждый разъ, какъ долженъ былъ заниматься и писать, подкладывалъ подъ одну изъ короткихъ ножекъ свернутый газетный листъ.

За перегородкой помѣщалась кровать съ матрацемъ, кото-рый въ срединѣ былъ втрое тоньше, нежели по краямъ. Простыни, отпускавшіяся два раза въ мѣсяцъ, были тонки, какъ тафта, а одѣяло сѣрое, жесткое, прожженное въ одномъ углу Богъ вѣсть кѣмъ и когда, имѣло свойство своею щетиной впиваться въ укрывавшагося имъ сквозь простыню.

Въ этой горницѣ, помимо нѣсколькихъ книгъ и нѣсколькихъ тетрадей, не было почти никакихъ вещей. Въ углу, около кровати, стоялъ желтый чемоданъ, но онъ былъ на половину пустъ. Бѣлья у студента было мало.

Въ номерахъ у Петра Сивцова не было знакомыхъ. Только одинъ молодой человекъ, зеленолицый, со впалую грудью, жившій рядомъ съ нимъ, заходилъ къ нему иногда ласково попросить немножко чернилъ или перышко, или бумажки для письма тетенькѣ.

Петръ Сивцовъ поднимался рано, всегда черезъ силу, такъ какъ ложился поздно. И день его проходилъ на одинъ и тотъ же ладъ: между номерами, университетомъ и тремя уроками.

Сколько Павелъ Сивцовъ двигался на маломъ пространствѣ лавки, или сидѣлъ, столько же Петръ Сивцовъ бѣгалъ по Москвѣ. На лекціи онъ ходилъ усердно, но два раза, или три въ недѣлю ему приходилось пропускать лекціи ради уроковъ, вѣрнѣе ради ходьбы между ними.

Пообѣдавъ по дорогѣ гдѣ-нибудь, онъ давалъ послѣдній урокъ уже при свѣчахъ и тихою походкой возвращался домой. Здѣсь по обыкновенію, какъ и прежде, онъ, не зажигая свѣчки, садился на диванъ, съ той стороны, конечно, гдѣ не была надломлена ножка, и забывался на время — часъ и болѣе. Это была дремота нездоровая, даже болѣзненная. Какіе-то обрывки мыслей, желаній, заботъ роились въ головѣ, переходя въ сновидѣнія безсмысленныя и уродливыя.

Сивцовъ не ложился въ постель, потому что каждый разъ чувствовалъ, что проспать до полуночи, а то пожалуй

и до слѣдующаго дня, а между тѣмъ вечеръ надо было употребить съ пользой: просмотрѣвъ тетрадки своихъ учениковъ, иногда приготовиться на завтрашній урокъ, такъ какъ онъ давалъ одинъ урокъ—тригометріи, въ которой былъ самъ крайне слабъ.

Иногда хотѣлось прочесть книжку, которую досталъ у товарища, но книжка эта была большею частью не относящаяся къ юридическому факультету, ничего общаго съ нимъ не имѣющая. Иногда же книжка эта была изъ тѣхъ, что въ магазинѣ купить нельзя. На улицѣ о ней съ первымъ попавшимся разговаривать тоже нельзя.

За послѣднее время братья видались еще рѣже.

Лавочникъ не только не могъ, но и не желалъ уже отлучаться изъ лавки. Онъ зналъ по себѣ какъ легко обокрасть хозяина, хотя этого самъ никогда не сдѣлалъ ни на полушку, но не вѣрилъ своему прикащику. Лавочникъ почти ежедневно поминалъ брата и думалъ о томъ, какъ бы повидаться и отчего братъ не зайдетъ—стало не хотеть.

Петръ Сивцовъ точно также вспоминалъ о братѣ, но отправляться къ нему было далеко. Часто обѣщался онъ самъ себѣ послѣ университета и уроковъ отправиться непременно, но каждый разъ усталость брала верхъ, и онъ начиналъ мечтать о томъ, какъ придетъ и сядетъ на свой худой диванъ, чтобы немножко подремать.

Наконецъ однажды, въ большой праздникъ, студентъ, собравшись напиться чаю, увидѣлъ и вспомнилъ, что у него нѣтъ ни чаю, ни сахару.

— Пойду къ брату... И хорошее дѣло.

Черезъ часъ студентъ уже былъ въ лавкѣ. Братья обнялись и расцѣловались.

Павель Сивцовъ отдалъ два-три приказанія прикащику и мальчуганамъ и провелъ брата въ свою квартиру.

Тотчасъ же появился самоваръ, чай, а вмѣстѣ съ нимъ и сливки, лимонъ, карамельки, бублики, сайки и еще что-то такое въ коробочкѣ, чего студентъ никогда не видалъ.

Братья усѣлись у столика и молча стали глядѣть другъ на друга.

— Странная судьба обоихъ, сказалъ бы посторонній. — Были когда-то двое мальчугашекъ, Петька и Пашка, которыхъ всѣ сосѣди Федосѣя Сивцова принимали одного за другого и за близнецовъ: оба пухлые и румяные, кровь съ

молокомъ, оба шустрые, только одинъ совѣмъ пострѣль, а другой потише.

А теперь, спустя около двадцати лѣтъ, — одинъ въ русскомъ кафтанѣ на распахку и въ рубахѣ смотреть если не быкомъ, то телкомъ. Плотная грудь, толстыя руки, круглое лицо съ румянцемъ, который уходитъ даже подъ бороду и усы. А главные глаза этого упитаннаго телка будто говорятъ окружающему:

— Какъ я все люблю!

Другой въ сильно подержанномъ студенческомъ мундирѣ глядитъ сурово со впалую грудью, съ землястаго цвѣта лицомъ, съ ввалившимися слегка щеками. А главные усталые глаза, смотрящіе какъ изъ двухъ темныхъ щелей, будто говорятъ:

Я все презираю и не люблю.

— Ну, какъ поживаешь, Паша? Какъ дѣла идутъ? выговорилъ студентъ.

И вдругъ ему, правдивому человѣку, показалось, что онъ выговорилъ эти слова точь-въ-точь такъ же, какъ выговорилъ ихъ одинъ его товарищъ, франтъ и „сіятельный“, обратившись къ нему однажды съ тѣмъ же вопросомъ. Тотъ покровительственный и обидный тонъ, который взялъ тогда съ нимъ „сіятельный“ товарищъ, заставилъ Петра Сивцова смѣрить его съ головы до пятъ, сухо отвѣтить и отойти прочь.

И вдругъ онъ теперь тѣмъ же тономъ задалъ этотъ вопросъ родному брату.

За что? Почему? Что братъ — мужикъ, лавочникъ! А онъ кто? Пока онъ студентъ. Пока онъ все еще лѣзетъ и пролѣзаетъ въ ту дверь, про которую сказывалъ когда-то его отецъ... Въ эту сто разъ уже проклятую имъ дверь, которая отдѣляетъ мужика отъ барина. Дверь, за которою, какъ говорилъ отецъ, только одни господа и генералы.

Да, теперь онъ пока все еще лѣзетъ въ эту дверь, обломалъ руки, помялъ бока... Да это бы не бѣда, а помялъ мозги или натрудилъ ихъ. Надорвалъ разумъ и быть можетъ надорвалъ и душу. А иначе какъ же объяснить, откуда взялась та злоба на весь міръ Божій, которую онъ ясно, сильно ощущаетъ въ себѣ.

Да, пока онъ еще лѣзетъ. Ну, а когда онъ пролѣзетъ въ эту дверь, за нею чѣмъ онъ будетъ? Братъ Павелъ будетъ третьей гильдіи купцемъ... А онъ?!

X.

Было лѣто. Прохожіе и проѣзжіе мимо одной мелочной лавки невольно поглядывали на нее особенно внимательно.

Нѣкоторые прохожіе, старики, бабы и ребятишки останавливались и глазѣли. На мостовой лежала большущая, переломленная пополамъ вывѣска, старая, полинялая, а надъ лавкой сіяла новая съ золотыми буквами по черному фону. Нѣсколько рабочихъ укрѣпляли ее на мѣсто. Вывѣска гласила: *Торговля бикалейныхъ, колониальныхъ и иностранныхъ товаровъ П. О. Сивцова.*

Самъ Павелъ Ѳедосѣвичъ волновался: то ходилъ безъ дѣла по лавкѣ, то по квартирѣ шагаль изъ угла въ уголъ безъ дѣла, то выходилъ уже разъ въ двадцатый на улицу поглядѣть и прочесть мысленно: „Сивцова“.

„Вонъ оно какъ!“ думалось ему.

Иногда же ему просто думалось кратко:

— Да-а...

И сказавъ мысленно „да“, онъ снова возвращался въ лавку, или снова шель въ квартиру.

Долго не хотѣлъ новый хозяинъ снимать старую вывѣску.

Вообще Павелъ Сивцовъ смерть не любилъ ничего новаго, гораздо лучше все „какъ оно есть“. Но въ околоткѣ всѣ приставали къ нему:

— Что вывѣску не перемѣните?

И вотъ среди лѣта онъ заказалъ вывѣску, скопировалъ старую, только прибавилъ извѣщеніе объ иностранныхъ товарахъ, хотя никакихъ такихъ товаровъ у него не было. Товаръ былъ все русскій, хотя на половину и даже на три четверти съ иностранными наименованіями.

На другой день тѣ же приставатели, на половину покупатели его, стали говорить, что надо вывѣску спрыснуть. А пуще всего убѣждалъ въ этомъ г. квартальный надзиратель.

Павелъ Ѳедосѣевичъ еще съ той поры, что былъ мальчуганомъ на побѣгушкахъ, при пассивномъ содѣйствіи собственнаго вихра, позналъ науку, какъ жить съ властями.

Помнилъ онъ тоже хорошо и событіе въ лавкѣ еще при жизни покойнаго хозяина, когда у нихъ нашлось лисабонское вино изъ тѣхъ лозъ, которыя обрѣтались на Швивой горкѣ.

Но тогда, благодаря премудрому съ властями обхожденію покойнаго хозяина, все сошло съ рукъ.

Сосѣдняго лавочника за это лисабонское, по случаю внезапно приключившейся смерти какой-то купчихи, чуть было подъ судъ не уекли. А лисабонское со Швивой горки изъ ихъ лавки только приказано было ночью вывезти и потопить въ Москвѣ-рѣкѣ. Самъ же г. квартальный помогаль въ этомъ потопленіи.

Разумѣется, теперъ лавочникъ Сивцовъ старался точно также угождать властнымъ міра сего въ своемъ кварталѣ. Онъ было не хотѣлъ спрыскивать вывѣску, но пришлось—нельзя отставать отъ людей.

На другой день послѣ того что вывѣска засіяла надъ лавкой, въ горницахъ квартиры Павла Ѳедосѣвича собрались гости, и гости, все важные. Тутъ были: приходскій батюшка и отецъ-дьяконъ. Былъ, конечно, самъ г. квартальный съ супругой и племянницей, былъ одинъ чиновникъ изъ межевыхъ, былъ главный кучеръ одного свѣтлѣйшаго князя. Былъ почетный гость—купецъ Голубоглазовъ—хозяинъ сосѣдняго трактира. Были и такіе же, какъ Сивцовъ, „хозяева“. Кромѣ того, были еще разныя лица изъ околodka: зеленщикъ, цирюльникъ, музыкантъ изъ театра, игравшій на литаврахъ. Были и разныя гости, но опредѣлить ихъ общественное положеніе было мудрено. Всѣ онѣ были въ платочкахъ, за исключеніемъ одной—въ шляпкѣ.

Въ горницахъ Павла Ѳедосѣвича было еле возможно двинуться. Пиръ вышелъ такой, что внизу, въ лавкѣ, покупатели едва могли добиться толку. Одному изъ нихъ въ этотъ день вмѣсто свѣчей отпустили пастилы, а другому—вмѣсто кievской наливки—прованскаго масла.

Въ числѣ гостей былъ одинъ, отличавшійся отъ прочихъ только своимъ внѣшнимъ видомъ. Всѣ гости были веселы, а вскорѣ были и навеселѣ, а этотъ гость сидѣлъ мрачный и только на всѣхъ тоску наводилъ. Онъ не важничалъ, а ужъ очень косился, да изподлбья поглядывалъ.

Гость этотъ былъ братъ хозяина—студентъ Сивцовъ.

Кое-кому онъ успѣлъ „сдѣлать непріятность“.

Батюшка спросилъ у брата хозяина:

— Вы по какому изволите проходить?

— Одно существительное и существенное, батюшка, отсутствующее въ вашемъ вопросѣ, мѣшаетъ мнѣ вамъ отвѣчать.

Священникъ сначала не сообразилъ, удивился, а потомъ, понявъ, не счелъ долгомъ снова переспрашивать. „Вишь какой важный!“ подумалъ онъ. „Братъ лавочника, а туда же духовному лицу наровить дерзостью отвѣтить“.

Одна изъ гостей спросила у студента, гдѣ у него сабля и зачѣмъ онъ въ гости безъ сабли пришелъ.

Сивцовъ желчно разсмѣялся, хотя вопросъ этотъ его несколько не разсердилъ, а только потѣшилъ, но у него смѣхъ былъ всегда одинъ и тотъ же, даже противъ воли.

Другой гость спросилъ у Сивцова, сколько наукъ проходятъ въ „новеститетѣ“.

Сивцовъ отвѣчалъ сухо:

— Только двѣ науки проходятъ. Первая наука заключается въ томъ, чтобъ узнать, что ничего знать нельзя. А вторая наука заключается въ томъ, чтобы знать напередъ, когда выучишься, то жрать будетъ нечего.

Квартальный надзиратель, услышавшій про эти двѣ науки, покосился на Сивцова и спросилъ, все ли обстоитъ благополучно въ университетѣ.

Сивцовъ взглянулъ на этого гостя своего брата совсѣмъ другими глазами, чѣмъ смотрѣлъ на всѣхъ остальныхъ.

— Если вы не ввяжетесь, такъ все вѣки-вѣковъ будетъ благополучно, отвѣтилъ онъ рѣзко.

— Виновать-съ, господинъ... извините, не знаю какъ по имени и отчеству? сказалъ полицейскій.

— Петръ Ѳедосѣевъ.

— Извините, Петръ Ѳедосѣевичъ, но полицейскіе чины, такъ-сказать, или иносказательно выразиться, „въ чужомъ пиру похмѣлье терпятъ“. Вотъ послѣдній разъ, что намъ было изъ-за васъ всякихъ непріятностей! У меня начальство смѣнили и замѣстили лицомъ совсѣмъ неподходящимъ.

— Напрасно! отозвался Сивцовъ. — Я бы всѣхъ уволилъ въ отставку и никѣмъ бы не замѣстилъ.

— Это по полициѣ-то! воскликнулъ квартальный.

— Нѣтъ, зачѣмъ по полициѣ... Вообще.

— Какъ, то-есть, позвольте узнать—вообще?

Но Сивцовъ не отвѣтилъ и впутался безо всякаго повода въ разговоръ отца-дьякона съ чиновникомъ изъ межевыхъ.

— Позвольте вамъ замѣтить, отецъ-дьяконъ, произнесъ онъ вызывающимъ образомъ,—что астролябія не пушка. Пушку „нацѣливаютъ“ или наводятъ на неурядителя...

— Я совсѣмъ не объ этомъ-съ... конфузливо отозвался отецъ-дьяконъ и подумалъ:

„Ишь вѣдь какой злючій, такъ на всѣхъ и швыряется!“

XI.

Студентъ Сивцовъ не долго смущалъ пированіе гостей своего брата. Онъ поднялся и вышелъ въ лавку съ цѣлью итти домой. Но здѣсь, въ маленькой горенкѣ около лавки, гдѣ когда-то сиживалъ онъ съ братомъ, онъ опустился на стулъ и задумался.

„Отсталъ, думалось ему. — Да, отсталъ! Да и вороны ли они? А къ павамъ не присталъ! Да и павы ли они? А что если и тѣ и другіе вороны! А павы тамъ, въ глуши, за сохой, въ курныхъ избахъ? Что за дикое положеніе! Какъ скверно, душно было сейчасъ тутъ съ этимъ лохматымъ въ букляхъ пастыремъ и съ этимъ дилипутомъ-инквизиторомъ и со всею этою сволочью. Но сволочь ли это? Почему? За что? Что ты отъ нихъ ушелъ Петръ Сивцовъ—въ этомъ сомнѣнія нѣтъ! Но куда ты ушелъ, самъ не знаешь. Вѣдь ты еще куда не пришелъ, да и придешь ли куда? Развѣ нѣсколько дней тому назадъ не было то же самое? Развѣ не было точно такъ же гадко, такъ же душно и такъ же скверно на душѣ въ гостиной г-жи Рубцовой, именующей себя на визитныхъ карточкахъ и на мѣдной доскѣ крыльца генераль-лейтенантшей. Развѣ тамъ разные просвѣщенные люди, одинъ тайный совѣтникъ, одинъ директоръ какой-то дирекціи, одинъ князь съ самымъ затасканнымъ именемъ, развѣ они не говорили вещей въ миллионъ разъ противнѣе тѣхъ, что сейчасъ болтали здѣсь гости брата. Развѣ они не истинная сволочь? Такъ гдѣ же люди? Они несомнѣнно есть, но цѣлаго общества людей нѣтъ. Есть на свѣтѣ общество перемѣшанное изъ людей и животныхъ. Сейчасъ далъ себѣ слово никогда болѣе не попадать въ такое общество, какъ собралось у брата, а въ тотъ разъ далъ себѣ слово никогда не ворочаться на вечера генеральши Рубцовой и давно уже далъ себѣ слово тотчасъ послѣ лекцій бѣжать изъ аудиторіи, не вступая въ бесѣду ни съ кѣмъ изъ товарищей. Стало-быть я отставшій якобы отъ воронъ... Не присталъ ни къ кому. Да, какъ хочешь верти и разсуждай, а ты пятое колесо“.

Раздумье студента Сивцова было прервано. Кто-то тронуль его за плечо. Онъ подняль голову и увидаль брата.

— Что жъ ты, Петя, ушелъ?

— Такъ... Голова болить. Домой пора...

— Что ты! Богъ съ тобой! Стыдно, Петя... Я нонѣ вывѣски крестины дѣлаю. Ты бы долженъ быть по настоящему, что называется, крестнымъ отцомъ, первый бы долженъ былъ выпить. А ты домой бѣжишь...

— Голова болить...

— Нѣту, Петя, не лги... Не дуракъ я... Голова у тебя не болить, а видишь ты, что я мужикъ; каковъ былъ, таковъ и остался. Мѣщанинъ московскій, а все-таки мужикъ, еле-еле свою вывѣску по складамъ разбираю. А ты вотъ со всѣмъ баринъ. Положимъ, что у меня тамъ на верху тоже четыре господина не хуже тебя. Г. квартальный хоть и не баринъ, а все-таки не простой человекъ. Вотъ тебѣ, якобы и зазорно съ нами быть, а то по истинѣ сказать можно и просто скучно.

— Правда, Паша, скучно... Отпусти! Я лучше въ другой разъ приду просто чаю напитокся.

— Ну, какъ знаешь! вздохнулъ Павелъ Оедосѣичъ. — А будешь уходить, прихвати вотъ тутъ... Вязаночка.

— Что такое?

— Пригодится... Не тяжело... Всего фунтовъ пятнадцать, двадцать. А тяжело—извозчика найми.

— Да что такое?

— Да я приказаль тебѣ отвѣсить про обиходъ, сахару, да и чаю, да еще кое что.

— Нѣтъ, спасибо, братъ, не нужно. У меня есть.

— Да вѣдь то покушное, Петя, а это—даровое.

— Не нужно мнѣ...

— Это что же такое? Отъ брата родного...

— Это все равно. Я подачекъ не люблю.

— Что ты! Богъ съ тобой! Это же отъ всей души. Вѣдь намъ оно не въ ту цѣну, что вамъ. Мы вѣдь оптомъ получаемъ, а вы—въ розницу.

— Нѣтъ, спасибо. Уволь, Паша. Будеть нужда крайняя, я лучше у тебя взаймы попрошу рублей двадцать пять, а то и пятьдесятъ. Бываетъ иной разъ туго...

— Сдѣлай милость! воскликнулъ Павелъ Оедосѣичъ, полѣвъ было въ боковой карманъ, но вспомнилъ, что у него

тамъ только двѣ сотенныя бумажки, и двинулся было къ выручкѣ.

— Да не теперь... Теперь не надо, Паша. Когда нужно будетъ...

— Сдѣлай милость, остановился лавочникъ на порогѣ. — Чего другого, а эдакія деньги у насъ всегда есть. Слава Богу, мѣсто насиженное! До ста рублей въ день, бываетъ, набирается.

— Да, уроками этого не раздобудешь, улыбнулся Петръ Сивцовъ.

— Кончишь ученье, бариномъ станешь и деньги будутъ, разсмѣялся Павелъ.

— Нѣтъ, Паша. Нынѣ баре и деньги разсорились.

Въ сумерки, въ горницахъ при лавкѣ стало тихо, а въ самой лавкѣ покупатель уже не получалъ пастилу вмѣсто свѣчей.

Гости разошлись. Въ квартирѣ послѣ всѣхъ остались, и то всего на полчаса времени, отецъ діаконъ и одна пожилая вдова, повязанная платкомъ, сестра приходскаго дьячка, женщина со средствами, имѣвшая свое бахромное заведеніе въ околоткѣ. Отецъ діаконъ и бахромщица Матвѣевская умышленно пересидѣли всѣхъ гостей. У нихъ были виды на хозяина. И какъ только они остались съ глазу на глазъ съ Сивцовымъ, то отецъ дьяконъ вздохнулъ и выговорилъ якобы совершенно случайно... вдругъ ему на умъ пришло.

— Да, все хорошо, Павелъ Ѳедосѣичъ, все прекрасно, а вотъ одного нѣту тутъ... И великій недостатокъ въ этомъ мною сегодня примѣченъ.

— Что такое? встревожился Сивцовъ. — Знаю. Сладкое пирожное плоховато было. Что дѣлать? Не дома дѣлано... Въ кондитерской заказалъ. Обѣщали блинъ-манже, а вышелъ-то...

— Нѣту, нѣту! Совсѣмъ не то, прервалъ дьяконъ. — Въ хозяйкѣ недостатокъ. Такъ ли я сказываю, Анна Ивановна?

Вдова бахромщица согласилась съ мнѣніемъ отца дьякона и начала воспѣвать одну дѣвицу въ ихъ околоткѣ.

Отецъ—коллежскій секретарь, на Пасху получилъ награду денежную, а чрезъ годъ крестъ „обязательно получить“. Матери совсѣмъ нѣту. Сестеръ и братьевъ куча. Да это что жъ? До человѣка, который на ней женится, дѣло не касается. Дѣвица Марья Назаровна „въ самой порѣ“. Восемнадцатый годокъ пошелъ. Изъ себя красавица.

— А вотъ ужъ лѣтомъ, подъ зонтикомъ — просто чудеса! закончилъ дьяконъ.

Павель Ѳедосѣичъ улыбался, смущался, краснѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ, отшучивался на всѣ лады, даже на стулъ вертѣлся такъ, что стулъ скрипѣлъ. Отъ этой бесѣды его какъ-то нудило. А можетъ быть и отъ всего съѣденнаго и выпитаго.

Цѣлыхъ полчаса продолжалась блокада. Подъ конецъ дьяконъ пошелъ было на штурмъ, но Павель Ѳедосѣичъ такъ оробѣлъ, что прикинулся, будто что-то въ лавкѣ неблагополучно и шарикомъ выкатился изъ горницы.

Долго просидѣли гости наверху и ради благоприличія должны были выйти въ лавку. Они порѣшили между собой, что на первый разъ довольно. При случаѣ, въ другой разъ будутъ дѣйствовать рѣшительнѣе, а пока надо послать отвѣтъ Назару Ивановичу, что дѣло обстоитъ благополучно, потому что Павель Ѳедосѣичъ—человѣкъ мягкій и одинокій.

— Вотъ только этотъ азартный студентиска пожалуй напакостить! смущался отецъ дьяконъ.

ХII.

Съ этого дня Павель Ѳедосѣичъ въ свободную минуту началъ задумываться.

Удивительное дѣло! Когда онъ былъ прикащикомъ при покойномъ хозяинѣ, никто эдакихъ рѣчей съ нимъ не вель. Когда въ горницахъ жила вдова хозяина, а у него была одна горница, тоже съ нимъ объ эдакихъ матерiяхъ не заговаривали. Да и самому ему не приходило на умъ. А теперь будто всѣ въ заговоръ вошли... И не то, что отецъ дьяконъ, или г. квартальный, а даже на что ужъ дохлая старушонка, что ходитъ въ лавку только за уксусомъ, да за подсолнухами, и та какъ-то разъ ни съ того ни съ сего пожаловалась: „на улицѣ очень жарко, а Павлу Ѳедосѣичу слѣдъ бы супружницей обзавестись“.

Каждый вечеръ, заперевъ лавку, сосчитавъ выручку, напившись чаю и помолившись Богу, Павель Ѳедосѣичъ бродилъ по горницамъ своимъ минутъ по десяти, а потомъ уже ложился спать. А какъ только голова была на подушкѣ, такъ его лукавый начиналъ смущать.

Ужь чего, чего ни нашептываль ему лукавый въ оба уха, всего и не перескажешь. Да всего и понять было нельзя! Случалось даже во снѣ иной разъ кто-то, а можетъ и опять-таки „онъ“ же, такъ толканеть Сивцова въ бокъ, что тотъ вскочить и сядетъ на постели. Иной разъ перекрестится, иной разъ плюнетъ.

И вдругъ однажды, въ праздничный день, около полудня, когда покупатель шелъ мало, а на улицѣ было тихо, пустынно, душно... Павелъ Ѳедосѣичъ вдругъ сталъ искать свою шапку. А это было дѣло нелегкое... Онъ такъ рѣдко отлучался, что когда случалось выйти, то мальчуганы искали его шапку по всѣмъ горницамъ. Шапка нашлась нескоро...

Павелъ Ѳедосѣичъ оглядѣлъ картузь, черный суконный съ иголки свой новый кафтанъ, надѣтый ради праздника, оглядѣлъ сапоги... Все въ порядкѣ. А сапоги такъ даже сіяютъ и пахнутъ на сто верстъ кругомъ.

И онъ вдругъ шаркнулъ изъ лавки такъ, какъ если бы двинулся разразить врага какого... Даже прикащикъ и мальчуганы рты разинули.

„Бить, что ли, кого пошелъ?“ подумали они.

А иной бы подумаль, что по праздничному разодрѣтый купецъ прямо шаркнулъ къ Москвѣ-рѣкѣ топиться.

Да и можно было подумать это, если не по лицу купца, бѣлаго и румянаго, то по его глазамъ. Глаза Павла Ѳедосѣича и бѣгали, и прыгали, и таращились, а то принимались мигать, какъ отъ слезы.

Пройдя шаговъ двѣсти, завернувъ за уголъ, Сивцовъ пошелъ медленнѣе, вздохнулъ нѣсколько разъ и началъ оглядываться.

„А ну, увидятъ?!“ подумаль онъ.

Пройдя переулокъ, онъ завернулъ въ другой и опять сталъ озираться.

— А ну, увидятъ?! уже вслухъ проговорилъ онъ.

И Сивцовъ боялся до страсти, что кто-нибудь его здѣсь встрѣтитъ.

А пошелъ онъ совершать такое, что если его увидятъ— бѣда! Совсѣмъ-таки бѣда! Просто тогда и не выцарапаешься!.. Какъ куръ во щи угодишь. На себя тогда и пеняй!

Завернувъ еще въ переулокъ, Сивцовъ остановился. Дыханіе въ груди немного сперлось. Онъ былъ сильно взволнованъ. Простоявъ нѣсколько мгновений, онъ рѣшилъ не глупить, а итти обратно „на лѣво кругомъ маршъ“— домой.

Но послѣ припадка трусости явился припадокъ чувства собственнаго достоинства, собственной правоты и собственнаго права.

„Почему же я не могу гулять по этой улицѣ, коли это мнѣ желательно?“, важно подумалъ про себя Павелъ Сивцовъ. „Всякій тутъ ходить, ну и я вотъ пойду... Да и не то, что пройду разъ, а и назадъ пойду... Да хоть три раза пройду“...

И подумавъ, онъ прибавилъ:

„Ну, нѣтъ, братецъ! Три-то раза ужъ это будетъ срамоту разводитъ по всему кварталу. А одинъ разъ всякій можетъ“...

И Сивцовъ тихо двинулся по переулку, искоса поглядывая налѣво.

А налѣво стоялъ маленькій домикъ, выкрашенный лиловою краскою, полинявшею отъ времени. Около дома за заборомъ виднѣлись кусты маленькаго садика. Окна домика были раскрыты настежь.

Сивцовъ, двигаясь, все замедлялъ шаги. Онъ зналъ на вѣрное, что у угольнаго окна, какъ сказываютъ всѣ знающіе, день-деньской сидитъ за работой, вышивая по полотну, то самая „она“... Марья Назаровна Быстроумова.

Домикъ этотъ принадлежитъ чиновнику Быстроумову. Въ немъ въ пяти, шести горницахъ помѣщается душъ пятнадцать, считая братьевъ и сестеръ дѣвѣицы — есть и шестнадцатилѣтніе, есть и одинъ полутораговой.

Павелъ Федосѣичъ, знавшій у какого окошка ежедневно сидитъ Марья Назаровна, вдругъ рѣшился пойти поглядѣть на нее. Давно уже собирался онъ сдѣлать это, да все обманывалъ себя и надувалъ всячески, увѣряя, что время неподходящее. А сегодня ради праздника, ради новаго платья, да и ради безпкойной ночи, рѣшился онъ пройти мимо дома и глянуть хоть однимъ глазкомъ на ту, что „подъ зонтикомъ — просто чудеса!“

И вотъ теперь трусливо двигается Сивцовъ и уже поравнялся съ домомъ. Храбро глядѣлъ онъ на окошки дома, пока не поравнялся съ нимъ, а какъ только увидалъ онъ ихъ, всѣ растворенныя, будто на него взирающія черезъ улицу, будто какіе большіе темные глазищи съ большими торчащими вѣками, такъ сразу вдругъ страхъ напалъ на него.

Тихо двигаясь и косясь на окна, онъ поравнялся съ послѣднимъ окошкомъ, угловымъ...

А въ немъ за двумя горшками гѣрани показалась бѣлокурая, гладко причесанная головка, наклоненная надъ бѣлоуработой...

Павель Сивцовъ засопѣлъ, вдругъ прибавилъ шагу и очнулся вполнѣ только въ концѣ переулка. Если бы теперь дали ему сто тысячъ, чтобъ онъ второй разъ прошелъ мимо дома Быстроумова, то онъ лучше бы побѣжалъ топиться въ Москву-рѣку.

Давши большой кругъ, чуть не версту крюку, Сивцовъ вернулся въ лавку, но вернулся уже другимъ человѣкомъ. Прикащикъ и мальчуганы, поглядѣвъ на хозяина, сразу поняли:

„Совершилъ что-то удивительное хозяинъ. Или здорово вздулъ кого-нибудь. Или денегъ много получилъ—долгу стараго съ какого-нибудь покупателя. Или домъ, что ли, ходилъ торговать и задатокъ далъ. Но ужъ что-нибудь особенное да совершилъ хозяинъ!“

Павель Сивцовъ былъ полонъ чувства собственнаго достоинства. Онъ зналъ теперь, что онъ „человѣкъ отважный...“ на всякое дѣло его хватить.

Вотъ захотѣлъ пройти мимо дома Быстроумова и прошелъ! Захотѣлъ ее повидать и видѣлъ!

— Ну, а потомъ что же? спрашивалъ онъ себя по дорогѣ и спросилъ теперь, очутившись у себя въ лавкѣ. А потомъ уже совсѣмъ неизвѣстно чему быть... Первое дѣло, хотѣлось бы толкомъ еще разочекъ повидать, а то за этими треклятыми цвѣтами только и видѣлъ что проборъ на головѣ.

„Но только одно скажу, думалось Павлу Федосѣичу, положивъ руку на сердце, одно скажу: тутъ божеское указанище есть! Судьба! Не даромъ она мнѣ все представлялась въ розовомъ платьѣ... Такъ оно и есть! Почему не представлялась она въ зеленомъ, что ли, въ желтомъ, въ черномъ... Все, бывало, прыгаетъ повсюду въ розовомъ. И по стульямъ, и по столамъ... Въ чайной чашкѣ разъ видѣлъ ее. Малюсенькую, будто навожденіе. И все въ розовомъ. Такъ вотъ оно и есть! Въ розовомъ платьѣ она и сидитъ. Да... Удивительныя дѣла бывають на свѣтѣ! Волю Божью человѣку нельзя...“

— Восьмушку чая, да на пятакъ синьки! разбудилъ лавочника тоненькій голосокъ дѣвченки, вошедшей въ лавку.

XIII.

Черезъ нѣсколько дней послѣ пиршества у лавочника, о которомъ у студента Сивцова осталось самое дикое воспоминаіе, съ нимъ случилось совершенно неожиданное.

Однажды около полудня явился въ номера ливрейный лакей, спросилъ студента Сивцова, затѣмъ вошелъ къ нему въ горницу и нашелъ его на диванѣ предъ самоваромъ.

Это былъ не лакей, а сановникъ въ ливреѣ: высокій, плечистый, съ неподобными художественными бакенбардами, низко висѣвшими на плечахъ по широкому позументу воротника, и съ дивнымъ проборомъ, среди гладко причесанной черной головы. Сознаніе важности своего общественнаго положенія и вообще какое-то благочиніе и даже благолѣпіе во всей этой фигурѣ сразу заставило студента Сивцова открыться.

Онъ положительно со дня своего рожденія ничего подобнаго не видѣлъ и предполагать не могъ. Онъ даже въ эту минуту не могъ понять и вполнѣ анализировать удивительное и диковинное сочетаніе лакейской ливреи съ такимъ достоинствомъ.

— А дѣвушка сказываетъ: дома нѣтъ, выговорилъ онъ, остановясь близъ двери, такимъ голосомъ и съ такимъ жестомъ, что Сивцову пришла на умъ гдѣ-то вычитанная фраза короля французскаго, сказавшаго испанскому послу: *J'ai failli attendre.*

Онъ окинулъ быстрымъ взглядомъ всю горницу отъ проваливагося кресла до чемодана, и лицо его сказало:

— Ну да, конечно.

Затѣмъ уже онъ медленно снялъ шляпу съ позументомъ и кокардой и, держа ее предъ грудью, выставилъ правую ногу впередъ и произнесъ холодно:

— Вы г. студентъ Сивцовъ?

— Да! насколько могъ только грубѣе выговорилъ Сивцовъ. — Что тебѣ? прибавилъ онъ черезъ силу и почувствовалъ, что слегка поперхнулся.

Ливрейный лакей на одно мгновеніе прищурился на студента и выговорилъ нѣсколько небрежнѣе:

— Генеральша Рубцова проситъ васъ пожаловать къ нимъ немедленно.

— Доложи генеральшѣ, что мнѣ некогда. Какъ-нибудь въ свободное время зайду.

— Имъ необходимо васъ видѣть по дѣлу.

— Что дѣлать... не могу.

— Извольте видѣть, насколько мнѣ извѣстно, дѣло до васъ касающееся. Вамъ мѣсто выходить...

— Что-о... невольно протянулъ Сивцовъ.

— Двоюродный братецъ генеральши г. Калитинъ желаютъ имѣть учителя на лѣто изъ студентовъ. Генеральша за вами меня и прислала. Ея превосходительство приказали мнѣ на случай, если вы... Если вы, повторилъ онъ,—по своему разсудите, то чтобы вамъ оное все разъяснить.

Сивцовъ сидѣлъ на диванѣ недвижно. Неожиданное предложеніе смутило его. Онъ забылъ сразу все благочиніе бакенбардъ, пробора и даже выставленной ноги сановника въ ливреѣ и думалъ о томъ, что отвѣчать на предложеніе.

Еще вчера онъ не зналъ, что будетъ дѣлать цѣлое лѣто среди Москвы, въ духотѣ, безъ всякихъ занятій, безъ уроковъ, а слѣдовательно безъ средствъ къ жизни. Два мѣста, которыя онъ могъ имѣть, были совершенно неподходящими.

Его бралъ на лѣто къ себѣ на дачу владѣлецъ четырехъ портновскихъ магазиновъ, еврей съ цѣлымъ пріютомъ дѣтей; при этомъ онъ предлагалъ уголь въ комнатѣ, гдѣ должны были вмѣстѣ съ нимъ спать пять мальчугановъ отъ восемнадцати до десятилѣтняго возраста.

Другое предложеніе, отъ котораго онъ отказался, было еще хуже. Барыня шестидесяти лѣтъ, но еще бодрая, хохлушка, изъ Екатеринославской губерніи, приглашала его въ деревню въ качествѣ лектора. На вопросъ Сивцова, что онъ будетъ читать и въ какіе часы, барыня объявила, сладко улыбаясь, что тамъ на мѣстѣ видно будетъ, а то и такъ они безъ чтенія обойдутся.

Рѣшивъ вопросъ, что надо поневолѣ оставаться въ Москвѣ, Сивцовъ былъ все-таки озабоченъ и раздраженъ. И вдругъ этотъ сановникъ и даже болѣе... нѣчто въ родѣ Юлія Цезаря въ ливреѣ, явился, изображая собой манну небесную.

— Скажите генеральшѣ, что я буду, выговорилъ наконецъ студентъ, уже не рѣшаясь говорить: скажи.

— Когда? тихо спросилъ лакей.

— Да сейчасъ, вслѣдъ за... и нѣсколько сконфузившись, Сивцовъ прибавилъ:—за вами.

Черезъ нѣсколько часовъ студентъ Сивцовъ уже вернулся домой. Войдя въ номеръ и случайно увидя свою физиономію въ небольшое, закоптѣлое и загаженное зеркало, онъ удивился, пріостановился и снова взглянулъ на себя.

Ему показалось, что лицо его вдругъ измѣнилось... Оно было менѣе желто, въ немъ было болѣе жизни, чѣмъ обыкновенно. Онъ, Петръ Сивцовъ, какъ будто весело улыбался, а этого съ нимъ никогда не случалось. Эдакого порока за нимъ замѣчено не было.

А дѣло объяснялось просто. Студенту Сивцову уже давнымъ давно такъ рѣдко случалось быть довольнымъ своею судьбою, что малѣйшій поворотъ фортуны въ его пользу производилъстрое, неотразимое дѣйствіе на весь организмъ.

Онъ уже побывалъ у генеральши Рубцовой. У нея получилъ адресъ г. Калитина, остановившагося въ лучшей московской гостиницѣ.

Ожидая въ нумерной гостиной выхода этого Калитина изъ его спальни, студентъ заранѣе нарисовалъ себѣ въ воображеніи фигуру воронежскаго помѣщика лѣтъ пятидесяти, богатаго землевладѣльца, почетнаго мирового судью, кандидата въ предводители. Почему-то онъ представлялся Сивцову средняго роста, очень толстымъ, лысымъ, обрюзглымъ, крайне важнымъ и совершенно неотесаннымъ умственно.

Но черезъ нѣсколько минутъ вышелъ къ студенту господинъ, показавшійся ему сразу лѣтъ тридцати на видъ. И только присмотрѣвшись, онъ увидѣлъ, что ошибается.

Калитинъ былъ человѣкъ уже за пятьдесятъ лѣтъ, но довольно густые волосы, съ легкою просѣдью, завивавшіеся на головѣ, и лицо, тщательно выбритое кромѣ усовъ, съ темно-синеватымъ отливомъ—молодили его.

Калитинъ удивилъ нѣсколько Сивцова.

Это былъ совершенная противоположность со вчерашнимъ важнымъ лакеемъ. Ни тѣни благочинія не было въ этомъ человѣкѣ. Онъ весь былъ одни нервы. И все было въ немъ быстро и какъ бы необдуманно. Онъ быстро двигалъ глазами, которые бѣгали изъ стороны въ сторону, сопровождалъ каждое слово быстрыми рѣзкими жестами, чрезвычайно быстро говорилъ, даже тараторилъ, когда приходилось сказать нѣсколько фразъ заразъ. Онъ быстро поднимался съ мѣста, перебѣгалъ черезъ горницу, хватался за три вещи прежде, чѣмъ взять ту, которая была нужна. При этомъ онъ какъ бы постоянно

думаль о чемъ-то постороннемъ. Изрѣдка онъ упирался глазами въ потолокъ и начиналъ говорить еще быстрее.

Но болѣе всего поразило Сивцова то, о чемъ пришлось говорить. Еслибы Калитинъ былъ студентомъ и сказалъ бы въ аудиторіи хоть четверть того, что сказалъ онъ теперь у себя въ номерѣ, то, конечно, начальство университетское тотчасъ же исключило бы его, или передало въ вѣдѣніе полиціи.

Съ первыхъ же словъ Калитинъ объяснилъ студенту, что онъ крайне радъ съ нимъ познакомиться, много о немъ слышалъ отъ г-жи Рубцовой, чего, конечно, быть не могло. Затѣмъ онъ объяснилъ, что у него два сына гимназиста: одинъ II, другой V класса, съ которыми надо заниматься лѣтомъ изъ всѣхъ предметовъ, но легко, чтобы только не забыли самага необходимаго.

Затѣмъ Калитинъ объяснилъ Сивцову, что помимо двухъ мальчиковъ у него дочь, дѣвушка, уже выѣзжающая въ свѣтъ, болѣзненная жена и отецъ шестидесятипятилѣтній старикъ. И какъ бы вскользь, но съ малѣйшими подробностями, Калитинъ передалъ, какъ нѣчто совершенно неинтересное, пустую мелочь, что отецъ его бывшій декабристъ, а онъ самъ родился въ Иркутскѣ.

Студентъ Сивцовъ сидѣлъ, слушалъ Калитина и былъ подъ какимъ-то страннымъ впечатлѣніемъ. Онъ окончательно не могъ сказать себѣ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло и ѣхать ли на цѣлое лѣто къ этому человѣку.

То казалось ему семейство Калитиныхъ находкой, самъ г. Калитинъ прелестнѣйшимъ и симпатичнѣйшимъ человѣкомъ, то вдругъ чудилось ему, что этотъ Калитинъ и даже оба они вмѣстѣ, сидя здѣсь глазъ на глазъ, обманываютъ и нахально надувають кого-то третьяго. Однако на вопросъ, согласенъ ли онъ, Сивцовъ отвѣчалъ:

— Съ полною готовностью!.. Готовъ служить.

Условившись о днѣ выѣзда, Калитинъ тотчасъ пригласилъ студента позавтракать вмѣстѣ съ нимъ въ ресторанѣ гостиницы. Сивцовъ отказывался всячески, но Калитинъ настойчиво просилъ и чуть не насильно стащилъ его съ собою въ нижній этажъ, гдѣ помѣщался ресторанъ.

Они усѣлись за маленькимъ столикомъ, который показался Сивцову опрятнымъ и щегольскимъ до тошноты. Даже салфетки на тарелкахъ лежали, изображая не то какихъ-то пѣтушковъ, не то звѣздочки.

Калитинъ, выпивъ три рюмки водки, закусивъ и затѣмъ вскорѣ, послѣ перваго же блюда, выпивъ полбутылки краснаго вина, оживился, заговорилъ еще быстрѣе, но тихо, шполголоса.

На все, что говорилъ Калитинъ, студенту Сивцову не приходилось и отвѣчать. Это были его собственныя мысли. Изрѣдка, когда онъ вставлялъ два-три слова, которыя сугубо усиливали положенія Калитина, то этотъ моментально соглашался.

Сивцовъ вернулся домой въ полномъ восторгѣ отъ новаго знакомаго.

— Вѣдь вотъ есть же люди на свѣтѣ! съ пріятнымъ чувствомъ на сердцѣ повторялъ онъ. Сидишь вотъ тутъ въ своей дырѣ, ни съ кѣмъ не знакомишься и воображаешь, что людей нѣтъ. Есть они! Положимъ, что это исключеніе и замѣчательное... Вѣдь это человѣкъ родившійся въ Сибири. У декабриста не могло и быть другого сына.

XIV.

Наканунѣ назначеннаго къ отъѣзду дня студентъ Сивцовъ, уже получившій пятьдесятъ рублей въ видѣ задатка, справилъ кое-какія дѣла и заѣхалъ къ брату проститься.

Онъ нашелъ лавочника въ горницахъ за чаемъ съ какою-то пожилою женщиною.

Женщина встала и отрекомендовалась сама въ качествѣ новой знакомой Павла Федосѣича. Она назвала себя Дарьей Ивановной Матвѣевской.

Студентъ Сивцовъ не нашелъ ничего удивительнаго въ томъ, что братъ пьетъ чай съ женщиною, а между тѣмъ Павелъ стоялъ, какъ потерянный, покраснѣлъ при его появленіи и оставался пунцовымъ до ушей. Судя по глазамъ его, можно было подумать, что онъ только-что обокралъ кого-нибудь и пойманъ на воровствѣ. Онъ почти не понималъ того, что студентъ говорилъ ему:

— Уѣзжаю на цѣлое лѣто... Проститься пріѣхалъ.

— Да... Да... Что же?... Дѣло, отзывался Павелъ.—Хорошее дѣло... Вотъ такъ...—Чайкомъ пробавляемся... По дороге они зашли... Купить... Да. Вотъ пробавляемся...

„Что съ нимъ такое? подумалъ студентъ Сивцовъ. Ужъ

не началъ ли онъ пить. Да врядь ли! Совсѣмъ не похоже... Павелъ человѣкъ порядливый“.

Онъ выпилъ стаканъ чаю, приглядываясь къ брату и къ женщинѣ и, видя, что не только Павелъ, но и она смущены его присутствіемъ, поскорѣе поднялся, расцѣловался съ братомъ и пошелъ изъ лавки.

Павелъ Ѳедосѣвичъ снова нагналъ студента на улицѣ.

— Петя, погоди... постой! Ты что жъ это. И вправду на все лѣто?

— Да. Я же тебѣ сто разъ сказалъ... Урокъ на лѣто. Въ Воронежскую губернію.

— Такъ... Такъ... Что жъ, доброе дѣло. Прихвати что-нибудь на дорогу-то. У насъ новый сыръ полученъ, а то колбасы. Я тебѣ лучшей отпущу.

— Нѣтъ, спасибо.

— А ты, Петя, чего не подумай. Это мы такъ.

— Чего? удивился студентъ.

— Такъ, сказываю... Не подумай... Карамелекъ вишь она купила, да ошибка вышла... Хотѣла лимонныхъ, а мальчишка ей малиновыхъ отпустилъ. Ну, вотъ мы на счетъ этого и толковали, да такъ ужъ мимоходомъ сѣли чайку выпить.

И Павелъ Сивцовъ, не умѣвший лгать, покраснѣлъ.

— Ничего я, Павелъ, не понимаю. Прощай!

Братья расцѣловались.

Павелъ Ѳедосѣвичъ чуть не бѣгомъ вернулся въ свои горницы, съ чувствомъ великаго облегченія сѣлъ къ столу и взялся за блюдечко, гдѣ былъ налить чай.

Студентъ Сивцовъ взялъ извожика и дорогой нѣсколько минутъ продумалъ о братѣ. Ему вдругъ пришелъ на умъ вопросъ, который никогда не приходилъ. Что его братъ умный человѣкъ, или дуракъ? И студентъ началъ философствовать.

Павелъ Сивцовъ лавочникъ, уже хозяинъ въ двадцать съ чѣмъ-то лѣтъ, благодаря случайности, ведетъ свое дѣло отлично и со временемъ будетъ непременно со средствами, даже, пожалуй, богатый. Онъ человѣкъ, знающій свое дѣло, любящій его, вѣрно и неустанно достигающій извѣстной цѣли, которой онъ достигнетъ. Умный ли онъ человѣкъ? Мудрено отвѣчать! Дуракъ ли онъ? Тоже нельзя отвѣчать! Въ чемъ дуракъ? Можетъ ли братъ Павелъ понять инныя вещи, хотя бы на свой собственный ладъ? Нѣтъ, онъ ихъ совершенно

не пойметъ! Онъ ихъ разсудить такъ, какъ судять огуломъ всѣ Павлы Сивцовы. Многое на свѣтѣ, чѣмъ міръ стоитъ, они берутъ оптомъ, но и выдаютъ, распространяютъ оптомъ.

Ему вспомнилось, что однажды, придя къ брату, онъ встрѣтилъ его идущимъ ко всенощной. Между ними произошелъ разговоръ, который теперь буквально вспомнился студенту Сивцову.

— Ты куда? спросилъ онъ.

— Ко всенощной.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?

— Да такъ, зачѣмъ?

— Какъ же... Иначе-то нельзя же.

— Да почему же нельзя дома посидѣть?

— Что ты, братъ, ужъ такъ, стало быть, слѣдуетъ Богу помолиться.

— А дома развѣ не можешь?

— Какъ дома? Дома дороже.

— Да ты просто помолись, покрестись, поклоны поклади, молитвы кое-какія перечитай. Все то же и будетъ.

— Какъ можно? Молиться надо въ церкви.

Въ другой разъ, говоря о полициі, студентъ Сивцовъ съ негодованіемъ рассказывалъ, какъ во время одной студенческой исторіи нѣкоторые полицейскіе дрались.

— Какъ же имъ не драться, Петя! заявилъ Павелъ.— Ужъ это ихъ такая должность.

— Какъ должность? Драться-то!

— Вѣстимо, должность. На то они и поставлены, а безъ нихъ бы пропадать всѣмъ. Они для порядку.

— А сами дерутся?

— Потому и дерутся, что порядокъ нуженъ, а не дерись они, что жъ тогда будетъ? Человѣку безъ начальства жить нельзя, а начальство на то и на свѣтѣ, чтобъ учить.

Петръ Сивцовъ, вернувшись домой, разумѣется, забылъ о братѣ, а занялся укладкой вещей.

Онъ чувствовалъ себя бодримъ, здоровымъ...

Черезъ день студентъ былъ уже въ вагонѣ и въ пути. Калитинъ самъ взялъ три билета: себѣ, студенту и лакею, причѣмъ они размѣстились въ трехъ разныхъ классахъ.

Предъ отъѣздомъ, однако, онъ замѣтилъ:

— Извините, г. Сивцовъ, я вамъ второй взялъ. Вѣдь вамъ, конечно, все равно?

— Все равно, отозвался Сивцовъ, хотя напрасно деньги тратили... Я всегда въ третьемъ ѣзжу.

— Ну, а я, знаете, никакъ не могу. По настоящему слѣдовало бы ѣздить въ третьемъ, но я даже и во второмъ не могу. Это непозволительная вещь, я это чувствую... Я, сидя въ креслѣ перваго класса, всю дорогу не уважаю себя. А не могу! Даю себѣ честное и благородное слово въ слѣдующій разъ взять, ну хоть не третій, а второй. И не могу! Это, знаете ли, безчестно въ нѣкоторомъ смыслѣ...

Послѣ этого разговора Петръ Сивцовъ почувствовалъ странный вкусъ во рту, точно будто онъ до сихъ поръ ѣлъ очень вкусное варенье, но вдругъ его этимъ вареньемъ обкормили, и малина или клубника начинаютъ получать странный вкусъ и даже запахъ.

Всю дорогу отъ Москвы до Воронежа, за исключеніемъ ночи, Калитинъ просидѣлъ на диванчикѣ второго класса вмѣстѣ со студентомъ, но однако онъ очень часто переходилъ въ свой вагонъ. Еще чаще вытребывалъ онъ чрезъ кондуктора своего лакея изъ третьяго класса и громко приказывалъ ему принести что-либо себѣ изъ перваго.

Ничего особеннаго не было имъ сказано, но въ первый же день пути студентъ Сивцовъ ставилъ себѣ вопросъ: Что Калитинъ? Прекраснѣйшій въ мірѣ человѣкъ, или животное?

Иногда студентъ раздражительно думалъ: Ей Богу будто мерзавецъ, подлець, скотина.

Почему и за что? Объяснить себѣ онъ положительно не могъ.

— Кривляка... Профанируетъ священныя вещи. Стало быть, животное, повторялъ студентъ.

Между тѣмъ, по мѣрѣ приближенія къ мѣсту жительства, Сивцова все болѣе и болѣе интересовала одна личность: отецъ Калитина. Старикъ, декабристъ, лучший другъ Рылѣва и Пестеля, который, по увѣренію Калитина, непременно долженъ былъ быть „шестымъ“.

Сивцовъ, нѣсколько разъ слышавши фразу „слѣдовало быть шестымъ“, ничего не понималъ. Наконецъ онъ догадался, что такъ какъ пятеро декабристовъ были повѣшены, то Калитинъ отецъ, вѣроятно, долженъ былъ быть тоже повѣшенъ и спасся чудомъ.

Другая личность, не менѣе интересовавшая студента, со словъ Калитина, была его дочь, восемнадцатилѣтняя дѣвушка

ка. До сихъ поръ почти ни одна еще женщина никогда не заинтересовывала Сивцова. Но на этотъ разъ любопытство его было подстрекнуто.

Онъ узналъ отъ Калитина, что его дочь, Ольга, знаетъ всѣ европейскіе языки и на всѣхъ объясняется. А главное, она прочла все, что существуетъ на этихъ языкахъ.

— Отъ *Потеряннаго Рая и Освобожденнаго Иерусалима!* восклицалъ Калитинъ подъ громъ вагона,—и до появившагося на дняхъ *Наканунъ*.

При этомъ онъ не преминулъ воскликнуть:

— Да, Тургеневъ—это пророкъ! Это—проповѣдникъ! Онъ увидѣлъ новую звѣзду, идетъ поклониться ей и насъ за собой ведетъ... Да, мы наканунѣ...

И тутъ, въ эту минуту, такъ же какъ случалось уже нѣсколько разъ, Сивцовъ почувствовалъ нѣчто особенное. Будто кто-то постоянно пѣлъ у него надъ ухомъ его любимый романсъ, но пѣлъ отвратительно фальшивымъ голосомъ.

Все, что говорилъ Калитинъ—были его мысли, были даже иногда его слова, и вмѣстѣ съ тѣмъ Сивцову было скверно слушать ихъ. Онъ бы предпочелъ, чтобы Калитинъ говорилъ совершенно противоположное.

Сивцовъ могъ бы давно разрѣшить вопросъ, занимавшій его, сказавъ себѣ, что Калитинъ лжетъ и кривляется, но онъ по совѣсти не могъ этого сказать. Калитинъ не кривлялся и не лгалъ... Онъ былъ искренень...

— Что же это?! восклицалъ мысленно Сивцовъ.

Отъ города Воронежа до имѣнія Калитина было около полсотни верстъ въ сторону. Усѣвшись въ покойную коляску четверкой, они покатали по гладкой черноземной дорогѣ чрезъ нивы, холмы, лѣса, селенія.

Сивцовъ съ наслажденіемъ оглядывался кругомъ себя и чувствовалъ, что даже лицо его совершенно другое. Онъ чувствовалъ, что оживаетъ, окрестность благотворно дѣйствуетъ на него и дѣйствуетъ не своею живописностью, а именно своею простотою, незатѣйливостью. Это не то, что рассказываютъ про Италію и Швейцарію.

„Тутъ тишь, да гладь и пожалуй, кто жъ его знаетъ, Божья благодать. Это видно будетъ только чрезъ сто лѣтъ“, думалъ студентъ Сивцовъ.

И здѣсь, среди яснаго, но не жаркаго дня, среди этой тиши и глади, Калитинъ, продолжавшій ораторствовать все на

ту же тему, показался Сивцову какимъ-то бѣснующимся юродивымъ, или просто балаганнымъ зазывателемъ.

„И чего надрывается? съ нетерпѣніемъ думаль онъ. Сидѣль бы молчалъ...“

И вдругъ студенту Сивцову показалось, что вся окрестность: нивы и холмы, и лѣсочки, и деревушки съ убогими церквями—все это глянуло на него вдругъ и спросило у него:

— Скажи на милость хоть ты! Чего это онъ надрывается?..

XV.

По прїѣздѣ въ имѣніе Калитиныхъ Сивцовъ былъ нѣсколько разочарованъ. Онъ ожидалъ увидѣть богатую усадьбу, красивую мѣстность, ожидалъ встрѣтить въ другихъ членахъ семьи ту же простоту обращенія, которая была въ Калитинѣ. Хотя эта простота звучала фальшиво, когда онъ начиналъ ораторствовать, но все-таки отношенія съ такимъ человекомъ, какъ Николай Павловичъ Калитинъ, не могли не быть легкими. Единственное, что должно было случиться, что онъ просто надоѣсть Сивцову своими разглагольствованіями на одинъ и тотъ же ладъ.

Въ дѣйствительности оказалось, что усадьба въ нѣсколько плачевномъ видѣ. Все здѣсь полиняло, развалилось, смотрѣло если не убого, то чрезвычайно безпорядочно.

Калитины, конечно, никогда не живали зимой въ своемъ имѣніи, прїѣзжали только на лѣто какъ на дачу. Во время ихъ пребыванія все шло по прежнему въ управленіи имѣніемъ: всѣ обращались къ управителю—старика Андрону, бывшему крѣпостному Калитиныхъ.

Крестьяне сторонились отъ господъ, которыхъ совершенно не знали. Господа проводили лѣто въ томъ, что продолжали свою московскую жизнь, насколько это было возможно. При этомъ они, конечно, ходили удить рыбу въ рѣчкѣ, протекавшей близъ дома, и въ пруду, гдѣ водились караси, ѣздили за ягодами и грибами въ лѣсъ, ѣздили смотрѣть иногда на покось, или жатву, какъ на нѣчто курьезное, или смотрѣли на хороводы и пѣсни на деревнѣ тѣмъ же окомъ, какъ случалось глядѣть въ циркѣ на штуки какого-нибудь клоуна.

Семья Калитиныхъ, помимо его самого, состояла изъ его жены—Анны Андреевны, женщины лѣтъ подь-сорокъ, и тро-

ихъ дѣтей: семнадцатилѣтней дочери Ольги и двухъ мальчиковъ—Андрюши, пятнадцати лѣтъ, и Васи — двѣнадцати. Кромѣ того былъ отецъ-Калитинъ, Павелъ Михайловичъ.

Разумѣется, Петръ Сивцовъ прежде всего обратилъ вниманіе на своихъ двухъ будущихъ учениковъ. Оба мальчика были совершенно различнаго темперамента, различнаго характера, да и положеніе ихъ въ семьѣ было тоже не одинаковое.

Старшій, Андрюша, былъ мальчикъ не глупый, очень сосредоточенный, немного меланхоликъ. Вася былъ, наоборотъ, живой, шустрый, большой шалунъ, болѣе способный, чѣмъ его братъ, но лѣнивый. Онъ былъ любимцемъ въ семьѣ и страшно избалованъ. Андрюша, наоборотъ, служилъ для матери козлищемъ отпущенія.

Вскорѣ Сивцову пришлось убѣдиться, что оба мальчика являлись курьезнѣйшими образчиками воспитанія, какіе встрѣчаются довольно часто въ семьяхъ. Въ Андрюшѣ было систематически забито и пригнетено все хорошее, въ Васѣ — все дурное развивали всѣ, кто сколько могъ.

Съ первыхъ же дней Сивцовъ, какъ это всегда бываетъ, болѣе полюбилъ Андрюшу и какъ бы взялъ его незамѣтно подъ свою защиту. Одновременно онъ почти непріязненно отнесся къ шустрому Васѣ.

Первое время Сивцовъ проводилъ день почти отдѣльно отъ семьи. До завтрака онъ занимался съ младшимъ мальчикомъ, послѣ завтрака со старшимъ. Среди дня онъ уже былъ свободенъ, могъ дѣлать что хотѣлъ, такъ какъ былъ взятъ давать уроки, а не быть гувернеромъ. Когда уроки были кончены, ученики освобождались отъ учителя на цѣлый день.

Только за обѣдомъ Сивцовъ видѣлъ всю семью въ сборѣ. Послѣ обѣда снова онъ былъ одинъ или у себя въ комнатѣ, или же отправлялся гулять.

Ему была предложена верховая лошадь, таратайка и лодка—на выборъ. Сивцовъ избралъ лодку, какъ наиболѣе покойное и безопасное, и каждый вечеръ ѣздилъ по рѣкѣ версты за двѣ отъ дома.

Калитины, отецъ съ дочерью, часто ѣздили въ гости по сосѣдямъ, часто ѣздили въ Воронежъ. Анна Андреевна не двигалась никуда, даже рѣдко участвовала въ прогулкахъ около усадьбы.

Черезъ нѣсколько времени вся семья стала обращаться со студентами нѣсколько проще. Онъ уже не сидѣлъ по цѣлымъ

днямъ въ своей комнатѣ или въ лодкѣ и время послѣ обѣда проводилъ съ кѣмъ-либо изъ семейства.

Наблюдения студента привели его къ тому, что онъ, думая о всей семьѣ, рѣшилъ, что это странные люди. Сивцову чудилось въ каждомъ членѣ семьи какое-то удивительное противорѣчіе. Отъ старика Павла Михайловича до мальчугана его внука Васи—во всѣхъ было что-то особенное.

„Всѣ вы Янусы!“ думалъ про нихъ Сивцовъ. „И Янусы безсознательные“.

Прежде всѣхъ другихъ Сивцову хотѣлось ближе узнать шестидесятипятилѣтняго старика-декабриста. Съ перваго же дня, когда Калитинъ представилъ студента своему отцу, а высокій, плечистый старикъ холодно кивнулъ ему головой, Сивцову показалось, что этотъ человѣкъ совсѣмъ не то, что онъ ожидалъ увидѣть. Черезъ нѣсколько времени ему показалось, что старикъ Калитинъ совсѣмъ не то, чѣмъ онъ обязанъ былъ бы быть по его, Сивцова, мнѣнію.

Павелъ Михайловичъ былъ въ домѣ въ положеніи какъ бы не отца и дѣда, а въ положеніи какого-либо дяди или даже родственника. Во-первыхъ, имѣніе было не его и не сыновнее, оно принадлежало Аннѣ Андреевнѣ, какъ полученное за нею въ приданое.

Оказывалось, что все состояніе принадлежитъ ей. Вслѣдствіе этого Павелъ Михайловичъ былъ въ семьѣ какъ beau père. Если-бы онъ не жилъ тутъ, то ему бы и дѣваться было некуда. Его небольшое состояніе было когда-то описано, отобрано и перешло наслѣдникамъ. Вернувшись изъ Сибири, онъ мечталъ получить его обратно, но оно оказалось уже проданнымъ въ третьи руки. По счастью, сынъ женился на женщинѣ со средствами.

Павелъ Михайловичъ, бодрый старикъ, сѣдой, остриженный подъ гребенку, гладко выбритый, безъ усовъ и бороды, съ большимъ лбомъ, большими ясными сѣрыми глазами, сталъ для Сивцова загадкой съ перваго же дня.

Старикъ жилъ своею особою жизнью.

Онъ вставалъ довольно рано и долго читалъ у себя въ комнатѣ газеты и журналы, такъ какъ почта доставлялась ежедневно изъ города. Отъ завтрака и до обѣда въ продолженіе четырехъ часовъ Павелъ Михайловичъ неукоснительно сидѣлъ надъ тремя удочками около моста, и съ нимъ всегда тихонько и смиренхонько сидѣли двое мальчишекъ, которые нацѣпляли ему червячковъ.

За обѣдомъ Павелъ Михайловичъ мало разговаривалъ. Когда же случалось ему вставить свое слово или случалось быть вынужденнымъ разговаривать, или отвѣчать на вопросы, то онъ всегда бесѣдовалъ на особый ладъ.

Казалось, у него была привычка уклоняться. Онъ отвѣчалъ и рѣшалъ что-либо всегда уклончиво, какъ-бы не желая рѣшать, не желая брать на себя никакой отвѣтственности.

Случалось, когда спрашивали у него совѣта ѣхать ли въ лѣсъ за грибами, такъ какъ ожидается гроза и пожалуй будетъ дождикъ, Павелъ Михайловичъ отвѣчалъ, что вѣроятно дождя не будетъ, а что по всѣмъ признакамъ дождь конечно быть можетъ.

— Какъ знаете... Какъ вы, такъ и я! кончалъ онъ.

Однажды студенту Сивцову пришла вдругъ странная мысль.

„А что если ты и на Сенатскую площадь пошелъ эдакимъ же манеромъ?!“ подумалъ студентъ.

И онъ рѣшилъ вскорѣ, что дѣйствительно оно такъ и должно было быть. Но затѣмъ Сивцову пришло на умъ, что быть-можетъ эта уклончивость явилась у старика вслѣдствіе пребыванія въ Сибири.

„Не можетъ быть, думалъ Сивцовъ, чтобъ этотъ человѣкъ въ двадцать пять лѣтъ отъ роду былъ такимъ же, какъ онъ теперь. Между тѣмъ временемъ и теперешнимъ лежитъ пропасть. За это время что вынесъ онъ!..“

XVI.

Едва только всѣ члены семьи начали обращаться со студентомъ Сивцовымъ проще, какъ бы не отдаляясь отъ него, онъ прежде всего постарался поскорѣе сблизиться со старикомъ-декабристомъ.

Для этого онъ выдумалъ, что онъ очень любитъ удить рыбу. Павелъ Михайловичъ пригласилъ его съ собой, но Сивцовъ ошибся въ расчетѣ. Старикъ не сталъ разговаривать, сидя надъ тремя удочками, объяснивъ, что разговоры пугаютъ рыбу.

За то послѣ обѣда, вечеромъ Сивцовъ, отправляясь гулять, встрѣчалъ прогуливающегося по саду Павла Михайловича и нѣсколько разъ старался вызвать его на самый интересный для него разговоръ о 14 декабря и объ его житиѣ въ Си-

бири. На всѣ эти вопросы Павелъ Михайловичъ отвѣчалъ тоже уклончиво. То, что онъ передалъ Сивцову о декабристахъ, тотъ зналъ изъ сочиненій, о Сибири отзывался въ общихъ выраженіяхъ.

— Въ Сибири то же, что и вездѣ... Кому хорошо живется, а кому плохо.

Однако вскорѣ по нѣкоторымъ отвѣтамъ старика, по нѣкоторымъ признакамъ, Сивцовъ увидѣлъ, что Павелъ Михайловичъ Калитинъ Богъ вѣсть почему попалъ въ Сибирь. Онъ столько же походилъ на демагога и бунтовщика, сколько онъ, студентъ Сивцовъ, на англійскаго лорда.

Сивцовъ увидѣлъ, что это человѣкъ зауряднаго ума, газетной образованности, безъ особыхъ качествъ и безъ особыхъ пороковъ. Отъ него вѣяло чѣмъ-то черезчуръ будничнымъ и сѣренькимъ.

Разочарованный Сивцовъ бросилъ старика и сталъ стараться „подойти поближе и разглядѣть внимательнѣе „госпожу Калитину“.

— Тутъ ужъ, вѣроятно, совсѣмъ ничего интереснаго не будетъ! рѣшилъ онъ и... ошибся.

Анна Андреевна оказалась очень интереснымъ субъектомъ, хотя совершенно не въ томъ смыслѣ, какъ ожидалъ Сивцовъ. Она проводила день на кушеткѣ, сказываясь хворою, но собственно была здоровехонька. При этомъ день ея проходилъ въ чтеніи французскихъ и англійскихъ романовъ.

Анна Андреевна съ восторгомъ относилась ко всемъ иноземномъ, обожала Францію, дивилась Англии, недолюбливала Германію и глубоко, всѣмъ сердцемъ, презирала все русское.

„Мы дикіе“, было ея любимое выраженіе. „Мы татарія!“ Европа кончается не на Уралѣ, а въ Варшавѣ“.

Вскорѣ студентъ Сивцовъ замѣтилъ, что Анна Андреевна въ своемъ родѣ „маленькій декабристикъ“. То что онъ нашелъ въ ней, то что слышалъ отъ нея, пошло бы какъ разъ и было бы подстать ея свекру Павлу Михайловичу.

Многое казалось въ Аннѣ Андреевнѣ отголоскомъ того, что было въ ея мужѣ. Вскорѣ, однако, Сивцевъ понялъ, что самъ Калитинъ есть болтливый отголосокъ мнѣній и выраженій Анны Андреевны.

Затѣмъ Сивцовъ убѣдился, гдѣ источникъ того, что онъ давно уже запримѣтилъ въ домѣ. А въ домѣ было нѣчто, что ясно сказывалось всюду и во всемъ. Надъ домомъ была

невидимая длань и отъ этой длани невидимый, но ясно ощущаемый гнетъ. Деспотомъ въ домѣ оказалась Анна Андреевна, какъ жена, мать, невѣстка и хозяйка.

Диковинно! подумаль Сивцовъ, такъ какъ это открытіе поразило студента.

Да, эта женщина, вѣчно лежащая протянувшись на кушеткѣ съ романомъ, иногда самымъ глупымъ, какой когда либо писался во Франціи, иногда съ романомъ Габоріо или ему подобнымъ авторомъ, управляла всею семьею.

Единственный человекъ, который не былъ подъ ея вліяніемъ, былъ управитель Андронъ.. Онъ относился къ барынѣ даже свысока, глядѣлъ какъ на малое дитя. Но семья, люди и въ особенности крестьяне на селѣ боялись Анны Андреевны, сами не зная почему.

Однажды Сивцовъ узналъ, что у Анны Андреевны есть идеаль женщины—императрица Екатерина. Для нея не было во всей исторіи всѣхъ народовъ личности болѣе великой и симпатичной.

И это диковинно! подумаль онъ.

Сивцовъ, приглядываясь въ продолженіе цѣлой недѣли почти исключительно къ Аннѣ Андреевнѣ, рѣшилъ, что сразу ее не поймешь. Онъ думаль уже, что нѣсколько знаетъ женщину, но два, три случая убѣдили его, что онъ еще не знаетъ барыню.

Его поразило ея грубѣйшее обращеніе съ прислугой и затѣмъ два, три распоряженія по отношенію къ крестьянамъ.

Восторженное отношеніе ко всему западному совершенно не вязалось въ головѣ Сивцова съ барскими ухватками въ семьѣ, въ домѣ и въ имѣніи.

Однажды Анна Андреевна въ присутствіи Сивцова предложила Андрону такую мѣру противъ порубокъ въ лѣсу, что бывшій крѣпостной и при этомъ энергичный старикъ отвѣчалъ:

— Воля ваша, матушка, а эдакое-то малость грѣшно будеть... Они воры, а все же не псы...

Послѣдняя личность, къ которой Сивцовъ приблизился со своимъ наблюденіемъ, была молодая дѣвушка. Но здѣсь студентъ уже окончательно сбился съ толку. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней онъ награждалъ ее въ воображеніи такими добродѣтелями, или такими пороками, которые приходилось на другой же день замѣнять новыми.

То казалось ему Ольга Калитина—сама простота, то кривляка, то находил онъ ее умною, то ограниченною и только нахватавшею вершковъ, то казалась она ему впечатлительною и доброю, то казалась сухою и ловкою притворщицею.

Сивцовъ находилъ въ ней черты отца, другія черты матери, инныя черты двухъ ея братьевъ и даже нашелъ однажды уклончивость дѣда.

— Это уже не Янусъ, а сказочный драконъ о семи головахъ или сумбурное созданіе! рѣшилъ Сивцовъ.

Ольга была для студента какимъ-то калейдоскопомъ, въ которомъ при малѣйшемъ движеніи мѣнялись рисунки и мѣнялись краски. вмѣстѣ съ тѣмъ студентъ долженъ былъ сознаться, что Ольга крайне привлекательна, что въ ней положительно есть что-то „тамъ“ глубоко скрытое, запрятанное.

Если сосредоточенность Андрюши явилась послѣдствіемъ деспотизма Анны Андреевны, то въ этой дѣвушкѣ не только сосредоточенность, но настоящая скрытность могла явиться благодаря той же изящной на словахъ и грубой въ дѣйствіяхъ Анны Андреевны.

Ольга была довольно красивая дѣвушка, портретъ своего дѣда-декабриста. Она была высокаго роста, немножко широкоплеча, съ такимъ же высокимъ лбомъ и съ такими же большими и ясными сѣрыми глазами. При этомъ она была способна оживляться чрезвычайно, но не надолго, вспышками. Оживляясь, она напоминала своего отца, но какъ у Николая Павловича въ минуты оживленія все было ложно, фальшиво, такъ оживившаяся Ольга была проста. Отъ нея, казалось, вѣетъ правдой и искренностью. А между тѣмъ она положительно была скрытна.

Послѣ вспышки она начинала будто прятаться какъ улитка въ раковину и „уклоняться“ какъ ея дѣдъ декабристъ.

Что касается до самого Сивцова, онъ произвелъ на всю семью странное и невыгодное для него впечатлѣніе, которое однако потомъ сгладилося постепенно.

— Comme il est laid — le pauvre garçon, замѣтила Анна Андреевна. — И, кажется, онъ не умывается...

Съ перваго дня она прозвала Сивцова „нашъ Ѳедосъвичъ“.

Ольга въ эти первые же дни замѣтила, что студентъ вѣрно „жалкій“, хотя и глядитъ свирѣпо.

Павель Михайловичъ шутя заявилъ въ разговорѣ съ сы-

номъ, что студентъ является для него подтвержденіемъ его убѣжденія, что стихъ извѣстный и древній:

„Науки юношей питають“

есть ложь. Иногда наука не только не питаетъ, а изводитъ.

— Гляди, этотъ твой студентъ какой изморенный, будто надорванный! сказалъ онъ.—Ему навѣрно лѣтъ двадцать пять есть, а кажется на видъ—по сложенію тѣла шестнадцать, а по лицу тридцать пять.

Мальчики долго относились къ студенту косо и осторожно, не враждебно, но и не дружелюбно. Они чувствовали будто, что этотъ человекъ не любитъ ихъ именно за то, что они его ученики. Въ этомъ виноватъ былъ самъ студентъ. Онъ относился къ своему дѣлу добросовѣстно, но сухо. Когда Вася не зналъ урока, Сивцовъ, спросивъ, долго молчалъ и ожидая отвѣта глядѣлъ упорно мальчику въ лицо. Этотъ взглядъ странно смущалъ Васю.

„Маменькинъ сыночекъ!“ говорили эти глаза.

„Ужъ лучше бы обругалъ, думалось мальчику.—Браниться не смѣетъ, вотъ и поглядываетъ. Важный какой“.

Люди относились къ студенту на свой ладъ. Лакей, служившій ему, въ первый же день рассказалъ своимъ, что у студента бѣлья — ничего. Двое же подштанниковъ — просто одна тебѣ дыра. Горничная франтиха, ходившая за Ольгой, всякій разъ, что встрѣчала студента, почему-то презрительно отворачивалась. Она прозвала его: „дохлый“.

— Не могъ Николай Павловичъ получше-то выбрать, говорила она.—Есть студенты красавцы писанные.

Несмотря на крайнюю вѣжливость Сивцова съ прислугой, она не влюбилась въ него, ибо вѣжливость эта была особенно холодная, съ того „высока“, которое пахнетъ презрѣніемъ.

„Я знаю, что я для васъ не баринъ, но и вы за то для меня твари“, говорило прислугѣ его вѣжливо-холодное обращеніе.

XVII.

Пока студентъ Сивцовъ занимался разгадываніемъ своихъ Янусовъ-сожителей, лавочникъ Сивцовъ благодушествовалъ и не мудрствовалъ лукаво. А надъ нимъ была гроза.

Однажды въ лавку явился отецъ-дьяконъ, купилъ два фунта сахару, баночку варенья и двадцать пять штукъ папиросъ

съ большими мундштуками, подъ названіемъ „Антрактъ“. Онъ спросилъ про Павла Ѳедосѣича и узналъ, что хозяинъ отдыхалъ и, сейчасъ проснувшись, потребовалъ самоварчикъ.

Въ ту же минуту мальчуганъ, уже сбѣгавшій и доложившій хозяину, заявилъ, что Павелъ Ѳедосѣичъ „сами идутъ“.

Сивцовъ явился и сталъ звать отца-дьякона откушать чайку. Этотъ согласился, но, проходя въ квартиру, спросилъ у прикащика, была ли въ лавкѣ Дарья Ивановна. На отрицательный отвѣтъ, онъ прибавилъ:

— Сдѣлайте милость, коли зайдетъ, задержите. Скажите ей, что я у Павла Ѳедосѣича и что мнѣ ее нужно на пару словъ.

Не успѣли Сивцовъ и отецъ-дьяконъ присѣсть за самоварчикъ, какъ тотъ же мальчуганъ влетѣлъ стрѣлой и вскрикнулъ:

— Дарья Ивановна!

— Эхъ, надобно итти! вздохнулъ отецъ-дьяконъ. — Или ужъ ее сюда позвать... Ась?..

И протянувъ это „ась“, отецъ-дьяконъ приглядѣлся къ лицу лавочника, какъ бы прося его согласія. Сивцовъ не понималъ, чего хочетъ дьяконъ.

— Что за важность, Павелъ Ѳедосѣичъ. Она женщина хорошая... Мы тутъ втроемъ чайку напьемся и побесѣдуемъ.

— Сдѣлайте одолженіе. Я сейчасъ.

Сивцовъ вскочилъ и двинулся быстро въ лавку, но тотчасъ же немного пріосанился и зашагалъ степеннѣе. Найдя въ лавкѣ бахромщицу, онъ позвалъ ее къ себѣ. И тутъ только, когда всѣ трое усѣлись за столикъ, у Павла Ѳедосѣича вдругъ что-то затрепетало въ груди.

„Вотъ такъ влетѣлъ!“ подумалъ онъ про себя.

И дѣйствительно, добродушный и наивный Сивцовъ влетѣлъ. Онъ только теперь сообразилъ, что присутствіе здѣсь отца-дьякона вмѣстѣ съ бахромщицей не случайное.

„Подведено!“ рѣшилъ онъ мысленно.

Они сговорились, они отлично знаютъ въ которомъ часу лавочникъ поднимается послѣ отдыха и садится за самоварчикъ. И все это они вмѣстѣ подвели преаккуратнѣйшимъ образомъ, и вотъ сидятъ... И вотъ сейчасъ тутъ все и произойдетъ...

Да, все... Сейчасъ!...“ подумалъ Сивцовъ и струсилъ. Борода отца-дьякона и его локоны, и носъ крючкомъ Дарья

Ивановны, и бѣлокурая головка съ пробормомъ, и розовое платье, и почему-то солнечный зонтикъ—все это перепуталось, все странно перемѣшалось и закружилось вокругъ Павла Ѳедосѣича. А покружившись, все начало прыгать и тыкаться въ глаза: не то дразнило, не то ласкало.

Дьяконъ и бахромщица тотчасъ заговорили о какомъ-то многоуважаемомъ Петрѣ Ильичѣ. Сивцовъ слушалъ, едва понималъ и ничего не спрашивалъ.

— Вы его не знаете? спросилъ наконецъ дьяконъ.—Аль знаете?

— Нѣтъ, отозвался Сивцовъ.

— Ну, вотъ тотъ самый, что живетъ въ Косомъ переулкѣ... Поблизости тамъ, гдѣ тоже домъ Быстроумова.

И дьяконъ вдругъ началъ хихикать.

— Ну вотъ! не сказалъ и не подумалъ Сивцовъ, а что-то такое крикнуло и пожалуй даже заорало гдѣ-то у него внутри.

— А что я вамъ доложу, Дарья Ивановна, обернулся дьяконъ къ бахромщицѣ.—Сказывала мнѣ барышня Марья Назаровна, что видѣла она надысь во снѣ. Удивительное, доложу вамъ! Видѣла она во снѣ, что сидитъ это она у окошка въ праздничный день и держать работу. Сама, ради праздника, не работаетъ, а такъ взяла въ руки посмотрѣть какой себѣ самой на завтра урокъ задать... И такъ это якобы во снѣ-то сидитъ у окошка. И вдругъ это видитъ на другомъ концѣ, по панели идетъ молодчина, человѣкъ изъ себя такой видный, добрый, хорошій человѣкъ... Ну, какъ сказывается, „душа человѣкъ“...

— Ну, это вы напрасно... еле-еле пролепеталъ Сивцовъ.

— Что напрасно? подмигнувъ отецъ-дьяконъ.—Сны-то рассказываю?! Дѣвичій сонъ можно рассказывать! Это не то что вотъ бываетъ какую старуху во снѣ домовой давить, прости Господи! Ну такъ вотъ-съ, Дарья Ивановна, идетъ этотъ самый человѣкъ, изъ себя молодой, подошелъ это къ ея окошку и говорить...

— Что вы! Что вы! замахалъ руками Сивцовъ.

— Да вы что же это? якобы удивился дьяконъ.

— Помилуйте. Когда же это было чтобъ это къ окну...

— Да вы про что это сказываете? удивительно искусно удивляясь выговорилъ дьяконъ.—Я сонъ дѣвичій рассказываю, а вы противодѣйствуете, якобы я вашъ собственный сонъ рассказываю.

Павелъ Ѳедосѣвичъ, сраженный такимъ аргументомъ, только вздохнулъ глубоко и совершенно не зная какъ выцарапаться изъ внезапнаго стеченія обстоятельствъ, въ которое онъ попалъ.

— Ну, такъ вотъ-съ, продолжалъ отецъ - дьяконъ, подходитъ этотъ самый человѣкъ къ окошку, да и говоритъ: „Марья Назаровна! надоѣла мнѣ жисть моя одинокая, бобыль я, какъ есть! Отъ тоски и скуки хоть глаза себѣ выколи. Не губите, будьте моею супружницей, а я васъ обожаю“...

— Я, отецъ-дьяконъ, вдругъ обидчиво заговорилъ Павелъ Ѳедосѣвичъ, —эдакое ни въ жисть сдѣлать не согласенъ, чтобы лѣзть къ незнакомому окошку. Это, извините, совсѣмъ нахальство. А я нахаломъ никогда быть не согласенъ.

— Да вы про что же это рассказываете? опять, якобы удивляясь, произнесъ дьяконъ, но, увидя вспыхнувшее и обиженное лицо хозяина, вдругъ подвинулся къ нему, положилъ руку къ нему на плечо и заговорилъ другимъ голосомъ:—Не гнѣвайтесь, Павелъ Ѳедосѣвичъ, я вѣдь это сонъ рассказываю, а въ дѣйствительности совсѣмъ не то было. Прошли то вы мимо окошка. По своему дѣлу шли куда-то. А дѣвица васъ видѣла... Ну, и о васъ съ удивительнымъ мнѣніемъ осталась. Вотъ это—сухая правда. И коли ужъ пошелъ у насъ разговоръ не въ шутку, а въ серьезъ, то я вамъ вотъ что скажу. Подумайте-ка вы, пораскиньте мыслями, да и поглядите. Такъ ли я рассказываю, Дарья Ивановна?

— Вѣстимо поглядѣть нужно, заговорила бахромщица.— За это денегъ не платятъ... за глядѣнье. А Марья Назаровна, я вѣрно знаю, насчетъ Павла Ѳедосѣвича завсегда въ мысляхъ. Она его еще прежде видѣла, когда еще онъ и хозяиномъ не былъ... И тогда еще рассказывала мнѣ про него, какой де онъ изъ себя ладный. Такъ бы я вотъ сейчасъ... ну, и прочее...

— Вотъ что, Павелъ Ѳедосѣвичъ, басисто заговорилъ дьяконъ, принимаясь уже за пятый стаканъ и выливая чай въ блюдо.—Вотъ что, другъ любезный. На томъ мѣрѣ стоитъ!— Всякій человѣкъ, себя уважающій, долженъ сочетаться бракомъ. А всякій человѣкъ, у коего коммерція, безъ жены обойтись не можетъ. Пребываетъ коммерческій человѣкъ въ заботахъ о своемъ дѣлѣ торговомъ, а у него въ это самое время въ кухнѣ сосѣдняя собака мясо стащила со стола, не то кошка пироги обгадила, лазимши по столу. Да это бы что!

А всякая кухарка каждый день, покупая на рынкѣ, утянетъ у него копѣйку и двѣ на гривну. Въ домѣ пыль, пустота... только мухи кружатся... Квартира не квартира, а мертвецкая, ей-Богу!... Запустѣніе! Смотрите, вотъ хоть бы здѣсь въ горницахъ. Вѣдь это что же? Пустыня Сахара! Соловецкій монастырь! Юдоль одиночества! И что жъ это такое все? И пустота, и хозяйство вверхъ ногами, и не съ кѣмъ перемолвиться когда обѣдаешь, либо ужинаешь, либо вотъ чай пьешь! Не звать же все гостей. Не съ кѣмъ въ праздникъ выйти на улицу прогуляться, некому жену показать, какое на ней платье надѣто или шляпка. А почему? Потому что ея нѣтъ. Какъ же это можно! А, избави Богъ, захвораль. Кухарка что ли будетъ ходить за тобой? Какъ бы не такъ! Она пьяна напьется, со двора уйдетъ, или съ солдатомъ будетъ на дворѣ языкомъ чесать. А ты тутъ околѣвай. Да это еще ничего. Хуже бываетъ! Придетъ она пьяная лѣкарство давать; анъ тутъ есть наружное и есть внутреннее, она какъ разъ и вольетъ въ хвораго-то наружное. Вотъ тогда покрючишься, поболтыхаешься по кровати-то, да и туда... Далече. Не то что куда Макаръ телять не гоняль, а еще дальше, куда ихъ не допускаютъ... телять-то... На тотъ свѣтъ. А будь жена—супруга—ничего этого не будетъ. Долго-денствовать человѣкъ начнетъ, богатѣть, дѣти пойдутъ.. весело, громко! Въ праздникъ-то можно выйти самъ-шесть, а то самъ-восемь, лишь бы деньги были. А то въ Вербное воскресенье или въ первое мая въ Сокольники коляску можно нанять, да и сѣсть въ нее, да эдакъ-то на всю Москву: на, моль, смотри. Каково!

Отецъ-дьяконъ смолкъ и такъ вздохнулъ, какъ еслибы говорилъ какое надгробное слово. Вздохъ его былъ протяжный и печальный. Должно быть онъ привыкъ въ жизни проповѣдывать только одно горестное и важное, и поэтому привыкъ вмѣсто точекъ вставлять вздохъ.

Однако, рѣчь дьякона произвела извѣстное впечатлѣніе на Сивцова. Сначала онъ сидѣлъ румяный, потомъ совсѣмъ пунцовый, потъ выступилъ у него на лбу и глаза прыгали, а небольшой стулъ скрипѣлъ подъ нимъ отъ волнообразнаго сидѣнья на немъ. Но затѣмъ Павелъ Федосѣичъ какъ бы успокоился и былъ уже не пунцовый. Онъ опустилъ глаза, повѣсилъ голову и слушалъ отца-дьякона какъ еслибы въ самомъ дѣлѣ тотъ читалъ надъ нимъ надгробное слово.

Когда дьяконъ вздохнулъ, Павелъ Ѳедосѣичъ тоже вздохнулъ. Бахромщица поглядѣла на обоихъ и, обождавъ малость, сочла долгомъ, изъ вѣжливости, тоже протяжно вздохнуть. Еслибы въ эту минуту вошелъ къ нимъ посторонній, то подумалъ бы, что эти три лица сейчасъ прѣхали съ похоронъ.

„Да, влетѣлъ!“ подумалъ Сивцовъ про себя, но уже какъ-то тоскливо, съ такимъ же чувствомъ на сердцѣ, какъ еслибы говорилъ: „обанкрутился“.

— Да въ чемъ же дѣло? заговорила Дарья Ивановна.—Я что-то не пойму. Ей-Богу, не пойму! Вы мнѣ поясните, отецъ-дьяконъ, въ чемъ же дѣло-то!

— Да ни въ чемъ, сударыня моя! Такъ вотъ недоразумѣніе! Павелъ Ѳедосѣичъ знаетъ, что барышня Быстроумова—барышня первостатейная. Что приданаго у нея нѣту, но ему это не требуется. Знаетъ онъ, что Марья Назаровна отъ него безъ ума... Прямо скажу! И самъ онъ къ ней расположенъ. А такъ вотъ... не развязывается завязка... Бываетъ эдакое на свѣтѣ... Замѣшалось тутъ что-такое. И мой совѣтъ Павлу Ѳедосѣичу, обратился дьяконъ къ бахромщицѣ такъ, какъ еслибы Сивцова не было и въ горницѣ—мой совѣтъ будетъ, пусть Павелъ Ѳедосѣичъ обратится къ вамъ съ просьбой: выведи ты, молю, насъ, Дарья Ивановна, изъ этихъ всѣхъ затрудненій на торный путь, на большую дорогу. Вы, молю, въ качествѣ женщины, можете всякое эдакое двумя пальцами взять, чего мы обѣими руками не возьмемъ. А выйдетъ что изъ этого, я уже, извѣстное дѣло, въ долгу предъ вами не останусь. Да! Вотъ какой мой будетъ совѣтъ Павлу Ѳедосѣичу, коли онъ меня объ этомъ спроситъ.

Наступило молчаніе, Сивцовъ сидѣлъ, опустилъ глаза, и только тихохонько барабанилъ толстыми пальцами по скатерти.

XVIII.

Скажите мнѣ, Павелъ Ѳедосѣичъ, обратился къ нему дьяконъ густымъ и рѣшительнымъ басомъ. Въ голосѣ его будто зазвучало: „паки, паки!“—Первое; скажите мнѣ, дурна Марья Назаровна изъ себя? Уродъ что-ли неописанный?

— Какъ можно! вдругъ встрепенувшись отозвался Сивцовъ, и тотчасъ же сообразилъ неосторожность такого заявленія.

— Ну, вотъ-съ... Второе. Ищите вы приданое! Чужія денежки вамъ понадобились? Торговля у васъ нейдетъ? Говорите, приданое вы ищите?

— Что вы, отецъ дьяконъ! Зачѣмъ! Въ эдакомъ дѣлѣ деньги только одинъ подвохъ. Я такъ всегда располагалъ въ себѣ самомъ, что, при деньгахъ, какъ разъ какую сатану получишь, а то гулятельную.

— Стало, что же вы? По совѣсти отвѣчайте. Положа руку на сердце. Ну, вотъ, какъ предъ Богомъ. Супружескій образъ жизни отвергаете? Ну-съ? Какъ предъ Богомъ? Отвергаете?

— Нѣтъ, какъ можно! Всякій человѣкъ долженъ... началъ было Сивцовъ слова самого дьякона, но вдругъ мысленно прибавилъ:—И куда ты это лѣзешь? Залѣзешь и не вылѣзешь... Можетъ быть она и нравомъ, да и фигурой-то...

Но мысль Сивцова была прервана привидѣніемъ. Ему привидѣлась опять, да прямо подъ носомъ, бѣлокурая головка съ прямымъ проборомъ, и ему послышалось даже въ обоихъ ухахъ:

„И врешь, врешь!.. Не ври!..“

И Сивцовъ вдругъ такъ вздохнулъ, какъ если бы страдалъ отъ смертельной болѣзни. Дьяконъ что-то давно уже басыль, а Сивцовъ ничего не слушалъ и не слышалъ. И вдругъ первое, что онъ разслышалъ, были слова:

— Полагаетесь вы на насъ? Честные мы люди?

— Вѣстимо... Помилуйте! отозвался онъ, не зная на что.

— Полагаетесь совсѣмъ?

— Полагаюсь, выговорилъ Сивцовъ.

— Ну, вотъ и все! хлопнулъ дьяконъ ладонью по столу.— Больше нечего и разговаривать.

Сивцовъ вскинулъ на отца-дьякона глазами и сразу струхнулъ не на шутку.

— Такъ вотъ что, Дарья Ивановна, завтра вы отправляйтесь къ Назару Ивановичу...

— Нѣтъ... Что вы! Что вы! Какъ можно! Что вы! завопилъ Сивцовъ.

— Что за бѣда?..

— Какъ можно! Что вы!

— Да вѣдь она не сватать пойдетъ. Вѣдь эдакіе разговоры ни къ чему не ведутъ, ни къ какимъ долгамъ или обязанностямъ. Вы, стало быть, ничего, Павелъ Ѳедосѣичъ, не

поняли. Она только попросить Марью Назаровну прогуляться вотъ тутъ, на бульварѣ, въ извѣстный въ такой часъ. И вы пойдете прогуляться... Вотъ больше и ничего. Ну, я съ вами пойду... Она съ Дарьей Ивановной будетъ якобы воздухомъ дышать, а мы съ вами. А тамъ, какъ и что, видно будетъ. Ни къ какимъ обязанностямъ это васъ не обязываетъ. Просто говорю, пойдѣмъ мы всѣ вчетверомъ воздухомъ дышать.

XIX.

Черезъ три дня, въ сумерки, Павелъ Ѳедосѣвичъ, отдохнувъ и выйдя въ лавку, узналъ, что отецъ дьяконъ заходилъ и спрашивалъ, собирается ли хозяинъ ко всенощной.

Сивцовъ зналъ наизусть всѣ большіе и малые праздники, и на этотъ разъ удивился, сообразивъ, что совершенно забытъ завтрашній большой праздникъ Троицынъ день.

Разумѣется, какъ только ударили на колокольнѣ прихода, Павелъ Ѳедосѣвичъ вышелъ изъ дому, наказавъ прикацику и мальчуганамъ все то, что двадцать лѣтъ слушалъ самъ и что теперь постоянно имъ повторялъ: „не зѣвать! Поосторожнѣе!“

Что значило не зѣвать и быть осторожнѣе, прежній мальчуганъ Пашка никогда не освѣдомлялся у хозяина, но повиновался: не зѣвалъ и былъ остороженъ. И теперь, если бы его мальчуганы спросили у него, что, собственно, приказываетъ онъ, уходя изъ лавки, то онъ очень бы затруднился имъ объяснить.

Сивцовъ отправлялся въ церковь одинъ изъ первыхъ. Онъ, какъ всегда, молился усердно, то есть крестился часто, клалъ земные поклоны, глядѣлъ, не отрываясь, на иконостасъ. Но мысли его сплошь и рядомъ бывали заняты совершенно инымъ.

Въ концѣ всенощной пономарь, выйдя изъ алтаря, протискался черезъ толпу, подошелъ къ лавочнику и шепнулъ ему на ухо:

— Отецъ дьяконъ проситъ васъ не уходить, обождать самую малость, покедова онъ будетъ разоблачаться.

Когда всенощная кончилась и народъ повалилъ изъ церкви, Сивцовъ остался. Черезъ минуту вышелъ къ нему изъ алтаря дьяконъ и, улыбаясь многозначительно, поздоровался и выговорилъ:

— Ну, Павелъ Ѳедосѣвичъ, пригтовляйтесь на завтрашній день. Завтра въ четыре часа мы съ вами отправимся на нашъ бульваръ.

— Зачѣмъ? удивился Сивцовъ.

— Самы знаете зачѣмъ. Нечего и спрашивать! Дѣла ваши обстоятъ благополучно. Я за вами зайду.

— Боюсь я, отецъ дьяконъ, лавку-то бросить... Самы знаете, безъ хозяина... началъ было Сивцовъ, чуя что даже по голосу его слышно, что онъ лжетъ.

— Что вы! Богъ съ вами! Въ эдакій праздникъ, да въ лавкѣ сидѣть... Грѣхъ даже. Я было желалъ кое-кого упротить бытъ у насъ завтра у обѣдни, такъ сказываютъ—нельзя, всегда въ своемъ приходѣ. Неловко. Будто нарочно, съ умысломъ. А вотъ по бульвару погулять, на это согласились...

— Ужъ, ей Богу, отецъ дьяконъ, отвѣтствовать не могу. Пожалуй, не время будетъ...

— Нѣтъ, ужъ вы меня не срамите, Павелъ Ѳедосѣвичъ. Что жъ это будетъ? Я во лгуны поставленъ буду. Нѣтъ, ужъ какъ знаете, дали слово — держите! Какъ послѣ обѣдни домой вернетесь, не раздѣвайтесь, а ужъ если ляжете отдохнуть, оиать одѣньтесь, а къ четыремъ часамъ я зайду.

Сивцовъ вернулся въ лавку и проволновался цѣлый вечеръ. Напившись чаю вмѣстѣ съ прикащикомъ въ маленькой горницѣ, онъ отправился въ свою квартиру и легъ спать, но на этотъ разъ бессонница одолѣла его.

Онъ невольно обдумывалъ, какъ чудно на свѣтѣ все потрафляется...

„Вотъ не было ничего, а тутъ вдругъ поди, что навернулось. И какъ все это случилось? Что-нибудь непостижимое!“

Однако, среди ночи смущеніе и робость покинули Сивцова, напротивъ того... напала какая-то храбрость. Онъ самъ даже удивлялся.

„Это такъ вотъ здѣсь... рѣшилъ онъ мысленно. Одинъ въ постели храберъ, а вотъ завтра, поди, душа въ пятки уйдетъ. А почему? Что жъ я?.. Я не нахальствую, насильственно не лѣзу. Самы они сказываютъ, что она любопытствуетъ обо мнѣ. Да, удивительно, какъ на свѣтѣ потрафляется!..“

И чрезъ мгновеніе онъ думалъ...

„Нѣтъ, это что за жисть. Всякій человекъ, себя уважающій, должонъ...“

На утро Сивцовъ былъ опять-таки одинъ изъ первыхъ въ церкви къ часамъ. Но съ той минуты, что онъ, плохо выпавшись, проснулся, снова легкое волненіе овладѣло имъ.

Молиться онъ совѣмъ не могъ. Состояніе души было такое, какъ если бы ему приходилось въ этотъ день ожидать пожара въ лавкѣ.

Кое-какъ провелъ Сивцовъ весь день. Послѣ обѣдни, онъ все-таки отворилъ лавку, которая была внутри уже убрана березками, самъ привязалъ четыре березки къ наружнымъ дверямъ и съ удовольствіемъ оглядывался и озирался. Въ лавкѣ было хорошо, весело, празднично.

На улицѣ, гдѣ повсюду виднѣлись тоже березки, было какъ-то даже удивительно хорошо, за то, наоборотъ, въ квартирѣ его, въ пустыхъ горницахъ, показалось ему тоскливо.

И сразу вспомнилось ему все, что говорилъ недавно отецъ дьяконъ: о безпорядицѣ въ хозяйствѣ холостого человѣка, о безобразіяхъ кухарки, объ употребленіи наружнаго лѣкарства вмѣсто внутренняго. И все это представлялось теперь Сивцову не только возможнымъ, но грозящимъ ему въ недалекомъ будущемъ, если онъ... не пойдетъ на бульваръ.

„Вѣстимо, нешто это жизнь?! Всякій человѣкъ, себя уважающій, должнъ...“ началъ онъ повторять слова дьякона, но затѣмъ, по мѣрѣ приближенія рокового часа, онъ все болѣе робѣлъ.

Когда отецъ дьяконъ, довольный, улыбающійся, явился въ лавку, на Сивцова нашель какой-то туманъ, да такъ и повисъ надъ нимъ. Съ этимъ туманомъ вышелъ онъ изъ лавки вмѣстѣ съ дьякономъ и пошелъ на бульваръ такъ, какъ если бы среди ночи шелъ ощупью, ожидая споткнуться, или лобъ расшибить на каждомъ шагу.

На бульварѣ туманъ усилился. Во всякой чуйкѣ, во всякой старой бабѣ, покрытой платкомъ, во всякомъ кустѣ, Павлу Федосвичу чудилось нѣчто иное... И прекрасное, и страшное! Отецъ дьяконъ смущалъ его своимъ видомъ. Онъ не былъ на этотъ разъ таковымъ, какъ привыкъ видѣть его Сивцовъ. Дьяконъ былъ полонъ чувствомъ какого-то особаго достоинства, или сознаніемъ важности минуты. Лицо у него было торжественное, поступь медленно-важная.

Онъ все время говорилъ о предметахъ совершенно постороннихъ: то о митрополитѣ, то о Петербургѣ, то о червѣ, ожидаемомъ на огородахъ, то о вздоржаніи церковнаго ви-

на! Но бесѣда о каждомъ предметѣ длилась нѣсколько мгновений, и наступало молчаніе.

Голосъ дьякона говорилъ, что всѣ эти предметы бесѣды являются ради приличія, что дѣло совсѣмъ не въ этомъ... Дѣло въ томъ, о чемъ они теперь оба думаютъ, но ради соблюденія какой-то торжественности умалчиваютъ.

На этотъ разъ, хотя оно было и странно, Сивцовъ вліялъ на дьякона. Робость и смущеніе его были такъ сильны, что дьяконъ поневолѣ долженъ былъ отнестись къ нимъ съ уваженіемъ и взять на себя торжественный видъ.

Самъ Павелъ Ѳедосѣичъ былъ теперь не тревоженъ. Онъ все силился понять что-то и никакъ не могъ. Онъ все ожидалъ чего-то нетерпѣливо и вмѣстѣ съ тѣмъ желалъ, чтобы этого не приключилось. Онъ зналъ, что это непременно будетъ, и въ то же время надѣялся, что никогда не будетъ, что это такъ только... сдается... чудится...

Сивцовъ былъ въ положеніи преступника осужденнаго на казнь и везомаго на площадь, гдѣ ожидаетъ его плаха. Осужденный по дорогѣ смотритъ на заборы, на вывѣски, на лица прохожихъ, замѣчаетъ платочки, обувь, замѣчаетъ соръ на мостовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ боится взглянуть наверхъ на ползущее облачко, потому что оно ползетъ тамъ... по небу. А онъ боится смотрѣть туда... Его притягиваетъ къ землѣ. Онъ упорно смотритъ всякія мелочи. Чѣмъ болѣе мелка эта мелочь, тѣмъ она любопытнѣе, даже какъ будто тѣмъ дороже. И чѣмъ ближе плаха и послѣднее мгновеніе, тѣмъ съ большимъ азартомъ кидается его мысль и цѣпляется за всѣ предметы.

Послѣдствіемъ такого душевнаго состоянія было совершенно измѣнившееся лицо. Отецъ-дьяконъ поглядѣлъ на него и невольно вознегодовалъ.

— Положительно, Павелъ Ѳедосѣичъ, подумаешь, я вамъ оскорбленіе какое наношу... Подумаешь, васъ противъ воли веду прогуляться. Опять-таки скажу, ни къ какимъ долгамъ это не поведетъ... Прогуляемся и домой пойдемъ...

Но Сивцовъ кисло улыбнулся и продолжалъ грустить.

XX.

Сивцову представилось вдругъ, что онъ никогда за всю свою жизнь не дѣлалъ ничего подходящаго къ тому, что дѣлаетъ теперь. Былъ онъ когда-то мальчуганомъ у отца съ

матерью, болтался зря по сосѣднимъ улицамъ, кое-гдѣ озарничалъ, кое-гдѣ получалъ подзатылины. Затѣмъ попалъ въ лавку, и тутъ въ продолженіе многихъ лѣтъ ему приходилось по приказу хозяина „не зѣвать“.

Отъ этого „незѣванья“ съ половины дня уже начинали такъ сильно гудѣть ноги, что онъ старался примоститься гдѣ-нибудь въ уголку и, если можно, вздремнуть минутъ пять.

Покупатели, чай утренній, покупатели, обѣдъ, покупатели и покупатели, ужинъ, и опять покупатели, опять вечерній стаканъ чаю иногда въ прикуску, иногда совсѣмъ безъ сахара, и затѣмъ блаженное, райское состояніе: спина на сундукѣ, башка на свернутомъ въ комокъ кафтанѣ, ноги и руки вытянуты, и покупателей нѣтъ.

Правда, во снѣ случалось иногда и сахаръ просыпать, и банку или бутылку разбить, и важному барину, или генералу не такъ завернуть, или не такъ подать и „отстрастку“ полчить.

Затѣмъ позднѣе, уже прикащикомъ, у Сивцова было еще болѣе дѣла, такъ какъ хозяинъ его ни во что не вмѣшивался. Онъ уставалъ еще болѣе. Мальчуганомъ онъ надувалъ хозяйина и прикащика — иногда отдыхалъ, или, посланный куда-нибудь, по дорогѣ зѣвалъ на прохожихъ.

А когда никто не подгонялъ его, онъ самъ себя подгонялъ изъ чувства долга и совѣсти предъ хозяиномъ, затѣмъ предъ вдовой. И вотъ онъ—хозяинъ самъ. Потихоньку, понемножку, но все перемѣнилось: и вывѣска другая надъ дверьми! И чувства другія въ его нутрѣ!.. Но все это, до сихъ поръ происходившее, было какъ быть слѣдуетъ. А вотъ теперь, въ эту минуту, онъ творитъ что-то совсѣмъ не простое, якобы даже не истинное, а ложное... Онъ будетъ ломаться, надувать кого-то.

Разумѣется, не будь это отецъ-дьяконъ, а будь какой-нибудь знакомый, свой человѣкъ, мѣщанинъ, то никогда бы Павелъ Федосѣичъ съ нимъ въ эдакій уговоръ не вступилъ и на эдакое лицедѣйство на бульваръ не пошелъ бы.

Сивцову представлялось, что если когда онъ будетъ стоять въ церкви предъ аналоемъ и вѣнчаться, то оно ему будетъ менѣе сумнительно и не стыдно. Гляди на него хоть тысячу глазъ.

„Тамъ законъ! Тамъ дѣло житейское. А тутъ ухищреніе человѣческое, какое-то баловничество и какое-то надуватель-

ство. Пришла бы она вдругъ въ храмъ Божій и я бы пришель... Вышелъ бы батюшка и насъ тотчасъ повѣнчалъ. Вотъ даже эдакъ, я пожалуй, думалъ про себя Сивцовъ. А это вотъ все... Бульваръ этотъ и потомъ, какъ сказываетъ отецъ дьяконъ, воздухомъ подышать... Это обманъ, одинъ обманъ! Не къ лицу это! Вотъ что! Что я, офицеръ съ саблей что ли? Я лавочникъ! И опять я — христіанинъ... Да. Не будь это отецъ-дьяконъ, ни въ жизнь, ни за какія ковриги“...

А между тѣмъ пока Сивцовъ размышлялъ, онъ уже давно шагаль по бульвару. Вдругъ онъ почувствовалъ, что дьяконъ тихонько толкнулъ его подъ локоть. Сивцовъ встрепенулся и поднялъ опущенные глаза...

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него имъ на встрѣчу шли двѣ женщины. Одна—Дарья Ивановна, бахромщица, а другая... другая розовая и шумящая юшкой по песку.

Павель Ѳедосѣвичъ крѣпко зажмурилъ глаза, а чтобы не видать было зажмуренныхъ глазъ, началъ усиленно тереть рукой брови. вмѣстѣ съ тѣмъ ему почудилось, что онъ окунулся въ самую холодную воду. Духъ сперло, въ горлѣ схватило и въ голову стукнуло.

— Ну, что жъ, онѣмѣлъ человѣкъ и не слышитъ! Что же, говорю я, какова? давно уже приставалъ отецъ-дьяконъ.

— Ничего!... отозвался наконецъ Сивцовъ.

— Красавица писаная! Да, а ужъ права какого кроткаго, агнецъ!...

— Да-а... протянулъ Сивцовъ.

И нѣсколько минутъ, пока дьяконъ рассказывалъ цѣлую біографію молодой дѣвицы, Сивцовъ только бессознательно „отдакивался“.

— Нѣтъ, я вижу, вы человѣкъ мудреный! Съ вами пива не сварить! вдругъ нѣсколько обиженнымъ и раздражительнымъ тономъ заговорилъ дьяконъ.—Вѣдь васъ, Павелъ Ѳедосѣвичъ, никто, извините, за шиворотъ не тащить. Вамъ люди васъ уважающіе благополучія желаютъ, стараются для васъ, а если вы на все дѣло съ эдакихъ своихъ точекъ зрѣнія взираете, то такъ и скажите. А эдакъ что же! Вы такъ поглядываете, что всякое возжелѣніе быть вамъ въ помощь пройдетъ. Дарья Ивановна и я упросили барышню дѣвицу на бульваръ пожаловать... такъ просто, безъ умысла, какъ я вамъ сказывалъ—воздухомъ подышать... Вотъ мы и встрѣти-

лись. Она на васъ пріятными глазами посмотрѣла, а вы на нее глянули... извините, какъ корова на репейникъ! Вѣдь это ей обидно можетъ показаться.

Павель Ѳедосѣичъ, человѣкъ добрый и мягкій, всегда легко чувствовалъ свою виноватость даже и тогда, когда виновать совсѣмъ не былъ.

И ему тотчасъ представилось живо, что онъ въ самомъ дѣлѣ теперь ведетъ себя невѣжливо и неприлично. Вотъ и есть онъ мужикъ, лавочникъ, а не обходительный человѣкъ.

„Вѣстимо, срамъ! подумалъ онъ. Вѣрно сказываетъ дьяконъ. Какъ есть будто корова на репейникъ поглядѣлъ я на барышню“...

И Сивцовъ сталъ на всѣ лады объясняться и извиняться, ссылаясь на свое смущеніе отъ непривычныхъ для него обстоятельствъ. И при этомъ, самъ того не зная, Сивцовъ нѣсколькими словами объяснилъ очень многое.

— Вѣдь кабы я, изволите видѣть, какъ нѣкоторые изъ нашей братіи, швырялся за всякимъ хвостомъ бабимъ, такъ у меня бы теперь эдакая снаровка была и смѣлость великая... А я вѣдь, отецъ-дьяконъ, сами знаете, завсегда въ товарѣ былъ, еле бывало успѣешь полгоршка каши уписать или стаканъ чаю выпить, а не то что съ горничными или какими другими дѣвицами въ разсужденіе пускаться. Я ни единой барышни, доложу вамъ, въ глаза не видалъ... Въ лавку придетъ какая, глядишь чтобъ ее не обмѣрить или не обмѣриться самому, да въ сдачѣ не ошибиться. Гулять я никогда не гулялъ. А въ храмѣ Божіемъ, вѣстимо, часто видалъ ихнюю сестру. Такъ вѣдь опять же, сами вы знаете, въ храмѣ Божіемъ эдакое не приличествуетъ въ мысляхъ имѣть... Бывало далече стоитъ какая, то не видишь ее и не смотришь. А близко какая стоитъ, иной разъ рядышкомъ, то кажинный разъ, бывало, если очень ужъ пройметъ, отойдешь, подальше станешь. А вы вотъ вдругъ на-ко... Вотъ разодѣли меня, да вотъ на самый на этотъ бульваръ, да прямо, такъ-сказать, лбомъ-то въ нее... Что жъ вы! Помилосердуйте! Вѣдь я вамъ тоже скажу... Я не офицеръ съ саблей! Вотъ что-съ!...

И начавъ съ извинительнаго тона, Павель Ѳедосѣичъ дошелъ до тона совершенно противоположнаго. Онъ негодовалъ...

Ему чудилось, что кто-то такой взялъ его, раздѣлъ до-гола, высунулъ въ окошко, да и держитъ верхъ ногами на потѣху проходимъ. Да еще обижается этотъ самый человѣкъ, что ему, Павлу Сивцову, это не по сердцу.

Послѣдствіемъ объясненія Сивцова было то, что дьяконъ расцѣловался съ нимъ и пригласилъ его къ себѣ на чашку чаю.

Въ тотъ же вечеръ, однако, дьяконъ добился отъ Сивцова рѣшительнаго и окончательнаго отвѣта, желаетъ ли онъ, по-видавъ еще разика три-четыре барышню Быстроумову, заслатъ къ ней свахой ту же бахромщицу.

Сивцовъ отвѣчалъ, что сватать себя онъ позволяетъ и пожалуй даже—была-не-была—просить.

— Но вотъ насчетъ бульвара, встрѣчь нечаянныхъ и всего этого офицерства,—это воля ваша, а я благоприличнымъ не почитаю. Ихней сестрѣ оно можетъ и ндравится, а нашему брату это не по рылу...

XXI.

Прошло полтора мѣсяца что студентъ Сивцовъ былъ въ семьѣ Калитиныхъ. Онъ наконецъ разгадалъ, что разгадывать нечего въ его сожителяхъ. Только одна личность оставалась для него замысловатою—Ольга Калитина.

Однажды послѣ обѣда всѣ собрались за грибами въ лѣсъ, за исключеніемъ Анны Андреевны. Отъѣхавъ въ линейкѣ версты три отъ дома, всѣ остановились на опушкѣ лѣса, разобрали кузовки и сразу разбрелись по лѣсу въ разныя стороны.

Собственно говоря, изо всей компаніи никто не относился съ любовью къ исканію грибовъ. Даже маленькій Вася и тотъ болѣе, казалось, предпочиталъ что-нибудь другое. Но это была охота самого Николая Павловича. Онъ всегда всѣхъ приглашалъ, и разумѣется всѣ, и дѣти, и отецъ, и студентъ, соглашались якобы съ удовольствіемъ. Все-таки это была прогулка и развлеченіе среди однообразія жизни деревенской.

На этотъ разъ, чрезъ нѣсколько минутъ послѣ того что всѣ разбрелись по лѣсу, Сивцовъ, задумавшись о чемъ-то, побрелъ чащей, не обращая, конечно, никакого вниманія на грибы. Пройдя нѣсколько шаговъ, онъ остановился у большаго дерева, прислонился къ нему и задумался.

Ему представился въ новомъ свѣтѣ все тотъ же вопросъ, который постоянно преслѣдовалъ его.

Правъ ли онъ? Не ошибается ли онъ въ томъ, что такъ часто глубоко чувствуетъ, что кажется ему совершенно есте-

ственнымъ и законнымъ, а между тѣмъ съ этимъ чувствомъ на сердцѣ жить совершенно невозможно. Если такъ думать и чувствовать, то надобно умереть, или по крайней мѣрѣ бѣжать. Ну, въ Америку. Окружающее все, всё, не по немъ, а онъ для всего окружающаго тоже что-то странное, чуждое, неопредѣленное. Или же приходится опредѣлять все такъ же, назвать себя все тѣмъ же прозвищемъ: „Пятое колесо“. Неужели же исхода нѣтъ изъ этого положенія? Неужели нельзя пристроиться, примазаться къ чему-нибудь, или къ кому-нибудь? Не ошибается ли онъ? Быть можетъ все это напускное? Быть можетъ все это органическое, болѣзненное? Отъ извѣстнаго образа жизни разлилась желчь, явилась раздражительность, явился мрачный взглядъ на жизнь. Стало-быть, если принимать какія-нибудь лѣкарства въ приличныхъ дозахъ, то совершенно иначе посмотришь на общественныя основы, на политическое положеніе своего отечества, на сословныя предрасудки и т. д. Вдругъ окажется, что разрѣшеніе всего этого благополучное и утѣшительное въ рукахъ какого-нибудь доктора, или вѣриже въ аптекѣ, въ порошкахъ или въ микстурѣ.

Сивцовъ грустно улыбнулся.

Нѣтъ, этого въ крови не уничтожишь... Надо переродиться, если не вновь уродиться.

И онъ задалъ себѣ вопросъ: былъ ли бы онъ такой точь-въ-точь, еслибъ уродился сыномъ хотя бы вотъ этого самаго Калитина? Такъ же ли отнесся бы онъ ко всему міру или иначе?

Если иначе, то стало быть въ немъ теперь ложь. Онъ лжетъ самому себѣ... Въ немъ, слѣдовательно, царить одно изъ самыхъ скверныхъ, презрѣнныхъ человѣческихъ чувствъ—простая зависть! А вдобавокъ зависть бываетъ лишь къ тому, чего у человѣка нѣтъ... А у него ничего нѣтъ... Стало быть, зависть ко всему на свѣтѣ.

Сивцовъ настолько глубоко задумался, что смутно слышалъ свое имя и не понималъ, почему его собственное прозвище звучитъ у него надъ ушами.

Очнувшись, онъ увидѣлъ въ трехъ шагахъ отъ себя Ольгу Калитину.

Она стояла опустивъ руку съ корзиной, немного нагнувшись впередъ, какъ бы внимательно разглядывая его. И лицо ея удивило Сивцова. На немъ было ясно написано чувство удивленія и состраданія.

— Хорошо вы грибы ищете! выговорила Ольга, стараясь говорить шутливо, но въ голосѣ ея звучало чувство чуждое шуткѣ.

Сивцовъ не рѣшился что-либо отвѣчать, а только двинулся съ мѣста.

— Теперь я не удивляюсь, что вы всегда съ пустою корзинкою приходите, уже веселѣе произнесла дѣвушка.—Идите со мной... Я вамъ не дамъ думать, а заставлю глядѣть во всѣ глаза и лазить подъ всѣ кусты.

— Съ большимъ удовольствіемъ! отозвался Сивцовъ.

Они двинулись вмѣстѣ.

— Можно мнѣ вамъ предложить глупый вопросъ... даже не совсѣмъ приличный вопросъ?...

— Предложите!... удивляясь отвѣтила Сивцовъ.

— Но вы должны мнѣ дать честное слово, что отвѣтите правду, или скажите что отвѣчать не хотите. Но лгать не будете...

— Я не изъ лгуновъ...

— Это такъ говорится... Всѣ мы—лгуны и лгуньи, когда оно нужно и особенно когда дѣло касается до насъ самихъ.

— Я васъ не понимаю...

— Видите ли, я не умѣю хорошо выражать мою мысль, оживляясь вымолвила Ольга.—Мы, предположимъ, люди порядочные, считаемъ дурнымъ лгать и не лжемъ, когда дѣло касается до постороннихъ лицъ и постороннихъ намъ вещей. Но когда дѣло идетъ о насъ самихъ, то мы лжемъ постоянно. А всего больше, кажется, мы лжемъ сами себѣ, когда разговоръ идетъ у насъ съ собой. Вотъ я, напримѣръ, никогда не солгала отцу или матери, а какъ только начну разговаривать съ Ольгой Калитиной, такъ сейчасъ начинаю ужасно лгать и она лжетъ...

Ольга звонко разсмѣялась. Сивцовъ невольно тоже улыбнулся.

— Такъ вотъ отвѣчайте мнѣ на мой вопросъ правду или прямо скажите, что не хотите отвѣчать. О чемъ вы сейчасъ такъ глубоко задумались?

— Я отвѣчу правду, Ольга Николаевна. Странное совпаденіе! Я именно объ этомъ-то и задумался... Вы будто почували... Вы почти уже отвѣтили то, что ждете отъ меня въ видѣ отвѣта....

— Какимъ образомъ? удивилась дѣвушка.

— Да. Я именно, стоя у этого дерева думалъ: не лгу ли я себѣ ежедневно, ежечасно?.. И въ вопросѣ крайне важномъ. Я себя увѣряю, что я—хорошій человѣкъ, а въ дѣйствительности я ни на что не годный человѣкъ, съ самыми скверными свойствами характера.

— Я думаю, во всякомъ случаѣ, отозвалась Ольга,— что человѣкъ, который считаетъ самъ себя сквернымъ, лучше тѣхъ, которые считаютъ себя хорошими. Я вотъ, напримѣръ, считаю себя крайне неуклюжею, очень глупою, очень злою, лѣнивою, слишкомъ разбирающею недостатки людей даже мнѣ близкихъ и т. д. И мнѣ кажется, что, часто думая объ этомъ, я дѣлаю себѣ пользу, потому что стараюсь исправиться. Скажите, случилось ли вамъ имѣть минуту нетерпѣнія или досады противъ вашихъ родителей.

— У меня ихъ почти не было, Ольга Николаевна.—Я былъ взятъ у отца и матери ребенкомъ на воспитаніе къ доброй и шальной барынѣ.

— Она взяла васъ воспитывать? Она сдѣлала для васъ доброе дѣло?

— Да...

— Зачѣмъ же вы говорите „шальной“.

— Это заведетъ слишкомъ далеко... Желая сдѣлать мнѣ добро, она, кажется, принесла мнѣ только зло... Она вырвала меня изъ колен, по которой я бы теперь, быть можетъ, уже далеко ушелъ и былъ бы счастливъ.

— Все одно и то же! Все одно и то же! закачала головой Ольга, какъ бы отвѣчая на свои мысли.

— Что вы хотите сказать?

— Видите ли, дѣдушка говорить точь-въ-точь то же, что и вы. Еслибъ его не пригласили пріятели итти на площадь, когда...

— Ахъ, это недурно! невольно прервалъ Сивцовъ.—Его „пригласили на Сенатскую площадь...“

— Да, вамъ кажется это страннымъ?

— Конечно. Человѣка приглашаютъ итти въ Сибирь, какъ бы приглашая на кадриль, и онъ идетъ...

— Онъ не могъ отказаться... Но оставимте это. Онъ обвиняетъ своихъ друзей и свои молодые годы, называетъ ихъ шальными, такъ же какъ вы вашу воспитательницу. Отецъ мой говоритъ то же, что еслибъ онъ не вышелъ въ отставку, то былъ бы теперь, конечно, генераломъ или губернаторомъ,

а теперь онъ и не военный, не чиновникъ и не помѣщикъ, а такъ ни то, ни се: человекъ безъ опредѣленныхъ занятій. Мнѣ кажется, что всякій изъ насъ, по какой бы колесѣ ни шель, непременно долженъ думать, что идетъ не по той, по какой слѣдуетъ, что онъ ошибся. Я вотъ немного на свѣтѣ живу, а меня удивляетъ, что я не вижу людей довольныхъ своимъ существованіемъ. Всѣ недовольны... Всѣ говорятъ про себя: „я обойденъ“. Быть можетъ это потому, что мы желаемъ всегда того, чего у насъ нѣтъ, и не придаемъ никакой цѣны тому, что имѣемъ.

— По крайней мѣрѣ, Ольга Николаевна, когда вы смотрите въ зеркало, то вы видите предъ собой счастливую личность, довольную своею жизнью.

— Я? Да, я счастлива теперь, странно произнесла Ольга.— Теперь я совершенно счастлива, но потомъ... послѣ... я буду очень несчастлива... Гораздо несчастливѣе многихъ. Если вы меня встрѣтите лѣтъ черезъ двадцать, то вамъ жалко станетъ.

— Почему же вы это думаете и говорите такимъ увѣреннымъ голосомъ?

— По очень простой причинѣ... Я хочу отъ жизни, даже требую такъ много, что она не можетъ мнѣ этого дать. Это было бы чудомъ. А я не помирюсь...

— Какая же, однако, между нами большая разница! Вы требуете многого слишкомъ и будете несчастливы. Я буду тоже еще несчастнѣе васъ, ничего не требуя. Мнѣ кажется, между нами одно общее... Вамъ повредили много люди васъ обожающіе, которые, извините, не сумѣли васъ воспитать и точно направить вашу умъ. Меня погубила женщина, если не обожавшая меня, то все-таки благодѣтельница. У меня есть братъ, на котораго не свалилось никакого благодѣянія и не расшибло ему головы, и онъ уже теперь совершенно счастливъ... Вотъ отъ него вы бы не услышали, что онъ недоволенъ своею судьбой и идетъ не своею колесей.

— Онъ старше васъ?

— Кажется моложе. А, право, не знаю...

— Онъ въ университетѣ или уже на службѣ?

— На службѣ... Служить вѣрой и правдой цѣлому околотку, самъ доставая съ полокъ, отмѣривая и завязывая въ бумагу всякую всячину.

— Вы шутите...

— Нѣтъ, Ольга Николаевна.

— Чѣмъ же онъ занимается?

— Онъ лавочникъ.

Ольга ничего не отвѣтила и послѣ небольшой паузы выговорила:

— Вы лжете!

— Какъ?! удивился Сивцовъ.—Вы не вѣрите, что братъ мой лавочникъ?

— Вы лжете самому себѣ... Не мнѣ, а себѣ лжете... Вы будто бы презираете брата за то, что онъ лавочникъ. А это неправда! Вамъ не за что презирать его. Вы лжете себѣ... И видите ли какъ вы не логичны... Еслибы вашъ братъ случайно, чрезъ какого-нибудь благодѣтеля былъ бы теперь въ другой колеѣ: былъ бы дипломатомъ или гвардейскимъ корнетомъ, то вы бы теперь ненавидѣли его и якобы презирали изъ чувства...

Ольга запнулась.

— Не знаю... Зависти... не хочу сказать, а настоящаго слова найти не могу.

— Вы меня совершенно не знаете, а судите строго, выговорилъ Сивцовъ.—Надо знать, какъ прошла моя жизнь, и тогда многое станетъ ясно...

И вдругъ, увлекшись, самъ не зная что подтолкнуло его, Сивцовъ въ первый разъ въ жизни откровенно заговорилъ о себѣ, началъ цѣлую исповѣдь. За день назадъ онъ никогда бы не повѣрилъ, что способенъ такъ исповѣдываться предъ кѣмъ либо, а въ особенности предъ этою молодою дѣвушкою, съ которою онъ до сихъ поръ только изрѣдка перекидывался незначущими словами.

Впрочемъ, онъ смутно чувствовалъ, что искренность и правдивость, которыми вѣяло отъ дѣвушки, повліяли на него.

„Говорять, что святые отцы простою бесѣдою заставляли сознаваться и раскаиваться самыхъ нераскаянныхъ грѣшниковъ“, думалось Сивцову.

Безыскусственность и даже крайняя простота, которою отличалась Ольга, заставили Сивцова вдругъ почти исповѣдываться.

Онъ подробно сталъ рассказывать ей, съ какимъ трудомъ далось ему ученье, съ какимъ озлобленіемъ озирался онъ кругомъ себя съ той минуты, когда былъ вырванъ изъ семьи и его окружили чужіе люди, взиравшіе на него какъ на какую-то игрушку.

Затѣмъ, конечно, полное одиночество нравственное заставило его ко всему отнестись враждебно. Все кругомъ него чуждо. Многое желательно, но недостижимо. И наконецъ впереди онъ не видитъ ровно ничего! Самая будничная, безрадостная, почти бессмысленная жизнь! Существованіе изъ-за куска хлѣба!

— Ъсть кусокъ хлѣба и въ то же время работать, чтобы завтра былъ кусокъ хлѣба! воскликнулъ Сивцовъ.— Что же это такое!

— Но вѣдь многіе и многіе въ этомъ положеніи, отозвалась Ольга,— а между тѣмъ счастливы и довольны своею судьбою.

— Но у всѣхъ этихъ многихъ, Ольга Николаевна, есть хоть что-нибудь въ жизни, дающее одну свѣтлую минуту во днѣ... У меня же такой минуты не было и не будетъ... У меня буквально ничего нѣтъ!.. У меня нѣтъ даже того, что есть у иной собаки... У этой собаки есть человѣкъ, который ее любить и ласкаетъ. У меня такого человѣка нѣтъ, никогда не было и, я увѣренъ, никогда не будетъ.

— За будущее вы отвѣчать не можете.

— Нѣтъ, могу, Ольга Николаевна, потому что я вижу впередъ, что та рука, которую бы я пожелалъ видѣть меня ласкающею, не протянется. А ту, которая протянется ласкать меня... я какъ цѣпной песь укушу.

Ольга не отвѣтила ни слова и они долго двигались молча.

Сивцовъ вдругъ замѣтилъ, что они снова на опушкѣ лѣса, и, увидя приближающагося Калитина, поспѣшилъ выговорить.

— Я надѣюсь, Ольга Николаевна, что вы не станете меня ни слишкомъ строго судить, ни смѣяться надо мной... Этотъ разговоръ былъ не нужень, и я теперь...

— Этотъ разговоръ насъ сблизилъ! прервала Ольга, быстро направляясь на встрѣчу къ отцу.

Сивцовъ отсталъ немного, думая, что дѣвушка дѣлаетъ искусный маневръ, чтобы Калитинъ не догадался, что они гуляли вмѣстѣ. И укрытый большимъ кустомъ, онъ вдругъ услыхалъ голосъ Николая Павловича.

— А гдѣ же нашъ Федосѣичъ... Онъ былъ кажется съ...

Наступила мгновенная пауза, и Калитинъ прибавилъ тише:

— Что жъ дѣлать... Une boulette, chère enfant.

XXII.

Ольга сказала правду. Неожиданная откровенная бесѣда въ лѣсу сблизила студента съ молодой дѣвушкой. Ей стало жаль этого „изуродованнаго“ человѣка, какъ она мысленно назвала его.

„Злой добрый человѣкъ! думала она, т. е. озлобленный добрый человѣкъ. И какъ лжетъ себѣ... Ай, какъ лжетъ.

Ольга стала не только ласково, но даже иногда нѣжно относиться къ студенту.

Она всегда относилась такъ къ людямъ, о которыхъ почему либо соболѣзновала.

Сивцовъ сразу очутился подъ чарующимъ вліяніемъ, даже подъ властью этой нѣжности.

Не прошло трехъ дней, какъ между ними произошелъ другой, еще болѣе искренній и даже рѣзкій по искренности разговоръ.

Сивцовъ предложилъ молодой дѣвушкѣ прокатить ее въ лодкѣ по рѣкѣ.

— Если ваши родители не найдутъ тутъ какого неприличія! сказалъ онъ.

— Какой вздоръ! Я и спрашивать не стану, отозвалась Ольга.—Какъ вамъ могло эдакое на умъ прійти?

— Молодымъ дѣвицамъ въ вашемъ обществѣ не позволяютъ многого... Въ особенности по отношенію къ мужчинамъ.

— Да... Но... видите ли... Есть разница... Съ кѣмъ-нибудь другимъ я бы не поѣхала, но съ вами... Это другое дѣло.

— Со мной можно?

— Конечно.

— Благодарю васъ за... И Сивцовъ запнулся, не зная какъ выразиться... За довѣріе что ли.

— Нѣтъ. Это не то... Это потому что вы...

Ольга тоже запнулась и не знала какъ сказать. А затѣмъ черезъ мгновенье она подумала: „Я сумасшедшая. Этого и нельзя сказать!.. Тѣмъ паче, что онъ даже не понимаетъ. Онъ благодарить. Стало быть, онъ совсѣмъ не понимаетъ...

Когда они сѣли въ лодку и отѣхали за версту отъ усадьбы,

разговоръ объ Москвѣ и объ разныхъ пустыхъ мелочахъ вдругъ случайно перешель на мебелированныя комнаты.

— Это гостиница? спросила Ольга.

Сивцовъ не мало удивился, узнавъ, что молодая дѣвушка никогда не была въ „номерахъ“. Отъ описанія жизни въ мебелированныхъ комнатахъ студентъ незамѣтно перешель на описаніе своего дня зимой. Затѣмъ онъ заговорилъ объ утомленіи и раздраженіи, которое является послѣдствіемъ даванія уроковъ.

Онъ бросилъ весла въ лодку, оживился и озлобился... Разговоръ перешель снова на ту же тему, что и въ лѣсу.

Сивцовъ сталъ еще подробнѣе рассказывать всѣ свои тревоженія, невзгоды и всѣ оскорбленія отъ людей.

Ольга выпрашивала малѣйшія мелочи и подробности и черезъ часъ она знала всю простую обыкновенную исторію жизни этого бобыля, какъ еслибы жила съ нимъ съ дѣтства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она узнала и много тайныхъ помысловъ этого бобыля...

Онъ весь высказался въ рѣзкихъ выраженіяхъ и съ цинической откровенностью...

Онъ даже злобно заявилъ, что честность, нравственность и „многое сему подобное“—условныя понятія.

— Могутъ случиться такія обстоятельства, что украсть будетъ дѣломъ и честнымъ, и нравственнымъ!

— Вы способны на это... Украсть? Стать воромъ? спросила Ольга.

— Да... Можетъ быть... Все зависитъ...

— Я вамъ за васъ отвѣчаю, что вы не украдете ни при какихъ обстоятельствахъ! весело разсмѣялась Ольга. Съ голуду умрете, а куска хлѣба не украдете со стола... А теперь берите весла и гребите. Пора домой!..

Черезъ часъ Сивцовъ былъ уже въ своей комнатѣ и спрашивалъ себя мысленно:

— Что за дьяволъ? Въ лѣсу откровенничаль, потомъ себя за это ругаль... А сейчасъ опять тоже, да еще того хуже... Всю вонючую душу на ладонь положилъ и ей къ носу поднесъ...

Въ этотъ день послѣ вечерняго чая, когда всѣ вышли на террасу, Ольга спустилась въ партеръ нарвать, по обыкновенію, букетъ цвѣтовъ для своей матери. Сивцовъ, спустившись тоже съ послѣднихъ ступенекъ, смотрѣлъ на красивую

молодую дѣвушку, какъ она рвала цвѣты, и, прибавляя къ букету, сортировала ихъ, чтобы гармоничнѣе сочетать краски.

— Она—русская красавица, думаль онъ. Крупная здоровая дѣвка!

Ольга вдругъ остановилась и выговорила громко, чтобы слова ея могли долетѣть до Сивцова.

— Представьте... Точно старуха. Устала нагибаться...

— Позвольте мнѣ помочь вамъ, отозвался студентъ, приближаясь. Вы показывайте цвѣты, а я буду рвать.

— Пожалуйста! улыбнулась Ольга. И она стала указывать на различные цвѣты, а Сивцовъ срывалъ ихъ и подавалъ ей.

Между тѣмъ студента мучила все одна и та же мысль. Ему было досадно на самого себя, что онъ, Богъ вѣсть почему, рѣшилъ на тотъ откровенный разговоръ, который произошелъ между ними. „Разнѣжился! упрекалъ онъ себя мысленно. Первой встрѣчной дѣвчонкѣ рассказать то, что всегда хранилъ на душѣ, пустился въ откровенности, какъ какая институтка...

Теперь онъ не выдержалъ и воспользовался случаемъ.

— Я надѣюсь, Ольга Николаевна, произнесъ онъ вдругъ безъ всякаго повода, что вы забыли нашъ глупый разговоръ въ лѣсу.

— Нѣтъ, не забыла... И почему же онъ глупый? быстро проговорила Ольга.

— Очень жаль, если вы его помните и отнесли къ нему серьезно. Все это было одно вранье...

— Мерси! Вѣдь вы не одни разговаривали въ лѣсу, а вмѣстѣ со мной. Я говорю всегда правду.

— Конечно, все это было одно вранье съ моей стороны, а вы изъ любезности мнѣ поддакивали, рѣзко выговорилъ Сивцовъ.

— Я васъ не понимаю! удивилась Ольга и пристально посмотрѣла въ лицо Сивцова. Напротивъ того, нашъ разговоръ былъ очень хорошій, а главное очень искренній. И, право, далеко не глупый. Я совершенно не понимаю, что вы хотите теперь сказать...

— Мнѣ не слѣдовало, Ольга Николаевна, говорить такъ, какъ я говорилъ: ни съ того, ни съ сего исповѣдоваться передъ первымъ встрѣчнымъ.

— Мерси опять! Впрочемъ, когда мы начали говорить, мы, дѣйствительно, были мало знакомые между собой люди, но

вѣдь, когда мы поговорили, мы уже разстались хорошо знакомыми. Вотъ значеніе нашего разговора... И уже по этому одному его нельзя назвать глупымъ. А теперь я говорю, что мы съ вами можемъ быть друзьями, а вы говорите, что нашъ разговоръ былъ: одно вранье... Это не хорошо! разсмѣялась Ольга.

— Мы можемъ быть друзьями, сказали вы? насмѣшливо спросилъ Сивцовъ.

— Да...

Сивцовъ пожалъ плечами нѣсколько презрительно и, ни слова не говоря, двинулся на террасу.

Ольга слѣдила за нимъ съ удивленіемъ въ глазахъ и наконецъ тихо шепнула сама себѣ.

— Странный, постоянное озлобленіе и неумѣнье сдерживаться.

И вдругъ она прибавила мысленно:

„Отчего неблаговоспитанныхъ людей называютъ „дита природы?“

Вѣдь природа сама—такъ изящна!

XXIII.

Несмотря на выходку Сивцова, съ этого же дня молодая дѣвушка и студентъ стали дѣйствительно, какъ говорится, друзьями. При всякомъ удобномъ случаѣ, когда было только возможно, они оставались вдвоемъ дома, или во время прогулки, и тотчасъ же пускались въ длинные разсужденія, споры и въ философствованіе.

Иногда Ольга горячо спорила, воодушевлялась и начинала выражаться рѣзко, говорить студенту такія вещи, которыя бы ни за что не рѣшилась сказать прежде и которыя бы студентъ не могъ спокойно выслушать отъ кого-либо другого.

— Какая въ васъ путаница! Какой сумбуръ! восклицала она.—Вы завидуете тому, что презираете, слѣдовательно что-нибудь одно: вы обманываете другихъ, или обманываете самого себя...

Въ другой разъ она говорила:

— Скажите мнѣ, откуда можетъ происходить ваше нелѣпное презрѣніе къ благовоспитанности, къ приличіямъ. Вѣдь вы презираете только то, что не можете имѣть, а благовос-

питанность вы могли бы приобрести. Ваша натура ее отрицает... Ну, так заставьте себя насильно быть приличнымъ. Вы говорите, что не любите картузъ, любите гулять съ непокрытой головой. Однако же вы его носите въ городъ...

Прежде отъ кого-либо другого слышать подобныя вещи было бы для Сивцова равносильно личному оскорбленію—пощечинѣ, но теперь ихъ бесѣды съ Ольгой зашли такъ далеко, до такой искренности, что она могла все это сказать; и Сивцова не только не коробило это, а иногда самыя рѣзкія выраженія Ольги были ему пріятны.

Чуждый голосъ говорилъ ему вслухъ то же, что онъ самъ себѣ уже давно и часто говорилъ.

Наконецъ Ольга Калитина стала для безроднаго студента чѣмъ-то особеннымъ. Онъ не могъ опредѣлить этого, но только чувствовалъ. Понемногу онъ додумался до того, что эта дѣвушка является для него „примирающимъ звеномъ“ между нимъ и всѣмъ окружающимъ міромъ.

Она „вся“ въ этомъ мірѣ, онъ существуетъ какъ будто для нея одной, настолько полна она имъ. А онъ, какъ человѣкъ утопающій, схватился за нее, какъ за соломинку. Дѣйствительно, она соломинка! Но онъ глубоко увѣренъ, что, ухватившись за такую маленькую соломинку, спастись можно... Она выдержитъ утопающаго и вытянетъ на берегъ.

Съ этой минуты Сивцовъ сталъ спрашивать себя, какъ онъ относится къ дѣвушкѣ, какое странное, необъяснимое значеніе начинаетъ она получать въ его личной жизни. Бывало ли нѣчто подобное съ кѣмъ либо? Врядъ ли...

И молодой человѣкъ, которому было около двадцати пяти лѣтъ, который былъ далеко не глупъ, все-таки не понималъ, что его отношеніе къ Ольгѣ Калитиной выражалось, опредѣлялось самымъ простѣйшимъ образомъ...

Онъ былъ въ нее влюбленъ.

И надо отдать ему справедливость, что не одна изящная и красивая внѣшность Ольги подѣйствовала на него, а ея нравственный обликъ, ея рѣчи, глубокое чувство, которымъ вѣяло отъ того, что она говорила, и наконецъ ея искреннее участіе къ его судьбѣ, ко всѣмъ мелочамъ его существованія.

Дѣвушка доходила до того, что не сердясь почти никогда, сердилась на какія-нибудь выходки Сивцова съ матерью, или съ дѣдомъ, журила его, уговаривала и всячески доказывала, что такъ поступаютъ только невѣжи и глупые люди, что онъ

даже часто умышленно корчитъ изъ себя неотесаннаго чело-
вѣка, что онъ находитъ какое-то удовольствіе въ рѣзкости и
грубости и что все это напускное, фальшивое...

— Стоитъ вамъ только, говорила она,—современемъ до-
стигнуть кое-чего желаемаго вами въ жизни и вы сразу пе-
ремѣнитесь въ обращеніи съ людьми.

Сивцовъ не соглашался, но защищался слабо.

— Скажите мнѣ, замѣтила однажды Ольга.—какъ вы объ-
ясните одно явленіе: почему вы крайне вѣжливы, черезъ
мѣру, съ прислугой въ домѣ, даже со встрѣчнымъ пьянымъ
мужикомъ способны начать любезничать, вмѣсто того чтобъ
его обругать какъ слѣдуетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вы рѣзки,
часто невѣжливы со всѣми нами? Вѣдь это комедіанство!
Вѣдь вы хотите намъ что-то показать, вы хотите сказать
отцу, или дѣду (себя я исключаю), что вы не ниже насъ, не
хуже насъ, не глупѣе насъ, а между тѣмъ этимъ самымъ
способомъ доказываете, что вы сами мысленно ставите себя
и ниже, и хуже, потому что первое, что мы требуемъ—это
формы...

— А я повторяю, что именно это, Ольга Николаевна, я
и отрицаю. И всю жизнь мою буду отрицать и поднимать на
смѣхъ. Условное я отрицаю, какъ ложь...

— Тогда, здороваясь съ человѣкомъ, не снимайте шляпы,
не протягивайте ему руку... Это все ложь по вашему, ибо—
это все формы, это все условное. Почему снять шляпу вмѣ-
сто того чтобы... ну хоть бы постучать себя въ грудь. Турки
не снимаютъ свою чалму. И есть тоже говорятъ на свѣтѣ
такіе дикари, которые здороваются, прикасаясь другъ къ другу
кончиками носовъ.

Подобнаго рода бесѣды и споры затягивались иногда на
два часа и болѣе и кончались тѣмъ, что молодая дѣвушка
сбивала студента съ толку, заставляла горячо и краснорѣчиво
противорѣчить себѣ въ каждомъ отвѣтѣ, на каждомъ шагѣ.
И послѣ этого, благодаря правдивости натуры Сивцова, не
только она, но и онъ кончали веселымъ, искреннимъ смѣ-
хомъ.

XXIV.

Разумѣется вскорѣ, благодаря молодой дѣвушкѣ, въ семьѣ
Калитиныхъ начали смотрѣть на Сивцова совершенно иначе.
Его полюбили. Съ своей стороны онъ не только былъ осо-

бенно внимателенъ къ своимъ занятіямъ и добръ съ мальчишками, но полюбилъ ихъ теперь и былъ готовъ для нихъ на всякія услуги.

Когда, вскорѣ послѣ пріѣзда, Вася попросилъ студента сдѣлать ему змѣй, то Сивцовъ заявилъ, что его дѣло уроки давать, а не игрушки клеить для своихъ воспитанниковъ.

— Обратись къ лакею Захару! сказалъ Сивцовъ.

Вася, несмотря на свои годы, удивился, но вѣрно понялъ мотивъ отвѣта студента.

— Зачѣмъ же... Мнѣ и дѣдушка склеить змѣй, отвѣтилъ мальчикъ.

Теперь же Сивцовъ самъ оцѣнилъ по достоинству свой тогдашній отвѣтъ и всякій разъ, что могъ чѣмъ-нибудь одолжить своихъ учениковъ, дѣлалъ это съ величайшимъ удовольствіемъ.

Онъ сталъ свой человѣкъ въ семьѣ, съ которымъ обращались какъ съ близкимъ. Одна Анна Андреевна попрежнему покровительственно, но все-таки мягче обращалась со студентомъ. Она даже удостоивала его споромъ, чего прежде не дѣлала.

Старикъ Павелъ Михайловичъ относился къ студенту особенно дружелюбно и на всѣ его рѣзкости отвѣчалъ добродушно.

— Эхъ вы, Петръ Ѳедосѣевичъ! Перемелется—мука будетъ! Но это все-таки хорошо, что въ васъ кое-что перемалывается. Плохо, когда у человѣка въ ваши годы ничего не перемалывается, да и жернововъ-то нѣтъ, а одни крылья на показъ. Со стороны кажется, что мельница работаетъ, а въ дѣйствительности у нея одни только крылья вертятся зря по волѣ вѣтра.

Иногда же старикъ говорилъ:

— Спорить я съ вами не стану—усталь... Слишкомъ я много думалъ и много спорилъ, когда молодъ былъ, но много за то умаялся и усталъ, сидя въ предѣлахъ Ермака Тимоѳеича.

Съ самимъ Калитинымъ отношенія студента были самыя простыя или, вѣрнѣе сказать, не было никакихъ.

Николай Павловичъ какъ бы отрекомендовался вполне молодому человѣку и больше ему было сказать нечего. Онъ ему выболталъ все, что выбалтывалъ всѣмъ, и теперь приходилось повторять только то же самое.

Какой бы новый вопрос ни поднимался, Калитинъ ухищрялся всегда сказать все то же самое. Шло ли дѣло объ англійской конституціи или о выводкѣ ананасовъ въ оранжереяхъ, Калитинъ ухищрялся взяться за вопросъ такъ, что говорилъ если не то же самое, то на одинаковый ладъ.

Сивцовъ давно прозвалъ его шарманкой о двухъ валикахъ.

„Да, настоящая шарманка! думаль онъ. Только передвинь задвижку и начинай новую піесу. Но эта новая піеса опять таки скрипитъ, и визжитъ, и подсвистываетъ точно такъ же, какъ и первая. Не то галопъ, не то похоронный маршь, не то просто ерунда отъ нехватяющихъ дудочекъ и клапановъ.

Одно время Сивцова занялъ вопросъ: относятся ли къ Калитину его отецъ и дочь такъ же, какъ и онъ. Но догадаться онъ не могъ.

Однажды, оставшись наединѣ со старикомъ, онъ прямо спросилъ у него, всегда ли Николай Павловичъ былъ человѣкъ такихъ убѣждений?

— Какихъ?.. коротко и глухо выговорилъ Павелъ Михайловичъ, вскинувъ на него свои добрые глаза.

Сивцовъ замаялся. Онъ не зналъ чѣмъ замѣнить слово: „такихъ“.

— Видите ли, г. Сивцовъ, какъ-то сурово выговорилъ Павелъ Михайловичъ,—сынъ хорошій, добрый человѣкъ, его не надо строго судить, ничего въ немъ худого нѣтъ. А такіе люди не часто попадаютъ. У него только одна привычка, одинъ обычай или, выражусь вѣрнѣе, одна манія... Любитъ онъ краснорѣчиво доказывать человѣку все то, что онъ, этотъ человѣкъ, самъ думаетъ или въ чемъ убѣжденъ. Будетъ онъ иному лохматому и неумытому доказывать, что причесываться и умываться совершенно неприличное занятіе. Другому будетъ онъ доказывать, что надобно взять топоръ въ руки, да и итти на штурмъ, рубить все и всѣхъ. Третьему будетъ доказывать, что всѣхъ російскихъ гражданъ слѣдовало бы въ опредѣленные дни недѣли наказывать розгами... Вы будете со стороны слушать и скажете: какой кривой души человѣкъ! И ошибетесь. Онъ не криводушень. Онъ смотритъ въ душу человѣка какъ въ ручеекъ или рѣчку, видитъ или просто чувствуетъ, что тамъ на днѣ, да про все это и говорить, но говорить горячо... Выходитъ, какъ будто онъ доказываетъ, а онъ—поймите—только вамъ же васъ же рассказываетъ. И безъ всякой дурной цѣли, безо всякаго умысла. Вотъ

вамъ сынъ Николай. Ну, а меня, кстати сказать, вы такими вопросами близкими къ сердцу не беспокойте. Вѣдь вотъ сколько пришлось сейчасъ наговорить, а я разсуждать и объясняться не люблю... Развѣ вотъ насчетъ рыбной ловли, это съ удовольствіемъ, хоть цѣлый день буду говорить.

— Ну-съ, Павелъ Михайловичъ, одинъ только вопросъ. Умываніе и причесываніе, о которомъ вы упомянули, это на мой счетъ? усмѣхнулся Сивцовъ.

— Понятное дѣло! отозвался Павелъ Михайловичъ совершенно серьезно.—Но я это потому сказала, что это гипербола и вдобавокъ дѣло прошлое. Теперь васъ Ольга и причесала и умыла.

Сивцовъ вытаращилъ глаза и воскликнулъ:

— Ольга Николаевна?!..

— По крайней мѣрѣ, она увѣряетъ... Хвастается этимъ.. А въ дѣйствительности-то я, ей-Богу, не знаю... Кто васъ знаетъ. Уѣдете въ Москву и опять за старое приметесь...

— Хвастается... выговорилъ Сивцовъ и сердце его какъ-то странно сжалось.

— И это слово: „хвастается“ преслѣдовало его весь день и даже ночь.

XXV.

На утро, гуляя по саду вмѣстѣ съ Ольгой, Сивцовъ обратился къ ней почти съ тѣмъ же вопросомъ объ ея отцѣ, но нѣсколько иначе, чѣмъ къ ея дѣду.

Онъ заговорилъ о Калитинѣ и заявилъ, покрививъ душой, что Николай Павловичъ очень симпатичный для него человекъ.

— Еще бы! горячо отозвалась дѣвушка. — Вашъ отзывъ есть общій отзывъ всѣхъ. У отца особенный талантъ нравиться всѣмъ, но я должна сказать, что оно дѣлается не само собой. Это его занятіе. Онъ любитъ нравиться всѣмъ, и настолько любитъ это, что готовъ на всякія уступки. Онъ часто лжетъ и на себя, чтобы понравиться. Готовъ даже сильно ради этого покривить душой. Конечно, въ пустякахъ. Иногда случается ему этимъ причинять вредъ человѣку, но онъ дѣлаетъ это неумышленно. Я увѣрена, что еслибъ онъ такъ же часто бесѣдовалъ съ вами, какъ я, то онъ столько бы потакалъ вамъ, что вы бы теперь стали въ обществѣ совер-

шенно невозможны. Когда мнѣ случается стыдить отца за его бесѣду съ кѣмъ-нибудь и доказывать, что онъ кривить душой, то онъ мнѣ отвѣчаетъ: „Ну, Богъ съ нимъ!“ А что это значитъ? Поймите... Онъ лжетъ для человѣка, а не для себя...

— Но, Николай Павловичъ за то не сталъ бы, отозвался Сивцовъ, иронически улыбаясь, — хвастать тѣмъ, что меня перевоспиталь... Якобы перевоспиталь, какъ хвастаютъ другія.

— Ахъ! это я хвастаюсь?

— Да-съ...

— Понятное дѣло! Хвастаютъ всегда тѣмъ, что трудно дается. А я не мало труда положила, не мало словъ потратила и усилій, чтобы васъ заставить кое въ чемъ измѣниться. Понятно, что я хвастаюсь!

— И вы увѣрены, что дѣйствительно меня перевоспитали?

— „Перевоспитали“ слишкомъ сильное выраженіе, но что вы нѣсколько измѣнились, что вы мнѣ уступили въ очень многомъ... въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Если бы было иначе, то я бы давно перестала съ вами говорить. Оно было бы просто толченіемъ воды. А я съ большимъ удовольствіемъ бесѣдую съ вами, чувствуя, что приношу вамъ пользу.

— Вотъ какъ! отозвался Сивцовъ.—Стало быть вы потому только снисходительно бесѣдуете со мной, чтобы заняться моимъ воспитаніемъ и... больше ничего.

— Я васъ не понимаю...

— И больше ничего?.. повторилъ Сивцовъ.

— Мы съ вами друзья... Вы мнѣ симпатичны. Мы часто споримъ. Иногда я уступаю вамъ, и вы мнѣ приносите пользу. Иногда вы уступаете мнѣ, и я вамъ приношу пользу. Замѣтьте къ тому же, что я уступаю въ болѣе серьезныхъ вопросахъ, вы же въ болѣе мелкихъ, но за то вы уступаете чаще. Въ концѣ концовъ намъ обоимъ большая польза отъ нашей дружбы. Самое знакомство наше, мое съ вами, было для меня полезно. Я до сихъ поръ не встрѣчала людей подобныхъ вамъ, жила въ заколдованномъ, какъ говорятъ, кругу московскаго большого свѣта, и всѣ молодые люди, которыхъ я знаю, не вносили ничего новаго въ... ну... въ мое міросозерцаніе... Я выразилась книжно, но это слово я ужасно люблю. Мнѣ страстно хочется, чтобы мое міросозерцаніе скорѣе перешло въ міровѣрованіе или въ міроувѣренность. Теперь я только многое ясно вижу, но не вполне понимаю,

часто не вполне вѣрю. Вы заставили меня во многое, что я смутно чуяла или ясно видѣла, но не понимала, заставили увѣрять.

— Во что же это?! воскликнулъ Сивцовъ.

— Ольга промолчала нѣсколько мгновений и затѣмъ выговорила едва слышно.

— Этого я сказать не могу...

— Какъ?.. Что вы говорите?.. Я не понимаю вашихъ словъ...

— Этого я вамъ никогда не скажу...

— Никому не скажете, или... мнѣ?..

— Вамъ никогда не скажу...

— Именно мнѣ?..

— Именно вамъ...

— Что это значить, Ольга Николаевна? уже взволнованно произнесъ Сивцовъ.

Ольга молчала.

— Стало быть, у васъ есть отъ меня тайна?

— О, много! Что вы? удивилась Ольга.

— Я не такъ выразился... Вы таите, дѣлаете тайну изъ того, что до меня прямо касается?

— Да...

Наступило молчаніе, послѣ котораго Сивцовъ сильно взволнованнымъ голосомъ вымолвилъ:

— Давайте говорить точнѣе...

— Напротивъ, я не желаю вовсе говорить объ этомъ.

— Извините, Ольга Николаевна, я хочу и... требую! Позвольте хоть высказать только одно то, что я считаю нужнымъ. Вы сказали, что я внесъ въ ваше міросозерцаніе нѣчто новое, что вы желаете, чтобы ваше міросозерцаніе, говоря вашими словами, перешло скорѣе въ міровѣрованіе. Это великое дѣло! И въ этомъ великомъ дѣлѣ я вамъ помогъ. Я, стало быть, невольно внесъ нѣчто крупное и важное въ вашу жизнь. И вотъ это, что я внесъ въ вашу жизнь, я не знаю самъ, а вы дѣлаете изъ этого тайну и не хотите мнѣ сказать. Ради Бога объясните!

— Повторяю, что не могу и никогда этого вамъ не скажу! сурово выговорила Ольга.

Молодые люди поглядѣли другъ другу въ лицо. Взволнованное, измѣнившееся лицо Сивцова поразило молодую дѣвушку. Она широко раскрыла глаза и недоумѣвающей взглядъ ея сказалъ за нее:

— Я ничего не понимаю...

Дѣйствительно, студентъ и молодая дѣвушка уже давно не понимали другъ друга. Но совершенно не понявъ другъ друга въ эту минуту, они разошлись встревоженные. Они договорились искренно до полной ясности во всемъ и до полной запутанности въ одномъ... Ольга не обманывала, а Сивцовъ обмануть былъ... Еслибъ Ольга знала, что думаетъ студентъ Сивцовъ, то испугалась бы... Еслибъ онъ зналъ, какую тайну не хочетъ и не можетъ высказать молодая дѣвушка, то это было бы для него такимъ ударомъ, какого, конечно, онъ никогда еще не получалъ въ жизни.

Они напоминали собой теперь двухъ лицъ изъ какой-то нѣмецкой басни, которые сѣли вмѣстѣ въ лодку и поѣхали: одинъ—съ цѣлью прокатиться вмѣстѣ, другой—съ цѣлью утопиться вмѣстѣ.

XXVI.

Прошло нѣсколько дней. Анна Андреевна, вѣчно лежавшая на кушеткѣ съ Таухницемъ въ рукахъ, если не съ чѣмъ-либо французскимъ въ родѣ Габорію, все-таки оказалась матерью. У нея, паче чаянія, оказалась въ наличности материнское око.

Она первая замѣтила угрюмое, озабоченное лицо студента, бѣгающій, иногда безсознательный взглядъ. Наконецъ, поймавъ два-три взгляда, брошенныхъ имъ на Ольгу, Анна Андреевна, какъ женщина пожилая и неглупая, позвала къ себѣ Ольгу вечеромъ въ спальню, когда уже ложилась, и велѣла плотно притворить за собою двѣ двери.

— Ольга, та chère enfant. Я тебѣ что хочу сказать, заговорила она.—Пожалуйста только не смѣйся, не обижайся. А главное повѣрь мнѣ и не говори, что я все выдумала. Въ тебя нашъ Федосѣичъ влюбленъ.

— Я объ этомъ уже думала, мама... Правда, только вчера и третьяго дня, озабоченно отвѣчала Ольга.—До сихъ поръ я не думала, но сегодня, вслѣдствіе одной его фразы, я стала это думать поневолѣ.

— Какой фразы?

— Онъ сказалъ мнѣ, что ему надо со мной объясниться и немедленно уѣхать отъ насъ или оставаться. Все будетъ зависѣть отъ моего отвѣта.

— Что же ты на это ему сказала?

— Я такъ испугалась, что отвѣтила: „хорошо“, а теперь...

Ольга запнулась.

— Что теперь?..

— Теперь я отъ него бѣгаю, конфузливо улынулась она.

— Да, это глупо, и въ этомъ ты виновата. Я даже не могу оправдать твоего поведенія предположеніемъ, что ты увлеклась... По крайней мѣрѣ, я такъ надѣюсь... думаю. Вѣдь не могла же ты увлечься такимъ... Такимъ... Не знаю, какъ выразиться.

— Я васъ не понимаю, татап...

— Какъ?!. Что ты хочешь сказать?

— Я васъ не понимаю... Вы спрашиваете вдругъ меня: могла ли я увлечься Сивцовымъ?

— Ну, да! рѣзко и тревожно выговорила Анна Андреевна.

— Странный вопросъ! сурово выговорила Ольга.—Понятное дѣло.

— Что понятное дѣло? уже вскрикнула Анна Андреевна.

— Понятно, что не могла.

— Слава Богу! Ты говорить не умѣешь... Большая дѣвушка, а выражаться по-русски до сихъ поръ не умѣешь. Мучила меня нѣсколько секундъ. Я ужъ вообразила...

Ольга разсмѣялась добродушно и звонко.

— Какъ вамъ не стыдно, татап? Я допускаю, что прислуга могла подумать, что я кокетничаю съ Сивцовымъ, или даже влюблена въ него. Но вы-то!.. Вамъ-то какъ же не стыдно! Вы-то должны были видѣть... Вы должны понять, что Сивцовъ для меня не человѣкъ... Въ этомъ отношеніи, конечно. Вы говорите,—разсмѣялась снова Ольга,—что я не умѣю выражаться по-русски, а я вотъ вамъ скажу сейчасъ двѣ математически точныя фразы: про такого человѣка, какъ молодой Зарубинъ, я могла бы сказать — „я его люблю“. А про такого человѣка, какъ Сивцовъ, я могу сказать, положивъ руку на сердце, то же самое, но съ прибавкой одного словечка. „Я его очень люблю“. Словечко пустое, а между тѣмъ многое значить. И вотъ я и намѣреваюсь объяснить ему, что я его очень люблю, но что выкинуть это слово „очень“ я не въ состояніи по отношенію къ нему. Слишкомъ много препятствій для того, чтобы я могла выкинуть это словечко. Ему надо вновь родиться на свѣтъ и совер-

шенно не тѣмъ, чѣмъ онъ уродился. Вотъ видите, папан, какъ я красно и гладко съ вами объяснилась, даже въ нѣкоторомъ смыслѣ красиво... Но вамъ стыдно!

Ольга встала, поцѣловала руку у матери, поцѣловала ее въ щеку и закачала головой:

— Стыдно, папан! Можно ли до эдакой степени зачитаться французскихъ романовъ, чтобы начать дочь подозрѣвать Богъ вѣсть въ чемъ. Знаете, кто это все виновать? Это вашъ Жоржъ Сандъ виновать. Вы вотъ мнѣ разъ что-то дали Жоржъ Санда, я читала и головой качала. А вы вотъ читали, не качая головой, да и дочитались до того, что меня сочли способною влюбиться въ г. Сивцова. Стыдно, стыдно и стыдно!

— Ну, *chère enfant*... Еслибъ нашъ Федосѣичъ былъ не эдакій стрючекъ, а красавецъ, то пожалуй ты бы не прочь...

— Стыдно, папан, такъ говорить! Обидчиво отозвалась Ольга.—Полюбить можно себѣ равнаго.

XXVII.

Въ околоткѣ вокругъ лавки Павла Федосѣича уже прошелъ слухъ, который лавочника конфузиль. Стали иные покупатели ему подмигивать, усмѣхаясь, и прибавлять:

— Знаемъ. Знаемъ. Слышали! Что жъ, доброе дѣло!

За это же время однажды утромъ въ лавкѣ появилась сорокалѣтная женщина, высокая, сухая, вся въ черномъ; связанная большимъ чернымъ платкомъ, такъ что только глаза, носъ и ротъ были открыты.

Явившись въ лавку, она спросила хозяина. Сивцовъ, стоявшій предъ ней, назвался. Женщина попросила его на пару словъ въ горницу. Сивцовъ провелъ ее въ свою квартиру.

Женщина на видъ суровая, отчасти даже рѣшительная, внушила ему сразу смѣсь уваженія и неприязни. Сразу почувдилось Сивцову, что эта женщина не даромъ пожаловала... У нея на умѣ что-то такое, чего у обыкновенныхъ покупателей не бываетъ. Однако онъ никакъ не могъ себѣ представить, о чемъ такомъ важномъ заговорить она. А заговорить она непременно о важномъ, а не о простомъ дѣлѣ.

Женщина отрекомендовала себя Софьей Прохоровной и

спросила, слыхаль ли о ней Сивцовъ. На отрицательный отвѣтъ она очень удивилась.

— Меня во многихъ генеральскихъ домахъ знаютъ! объявила она, глядя Сивцову на грудь, а не въ лицо. — Кого ни спросите въ нашемъ приходѣ, всякій Софью Прохоровну знаетъ...

И женщина начала говорить пространно о своей извѣстности и о своихъ дѣлахъ мудреныхъ, которыя она всегда вершила такъ, что всѣмъ въ удовольствіе и даже просто на славу. И пока она говорила, то ни разу не взглянула Сивцову въ лицо, а, полуопустивъ глаза, глядѣла по бокамъ его, или ему на грудь. Говоря, она будто себя слушала или просто говорила сама себѣ, какъ бы не обращая никакого вниманія на собесѣдника.

Но страннѣе всего показался Сивцову этотъ взглядъ. Нѣсколько разъ присмотрѣлся онъ тайкомъ себѣ на грудь, не вымазался ли онъ, или, можетъ, не облился ли щами. Но на груди его ничего не было особеннаго. Было маленькое масляное пятнышко ужъ недѣли съ три, такъ въ этомъ любопытнаго ничего нѣтъ.

Рѣчь женщины была пространна настолько, что Сивцовъ наконецъ выговорилъ отчасти нетерпѣливо:

— Да что жъ вамъ, позвольте узнать, Софья Прохоровна, отъ меня желательно?

— А я въ нѣкоторомъ родѣ въ обидѣ отъ васъ нахожусь... Кого ни спросите въ нашемъ приходѣ людей, и тѣхъ, у коихъ теперь уже — Богъ благословилъ — по десяти человѣкъ дѣточекъ есть, и тѣхъ, что на прошлой Красной Горкѣ вѣнчались, никто безъ меня не обходился...

Понемножку Сивцовъ догадался, что имѣетъ дѣло со свахой, о которой, дѣйствительно, онъ разъ уже слышалъ.

— Но что же, однако, вамъ желательно? повторилъ онъ.

Софья Прохоровна объяснила, что такъ какъ Сивцовъ собирается сочетаться законнымъ бракомъ, то ему слѣдовало обратиться къ ней, какъ къ женщинѣ эти дѣла вѣдающей.

— Я бы вамъ предоставила въ сейчасъ не одну, не двухъ и не трехъ дѣвицъ, а десятокъ, полтора, вотъ что-съ!..

Павель Ѳедосѣичъ удивился и широко раскрылъ глаза.

— Да-съ, не вру! Не думайте... Полтора десятка чрезъ три дня предоставляю.

— Да на что же мнѣ? изумился Сивцовъ.

— Какъ на что? Вы не малый ребенокъ? Изъ полутора десятка выбрать легче.

— Да мнѣ не надо выбирать...

— Какъ не надо? Такъ какъ же вы... по-своему, не по людски. Вѣдь вы собираетесь жениться?

— Да... Да и нѣтъ... Нѣтъ, не собираюсь... А такъ, стало быть, разговоры идутъ.

Женщина обидѣлась. Она навѣрное знала, что Сивцовъ женится, а онъ ей даже и сказать объ этомъ не хочетъ. Ей, которая, такъ сказать, завѣдуетъ этимъ въ кварталѣ. Она въ нѣкоторомъ смыслѣ совершенно то же, что и квартальный надзиратель. Это ея дѣло, прямо до нея касающееся.

Пуще же всего обижена была Софья Прохоровна тѣмъ, что „подлая баба, вралиха“, которая своего мужа на тотъ свѣтъ грубiанствомъ своимъ отправила, бахромщица Дарья Ивановна вдругъ нарывать въ свахи итти!

— А уже про отца дьякона и говорить нечего! восклицала Софья Прохоровна. — Послѣ этого я вамъ вотъ что скажу, и вы ему это передайте. Не нынѣ, завтра приду я въ храмъ Божій, надѣну этотъ самый его стихарь и выйду на амвонъ: паки, молю, паки, Господу Богу помолимся. Итакъ, впредь онъ пушай сватаеть, да сводить, а я буду за него на ектеньѣ возглашать.

Сивцовъ съ большимъ трудомъ успокоилъ женщину, отказался отъ ея услугъ наотрѣзъ, но однако никакъ не могъ втолковать ей то, что хотѣлъ. А желалось ему втолковать свахѣ, что если онъ дѣйствительно женится на барышнѣ Быстроумовой, то это такая его судьба.

— Я тутъ ни при чемъ. Такая на это на все воля Божія! Все такъ произошло, а я самъ совѣмъ тутъ ни при чемъ... Отъ своей судьбы не уйдешь! объяснилъ Сивцовъ со вздохомъ:—А все-таки доложу вамъ, эти вотъ смотры дѣлать, перебирать десятокъ, два разныхъ барышень изъ околотка или изъ другихъ околотковъ, это, извините, вотъ сейчасъ хоть въ яму сажай, не согласенъ. А съ Марьей Назаровой это совѣмъ другое дѣло. Тутъ судьба.... воля Божья...

Софья Прохоровна, уходя, отвѣчала, по мнѣнiю Сивцова, глупость, одну глупость... Она отвѣтила, что никакой судьбы и никакой воли Божьей тутъ нѣтъ, а тутъ все каналья бахромщица и срамникъ отецъ-дьяконъ. Вотъ что тутъ!

— На этомъ и прощайте! прибавила она, стоя на порогѣ лавки.—Только помните!.. Выйдетъ какая несуразность, обманъ, срамота, на меня не пеняйте. Я свое дѣло сдѣлала, упредила. Я и эту самую Машку Быстроумовскую знаю доподлинно, какъ она съ офицеромъ орѣхи щелкала позапрошлый годъ. И его самого знаю который годъ, тятку ейнаго алтынника... Чиновникъ?! Я одного генераль-майора женила. А что у него дѣтей не родится—я тутъ не при чемъ! Да-съ!.. И на этомъ прощайте... Пожалѣете, да будетъ поздно. Не развѣнчаютъ!.. За эдакихъ, какъ вы, простоумныхъ часто офицерскихъ высватываютъ...

— Уходите, уходите! крикнувъ наконецъ Сивцовъ.

— Уйду, уйду... А вы покрывайте... Что жъ? Доброе тоже дѣло... На томъ свѣтѣ вамъ причтется...

Павель Ѳедосѣичъ не стерпѣлъ и вдругъ взялся за метлу, стоящую въ углу... Сваха шаркнула съ порога на улицу и исчезла.

— Ахъ, каналья баба!.. вздохнулъ лавочникъ, а затѣмъ ушелъ къ себѣ въ горницы, сѣлъ и задумался...

„Какъ можно! Вреть со зла, вѣдьма!“ рѣшилъ онъ.

Однако посѣщеніе свахи и ссора не обошлись даромъ. Толки въ околоткѣ усилились. Многіе стали уже прямо поздравлять Павла Ѳедосѣича и спрашивать когда свадьба.

Сивцовъ сначала смущался, но затѣмъ обтерпѣлся и отвѣчалъ шутками.

За то онъ отъ зари до зари думалъ теперь объ Марѣ Назаровнѣ, какъ объ своей суженой.

— Судьба! Воля Божья! говорилъ онъ вздыхая.

Между тѣмъ бахромщица не зѣвала. Она уже раза три побывала у Павла Ѳедосѣича и говорила таинственно: „Прямо отъ нихъ. Все какъ быть слѣдуетъ“. Дѣйствительно, все ладилось, и откладывалось только ради приличія и отчасти изъ-за степенности суженаго. Павель Ѳедосѣичъ не хотѣлъ или не могъ по робости пальцемъ двинуть, а роднѣ суженой неловко напрашиваться и лѣзть.

Наконецъ, однажды отецъ-дьяконъ пригласилъ Павла Ѳедосѣича къ себѣ „вечеркомъ на чашку чая“, предупредивъ только, что у него будетъ въ гостяхъ очень хорошій человекъ.

Явившійся Сивцовъ нашель пятидесятилѣтняго чиновника, очень маленькаго, худенькаго, но съ пріятнымъ лицомъ. Гладко

обстриженный подъ гребенку, съ парой короткихъ бакенбардъ котлетами, съ чисто выбритыми губами и подбородкомъ, въ опрятномъ вицъ-мундирѣ, онъ произвелъ на Сивцова впечатлѣніе челоуѣка, если не важнаго, то все-таки выше стоящаго, чѣмъ онъ самъ и даже отецъ-дьяконъ.

Свѣтлыя пуговицы съ государственнымъ гербомъ и картузь съ кокардой имѣли всегда на Сивцова извѣстное вліяніе. Ему безсознательно всегда чудилось, что на свѣтѣ живутъ два сорта людей, и одинъ сортъ принадлежитъ другому сорту. Половина или часть людей—начальство, а другая половина или часть подчиненные.

Гость отца-дьякона принадлежалъ къ первому сорту, а себя Сивцовъ, конечно, причислялъ ко второму.

Дьяконъ познакомилъ обоихъ, называя ихъ своими большими пріятелями, людьми, которыхъ онъ равно любитъ и уважаетъ, но при этомъ дьяконъ не назвалъ ни того, ни другого по имени и фамиліи. Чиновникъ, очевидно, зналъ съ кѣмъ имѣть дѣло, потому что тотчасъ же снисходительно, но любезно заговорилъ о торговыхъ предпріятіяхъ, о выгоды имѣть лавку на счастливомъ мѣстѣ...

Сивцовъ только понемногу догадался съ кѣмъ имѣть дѣло, и когда догадался, то струсиль. Дьяконъ, должно быть, умышленно не называлъ долго гостя по имени, и только спустя полчаса времени назвалъ его Назаромъ Ивановичемъ, а затѣмъ и г. Быстроумовымъ.

Чиновникъ былъ снисходительно важенъ только первыя нѣсколько минутъ. Это было ему не по характеру. Онъ считалъ только это необходимымъ ради приличія, но затѣмъ онъ сталъ не только любезенъ съ лавочникомъ, но сталъ даже относиться къ нему съ особою пріязнью.

Часовъ въ десять вечера, оба гостя вмѣстѣ вышли отъ дьякона, и чиновникъ проводилъ до дорогъ лавочника до его жительства. Сивцовъ не преминулъ попросить новаго знакомаго не оставлять его своимъ вниманіемъ, такъ какъ въ лавкѣ его всякое найдется, и все по цѣнамъ справедливымъ.

Чиновникъ поблагодарилъ и вздохнувъ прибавилъ, что онъ по своимъ средствамъ многимъ пользоваться не можетъ и забираетъ на книжку у себя по сосѣдству, самую малую толику, самое необходимое.

Однако, чрезъ два-три дня г. Быстроумовъ появился въ лавкѣ Сивцова, прося отпустить фунтъ мелюсу.

Сивцовъ храбро пригласилъ чиновника къ себѣ на квартиру, гдѣ тотчасъ появился самоваръ. Г. Быстроумовъ просидѣлъ около часу. Бесѣда шла все время о трудностяхъ существованія, и Сивцовъ узналъ въ подробности три главные заботы Быстроумова.

Первѣйшею заботою его была его хворость, самая простая, съ которой ничего подѣлать нельзя, геморрой. Излѣчиться невозможно и надо терпѣть. Второе, что озабочивало Быстроумова, была ожидаемая перемѣна начальства, и наконецъ, третье—взрослая дѣвица-дочь.

О геморроѣ и о новомъ начальствѣ Павелъ Ѳедосѣичъ бесѣдовалъ непринужденно, выспрашивалъ и вставлялъ свои соображенія. Но когда дѣло дошло до третьей заботы г. Быстроумова, то Сивцовъ сидѣлъ, какъ бы набравъ воды въ ротъ.

„Надо же что нибудь сказать! думалъ онъ. Что жъ я молчу? Невѣжливо это... Сказать надо!.. Похвалить ее что ли?..“ Спросить гдѣ видѣлъ!..

Но усовѣщивая себя, онъ однако не вымолвилъ ни одного слова. Только и рѣшилъ онъ подъ конецъ вставить одно словечко.

Когда Быстроумовъ объяснилъ, что дочь зарабатываетъ кое-что вышивкой на полотнѣ, то Сивцовъ очень храбро спросилъ, на какомъ полотнѣ вышиваетъ Марья Назаровна. Полотно полотну рознь. И о полотнѣ Сивцовъ распространился. Онъ утѣшался мыслью, что все-таки дѣло шло о полотнѣ, по которому работаетъ Марья Назаровна. Какъ будто выходитъ—объ ней разговоръ! Когда Быстроумовъ вышелъ въ лавку и попросилъ свою покупку, доставая изъ кармана деньги, то Сивцовъ замѣтилъ улыбаясь:

— Покупочку ужъ къ вамъ снесли! И при этомъ, оставивъ чиновника за руку съ деньгами, прибавилъ:—Не извольте беспокоиться! Послѣ сочтемся... Не Богъ вѣсть что...

Чиновникъ хотѣлъ настаивать, но Сивцовъ выговорилъ другимъ голосомъ.

— Вы насъ обидите... Не извольте беспокоиться...

Быстроумовъ поблагодарилъ и вышелъ.

Дома онъ нашелъ занесенный мальчишкой свертокъ, гдѣ оказалось вмѣсто одного: три фунта меллосу и коробочка съ карамельками.

Назаръ Ивановичъ—человѣкъ русскій, взялъ въ руки ко-

робочку, повертѣлъ ее и окончательно убѣдился, что и отецъ-дьяконъ и бахромщица не врутъ—дѣло и въ самомъ дѣлѣ на серьезъ пошло.

— Ну, что жъ, давай Господи! Онъ человѣкъ кажется хорошій!..

XXVIII.

Черезъ шесть дней послѣ этого, въ домѣ чиновника Быстроумова все мыли, чистили, приводили въ порядокъ, ожидая ввечеру госта, который долженъ въ первый разъ переступить порогъ дома.

Этотъ гость былъ женихъ. Не женихъ дочери хозяина, а вообще женихъ. Человѣкъ являвшійся въ домъ не ради хозяина, а ради его дочери.

На этотъ разъ Сивцовъ, собравшись въ гости къ чиновнику, чувствовалъ себя сравнительно мало смущеннымъ. Обтерпѣлся ли онъ, привыкъ ли къ мысли жениться, или иное что вляло на него, онъ самъ не зналъ. Одно только чудилось Сивцову, что итти въ гости въ семейство, къ дѣвушкѣ, которую ему сватаютъ, дѣло самое обыкновенное, простое, законное. Это не то, что тогда съ отцомъ-дьякономъ на бульварѣ. Тогда ему стыдно было, а теперь совсѣмъ не стыдно.

Разумѣется, войдя въ маленькую прибранную гостиную и увидя на диванѣ двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна была въ розовомъ платьѣ, Сивцовъ смутился. Онъ что-то дѣлалъ и говорилъ, самъ не зная что, но затѣмъ сообразилъ тотчасъ же, что онъ ничего худого не сдѣлалъ. Все какъ быть слѣдуетъ.

Чувство законности снова вернулось къ нему тотчасъ же. Онъ спокойно бесѣдовалъ, какъ съ Быстроумовымъ, такъ и съ хозяйками, съ сестрой чиновника и съ его дочерью.

Разглядѣвъ Марью Назаровну съ головы до пятъ, Сивцовъ пришелъ къ убѣжденію, что во всей Москвѣ не сыщется другой дѣвицы, которая бы болѣе подходила ему въ жены.

Можетъ найдется краше ея, да не такая.

— Просто судьба! Божья воля!

Марья Назаровна молчала и только слушала внимательно все, что говорилось, и въ особенности что говорилъ Сивцовъ. За все время только раза два могъ увидѣть онъ ея

глаза и все время только разъ хватило у него духу прямо обернуться къ ней и спросить, съ чѣмъ она предпочитаетъ чай: съ лимономъ или со сливками.

Марья Назаровна, оробѣвъ, отвѣтила:

— Какъ случится. Въ постные дни съ лимономъ.

Сивцовъ пробылъ въ гостяхъ не болѣе часу и, всѣмъ сердцемъ желая сидѣть хоть до утра, сталъ отговариваться дѣломъ въ лавкѣ, и откланялся.

Когда онъ уходилъ, то увидѣлъ пріотворенную изъ прихожей дверь въ кухню, а за ней пять или шесть фигуръ, которыя всѣ, насѣвъ другъ на дружку, смотрѣли на него. Это случилось съ нимъ въ первый разъ въ жизни и пріятно зашекетало сердце. Онъ понялъ, что онъ любопытенъ. Эти фигуры, торчащія тамъ, смотрять на него какъ на жениха.

Черезъ недѣлю послѣ визита, благодаря хлопотамъ Дарьи Ивановны бахромщицы, все уже было кончено, а въ домѣ Быстроумова вечеромъ было освѣщено очень ярко. Свѣчи и керосинъ, горѣвшіе въ горницахъ, были изъ лавки Сивцова. Угощеніе для гостей было тоже изъ его лавки, отъ чая и сахара, до всякихъ изюмовъ, орѣховъ и монпансье. У Марьи Назаровны былъ дѣвичникъ.

Черезъ два дня въ сумерки въ приходскомъ храмѣ было движеніе въ необычный часъ. Изъ сосѣднихъ домовъ бѣжали въ церковь всякія бабы, кухарки и горничныя. Все что было праздно, спѣшило туда поглазѣть.

Около лавки Сивцова стояла синяя карета съ золотыми фонарями, съ синею обивкою. Въ квартирѣ его шла суетня, былъ говоръ и шумъ. Въ лавкѣ шла все-таки торговля, но покупатели едва могли добиться того, что имъ было нужно. Впрочемъ, нѣкоторые покупатели даже совѣстились что либо спрашивать. Всѣмъ было извѣстно, что хозяинъ одѣвается къ вѣнцу.

Въ угольной горницѣ въ это время стоялъ одѣтый въ новое платье Павелъ Ѳедосѣичъ. Предъ нимъ стояла Дарья Ивановна и всячески его упрасивала дѣлать все по-людски. Сивцовъ „жалился“ и отказывался. Дѣло шло о туалетной принадлежности.

Дарья Ивановна требовала, чтобы Павелъ Ѳедосѣичъ непременно надѣлъ пару бѣлыхъ перчатокъ. Сивцовъ пробоваъ, но ничего не выходило. Выходило только какъ-то стыдно...

— Смѣяться будутъ, Дарья Ивановна, говорилъ онъ жалобно.

— Какой дуракъ смѣяться будетъ! Что вы! По-людски надо...

— Да это не по-людски... Это барскія выдумки. Вотъ еслыбы теплыя были... Понятно.

Кончилось тѣмъ, что Дарья Ивановна сама вздѣла перчатку на его толстые и масляные пальцы лѣвой руки. Онъ покорился, но мысленно общался лѣвую руку прятать елико возможно отъ публики.

У дома Быстроумова стояли двѣ наемныя кареты. Тамъ шла не суетня, а нѣчто похожее на первый моментъ появленія огня въ домѣ. Казалось сію минуту кто-то первый крикнулъ:

— Горимъ! Горимъ!

Какая-то женщина въ угольной комнатѣ мочила себѣ лобъ мокрымъ полотенцемъ. Она только что сшиблась въ попыткахъ съ какою-то гостьей.

Черезъ часъ приходская церковь была биткомъ набита народомъ, прибѣжавшимъ поглазѣть на жениха съ невѣстой. Всѣ другъ у дружки переспрашивали всякую всячину, или дѣлали свои замѣчанія. Всѣ единогласно признавали, что женихъ и невѣста—парочка хоть куда. И онъ, и она изъ себя видные, полные—кровь съ молокомъ.

Когда вѣнчанье кончилось, молодые сѣли въ синюю карету съ золотыми фонарями, посаженные и другіе почетные участники сѣли въ другія, и поѣздъ направился къ лавкѣ Сивцова.

Здѣсь до вечера было шумно и весело. Замѣчательнѣе же всего было то, что всѣ лица были довольныя, веселыя, счастливыя. Всѣ будто бы сознавали, что они на нынѣшній день первые люди во всемъ околоткѣ и на нихъ обращено всеобщее вниманіе.

Павель Ѳедосѣичъ не ходилъ, а леталъ... и распоряжался угощеніемъ. Марья Назаровна сидѣла не двигаясь и все только на себя смотрѣла, на свое подвѣнчное платье. Не разъ подумалось ей:

„Эхъ, не въ обычаѣ молодымъ гулять. А то бы вотъ теперь... Эдакъ-то по улицѣ, а то и по бульвару“.

Гости у молодыхъ были почти все тѣ же, что когда-то собрались у Сивцова, чтобы вспрыснуть вывѣску. Къ нимъ прибавились только дюжина братьевъ и сестеръ молодой.

Когда ввечеру гости разошлись и молодые остались одни, то Павелъ Ѳедосѣвичъ поцѣловаль жену и вдругъ прослезился...

— Будешь ты меня, Маша, любить... выговорилъ онъ съ трудомъ.

— Какъ же можно, Павелъ Ѳедосѣвичъ, вы мой супругъ.

— Ну, Господи благослови! А я ужъ скажу... Ты моя первая, ты моя и послѣдняя.

На утро въ восемь часовъ Павелъ Ѳедосѣвичъ все-таки самъ отворилъ лавку и помолившись на обѣ стороны улицы вернулся и крикнулъ ласково въ горницы квартиры.

— Маша... А какъ самоварчикъ? Скоро...

— Пожалуйте, былъ отвѣтъ.

XXIX.

На другой день послѣ объясненія Анны Андреевны съ Ольгой по поводу студента, во дворъ усадьбы въѣхала бричка тройкой и въ домъ появился становой приставъ.

Калитинъ, которому доложили о прїѣздѣ его, принявъ становаго въ столовой, удивляясь по какому дѣлу могъ тотъ явиться.

— Имѣю честь почтительнѣйше передать вашему превосходительству, объявилъ становой официальнымъ голосомъ, — собственноручное письмо его превосходительства начальника губерніи.

— А-а!.. весело акнулъ Калитинъ, — а я думаль...

Становой передалъ большой пакетъ. Калитинъ распечаталъ его и попросилъ становаго присѣсть, но тотъ сталъ благодарить и, отговариваясь спѣшнымъ дѣломъ — смертоубійствомъ на большой дорогѣ, сталъ откланиваться.

— Мнѣ, собственно, не приказано ничего, кромѣ какъ передать вашему превосходительству это письмо.

Разумѣется, становой отлично зналъ, что Калитинъ не превосходительный, но, привезя ему письмо отъ губернатора, счелъ не лишнимъ повисить его чиномъ. Въмѣстѣ съ тѣмъ становой отлично зналъ, въ чемъ заключается посланіе начальника губерніи и въ какое положеніе ставить его это посланіе.

А его, равно какъ и всѣ уѣздныя полицейскія власти, это посланіе ставило въ необходимость начать бѣгать, высуня

языкъ. И дорога въ усадьбѣ Калитина, и мостъ, и кабаки по ней, и всякая всячина — все требовало скорѣйшей подчистки.

Губернаторъ, лично передавъ письмо исправнику, приказаль доставить его съ вѣрнымъ человѣкомъ г. Калитину. Исправникъ, разумѣется, послалъ со становымъ и объяснилъ ему, что въ этомъ письмѣ губернаторъ объявляетъ своему хорошему знакомцу о своемъ прїѣздѣ къ нему въ гости на два дня.

Дѣйствительно, сбывъ съ рукъ становаго, Калитинъ, прочтя дружеское посланіе своего прежняго товарища и сослуживца и даже дальняго родственника, узналъ, что тотъ, давно собиравшійся побывать у нихъ въ гостяхъ, наконецъ собрался.

Черезъ нѣсколько минутъ, когда Калитинъ объявилъ о письмѣ Аннѣ Андреевнѣ и дочери, весь домъ уже зналъ о событіи, а Вася полетѣлъ черезъ садъ къ пруду, гдѣ дѣдушка ловилъ рыбу, чтобы объявить ему новость.

Анна Андреевна, перечитавъ письмо губернатора, замѣтила нѣсколько удивляясь.

— Но онъ ни слова не пишетъ о сынѣ...

— Можетъ быть, папаша, онъ уже уѣхалъ въ Петербургъ, замѣтила Ольга.

— Насколько я знаю, онъ взялъ двухмѣсячный отпускъ, а нѣтъ мѣсяца какъ онъ гостить у отца.

— Вѣроятно оба прїѣдутъ, рѣшилъ Калитинъ.

— Не все ли равно, оживилась вдругъ Ольга. — Какъ можно относиться серьезно къ пустякамъ.

— Это, ма сѣге, вовсе не пустяки... Я знаю, что Иванъ Александровичъ этого желаетъ. Ему было бы это пріятно, и намъ тоже. И наконецъ, главное, и тебѣ тоже.

Ольга слегка покраснѣлась и нервно пожала плечомъ.

— Ужасно странно это, вымолвила она, — говорить такъ о такихъ вещахъ. Точно холодною водою обливаютъ... Если бы даже онъ мнѣ и нравился, и былъ бы симпатиченъ, то одна мысль, что всѣ это знаютъ, думаютъ, какъ-то портить все. Есть многое въ жизни, что люди желали бы не то что скрывать, а относиться къ этому съ извѣстнымъ уваженіемъ, а тутъ выходитъ, что нѣчто не только серьезное, но и священное подстраивается...

Разговоръ этотъ касался давнишней мечты Калитиныхъ, въ особенности Анны Андреевны.

У Зарубина, петербургскаго чиновника, уже года два назначеннаго губернаторомъ, былъ сынъ кирасирь, красивый и симпатичный молодой человекъ, лѣтъ двадцати семи. Во времена оны товарищи по службѣ, Калитинъ и Зарубинъ, шутя не разъ толковали о томъ, что хорошо бы породниться ближе: женить бы Александра на Ольгѣ. Дѣти ихъ были еще такъ юны, что объ этомъ можно было говорить смѣясь. Но незамѣтнымъ образомъ то, что казалось за горами, въ далекомъ будущемъ, стало дѣйствительностью.

Съ годъ назадъ Зарубинъ, уже губернаторъ, а Калитинъ помѣщикъ той же губерніи, встрѣтились старыми хорошими знакомыми, но ни тотъ, ни другой, говоря о дѣтяхъ, ни словомъ не обмолвились о своихъ прежнихъ планахъ.

Ольга видѣла молодого Зарубина нѣсколько разъ въ Москвѣ, танцевала съ нимъ на двухъ или трехъ балахъ. Прежняя дружба отцовъ скоро сблизила ихъ и они чувствовали, что нравятся другъ другу. Разница была въ томъ, что молодой человекъ ясно показывалъ это и сильно ухаживалъ за Ольгой, она же, напротивъ, старалась всячески прикрыть свое рождающееся чувство къ нему простымъ свѣтскимъ кокетствомъ.

Красивый, молодой гвардейскій офицеръ, танцующій въ Петербургѣ на балахъ Зимняго Дворца, у министровъ и посланниковъ, у котораго всѣ данныя, чтобы быть полковымъ адъютантомъ, а затѣмъ флигель-адъютантомъ, у котораго при этомъ есть порядочное состояніе, да вдобавокъ, если онъ къ тому же и добрый малый, то въ наличности у него есть все, чтобы быть идеаломъ жениха и мужа для такой дѣвушки, каковою была Ольга, то есть для московской барышни большого свѣта.

Молодой человекъ, какимъ былъ Зарубинъ, есть женихъ раг excellence только въ Москвѣ. Въ Петербургѣ онъ не диковина. Тамъ много такихъ, какъ онъ, есть и получше. Въ губернскомъ городѣ онъ не женихъ, потому что губернскія барышни ему не пара.

Вслѣдствіе этого, Калитины смотрѣли на кирасира Зарубина какъ на возможнаго и желательнаго жениха.

Странно сказать, а между тѣмъ еслибы тотъ же сынъ пріятеля Калитина былъ въ Москвѣ какимъ-нибудь числящимся чиновникомъ, просто милымъ полоторомъ, или танцевальныхъ дѣлъ мастеромъ, то, быть можетъ, Калитины относились бы къ нему иначе.

Ольга безсознательно подумала такъ же, какъ и ея отецъ съ матерью. Кирасирскій офицеръ, ухаживавшій за ней на московскихъ балахъ, сразу въ ея воображеніи сталъ отдѣльно отъ другихъ молодыхъ людей ея круга. Завтра сними онъ мундиръ и явись, то будетъ въ толпѣ всѣхъ милыхъ потеревъ.

Всякая молодая дѣвушка первопрестольной отлично понимаетъ, что танцовать на какомъ-нибудь балѣ мазурку съ гвардейскимъ офицеромъ, находящимся въ отпуску, есть своего рода успѣхъ. Если онъ кавалергардъ, или гусаръ, то это уже огромный успѣхъ. Тотъ же самый гвардейскій мундиръ въ Петербургѣ и въ Москвѣ—два разные мундира.

Понятно, что теперь, когда Зарубинъ собрался въ гости къ Калитинымъ и, по всей вѣроятности съ сыномъ, о которомъ однако онъ не упоминалъ, въ усадьбѣ началась суетня. Николай Павловичъ быстро очищалъ и приводилъ въ порядокъ свою спальню и кабинетъ, а рядомъ черезъ корридоръ отобрали у старика Павла Михайловича небольшую, но свѣтлую горницу, гдѣ онъ обливался холодною водою по утрамъ и гдѣ изрѣдка работалъ за токарнымъ станкомъ. Эту горницу преобразили въ изящную спальню для молодого Зарубина.

Самъ Калитинъ перешелъ въ комнату двухъ мальчиковъ, а ихъ двухъ, то есть ихъ двѣ постели, два письменные стола и комодъ поставили въ комнату студента. Въ концѣ концовъ всѣмъ было по прежнему удобно. Но за то всѣ были къ тому же въ духѣ.

Только одинъ человѣкъ былъ не въ духѣ.

Одинъ лишь Сивцовъ пострадалъ изъ-за губернатора съ сыномъ. Ходилъ и косился на все и на всѣхъ. Его кровать пришлось поставить около двухъ оконъ, и еслибы за это время случилось ненастье, вѣтеръ и дождь, то сквозь гнилыя рамы полуразвалившейся усадьбы онъ могъ бы легко нажать на-моркъ изъ-за господина начальника губерніи.

XXX.

Тревожное состояніе души Сивцова заставило его съ еще большимъ раздраженіемъ отнестись къ маленькому событію въ усадьбѣ. Узнавъ объ ожидаемыхъ гостяхъ, Сивцовъ прежде всего задалъ себѣ вопросъ: стали ли бы Калитины такъ изъ

кожи лѣзть, еслибъ этотъ пріятель не былъ мѣстнымъ губернаторомъ, а сынъ его не былъ гвардейскимъ офицеромъ?

И онъ рѣшилъ этотъ вопросъ тотчасъ же.

Будь Зарубины просто сосѣди, такіе же помѣщики какъ и Калитины, то конечно возни было бы меньше. Даже прислуга отнеслась бы иначе, а теперь повсюду въ переднихъ, въ корридорахъ, даже на дворѣ летало и перепрыгивало изъ мѣста въ мѣсто, какъ мячикъ, слово: „губернаторъ“.

Есть такіе звуки, которые при извѣстныхъ данныхъ получаютъ рѣзкое значеніе. Самый отчаянный крикъ: „карауль!“ среди бѣла дня въ гостиной, наполненной гостями не произведетъ ничего кромѣ смѣха, даже въ тѣхъ людяхъ, которые будутъ взяты врасилохъ. Тотъ же самый крикъ въ лѣсу среди ночи, конечно, прозвучитъ иначе.

Слово „губернаторъ“ въ петербургской свѣтской гостиной, въ придворномъ кружкѣ или въ пріемной какого-нибудь министра, есть слово не имѣющее ничего общаго со словомъ „губернаторъ“, звучащимъ въ захолустьи или на окраинѣ нашего отечества.

Студентъ Сивцовъ былъ раздраженъ и вечеромъ и утромъ если не суетней, то извѣстнаго рода безпокойствомъ въ домѣ. На утро, приглядываясь ко всѣмъ, онъ готовъ былъ придраться ко всякому съ насмѣшкой и даже дерзостью.

Всѣмъ обитателямъ было дѣйствительно какъ-то не по себѣ. Всѣ они смотрѣли иначе: менѣе разговаривали, какъ будто постоянно прислушивались, не звучитъ ли на деревнѣ колокольчикъ.

Самъ Калитинъ послѣ иныхъ молчаливыхъ минутъ вдругъ вскакивалъ, иногда даже ударялъ себя рукой въ лобъ и выбѣгалъ изъ горницы. Это значило, что онъ снова что-то такое необходимое позабылъ. И разумѣется по отношенію къ гостямъ.

Старикъ Павелъ Михайловичъ, брившійся не очень аккуратно, иногда черезъ пять, шесть денъ, явился на утро особенно тщательно выбритый, хотя, обрившись за день предъ тѣмъ, предполагалъ не браться за бритву дня четыре.

Сивцовъ, увидя его, усмѣхнулся даже злобно.

Анна Андреевна, почти все лѣто лежавшая на кушеткѣ, то въ сѣренькомъ платьѣ, то въ темносинемъ, вдругъ появилась тоже въ синемъ, но изъ совершенно другой шелковой матеріи. Вообще она лежала теперь элегантная и отъ кушетки несло одеколономъ.

Двумъ мальчикамъ уже три раза было замѣчено отцомъ, потомъ матерью:

— Что вы какіе чумазы ходите, просто срамъ?!

Но въ данномъ случаѣ сдѣлать было ничего нельзя. Еслибъ обоихъ мальчиковъ тотчасъ же принарядили, хотя бы и такъ же, какъ въ Москвѣ къ Свѣтлой заутренѣ, то черезъ два часа они бы снова преобразились въ трубочистовъ.

Но болѣе всѣхъ раздражала Сивцова и совсѣмъ озлобила Ольга. Она появилась въ желтомъ платьѣ, сгѣте, которое еще ни разу не видалъ на ней Сивцовъ. Платье удивительно шло къ ней. Она казалась вдвое красивѣе и вообще изящнѣе, граціознѣе...

При этомъ и лицо ея странно измѣнилось, хотя къ худшему, по мнѣнію Сивцова. Ему показалось, что лицо ея стало красиво-оффиціальнымъ, во всякомъ случаѣ не простымъ лицомъ, не такимъ, какимъ онъ знавалъ его.

И не сразу догадался Сивцовъ что было причиной преображенія. Причиной была прическа.

Все лѣто Ольга причесывалась просто зачесывая волосы назадъ, теперь же она причесалась такъ, какъ бывало всегда по зимамъ въ Москвѣ. Ея франтиха горничная на этотъ счетъ была искуснѣе всякаго парикмахера, но теперь она немножко пересолила причесавъ молодую барышню. Прическа эта была черезчуръ бальная. Въ всякомъ случаѣ она удивительно шла къ Ольгѣ и дѣлала ее вдвое красивѣе.

Если студентъ увидѣлъ перемѣну къ худшему и могъ найти какую-то оффиціальность въ ея лицѣ, то это, собственно говоря, было нѣчто если не оффиціальное, то парадное и, стало-быть, не простое.

Но болѣе всего Ольга поразила студента тѣмъ, что была какъ-то нервно настроена, беспокойна, къ тому же она ни разу не посмотрѣла на него, какъ бы избѣгая его взгляда. Она постоянно взглядывала быстро на всѣхъ, постоянно двигалась, вставала, садилась, уходила къ себѣ и ворочалась.

Когда, послѣ завтрака, она вышла на террасу, а Сивцовъ двинулся за ней, нища случая сказать ей нѣсколько словъ, Ольга быстро спустилась по лѣстницѣ, схватила Васю за руку и вдругъ сдѣлала ему такое предложеніе, что даже братъ удивился.

— Ну-ка, давай, кто кого перегонить! До пруда... И она пустилась бѣжать.

Разумѣется, Вася обогналъ сестру, но она достигла цѣли— избѣжала студента.

Наконецъ около трехъ часовъ дня одинъ изъ лакеевъ ворвался со двора въ переднюю, изъ передней пролетѣлъ стрѣлой черезъ залу къ гостиной. По его фигурѣ можно было, конечно, догадаться, что онъ сейчасъ заоретъ: пожаръ! но онъ выговорилъ поперхнувшись отъ бѣга и усердія, а отчасти отъ волненія:

— Губернаторъ!.. Ёдутъ!

Затѣмъ, передохнувъ, онъ прибавилъ:

— На деревнѣ колокольчикъ!

Анна Андреевна тотчасъ же строго отвѣтила лакею, что онъ дуракъ, швыряется какъ сумашедшій, и прибавила:

— Что же тутъ такого! Ну, ѣдетъ губернаторъ... и ѣдетъ... Ну, и въѣдетъ во дворъ. А ты болванъ!

Но однако Анна Андреевна была очень довольна, что этотъ болванъ выискался и предупредилъ ее за нѣсколько минутъ.

Калитинъ вышелъ на крыльцо, а Анна Андреевна поднялась, пошла, осмотрѣлась въ зеркало и снова протянулась на кушеткѣ.

Черезъ четверть часа изъ запыленной коляски четверней выходили: средняго роста человекъ, очень полный, съ выбритымъ лицомъ, въ красной фуражкѣ, а за нимъ высокій и стройный офицеръ съ бѣлой фуражкой.

Ольга, видѣвшая пріѣзжихъ изъ окна своей комнаты, вспыхнула, а затѣмъ просіяла лицомъ.

Калитинъ встрѣтилъ пріятеля и его сына на крыльцѣ и повелъ въ гостиную къ женѣ.

Анна Андреевна свѣтски-любезно встрѣтила и заняла гостей.

А пока въ прихожей люди толковали объ удивительной оказіи. У молодца офицера была точь-въ-точь такая же фуражка, какъ и у ихняго студента. Къ его картузу они привыкли относиться съ извѣстнаго рода пренебреженіемъ, а вдругъ оказывается, что у губернаторскаго сына, петербургскаго важнаго офицера, картузь точь-въ-точь такой же. Только и разницы, что у одного бѣлый полотняный верхъ, а другого—бѣлый суконный; околышъ же у обоихъ синій.

— Вотъ оказія, братцы! рѣшилъ кто-то изъ лакеевъ.— Пожалуй нашъ-то выходитъ эдакій на себя совѣмъ неправильно вздѣлъ.

И дѣйствительно, Сивцовъ, строго говоря, вздѣлъ неправильно.

XXXI.

Гости вскорѣ ушли въ отведенныя имъ горницы, чтобы прибраться послѣ дороги.

Наступилъ часъ обѣда. Когда Сивцовъ занимался со старшимъ изъ мальчиковъ, пришелъ человекъ звать ихъ къ столу.

Андрюша тотчасъ же вскочилъ и побѣжалъ, а Сивцовъ, двинувшись за нимъ, пріостановился, вернулся и посмотрѣлся въ зеркало. Затѣмъ онъ взялъ щетку, немного причесалъ волосы, но тотчасъ же швырнулъ щетку на подоконникъ.

„Молодую дѣвушку, которая хочетъ всею нравиться, попрекаешь, подумалъ онъ, а самъ для губернатора свои лохмы поправляешь!“

Онъ запустилъ обѣ пятерни въ волосы и взлохматилъ себѣ голову. Поглядѣвшись снова въ зеркало, онъ выговорилъ, смѣясь.

— Нѣтъ. Это ужъ слишкомъ будетъ либерально съ ихъ точки зрѣнія. Это будетъ „ля монтанъ“ гора—какъ говорить Николай Павловичъ.

Дѣйствительно, голова его стала тѣмъ, что называется „овиномъ“. Пригладившись немного руками, онъ вышелъ изъ комнаты. Ему было немного не по себѣ и онъ за это былъ самъ на себя озлобленъ.

Несмотря на все свое пренебреженіе къ суетнѣ въ домѣ по поводу пріѣзда гостей, онъ все-таки заразился, казалось, общимъ волненіемъ. Войдя въ столовую, онъ даже сопѣлъ усленно.

— Это просто нервы! замѣтилъ онъ самъ себѣ.

Столовая оказалась пуста. Супъ стоялъ на столѣ. Трое лакеевъ во фракахъ стояли кругомъ. Но все семейство было еще въ гостиной и оттуда слышались съ паузами громкіе голоса и смѣхъ.

Наступала мгновенная тишина, затѣмъ слышался бойкій голосъ Васи, чей-то басъ протяжно-важный, опять голосокъ Васи, и снова веселый смѣхъ. Гость, очевидно, шутилъ съ мальчикомъ.

Сивцовъ, остановившись въ столовой, былъ неприятно пора-

женъ своимъ положеніемъ. Онъ не зналъ что дѣлать: оставаться тутъ въ ожиданіи всѣхъ и стоять вмѣстѣ съ этими лакеями, или пройти туда въ гостиную.

Съ тѣхъ поръ что онъ былъ въ этой усадьбѣ, всѣ прямо шли къ обѣду каждый изъ своей комнаты. Одна Анна Андреевна выходила изъ гостиной въ тѣ дни, когда садилась за столъ. Большею частью она обѣдала въ другіе часы, или же ей носили въ гостиную на маленькій столикъ. Теперь въ первый разъ всѣ собрались тамъ.

Сивцовъ рѣшительно не зналъ, какъ посмотреть на это хозяева и гости. Имѣеть ли онъ право войти туда, или нѣтъ? Право онъ, конечно, имѣеть. Его отношенія со всею семьей слишкомъ хороши для этого. Но входить въ гостиную, думалось ему, гдѣ сидятъ два гостя: одинъ не столько важный, сколько вѣроятно важничающій, а другой — офицеръ, гордящійся произведеніемъ своего портного, такъ какъ помимо этого ему и гордиться, вѣроятно, нечѣмъ... Входить туда, знакомиться, раскланиваться, быть хоть одну минуту въ положеніи лицедѣя... Не очень-то пріятно

И не имѣя возможности рѣшить итти или не итти, Сивцовъ началъ нервно ходить по столовой взадъ и впередъ, сильно ботая здоровыми каблуками своихъ сапогъ по звонкому паркету.

Въ добавокъ ему чудилось, что всѣ три лакея, стоящіе руки по швамъ вокругъ стола, смотрятъ на него и говорятъ своими глазами.

— Что, братъ? съ нами тутъ поджидаете! Съ губернаторомъ-то не очень посидишь!

Разумѣется, студентъ не ошибался. Людямъ это поджиданіе его въ столовой казалось совершенно правильнымъ. Для всякаго лакея заключается какое-то таинственное наслажденіе въ томъ, чтобы ставить учителя или гувернантку звеномъ между собою и господами.

Люди въ положеніи Сивцова часто обращаются съ прислугой крайне вѣжливо, но не добродушно и не просто. Прислуга Калитиныхъ чувствовала въ любезности студента болѣе отчужденія и, быть можетъ, еще болѣе презрѣнія къ себѣ, нежели въ самихъ господахъ.

Наконецъ голоса зазвучали ближе. Всѣ шли къ столу.

XXXII.

Сивцовъ остановился недалеко отъ столика съ закуской, скрестивъ руки на груди, отставивъ лѣвую ногу впередъ и слегка закинувъ голову назадъ. Онъ никогда не бывалъ въ Парижѣ, а между тѣмъ, не вѣдая того, изображалъ собою въ эту минуту статую Бонапарта, именуемую: *Le petit caporal*.

Студентъ не подозрѣвалъ, что его фигура въ эту минуту бросается въ глаза. Онъ сейчасъ будто перешелъ *le pont d'Arcole*. Въ немъ что-то даже вызывающее. А между тѣмъ всякій, кто увидитъ этотъ вызовъ, можетъ спросить:

— Какъ? За что? Почему?

Вмѣстѣ съ тѣмъ, когда всѣ появились въ столовой, студентъ насмѣшливо улыбнулся. Нѣчто, что представилось его глазамъ, показалось ему крайне смѣшнымъ и нелѣпымъ кривляньемъ, или стремленіемъ изобразить что-то вовсе не идущее къ мѣсту и лицамъ.

Дѣло въ томъ, что гости шли парами, впереди всѣхъ появился губернаторъ и велъ подъ руку Анну Андреевну, за ними шла другая пара: кирасиръ точно также велъ подъ руку Ольгу. Затѣмъ, шутя и смѣясь, дѣлая маленькіе шажки и говоря пискливымъ голоскомъ, шелъ Николай Павловичъ подъ руку со своимъ отцомъ и изображалъ якобы даму.

Двое мальчишекъ сыновей, шедшіе сзади, умирали отъ хохоту, причемъ Вася вцѣпился въ фалды сюртука отца и кричалъ:

— Юпки коротки! Дѣдушка! неприличную даму досталъ!

Все общество приблизилось, конечно, прямо къ закускѣ. Анна Андреевна тотчасъ же заняла свое мѣсто хозяйки, во главѣ стола, Ольга стала нѣсколько въ отдаленіи отъ закусочнаго столика, какъ еслибъ это было не совсѣмъ приличное мѣсто.

Между тѣмъ, Калитинъ началъ вертѣться и беспокоиться, угощалъ гостя, предлагая то омара, то икру, то сыръ и вмѣстѣ съ тѣмъ глаза его искоса поглядывали на Сивцова, стоявшаго теперь уже статуей командора и даже болѣе неподвижно, ибо мраморный командоръ все-таки двигаетъ головой.

Наконецъ, выбравъ минуту, когда оба гостя выпили водки, закусили и, пережевывая закуску, молчали, Калитинъ произнесъ нѣсколько громче, и какъ-то бѣгло...

— Позвольте представить! Г. Сивцовъ, наставникъ моихъ мальчиковъ!

Зарубинъ тихо наклонилъ голову, но не прямо, а какъ-то на бокъ, подставляя ухо впередъ, какъ будто его движеніе говорило:

— Прекрасно! Очень хорошо!

Такъ начальство киваетъ головой на экзаменахъ бойко отвѣчавшему... Такъ случается нагибають голову въ данный моментъ, въ оперѣ или въ концертѣ, меломаны. И такъ же, иногда, кланяются въ захолусты губернаторы и другія лица высоко по мѣсту находженія поставленные.

Одновременно со своимъ отцомъ кирасиръ тоже поклонился. Онъ звякнулъ шпорами, охотно, весело кивнулъ головой, но посмотрѣлъ бессознательно, будто не желая думать о томъ, въ чемъ суть. Отъ него потребовали что-то такое сдѣлать. Онъ это дѣлаетъ. Но это, строго говоря, и не нужно. Но ему это ничего не стоитъ.

— Что жъ? пожалуй... Съ большимъ удовольствіемъ! сказало его оживленное лицо.

И почему-то поклонъ сына взбѣсилъ Сивцова болѣе, нежели поклонъ отца!

— Наставникъ моихъ мальчиковъ! повторилъ Калитинъ и кирасиру.

Эта рекомендація, разъ не понравившаяся Сивцову, второй разъ уже рѣзнула его по уху.

— Студентъ Московскаго Университета, выговорилъ онъ нѣсколько глухо.

Сивцовъ думалъ, что онъ этимъ ясно показалъ Калитину и другимъ нелѣпое опредѣленіе его общественнаго положенія. Но никто ничего не понялъ и даже не замѣтилъ, тѣмъ паче, что всѣ были сильно заняты одною мыслью, общемою имъ всѣмъ и неизмѣримо болѣе важною: сближеніе молодыхъ людей, Ольги и офицера.

Всѣ сѣли за столъ. Сивцовъ сѣлъ съ мыслью и твердымъ намѣреніемъ при первой возможности вставить въ разговорѣ такое словцо, которое бы передернуло или „разорвало“ и губернатора, да и кирасира. Онъ съ наслажденіемъ дожидался минуты и мотива, но разговоръ длился и былъ таковъ, что студенту приходилось развѣ вставить вопросъ, и разумѣется совершенно неумѣстный.

Калитины говорили съ Зарубинымъ отцомъ объ общихъ родственникахъ, затѣмъ о новыхъ перемѣнахъ правительственныхъ лицъ въ Петербургѣ.

Кирасирь, сидя около Ольги, безъ умолку любезничалъ съ ней, вспоминая про московскіе вечера и балы.

Павель Михайловичъ молчалъ, прислушивался ко всѣмъ, изрѣдка обращался съ вопросомъ къ Сивцову, но студенту показалось вдругъ, что старикъ желалъ его вывести изъ неловкаго положенія молчащаго въ одиночествѣ и онъ раза три небрежно и сухо отвѣтилъ старику. Тотъ поглядѣлъ пристальнѣе и болѣе ужъ не обращался къ нему, а сталъ говорить съ Андрюшей о томъ, что караси могутъ жить сто лѣтъ, затѣмъ онъ разсказалъ внуку, что разъ поймали какую-то огромную рыбу и взрѣзавъ нашли въ ней проглоченное ею золотое кольцо, а на кольцо оказалась вырѣзанная надпись съ годомъ. Судя по этому кольцу, можно было заключить, что рыба прожила на свѣтѣ двѣсти пятьдесятъ лѣтъ.

— У—ухъ!.. отозвался Андрюша.

Павель Михайловичъ началъ добродушно смѣяться: погладилъ маленькаго сосѣда рукой по головѣ и вымолвилъ:

— Дурашка ты, дурашка! Да вѣдь кольцо-то можетъ быть двѣсти сорокъ девять лѣтъ и 364 дня пролежало на днѣ морскомъ, прежде чѣмъ рыба его проглотила.

XXXIII.

Послѣ второго же блюда Сивцовъ уже забылъ свое намѣреніе чѣмъ-нибудь задѣть и обозлить губернатора или карасира. Онъ не спускалъ глазъ съ Ольги, и внутри его что-то дрожало.

Когда всѣ сѣли за столъ, ему почудилось, что молодая дѣвушка любезничаетъ съ гостемъ въ качествѣ хозяйки, и только теперь ему уже ясно представлялось, что въ манерѣ Ольги держать себя съ офицеромъ было что-то иное... большее.

Это было даже не простое свѣтское кокетство, какого онъ никогда не видалъ, но о коемъ слыхалъ все-таки, или читалъ въ романахъ. Было еще что-то, большее. Это не было даже желаніе нравиться, а еще большее... Но что же? Быть можетъ это ея личная манера любезничать и кокетничать?

Всего больнѣе отдавалось на сердцѣ студента, что онъ слышалъ въ голосѣ Ольги хорошо знакомыя и дорогія ему

ноты, которыя на этотъ разъ звучали не для него, а для кирасира.

Та же искренность, которою иногда вѣяло отъ словъ дѣвушки, та же горячность, то же чувство, то же мгновенное оживленіе, переходившее сразу во что-то такое, въ душу скользящее, все то же и то же, что онъ давно знаетъ и давно любить... И все это для перваго попавшагося, сейчасъ пріѣхавшаго болвана офицера.

Почему же „болванъ“? мысленно спрашивалъ себя правдивый Сивцовъ.

И затѣмъ раздражительно отвѣчалъ себѣ:

— Болванъ, непременно болванъ! По рождѣ видно... Только и умѣеть что шпорами стучать и шампанскимъ напиваться...

Между тѣмъ взглядъ Сивцова упорно злой, крайне внимательный, который ни на минуту не покидалъ офицера и Ольгу, начиналъ смущать и тяготить дѣвушку. Взглядъ этотъ становился неумѣстнымъ, пожалуй даже неприличнымъ.

„Вотъ, вотъ презрительно разсмѣется онъ, думалось Ольгѣ, и будетъ уже совсѣмъ скандалъ. Пожалуй даже вступится въ нашъ разговоръ и скажетъ, что только дураки могутъ говорить о мазуркѣ... Если не это, то что-нибудь такое...“

И она начинала уже искося боязливо вскидывать глаза на студента, сидѣвшаго противъ нихъ черезъ столъ. Она готова была прекратить свой разговоръ съ молодымъ Зарубинымъ и затѣять общій, въ который могъ бы вступить и Сивцовъ. Но вдругъ дѣвушкѣ почудилось, что это будетъ еще хуже. Надо было съ этого начать, а теперь поздно. Теперь онъ тотчасъ же скажетъ что-нибудь умышленно обидное для нея и для офицера. И Ольга всѣмъ сердцемъ желала, чтобъ обѣдъ поскорѣе кончился. На ея счастье Сивцовъ остался пассивно злобенъ и не перешелъ въ наступленіе.

XXXIV.

Послѣ обѣда всѣ перешли на террасу и сѣли за кофе. Николай Павловичъ самъ принесъ изящный шкафчикъ или *cabaret* съ четырьмя графинчиками ликера. Сивцовъ сѣлъ немного поодаль ото всѣхъ около перилъ, но за то облокотился на нихъ въ непринужденной позѣ. Онъ задумался отчасти грустно, но вдругъ долетѣли до него и какъ бы разбудили его слова губернатора:

— Ну, да вот какъ у нихъ, у гг. студентовъ...

Онъ быстро обернулся и увидѣлъ, что гость не смотритъ на него, говоритъ повернувъ лицо къ хозяйкѣ, но рука его замерла въ воздухъ и прямо указываетъ на него, Сивцова.

Сивцовъ невольно размѣялся нѣсколько громко и проговорилъ такъ, что только близъ сидѣвшій старикъ Калитинъ могъ его слышать.

— Стало быть я—неодушевленный предметъ!

Павель Михайловичъ тревожно взглянулъ на студента, потомъ поглядѣлъ на Зарубина.

— Что это вы, Иванъ Александровичъ, выговорилъ онъ.— Насчетъ насъ съ г. Сивцовымъ? Я тоже когда-то, хоть и не долго, былъ студентомъ.

Со стороны старика это вступленіе въ разговоръ было очень мило, но Сивцовъ понялъ это по своему. Онъ не нуждался въ покровительствѣ.

— Г. губернаторъ, произнесъ онъ громко, вѣроятно говорить исключительно о студентахъ нашего времени, а не вашего, Павель Михайловичъ.

— Да-съ! обернулся къ нему Зарубинъ.—Въ прежнія времена, конечно, этого не бывало, чтобы молодые люди, вмѣсто того чтобъ учиться, выходили толпами на площади и требовали бы перемѣнъ въ государственномъ строѣ Имперіи. А многіе изъ нихъ еще и понятія не имѣютъ о томъ, какіе есть въ Европѣ государственные строи и какой изъ строевъ предпочтительнѣе. Поэтому они часто такіе махи даютъ, что даже смѣшно со стороны.

Сивцовъ хотѣлъ отвѣчать, но запнулся, такъ какъ понялъ, что его отвѣтъ будетъ черезчуръ рѣзокъ и вдобавокъ на такой почвѣ, на которой Зарубинъ въ качествѣ мѣстнаго начальника будетъ поставленъ въ двусмысленное положеніе. Онъ можетъ даже сказать, что не долженъ допускать такихъ мнѣній въ предѣлахъ мѣстности, надъ которою простирается его власть. Это будетъ уже совсѣмъ глупо.

И Сивцовъ тотчасъ же отвѣтилъ совершенно иное.

— Ваши слова какъ нельзя болѣе намъ съ Андрюшей полезны оказываются.

Разумѣется всѣ сидѣвшіе съ чашками кофе въ рукахъ и даже Ольга съ кирасиромъ обернулись на студента.

— Сегодня мы какъ разъ съ Андрюшей толковали о томъ, что есть слова употребляющіяся только во множественномъ

числѣ, какъ-то ножницы, ясли, сани и т. д. Андрюша спросилъ у меня, есть ли такія слова, которыя употребляются только въ единственномъ числѣ. Я не сумѣлъ найти примѣра... Въ настоящую минуту вы дали намъ сразу такихъ два слова: строй и махъ.

Едва только Сивцовъ смолкъ, какъ сразу заговорили всѣ. Всѣ протестовали, заявляя, что можно говорить: строи, строевъ, строямъ, строяхъ.

Ольга молчала, но смотрѣла на Сивцова и глаза ея говорили:

— Какъ вамъ не стыдно! Я васъ прошу... Ради меня!.. Но всѣ голоса покрылъ голосъ Зарубина, который, нѣсколько сухо улыбаясь, вымолвилъ:

— Говорить махи, правда, нельзя, но строи можно! Хотя пожалуй это правильно, но не совсѣмъ красиво.

На террасѣ наступило неловкое молчаніе, но затѣмъ раздался простодушно веселый голосъ кирасира.

— Я буду при такомъ строгомъ стилистѣ, какъ вы, бояться говорить, обратился онъ усмѣхаясь къ Сивцову.—Я совсѣмъ не умѣю говорить по русски, часто перевожу съ французскаго.

— Это не дѣлаетъ чести вашему воспитанію! рѣзко выговорилъ Сивцовъ.

— Вы хотите сказать: образованію, сухо отозвался офицеръ. Это два совершенно разныя понятія. Не будучи невѣждой, можно быть невѣжей!

Сивцовъ вспыхнулъ.

— Образованіе входитъ въ воспитаніе, глухо проговорилъ онъ и сталъ блѣднѣть.

— Стало быть и у дикихъ народовъ, какихъ нибудь Готтентотовъ или краснокожихъ, которые, несомнѣнно—и вы вѣроятно согласитесь,—воспитываютъ своихъ дѣтей, образованіе тоже существуетъ? уже ядовито произнесъ кирасиръ.

— Très bien! Très bien dit! вымолвила и кивнула головой Анна Андреевна голосомъ, какимъ въ парламентѣ говорятъ: „Слушайте! Слушайте“!

„Ахъ, ты вотъ изъ какихъ, бѣсился Сивцовъ. Якобы изъ грамотныхъ“!

— Если вы допускаете у Готтентотовъ, выговорилъ онъ еще глуше,—воспитаніе, то должны допустить и образованіе. Ихъ же обучаютъ, какъ стрѣлять изъ лука, какъ дѣлать ядовитыя стрѣлы, какъ скальпировать бѣлаго человѣка...

— Мнѣ очень лестно отъ васъ слышать, уже дразня, ска-
заль офицеръ,—что вы воинское образованіе считаете тоже
наукой. Есть люди въ наше время, которые относятся съ
какимъ-то пренебреженіемъ къ нашимъ полковымъ ученьямъ,
смотримъ и парадамъ, считая это пустымъ времяпрепровожде-
ніемъ.

— Въ гвардіи. Да! рѣзко брякнулъ Сивцовъ.

— Почему же-съ? вдругъ возвысилъ голосъ Калитинъ.—
Развѣ гвардія не была и не отличалась на поляхъ Европы
въ Отечественную Войну! Развѣ она не была въ Венгер-
скую компанію? Развѣ не была масса гвардейскихъ офице-
ровъ, отличавшихся въ послѣднее время въ Севастополѣ!

Сивцовъ легко пожалъ плечами и выговорилъ.

— Да. Но мнѣ кажется, что въ гвардію поступаютъ по
большей части вовсе не съ цѣлью итти сражаться за отече-
ство. Пріятно надѣть красивый мундиръ—вотъ и все...

— Ради Бога! грасе! воскликнула Ольга слегка взволно-
ванно.—О чемъ вы спорите. Махи и строи, потомъ дикіе,
потомъ образованіе и воспитаніе, потомъ парады, смотры,
потомъ русскія войны, потомъ гвардейскіе мундиры. А что
вы хотите оба сказать—неизвѣстно. Эту манеру спорить я
называю перекрикиваніемъ пѣтуховъ на зарѣ. Скажите, г.
Сивцовъ, что вы хотите доказать г. Зарубину? А я буду ар-
битромъ... не знаю какъ по-русски...

Сивцовъ замаялся и наконецъ произнесъ иронически:

— Ни о чемъ! Въ насъ, Ольга Николаевна, два сорта
людей заспорили.

Въ ту же минуту раздался добродушный смѣхъ старика
Калитина и онъ обернулся къ Сивцову, прерывая офицера,
который хотѣлъ отвѣчать что-то...

— А скажите мнѣ, Петръ Ѳедосѣичъ, вы вѣдь, кажется,
перешли уже на четвертый курсъ. Скажите, какъ у васъ
носятся студенческія шпаги и трехуголки. Скажите-ка?!

— Я васъ не понимаю, отозвался Сивцовъ.

— А вотъ изволите видѣть. На первомъ курсѣ аккуратно
носятся шпага и трехуголка. На второмъ курсѣ также но-
сится трехуголка, но уже шпага нѣсколько рѣже. На треть-
емъ курсѣ мало видно то и другое, развѣ въ торжественные
только случаи. А на четвертомъ курсѣ студентъ надѣваетъ
трехуголку или шпагу уже въ самомъ крайнемъ случаѣ и
только при мундирѣ. А между тѣмъ въ университетъ посту-

пають молодые люди совсѣмъ уже не ради мундира, какъ— полагаете вы—поступаютъ въ гвардію. А все жъ таки нѣчто сказывается. Все-таки, Петръ Ѳедосичъ, при шпагѣ-то какъ будто и красивѣе выглядишь?

— Дураки и у насъ есть. Ихъ вездѣ много! отозвался Сивцовъ, но вдругъ понялъ, что эта фраза просто сорвалась у него съ языка, но онъ, конечно, не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія грубо выразиться по адресу кирасира. А между тѣмъ такъ вышло.

Офицеръ пристально впился въ него глазами и лицо его стало на мгновеніе серьезно, но затѣмъ онъ улыбнулся и даже добродушно.

— Да-а... протянулъ онъ.—*Madame la nature!*..

И, обернувшись къ Ольгѣ, прибавилъ смѣясь:!

— А *propos*, по поводу дикихъ людей и ихъ своеобразной воспитанности и образованности. Одинъ путешественникъ по Центральной Африкѣ, попавшій къ дикимъ, присутствовалъ при убійствѣ, разрѣзаніи и приготовленіи подь соусомъ бѣлаго человѣка къ пиру. При этомъ онъ любезно обучилъ дикихъ, какъ рѣзать человѣка по суставамъ, а не рубить, какъ попало. Они ему были за это очень благодарны и въ награду самого его отпустили, а не съѣли, такъ что онъ затѣмъ могъ этимъ хвастаться. Догадаетесь ли вы, къ какой національности могъ принадлежать путешественникъ?!

— Конечно, англичанинъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Вѣрно-съ! отозвался, смѣясь, кирасиръ. — Но не надо упрекать за это гордый Альбіонъ... Съ дикими не свой братъ, не знаешь, что сдѣлаешь, что скажешь. Тутъ дѣло не въ трусости. Англичанинъ, отправившійся въ глубь Африки, былъ, по всей вѣроятности, не трусъ, но геройствовать среди дикарей и чернокожихъ было бы только глупо... Онъ благо разумно уступилъ.

Изъ всѣхъ присутствующихъ только Зарубинъ-отецъ, только Ольга и, конечно, Сивцовъ догадались, что въ анекдотѣ кирасира заключался иносказательный смыслъ.

Ольга сидѣла суровая и уже давно глядѣла на мать, дожидаясь, чтобы та взглянула на нее. Едва только Анна Андреевна встрѣтилась глазами съ дочерью, какъ Ольга показала ей движеніемъ головы, какъ бы говоря:

— Вставайте скорѣй!

Анна Андреевна поднялась, и всѣ послѣдовали ей примѣ-

ру. Затѣмъ всѣ двинулись, кромѣ старика Калитина, снова въ гостиную.

Мальчики побѣжали въ садъ...

Сивцовъ остался одинъ на террасѣ. Онъ уже не былъ ни взбѣшенъ, ни раздраженъ... Ему стало грустно...

— Неужели я ошибся, обманулся. И самымъ глупымъ образомъ. Какъ ребенокъ! Нѣтъ! Какъ идиотъ! прошепталъ онъ, бессознательно разглядывая густой кустъ сирени, который разросся подъ самой террасой.

Дѣйствительно, Сивцовъ былъ въ положеніи ребенка или идиота, или безумнаго. Онъ вообразилъ себѣ, что Ольга его любить... Спокойно, тихо, чувствомъ, гдѣ перемѣшались и любовь, и дружба, и состраданіе, и уваженіе, и многое иное... Но все-таки любить!

Онъ въ это вѣрилъ нѣсколько дней, а теперь вдругъ его взяло сомнѣніе... Изъ-за появленія кирасира! Онъ просилъ Ольгу объяснить, а она будто избѣгаетъ этого объясненія. Вчера онъ чуть-чуть не объяснился, увѣренный въ ея отвѣтъ напередъ... А сегодня? Сегодня и духа не хватитъ, потому что сегодня произошло что-то... Онъ что-то увидѣлъ или почувалъ. Да неужели же она можетъ любить этого пустозвона со шпорами, который умныя слова знаетъ наизусть. Нѣтъ и нѣтъ!

Сивцовъ сошелъ въ садъ и, найдя скамейку въ чащѣ, усѣлся и схватилъ себя за голову.

Первый разъ въ жизни умъ его будто отказывался понять и рѣшить самый простой вопросъ. Любить его Ольга или не любить? Какъ многое и многое говоритъ ему, что — да! А между тѣмъ съ кирасиромъ она „такая же“ и даже болѣе, чѣмъ была съ нимъ. Что же это? Просто то, что они называютъ кокетствомъ, играниемъ въ любовь...

Черезъ часъ томительнаго спора съ самимъ собой, Сивцовъ всталъ и выговорилъ:

— Нѣтъ. Я вѣрю!.. Надо объяснить!

XXXV.

Между тѣмъ Ольга сидѣла съ Зарубинымъ-сыномъ отдѣльно въ углу гостиной и тихая бесѣда ихъ стала уже принимать роковой оборотъ, когда предъ заходомъ солнца Калитинъ предложилъ гостямъ прогуляться по окрестности.

Николай Павловичъ имѣлъ тайную мысль показать начальнику губерніи тотъ самый клочъ земли, изъ-за котораго шелъ у него споръ съ его временно-обязанными крестьянами. Будучи на самомъ мѣстѣ, Калитинъ могъ, какъ думалъ онъ, лучше доказать свою правоту въ процессѣ.

Дѣло заключалось въ томъ, что онъ хотѣлъ переселить крестьянъ подалѣе отъ усадьбы и перенести ихъ избы за оврагъ. Разумѣется, начальникъ губерніи могъ сильно повліять въ этомъ вопросѣ.

Сивцовъ, будучи недалеко отъ дома въ саду, вдругъ увидѣлъ, какъ хозяинъ, молодая дѣвушка и гости сошли съ террасы. Пройдя всѣ четверо рядомъ нѣсколько шаговъ, они, быть можетъ, неумышленно и незамѣтно для себя, но подозрительно для Сивцова, „устроились“, какъ иронически подумалъ онъ, въ двѣ пары.

Стоя среди аллей, откуда было видно на далекое пространство, студентъ глядѣлъ имъ вслѣдъ и, разумѣется, преимущественно на Ольгу. И онъ замѣтилъ, какъ она стала все болѣе уменьшать шагъ, разговаривая съ офицеромъ.

Черезъ нѣсколько мгновеній Калитинъ и губернаторъ были вдвоемъ впереди шаговъ уже на двадцать, а молодая дѣвушка осталась почти наединѣ съ кирасиромъ. Обѣ пары оживленно разговаривали.

Непреодолимое желаніе обуяло Сивцова послѣдовать за ними и видѣть, что будетъ. Онъ двинулся вслѣдъ за ними на довольно далекомъ разстояніи. Злоба поднималась въ груди его, но съ примѣсью ѣдкой боли. Поведеніе молодой дѣвушки теперь казалось ему возмутительнымъ. Она, очевидно, изовсѣхъ силъ кокетничаетъ съ офицеромъ. А имѣетъ ли она на это право? Сивцовъ, думая, что они будутъ гулять по саду, надѣялся, что ему можно будетъ сквозь чащу деревьевъ наблюдать за Ольгой. Но оказалось, что они идутъ прямо въ поле. Разумѣется, слѣдовать за ними по ровному, открытому мѣсту было совершенно невозможно.

Сивцовъ взволнованный, пошелъ назадъ и, уже приближаясь къ дому, увидѣлъ Павла Михайловича, отправлявшагося съ двумя мальчишками удить рыбу на рѣку. Онъ двинулся за нимъ, самъ не зная зачѣмъ...

Павель Михайловичъ, увидя студента, улыбнулся добродушно.

— Хотите итти рыбу удить? сказалъ онъ.

— Пойдемте.

— Авось эдакое мирное занятіе васъ усмирить.

— Что вы хотите сказать? отозвался Сивцовъ.

— А то, что вы очень ужъ сегодня кипятитесь — въ какомъ-то дамски нервномъ состояніи. Подумаешь, что вамъ Зарубины отецъ и сынъ наговорили всякихъ дерзостей, а вѣдь они ничего не сказали... Вы же одного попрекнули въ безграмотствѣ и улпили въ незнаніи грамматики, а другого прямо дуракомъ назвали.

— Вы преувеличиваете, Павелъ Михайловичъ.

— Положимъ, но то, что я преувеличиваю, само по себѣ достаточно велико. Согласитесь, что вы крайне неудобный членъ общества. Зарубины очень близкіе люди для насъ, то есть для сына моего и невѣстки. А иначе было бы не хорошо. Эти не взыщутъ. Но вѣдь тотъ способъ, какимъ они теперь васъ извиняютъ, не можетъ быть для васъ лестень. Этотъ способъ извиненія оскорбителенъ. Вѣдь вы, вѣроятно, догадываетесь, что Александръ Зарубинъ, говоря о путешественникѣ среди какихъ-то дикарей, бросилъ камешекъ въ вашъ огорождъ. Зачѣмъ же себя подставлять?

Сивцовъ шелъ понурившись и ни слова не отвѣтилъ старику.

Они пришли къ мосту. Павелъ Михайловичъ закинулъ двѣ удочки и усѣлся на берегу. Сивцовъ опустилса на траву около него.

— Что же, Петръ Федосѣичъ. Помалкиваете? Сказать нечего?

— Вы же не любите разговаривать, когда рыбу удите. Вѣдь это мѣшаетъ клевать.

— Болтать, вѣсимо, о пустякахъ не люблю, отозвался старикъ, — по объ дѣлѣ готовъ поговорить. Ну, одной, двумя рыбками меньше поймаю, а вѣдь нашъ разговоръ дѣловой.

— Какъ дѣловой? оживился Сивцовъ.

— Понятное дѣло, дѣловой. Вы замечались. Будь я чловѣкъ совсѣмъ неблаговоспитанный, я бы сказалъ вамъ другое слово, отъ того же корня происходящее.

— А! понимаю, отозвался Сивцовъ, и пронически улыбнулся. — Вы хотите сказать: я о себѣ возмечталъ.

— Коли вы сами это говорите, то мнѣ остается только согласиться съ вами.

— Въ чемъ же это я, позвольте спросить, возмечталъ о себѣ?

— Вы сами лучше знаете...

— Нѣтъ, не знаю, Павелъ Михайловичъ.

— Стало быть, вы такъ замечались, что не считаете мечтаніемъ свои мечты.

— А ужъ этой фразы, Павелъ Михайловичъ, и понять нельзя.

Павелъ Михайловичъ подумалъ и вымолвилъ протяжно.

— Извольте видѣть. Если человѣку, которому что-либо мерещится на яву несуществующее, скажутъ, что онъ бредитъ на яву и что предъ нимъ нѣтъ ничего кромѣ пустоты, то онъ назоветъ сумасшедшимъ того, кто будетъ это ему говорить.

Наступило молчаніе, послѣ котораго старикъ вздохнулъ и снова заговорилъ уже съ чувствомъ.

— Скажите, Петръ Ѳедосѣичъ, сколько вамъ лѣтъ?

— А чертъ его знаетъ! Кажется двадцать четыре или двадцать пять. Меня этотъ вопросъ мало интересуеть. Я считаю, что мнѣ сорокъ, а то и болѣе.

— Почему же это?

— Такова жизнь. Вы знаете, кажется на окраинахъ Имперіи чиновничья служба считается какъ-то иначе... Годъ за два что ли. А то вотъ во время Севастопольской осады военнымъ считали чуть ли не мѣсяць за годъ, такъ что кто былъ во время всей осады, то на десять лѣтъ перегналъ товарищей что были въ резервѣ. Вотъ и я такъ считаю свои годы. Я тоже въ нѣкоторомъ смыслѣ съ рожденія нахожусь подъ Севастополемъ, такъ что мнѣ выходитъ теперь пожалуй и всѣ пятьдесятъ лѣтъ.

— Да вы уйдите изъ-подъ Севастополя-то этого, выговорилъ старикъ рѣзче.

— Уйдите! Это легко сказать.

— Вѣдь вы сами лѣзете, такъ-сказать, подъ непріятельскій выстрѣлъ. Ну, не говорю, иная можетъ быть шальная пуля все-таки зацѣпить человѣка, когда онъ на пушечный выстрѣлъ отъ сраженія. Такъ вѣдь это шальная будетъ, а вы лѣзете въ самый перекрестный огонь.

— Никогда этого не дѣлалъ.

— Извините, Петръ Ѳедосѣичъ. Съ тѣхъ поръ что вы у насъ, въ особенности за послѣднее время, вы это дѣлали. И сегодня дѣлали, хоть бы за обѣдомъ и послѣ обѣда.

— Сегодня — я еще понимаю, но что я за все послѣднее

время лѣзь, какъ вы говорите, въ огонь, этого я не понимаю.

Старикъ помолчалъ нѣсколько мгновений и произнесъ другимъ голосомъ, въ которомъ было легкое смущеніе.

— Скажите, бывали вы влюблены?

— Быть влюбленнымъ, Павелъ Михайловичъ, или неправильное выраженіе, или опредѣленіе такого пошлаго состоянія, на которое я не способенъ. Я понимаю выраженіе „любить“. На это всякій человѣкъ способенъ. А быть влюбленнымъ способны только господа... вотъ въ родѣ вашего кирасира. Быть влюбленнымъ и отмахивать мазурку — это то же самое.

— Ладно. Буть по-вашему! Въ такомъ случаѣ я спрошу: любили ли вы когда? Были ли когда въ этомъ райскомъ, или адскомъ состояніи, смотря по обстоятельствамъ?

— Это вы вѣрно опредѣлили, оживился Сивцовъ. — Да! Блаженное или дьявольское состояніе, смотря по тому, какъ потрафится. На этотъ щекотливый вопросъ, Павелъ Михайловичъ, былъ ли я въ этомъ положеніи, я отвѣчу вамъ: есмь.

— Вотъ и я такъ-то полагаю: есте. Вотъ это-то васъ и поставило теперь у насъ подъ Севастополь, какъ вы выражаетесь. А я говорю, уйдите въ резервъ что-ли. Впрочемъ, нѣтъ... Изъ резерва опять можно попасть назадъ. Уйдите совсѣмъ...

— Почему же мнѣ не остаться и не бороться?

— Съ вѣтрянными мельницами? Бороться вамъ не съ чѣмъ.

— Мы говоримъ, Павелъ Михайловичъ, такими обиняками, что понять другъ друга не можемъ. Вы не хотите говорить, а я не могу.

— Ну такъ бросьте этотъ разговоръ. Я только прибавлю вамъ одинъ совѣтъ. Наши гости пробудутъ только завтрашній день, вечеромъ они уѣзжаютъ. Если вы не хотите ссориться съ невѣсткой, то оставьте Зарубиныхъ, отца и сына, въ покоѣ. Вѣдь вы умный человѣкъ, а вѣдь, воля ваша, не обижайтесь... Вѣдь выходитъ басня Крылова: *Слонъ и Москва*. Подумайте, какъ долженъ отнестись къ извѣстнымъ придиркамъ, къ вашему задиранію какой-нибудь губернаторъ, или кирасиръ. А кромѣ того, я долженъ вамъ сказать, что самъ очень друженъ съ Иваномъ Александровичемъ, а моя умница внучка уже давно равнодушна къ сыну его.

— Что?! вырвалось у Сивцова.

— Вы не слушаете... О другомъ думаете, схитрилъ старикъ.—Я говорю, что внучка Ольга съ прошлой зимы очень неравнодушна, или какъ хотите скажите... Влюблена, что ли, въ молодого Зарубина. А онъ въ нее. А пріятели-отцы очень желаютъ, чтобъ это чувство взаимное окрѣпло. Для этого они и сюда пріѣхали. Это я такъ вамъ говорю... кстати. Васъ это интересовать не можетъ.

— Я этому не вѣрю! глухо упавшимъ голосомъ проговорилъ Сивцовъ.

— Ну, вотъ такъ-то. Вотъ я вамъ и сказывалъ! Скажи человѣку, бредящему на яву... началъ старикъ, запнулся и прибавилъ:—Вотъ что, Петръ Ѳедосѣвичъ. Тутъ вотъ около удочекъ сидятъ два человѣка, изъ нихъ одинъ непременно сумасшедшій. Бросьте, очухайтесь, или уѣзжайте...

Сивцовъ долго молчалъ, тяжело переводя дыханіе, и наконецъ выговорилъ:

— Не могу... Такъ нельзя... Тогда надо объясниться.

Старикъ вздохнулъ и покачалъ головой:

— Ну, объяснитесь... Да совсѣмъ тогда уже не то что раненный, а какъ бы разстрѣлянный, и отправляйтесь подалее... Только ужъ никакъ нельзя будетъ вамъ сказать „по добру, по здорову“. Послѣ объясненія этого отъ васъ ничего не останется.

— Вы думаете? Вы въ этомъ увѣрены... убѣждены?

— Такъ же, какъ я здѣсь сижу. Если вы хотите послушаться совѣта старика, любящаго болѣе наблюдать, чѣмъ бесѣдовать, видящаго гораздо больше, нежели думаютъ, то уѣзжайте отъ насъ безъ всякихъ объясненій.

Сивцовъ не отвѣтилъ ни слова и задумался.

Павель Михайловичъ всталъ, вытащилъ обѣ удочки, на которыхъ червячки были давно съѣдены. Мальчуганъ нацѣпилъ свѣжихъ. Старикъ закинулъ вновь и прибавилъ:

— Ну, а теперь надо заняться дѣломъ серьезно, хоть парочку поймать.

Сивцовъ поднялся, протянулъ руку старику, крѣпко пожалъ ее и выговорилъ тихо:

— Я подумаю... Можетъ быть, просто уѣду, а можетъ-быть объяснившись. Благодарю васъ за участіе къ невмѣняемому человѣку...

И онъ медленно направился къ дому...

Затѣмъ почему-то онъ сталъ нетерпѣливо дожидаться ве-

вчера, когда, по обыкновенію, всѣ собирались въ столовой за вечерній чай. Но на этотъ разъ ожиданіе его было напрасно.

Чай подали въ маленькую гостиную, которая была, такъ сказать, личной гостиной, или горницей Анны Андреевны; въ этой комнатѣ Сивцовъ даже ни разу не былъ. Въ ней накрыли чай, но въ то же время накрыли и столъ въ столовой.

Здѣсь остались двое мальчиковъ и съ ними Сивцовъ, а чай разливать пришла экономка. Сюда же явился затѣмъ и Павелъ Михайловичъ.

Едва онъ опустился на стулъ, какъ Сивцовъ раздражительно спросилъ:

— Вы это для меня. Чтобы мнѣ не скучно было, или не обидно?

— Что дѣлать? Сами мы виноваты... усмѣхнулся старикъ. Насъ завтра за обѣдомъ пожалуй за отдѣльный столикъ посадятъ, какъ провинившихся дѣтей.

— Я завтра буду боленъ съ утра и не выйду изъ горницы! вызывающе произнесъ Сивцовъ.

Но старикъ не отвѣтилъ и заговорилъ со внуками.

XXXVI.

Однако на другой день произошло нѣчто, конечно совершенно неожиданное. Сивцовъ, подъ предлогомъ нездоровья, оставался у себя въ комнатѣ. Ему принесли и завтракъ и обѣдъ. Мальчики объявили однако матери, что у студента ничего особеннаго нѣтъ, что онъ притворяется.

„И хорошее дѣло. Догадался qu'il est de trop“, подумала Анна Андреевна. — „Бѣда этихъ студентовъ въ домѣ имѣть. Quelle corvée!“

Анна Андреевна была, конечно, сердита на Сивцова за его вчерашній разговоръ съ Зарубиннымъ. И хотя побѣда осталась въ сущности на сторонѣ офицера, сказавшаго очень много рѣзкаго по адресу студента, тѣмъ не менѣе все происшедшее было неприятно хозяйкѣ.

Предъ заходомъ солнца Сивцовъ, сидя у отвореннаго окошка, прельстился тихимъ вечеромъ, и вдругъ ему захотѣлось выкупаться.

— А чертъ ихъ подери! выговорилъ онъ и, надѣвъ свой

картузь, вышелъ, намѣреваясь пройти самую глухою частью сада къ купальнѣ на пруду. Но едва онъ сдѣлалъ шагъ въ сто по саду съ полотенцемъ подъ мышкой, какъ на поворотѣ, среди густой чащи кустовъ, прямо встрѣтился лицомъ къ лицу съ гуляющими вдвоемъ Ольгой и Зарубинымъ.

Онъ поклонился, глядя лишь на дѣвушку и какъ бы ей одной... Офицеръ, послѣ его поклона, взялся все-таки подъ козырекъ, но Сивцевъ сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ или... что уже кланялся обоимъ.

Зарубинъ, усмѣхаясь, показалъ рукой на картузь студента въ бѣломъ чехлѣ и выговорилъ, обращаясь къ Ольгѣ:

— Мы съ господиномъ студентомъ оказываемся одного Кирасирскаго полка, судя по головному убору.

— Признаюсь вамъ, холодно произнесъ Савцовъ, — что я не зналъ даже о существованіи вашего полка на свѣтѣ и, слѣдовательно, не могъ подражать вашей формѣ.

Ольга двинулась было, но офицеръ отсталъ, и она тоже остановилась тревожная.

— Согласитесь, однако, что это красивое сочетание цвѣтовъ голубого съ бѣлымъ, задирая усмѣхался офицеръ. — Къ инымъ оно очень идетъ. Цвѣтъ лица кажетъ лучше... Вообще красивѣе, франтоватѣе...

— Франтить и кривляться не моя специальность. Предоставляю это другимъ. Я отъ солнца надѣлъ чехоль... Это можно понять...

— Вѣрю вамъ, мосье Сивецкій. Конечно, отъ солнца. Оно у насъ въ Россіи палитъ пуще чѣмъ въ Испаніи, особенно вечеромъ.

— Такъ мнѣ нравится, и я пошу... Господинъ Зарубочкинъ! рѣзко вымолвилъ Сивцовъ.

Кирасиръ вспыхнулъ, но и удивился. Онъ не понималъ въ чемъ дѣло.

— Je vous supplie... тихо произнесла Ольга. — C'est de l'enfantillage. Фамилія Петра Ѳедосѣевича — не Сивецкій, а Сивцовъ, прибавила она.

— А — а?.. Виновать! Сто разъ виновать! воскликнулъ офицеръ, снова взявъ подъ козырекъ. — Но это фамилія рѣдко встрѣчающаяся. И ее можно забыть. Моя же самая обыкновенная, простая... Но мосье Сивцовъ пожелалъ мнѣ отплатить тою же монетой. Вообще я вижу, что я имѣлъ несчастье не понравиться мосье Сивцову. Проливаю слезы, но...

— За то вы нравитесь Ольгѣ Николаевнѣ! вдругъ вырвалось у Сивцова, какъ бы противъ воли.

Ольга вспыхнула и потупилась. Зарубинъ измѣнился въ лицѣ, по помолчавъ мгновенье подалъ руку молодой дѣвушкѣ и быстро повелъ ее... какъ бы удаляя отъ чего-то ей видѣть не подобающаго. Какъ бы отъ уличнаго скандала.

Сивцовъ двинулся въ свою сторону взволнованный.

— Глупо... Грубо... Самъ же въ дуракахъ! шепталь онъ нервно шагая и дергая руками.

Черезъ нѣсколько мгновеній, когда онъ сошелъ съ крутого берега къ мостику купальни на пруду, за нимъ раздался звукъ шпоръ. Онъ обернулся и увидѣлъ кирасира, спускающагося прямо къ нему.

— Господинъ Сивцовъ! холодно произнесъ онъ, подходя вплотную къ студенту.—Я пришелъ сказать вамъ то, что не могъ сказать при Ольгѣ Николаевнѣ. А именно: вы дикій и невоспитанный, но дерзкій субъектъ, ученый въ школахъ, но еще не ученый... въ обиходѣ. И я крайне сожалѣю, что мнѣ нельзя здѣсь, въ качествѣ гостя Калитиныхъ, докончить ваше ученіе. Немного поучить! Только не книжкой...

Сивцовъ поблѣднѣлъ и поднялъ руку съ полотенцемъ, какъ бы собираясь бросить его въ лицо офицера.

— Не дѣлайте этого! строго произнесъ Зарубинъ, понявъ движеніе.— Мы не равны. Ничѣмъ не равны! Даже физической силой я превосхожу васъ... Мнѣ ничего не будетъ стоить взять васъ за шиворотъ и швырнуть въ прудъ... Но это будетъ горшее... потому что этимъ все и кончится. Дуэль вамъ не къ лицу... Да и мнѣ не къ лицу... съ вами. И удовлетворенія я вамъ не дамъ.

— Тогда я васъ просто застрѣлю! чрезъ силу, глухо выговорилъ Сивцовъ отъ бури, клокотавшей въ немъ.

— Это ваше дѣло... Я сказалъ вамъ то, что долженъ былъ сказать...

Зарубинъ повернулся и сталъ подыматься обратно.

Сивцовъ внѣ себя отъ бѣшенства глядѣлъ ему вслѣдъ, и грубое площадное слово сорвалось у него съ языка въ догонку офицеру.

Зарубинъ остановился, обернулся на полугорѣ и, усмѣхаясь почти добродушно, погрозилъ ему пальцемъ и крикнулъ:

— Ну, до пріятнаго свиданія, моя прелесть... До Москвы что ли... Я тамъ въ твои учителя поступлю... Даже въ репетиторы...

И офицеръ сдѣлалъ кистью руки по воздуху нѣсколько незамысловатыхъ движеній...

Сивцовъ хотѣлъ снова крикнуть ругательство, но у него будто силъ не хватило... Туманъ засталъ все предъ глазами и въ головѣ стучало. Бѣшенство прошло, но какое-то отвратительное чувство гадкой, ѣдкой боли сказывалось въ груди.

Чувство злобы и безсилія.

Часовъ въ десять вечера Зарубины собрались уѣзжать и провожаемые всей семьей вышли на крыльцо. Всѣ стали прощаться.

— Ну-съ... *Chère Olga*, сказалъ отецъ Зарубинъ.—Мы съ вами можемъ и просто поцѣловаться по-родственному.

Всѣ переглянулись и улыбнулись.

Едва только коляска отѣхала и всѣ двинулись въ домъ, какъ Николай Павловичъ рѣзко приказалъ стоявшему лакею.

— Пошли ко мнѣ студента. Скажи, баринъ требуетъ по дѣлу.

— Рара, я васъ умоляю... начала было Ольга.—Я вамъ все объясню...

— *Je vous conseille de laisser cela jusqu'à demain, mon cher*, тихо сказала Анна Андреевна, но это былъ приказъ мужу, какъ всегда бывало все, что она ему совѣтывала.

— А я на сторонѣ внучки. Совсѣмъ оставить, прибавилъ старикъ Калитинъ.—Когда они были въ гостиной, она кашку заварила, пускай она и расхлебываетъ. И всего-то нѣсколько ложечекъ придется. А тебѣ вмѣшиваться не слѣдъ.

— Вы выдумали всѣ вздоръ. Совершенно невозможный. Ваше предположеніе нелѣпо! отвѣчалъ Калитинъ горячась.— Несмотря на свои годы, *c'est une gaucherie, incapable de s'auto-gasher...* Тутъ не ревность дурацкая, а просто одно нахальство. И я, какъ хозяинъ дома, завтра же его выкину за дверь...

Сивцовъ между тѣмъ, вернувшись изъ купальни, сидѣлъ у себя въ самомъ тоскливомъ состояніи духа. Что за важность оскорбленіе отъ какого-то кирасира.

„На все это наплевать, думалось ему. И самъ онъ ему сказалъ достаточно. Даже выругалъ по російски здорово. Но чего ждать теперь отъ Ольги? Какъ ее понять? Какая была ея роль во всемъ этомъ и наконецъ между ними соперниками. Повидимому, она была на его сторонѣ. Вотъ что хуже всякихъ дерзостей какого-нибудь офицера, котораго онъ никогда въ жизни не увидитъ“.

Сивцовъ плохо спалъ всю ночь, обдумывая свое необходимое объясненіе съ Ольгой. На утро, когда онъ едва успѣлъ напиться чаю вмѣстѣ съ мальчиками, лакей попросилъ его къ Калитину.

— Баринъ приказалъ вамъ сказать, чтобы вы сейчасъ къ нимъ явились, сказалъ лакей.

— Хорошо... недоумѣвая отозвался Сивцовъ.

И онъ задумался глубоко и тревожно. „Неужели онъ будетъ говорить о Зарубиныхъ... Что если все это серьезнѣе, чѣмъ я думалъ... Разыгрывается исторія... Пускай! Если она меня любить, то мнѣ все, все равно. У нея воля есть... Она не посмотритъ на папашу съ мамашей!“

Сивцовъ поднялся и сравнительно спокойный пошелъ къ Калитину въ кабинетъ. Николай Павловичъ встрѣтилъ его стоя среди горницы и къ удивленію студента оказался сильно взволнованъ, слегка блѣденъ, и даже съ какимъ-то испуганнымъ выраженіемъ лица.

— Что вамъ угодно?... выговорилъ Сивцовъ. — Мнѣ сейчасъ скажаль...

— Мнѣ угодно вамъ сказать, прервалъ Калининъ хриплымъ голосомъ и не глядя студенту въ лицо, — сказать, что я никому изъ лицъ нанимаемыхъ мною не позволю въ моемъ домѣ дѣлать дерзости моимъ гостямъ. А такъ какъ вы третьяго дня, да кажется и вчера, вели себя здѣсь какъ въ кабацѣ, то извольте сейчасъ же укладываться и убираться вонъ. Расчетъ вы получите отъ управителя Андрона. Это его дѣло...

Сивцовъ измѣнился въ лицѣ, поблѣднѣлъ, но видѣлъ ясно, что Калининъ едва пересиливаетъ свою робость...

— Я самъ никакихъ дерзостей никому никогда не дѣлаю... Но мнѣ здѣсь ихъ массу надѣлали, и я лишь защищался.

— Ну и прекрасно... И прекрасно... Но извольте собираться... И маршъ—войтъ!

— Я и уѣду, но прежде мнѣ надо объясниться съ Ольгой Николаевной.

— Что-о?! Объясниться... Съ дочерью? О чемъ это, любезнѣйшій?..

— Это мое дѣло... Наше дѣло... до васъ не касающееся! свысока произнесъ Сивцовъ.

Николай Павловичъ вдругъ поблѣднѣлъ и, первый разъ глянувъ студенту прямо въ глаза, прокричалъ, наклоняясь всѣмъ тѣломъ впередъ...

— Ахъ ты дура... Ахъ ты мерзавецъ! подлецъ, скотина, сволочь!

— Вы съ ума сходите! крикнулъ Сивцовъ, вспыхнувъ и наступаая...

Калитинъ бросился чуть не въ одинъ прыжокъ въ уголъ комнаты, схватилъ толстую трость и разъяренный какъ звѣрь шагнулъ, замахиваясь на Сивцова.

Самыя отборныя площадныя ругательства посыпались съ его языка.

Студента эта брань какъ бы облила холодной водой... Не только самообладаніе, но даже полное спокойствіе сразу вернулось къ нему. Онъ усмѣхнулся такъ же, какъ вчера усмѣхнулся кирасирь на его такую же брань... Она была для офицера не оскорбительна, а только глупа до смѣшного. Такою же была она теперь для студента. Мало этого... Сивцовъ, вовсе не желая подражать кирасиру, такъ же точно съ презрительной усмѣшкой погрозился кулакомъ Калитину и вышелъ изъ кабинета, пожимая плечами. И точно также услыхалъ онъ себѣ въ догонку ругательство и крикъ:

— Вонъ! Сейчасъ вонъ! Въ шею мерзавца велю гнать...

Сивцовъ, дойдя однако съ трудомъ до своей горницы, почти упалъ въ кресло.

— Что же это? глухо шепнулъ онъ и взялся за голову.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ все-таки сравнительно спокоенъ, только лицо оставалось блѣднѣе обыкновеннаго.

Онъ позвалъ лакея и выговорилъ совершенно простымъ голосомъ.

— Пойди, доложи Ольгѣ Николаевнѣ, что я уѣзжаю совсѣмъ, въ Москву, и желаю съ ними сейчасъ переговорить.

— Слушаю-съ! отозвался лакей и вышелъ тряся головой.

— Сивцовъ ждалъ... Время тянулось срашно. Онъ прождалъ четверть часа, а ему показалось два или три.

Лакей вернулся съ запиской въ рукѣ и подаль ее ухмыляясь глупо. Сивцовъ выслалъ его и съ замираніемъ сердца развернулъ листокъ бумаги. Онъ сразу увидѣлъ подпись Ольги и, подойдя къ окну, прочелъ:

„Петръ Ѳеодосійчъ! Намъ совершенно не о чемъ говорить. Если вы думаете, что есть въ чемъ объясниться... то стало быть произошло грустное недоразумѣніе. Можетъ быть я виновата въ томъ, что вы меня совсѣмъ не понимали. Тогда простите меня за неумѣніе въ бесѣдахъ выражаться ясно и тол-

ково... Но больше я ни въ чемъ не виновата предъ вами. Позвольте надѣяться, что мы—лично мы—разстанемся друзьями и хотя никогда не увидимся, но будемъ это знать. Ваша, всегда готовая къ услугамъ, Ольга Калитина“.

Долго стоялъ Сивцовъ съ запиской въ рукахъ... Наконецъ онъ прошепталъ себѣ:

— За всю жизнь никогда ничего объ себѣ не воображалъ... Не считалъ себя даже умнымъ, а только не глупымъ, но за то надорваннымъ... И вдругъ здѣсь... что случилось? Невѣроятное!.. Но какъ больно! Какъ больно, Ольга Николаевна!!

Сивцовъ закрылъ лицо руками и, пошатнувшись, сѣлъ на подоконникъ. Онъ боялся, что сейчасъ зарыдаетъ какъ женщина.

— Кто же виновать? Во всемъ этомъ... Во всемъ! Кто виновать?! стономъ вырвалось изъ груди его.

XXXVII.

Прошло болѣе года. Была пасмурная осень.

Въ октябрьскій дождливый день, по узкому переулку Москвы, медленными шагами шель подъ зонтикомъ прохожій въ большихъ стоптанныхъ калошахъ, въ рыжеватомъ, поношенномъ пальто, съ клѣтчатымъ кашне на шеѣ и въ мягкой шляпѣ неопредѣленнаго цвѣта. Онъ шель понурившись.

Шлепая по грязи, онъ старался удержать въ рукахъ зонтикъ, который вырывало вихремъ, въ особенности на перекресткахъ. Дождь, не крупный, падающій быстрымъ ливнемъ въ нѣсколько мгновений, а осенній мелкій и частый какъ изъ сита, давно вымочилъ его, не смотря на зонтикъ.

Онъ повернулъ во второй переулокъ, и на перекресткѣ вошелъ въ мелочную лавку. Мальчишки тотчасъ поклонились ему, а прикащикъ, не ожидая вопроса, выговорилъ:

— Пожалуйте... Павелъ Федосѣичъ хворають.

— Что такое? удивляясь спросилъ пришедшій, никто иной какъ бывшій студентъ, теперь кандидатъ университета Пестръ Сивцовъ.

— Застудились. А особливаго ничего.

Сивцовъ снялъ свои боты, пальто и передалъ мальчишкѣ вмѣстѣ съ зонтикомъ.

— Повѣсь его въ углу, а то вишь съ него лезть, сказали онъ.

— Вы какъ поживаете, Петръ Ѳедосѣвичъ? Давно васъ не видали, заискивающе спросилъ прикащикъ.

Вопросъ этотъ былъ данъ имъ не зря, а былъ вызванъ фигурой пришедшаго. Въ пальто и шляпѣ Петръ Сивцовъ казался худъ, а когда остался въ одномъ пиджакѣ, то показался прикащику еще много тощѣе, точно послѣ болѣзни.

Лицо землистаго цвѣта, со впалыми щеками, свидѣтельствовало о томъ, что этотъ человѣкъ вообще здоровьемъ похвастаться не можетъ.

— Хворали что ли? прибавилъ прикащикъ.

— Нѣтъ, не хворалъ. Это у меня не въ обычаѣ. Спасибо, никогда за всю жизнь не хворалъ. Но и здоровъ никогда не бывалъ. Таковъ уродился, ни то, ни се, гримасой улыбнувшись, отвѣтилъ Сивцовъ и прошелъ въ квартиру брата.

Навстрѣчу ему, предупрежденный мальчуганомъ, уже шельхозяинъ. Братья остановились другъ предъ другомъ шагахъ въ трехъ, видимо удивленные оба. Четыре мѣсяца не видались они, а за четыре мѣсяца во сколько одинъ похудѣлъ, во столько другой не только потолстѣлъ, но его, какъ говорится, разнесло.

Павель Ѳедосѣвичъ сталъ настоящимъ хозяиномъ-лавочникомъ, уже съ животомъ слегка выпятившимся, съ полными щеками, даже съ опухшимъ лицомъ. Вокругъ глазъ тоже будто опухло—или какъ говорятъ про глаза: заплыли жиромъ. На этотъ разъ оно дѣйствительно было такъ.

Руки лавочника тоже какъ бы потолстѣли, потому что иначе висли по бокамъ тучнаго туловища. И прежде мало походили братья другъ на друга, теперь же они стали полнымъ контрастомъ. Теперь изъ Павла Сивцова можно было сію минуту скроить двухъ съ половиной Петровъ Сивцовыхъ.

Братья расцѣловались.

— Наконецъ-то навѣстилъ! выговорилъ Павель Ѳедосѣвичъ, и усаживаясь слегка запыхтѣлъ.

Онъ слишкомъ быстро поднялся навстрѣчу къ брату, а за послѣднее время онъ какъ-то отвыкъ быстро двигаться.

— Что же это ты такъ похудѣлъ? Хворалъ что ли?

— Нѣтъ. А должно быть перемѣнился, потому что когни встрѣчу, всѣ спрашиваютъ то же, что и ты сейчасъ. Зато ты, братъ, здравствуешь. Вишь тебя какъ раздуть начало.

— Да, малость, сказываютъ, въ тѣло вхожу. Это, братецъ ты мой, съ женитьбы... Это завсегда такъ... Примѣта такая— какъ семей человѣкъ обзаведется, такъ сейчасъ его пучить и распирать учнетъ. Вотъ и жена тоже...

• — А я и не спросилъ у тебя, какъ поживаетъ Марья Назаровна. Что Ѳедосѣй Павлычъ?

— Слава Богу. И Маша и Ѳедошка. Только вотъ ѣсть онъ за четверыхъ... Ну и спать ей не даетъ. Въ ночь-то раза по четыре ѣсть просить.

— Ъсть. Какъ ѣсть? удивился Петръ Сивцовъ.—Ахъ да... Кормить она.

— Вѣстимо кормить. А то какъ по твоему, ребята не ѣвши чтоль живутъ? А нашъ наслѣдникъ такъ просто удивительно что лопааетъ.

Павель Ѳедосѣичъ позвалъ тотчасъ жену, и чрезъ нѣсколько минутъ появилась Марья Назаровна съ толстымъ и пухлымъ ребенкомъ на рукахъ. Ѳедошкѣ было не болѣе года, а казалось чуть не два.

Марья Назаровна была уже не та конфузливая барышня. Она не отставала отъ супруга, добрѣла и сдобнѣла. Она уже и ходила иначе, будто тише и степеннѣе, а собственно лѣнивѣе.

Сивцовъ поглядѣлъ на дородную съ сонливымъ лицомъ женщину, и ему вдругъ пришло на умъ, могъ ли бы онъ любить такую женщину, еслибы она была его женой.

И ему стало неудержимо смѣшно при этой мысли. Разумѣется, онъ сдѣлалъ видъ, что смѣется радуясь на „наслѣдника“.

— Во всемъ околоткѣ другого Ѳедошки нѣтъ! заявилъ Петръ Ѳедосѣичъ.—А что моя Маша, какъ тебѣ дается, въ тѣло идетъ?

— Полиѣетъ ли? Да, вы пополнѣли тоже. А вотъ Папу такъ страсть какъ разнесло.

— Это отъ супружества! какъ-то даже восторженно отозвался лавочникъ и поглядѣлъ на жену. Марья Назаровна ухмыльнулась.

— Ну, не всегда это, смотря какъ! иронически произнесъ Петръ Сивцовъ.—Иной, обзаведясь семей, не только похудѣетъ, а и поколѣетъ. Была бы у тебя забота какая, такъ не было бы откуда жиру взяться.

— А нешто у меня, братъ, работы нѣту? Что ты! слегка обидѣлся Павель Ѳедосѣичъ.

— Работа работъ рознь. Какая же твоя работа? Наблужи, да вечеромъ выручку счесть. У тебя не личная работа.

— Какъ то есть это не личная?

— Такъ. Не самъ ты работаешь. Ну, какъ плотникъ что ли. Ты наблюдаешь, чтобы дѣло шло. Да если и придется тебѣ въ день разовъ десять завязать что въ бумагу, да отпустить покупателю, такъ это не работа.

— Это, братецъ ты мой, все-таки можно сказать нужнѣе. А которые вотъ бумагу пишутъ, чиновники что ль, тѣ и вовсе меньше нашего работаютъ. Сиди, да рукой води.

— Вѣстимо, замѣтила Марья Назаровна. — Вотъ мой тятенька пишетъ по два часа и не устаётъ никогда.

И сказавъ это, женщина ахнула, ощупала Федошку и быстро вышла.

— Да вѣдь не одна рука работаетъ, замѣтилъ Сивцовъ. — Пока рука-то водить, бываетъ мозги-то трещать.

— Не знаю, Петя, какъ это тамъ. Трещать ли. Нѣтъ ли. Не пробоваль. А вотъ доложу я тебѣ, вкатили мнѣ надысь цѣлую партію сотейнаго меда, отъ коего у меня два покупателя хворали, а третій чуть не померъ. Такъ, вотъ, я тебѣ скажу, въ эдакомъ обстоятельствѣ у нашего брата такъ мозги затрещать, какъ вамъ и въ жисть не видать и не слышать. Въ полицію таскали... Спасибо Егоръ Антонычъ выручилъ, нашъ надзиратель, а то бы по нашему времени подъ судъ бы угодилъ. А я что же... Мнѣ привезли, я взялъ. Да еще на наличныя. А сотейный этотъ медъ оказался, слышь, какой-то шмелевый что ль. А кто говорить, что это медъ настоящий, да машиной дѣлается-то онъ за Бутырскою что ль заставой на купоросѣ. Это все, братъ, такъ: чужое дѣло руками разведу, а къ своему ума не приложу. Наша жизнь, братъ, тоже не масляница. Иной разъ ввечеру чайку поскорѣй выпьешь, да ляжешь въ постель и ногъ не чуешь... Въ день-то верстъ сорокъ уѣдешь. То туда, то сюда, то въ лавку, то въ квартиру, то опять въ лавку. А тутъ еще вдругъ на сто рублей лососины, аль бѣлужины протухло. А то паршивый мальчугашка тебѣ бочку съ масломъ чухонскимъ керосиномъ вспрыснетъ. Да что толковать!..

Все это Павелъ Федосичъ выговорилъ обиженнымъ тономъ, но болѣе по особой причинѣ. Не потому, что слова брата обидѣли его, а потому что онъ вообще чувствовалъ себя нездоровымъ.

— Вот третій день сижу тутъ, прибавилъ онъ.—И носъ, и глотку, и грудь захватило. На крестномъ ходу простудился...

— Вольно было ходить.

Павель Ѳедосѣвичъ поглядѣлъ на брата, вздохнулъ и ничего не отвѣтилъ.

— Ты-то что про себя ничего не скажешь. Гляди-ка какъ похудаль. Ну, что жъ служба?

— Служба, братъ, сама по себѣ, а я самъ по себѣ. А теперь я по старому: частные уроки даю.

— Какъ тоись служба сама по себѣ...

— Да такъ... Служба—бархатный рядъ, а я-то суконное рыло.

— Да, да. Вона что... Стало быть мѣста достать не можешь? И въ предвидѣніи стало его не имѣется? Попросилъ бы кого...

Петръ Сивцовъ усмѣхнулся и выговорилъ слегка раздражительно:

— Попросилъ?.. Я попрошу... Ты только скажи кого.

— Какъ кого? Отъ кого это, стало быть, въ зависимости.

Ну, у губернатора что ли.

— Придетъ къ тебѣ, Паша, сейчасъ парень, съ виду казистый, здоровый,—не то что я, а плотный, прыткій, востроглазый, и скажетъ тебѣ: „Павель Ѳедосѣвичъ, возьмите меня въ лавку на жалованье“, ты ему что отвѣтишь?

— Какъ что?...

— Да такъ. Я спрашиваю, что отвѣтишь. Возьмешь?

— Мнѣ нельзя... у меня прикащикъ есть и мальчишекъ вонъ трое теперь. Ничего, пострѣлы, не дѣлаютъ. То ли, бывало, я въ мальчуганахъ-то былъ! Добѣгаешься иной разъ до того, что вечеромъ не знаешь я ли это, или не я. Кажись я, а скажутъ, что ты молъ не ты. Ты со двора ушелъ! Такъ повѣришь. А нынѣ не тѣ времена...

— Я не про времена сказываю... Ты мнѣ отвѣчай, возьмешь ты этого малаго къ себѣ въ лавку?

— Не могу я, братецъ, у меня кто полагается есть.

— Да ты бы своего прикащика прогналъ, а этого малаго взялъ на его мѣсто.

— Какъ можно! Да съ какихъ же это безумныхъ глазъ!? вдругъ воскликнулъ Павель Ѳедосѣвичъ, и даже глаза вытаращилъ.

— Ну вотъ, Паша, такъ-то вотъ и твой губернаторъ, или какъ ты говоришь, тѣ у кого все въ зависимости. Придешь просить, а тебѣ говорятъ: у насъ биткомъ наколочено, мѣсть ни одинаго! А прогонять человѣка вѣдомаго изъ за новаго невѣдомаго надо быть почти дуракомъ, да почитай даже хуже дурака.

— Вонъ оно что... пробурчалъ лавочникъ.

Наступило молчанье.

XXXVIII.

— Какъ же ты теперь, Петя, именуешься? спросилъ наконецъ вздохнувъ Павелъ Федосѣичъ. — То былъ студентъ, а теперь что же?

— А теперь, братецъ ты мой, двойной кандидатъ.

— Слыхаль я про этихъ кандидатъ. А двойной это что?

— Кандидатъ университета и кандидатъ на судьбищенскія должности.

— Какія же это должности?

— А это такія должности, кои отъ судьбы зависятъ. Захочетъ судьба, получишь ты должность, а не захочетъ, ни въ жисть не получишь, хоть сто лѣтъ будь кандидатомъ.

— Не слыхаль я про такія. Чудно это... Сто лѣтъ ждать.

— Ну, а про судебныя должности слыхаль.

— Слыхаль.

— Ну, это все тѣ же самыя...

— Плохо дѣло, Петя. Вѣдь эдакъ, пожалуй, ты эту судьбищенскую должность врядъ и получишь.

— Какъ можно такъ сказывать! Навѣрное не получу.

— А въ аблакаты? Сказываютъ, страсть что деньжищъ забрабастать можно.

— Въ адвокаты, Паша, опять-таки нужны нѣкія способности, коихъ у меня нѣтъ. Законы нужно знать твердо, а мнѣ нѣтъ времени ихъ выучить.

— Какъ же такъ? Въ наверситетѣ четыре года учился, а теперь опять учиться.

— Да тамъ этому не обучаютъ.

— Какъ не обучаютъ? воскликнулъ Павелъ Федосѣичъ, — самъ ты сказывалъ, что въ такомъ отдѣленіи обучаешься, гдѣ все на счетъ законовъ.

— Вѣрно, Паша. Все насчетъ законовъ, только самихъ-то законовъ не учать.

— Почему же такъ?

— Такъ ужъ полагается, всякую штуку знать на счетъ законовъ, а самихъ законовъ не знать.

— Диковинно...

— Да, Паша, очень даже глупо. А кромѣ того, чтобы быть, какъ ты говоришь, аблакатомъ, надо у какого ни на есть важнаго аблакаты знать гдѣ находится задняя лѣстница. А кто съ парадной сунется къ нему охотникомъ проситься, того онъ въ три шеи выгонитъ. А будетъ онъ принимать эдакихъ, такъ ему ни поѣсть, ни поспать не придется, да и дѣломъ заняться не придется. Вообще, Паша, все я перепробовалъ, и коли остаюсь двойнымъ кандидатомъ, то вѣрь, стало быть ничего подѣлать нельзя. Только мнѣ и можно что три вещи дѣлать—три дѣла. Эти вотъ три дѣла не зависятъ ни отъ протекціи, ни отъ личныхъ достоинствъ.

— Какія-же такія дѣла?

— А первое, вотъ я тебѣ сказывалъ, частные уроки давать.

— А второе?

— А второе, Паша, старымъ платьемъ по московскимъ улицамъ торговать.

— Ну, это не велика выгода, да и тебѣ не подходящее... На это у насъ—свинныя уши... Татары.

— А все-таки, Паша, болѣе подходяще, чѣмъ третье дѣло.

— Какое третье-то?

— На большихъ дорогахъ грабить...

— Ты все свое. Балагуришь...

— Да, Паша. Но сказываю тебѣ по совѣсти, что мнѣ теперь либо балагурить, либо швыряться на всѣхъ и кусаться! грустно произнесъ Петръ Сивцовъ.

Между тѣмъ уже давно около нихъ накрыли столъ и принесли самоваръ.

Марья Назаровна явилась снова, но безъ своего „наслѣдника“, и сѣла заваривать чай. Наступило вдругъ молчаніе, и Марья Назаровна сочла возможнымъ заговорить съ Петромъ.

— Что не женитесь, Петръ Ѳедосѣичъ?

— На комъ-съ?

— Вы баринъ... Чинъ будете имѣть. Можете купеческую дѣвицу съ капиталомъ выискать. Пойдетъ.

— Я ужъ разъ, Марья Назаровна, чуть было не посва-
тался. Признаніе сдѣлалъ. Знаете что вышло? Чуть не по-
били, за оскорбленье приняли.

— За что же это...

— Оскорбились, говорю вамъ, что эдакій, какъ я, да взду-
малъ полюбить дѣвицу.

И Петръ Сивцовъ началъ снова иронизировать надъ собой
на другой ладъ. Разумѣется онъ не захотѣлъ объяснить въ
какой семьѣ якобы сватался.

— Давно это было и далече отсюда! сказалъ онъ.

Однако, шутки и прибаутки на счетъ своей прошлой исто-
рии любви навели на него грусть и онъ перевелъ умышленно
разговоръ на другое.

— Да, кому что. А я буду вѣкъ свой бѣгать по урокамъ.
Развѣ вотъ когда вдругъ приключится бѣда. Услышите вы,
что вашего брата родного новые гласные судьи судятъ въ
судѣ.

— За что?! воскликнулъ Павелъ Ѳедосѣичъ.

— За смертоубійство...

— Что ты, Петя! Да кого же это ты?

— А вотъ кого-нибудь изъ своихъ питомцевъ.

Павелъ Ѳедосѣичъ чуть не перекрестилъ брата по воздуху.

Если бы Петръ Сивцовъ не улыбнулся въ эту минуту бо-
лѣе или менѣе добродушно, то лавочникъ совсѣмъ бы пе-
репугался.

— Да что же, братъ, ей-Богу, разсмѣялся Петръ Сив-
цовъ—иной разъ бываетъ: глядишь вотъ на эдакаго питомца,
да и думаешь: „Господи помилуй! Что бы я съ тобой сдѣ-
лалъ!“ И чудится тебѣ, что ты бы его и утопилъ, и уда-
вилъ, и колесовалъ бы хуже всякаго Пугачева.

— Это я, братецъ ты мой, понимаю, оживился лавочникъ. —
У меня вотъ этотъ самый Сенька въ Успенскій постъ на
большущемъ раскрытомъ ящикѣ монпансе—деревянное масло,
ракалія, разливать началъ. Да одна-то бутылъ и кубырну-
лась... да и хлясть въ монпансе... Въ ящикъ-то... Что бы
тутъ вышло, ты даже сообразить не сьумѣешь! Свѣтопред-
ставленіе, братецъ ты мой, было бы... Не догляди я! Вѣдь
это во всемъ околоткѣ шумъ бы былъ. Дѣло-то вѣдь постомъ.
Всѣ покупатели у насъ взамѣсто лимона употребляютъ эту
сладость. А тутъ бы оно съ деревяннымъ-то масломъ попо-
ламъ, просто мое почтеніе! Я это вспомнить не могу, бра-

тець. Я этого Сеньку тутъ сгребъ и вотъ кажется... Убить бы его не убилъ, ну а попортить бы не прочь. Только изъ жалости не тронулъ и двумя вихрами удовольствовалъ себя.

— Нѣтъ, Паша, это все не то... А ты представь себѣ вотъ, что ты говоришь своему Сенькѣ: „поставь бутылку на подоконникъ, а онъ ее суетъ въ ротъ и давится“. Скажешь ты Сенькѣ: „добѣги въ сосѣдную лавочку“, а Сенька бѣжитъ топиться въ рѣчку, а тебя въ полицію тянутъ за приказаніе. Учишь ты Сеньку по утру говорить: „здравствуй“, а вечеромъ „прощай“. А Сенька тебѣ цѣлую зиму наоборотъ: прощается при свиданіи. Вотъ я бы тебѣ одного своего гимназистика предоставилъ сюда въ лавку, такъ ты бы съ супругой и прикащикомъ, и мальчуганами — всѣ бы разбѣжались отъ него. Одинъ видъ его, пучеглазаго, на всякаго учителя трепеть наводитъ. Я у него вотъ за полгода девятымъ клиновбивателемъ состою. Восемь человекъ отказались. Да и я откажусь... А не откажусь, услышишь ты непременно, что меня судятъ въ окружномъ судѣ за убійство его въ минуту преподавательскаго аффекта...

Послѣднее Петръ Сивцовъ уже для себя прибавилъ, зная, что брату въ сто лѣтъ не объяснишь подъ какимъ аффектомъ модные врачи этотъ аффектъ для обихода адвокатовъ избобрѣли.

Вскорѣ же послѣ посѣщенія брата лавочника, Петръ Сивцовъ получилъ полуофициальное извѣщеніе, что одно важное начальственное лицо „просить пожаловать“ къ себѣ по дѣлу. День и часъ были назначены.

Сивцовъ повертѣлъ четвертушку бумаги съ бланкомъ на уголкѣ, положилъ обратно въ большой пакетъ съ большою гербовою печатью и развелъ руками.

Какое дѣло могло быть до него у этого официального лица, онъ никакъ не могъ ни понять, ни сообразить, и наконецъ ему пришло на умъ, что бумага эта имѣетъ прескверное для него значеніе.

Хотя онъ за послѣдній годъ въ университетѣ удалился почти отъ всѣхъ студентовъ, тѣмъ не менѣе былъ на шапочномъ знакомствѣ, по крайней мѣрѣ, съ десяткомъ прежнихъ товарищей. Онъ зналъ, что нѣкоторые изъ нихъ теперь замѣшались въ какія-то темныя политическія дѣла.

По рукамъ въ городѣ ходили печатные листки болѣе или менѣе наивные, и потому невпнныя. Листки эти, подъ названіемъ *Великорусь*, величали прозваніемъ прокламацій. У Сив-

цова было двое прежнихъ товарищей, которые были въ это время подъ стражей, благодаря этому *Великоруссу*.

„Ужь не они ли меня рекомендовали московскимъ властямъ?“ подумалось ему.

Оставалось два дня до назначеннаго начальникомъ времени. Сивцовъ, конечно, волновался не мало. Онъ зналъ, что за нимъ ничего нѣтъ, но вѣдь мало ли какъ могутъ человѣка запутать. А въ его положеніи бобыля среди Москвы, безъ малѣйшей протекціи, можно оказаться виноватѣ настоящаго виновнаго.

Наконецъ наступилъ день и часъ. Сивцовъ, тщательно выведя кое-какія пятна на сюртукъ, оглядѣлся въ зеркало и, послѣ легкаго ремонта всей своей фигуры, направился въ то присутственное мѣсто, которое было назначено въ извѣщеніи.

По дорогѣ ему попалась на глаза вывѣска: „парикмахеръ“. Онъ посмотрѣлъ на себя въ зеркальное окно магазина и вдругъ замѣтилъ, что волосы его опять сильно отросли и сильно крутились въ вихры.

„Чертъ его возьми! выговорилъ онъ мысленно, обращаясь къ тому начальству, котораго не зналъ въ глаза.—Такъ ужъ и быть!“

И онъ, зайдя въ парикмахерскую, остригся. Когда онъ поднялся съ кресла и оглядѣлъ себя вновь въ зеркало, то подумалъ:

„Ну теперь все какъ слѣдуетъ благонадежному гражданину!“

XXXIX.

Черезъ полчаса Сивцовъ уже оставилъ свое платье въ швейцарской, поднялся по большой парадной лѣстницѣ и вступилъ въ просторную продолговатую комнату. Среди нея стоялъ большой столъ, очевидно, обѣденный, но покрытый зеленымъ сукномъ. На немъ торчали только два подсвѣчника, съ двумя грязными запыленными свѣчами, которыя были воткнуты въ подсвѣчники, по крайней мѣрѣ, мѣсяцевъ шесть тому назадъ.

По стѣнамъ стояли стулья и на нихъ кое-гдѣ сидѣли до двухъ десятковъ человѣкъ, въ томъ числѣ три пожилыя дамы и одна простая женщина, повязанная чернымъ платкомъ. Тутъ же было двое военныхъ и нѣсколько человѣкъ въ виць-мундирахъ.

Сивцовъ оглядѣлъ все общество. Всѣ сидѣли и молчали, кромѣ двухъ человѣкъ, стоявшихъ у окна и тихо бесѣдовавшихъ. Сивцовъ сѣлъ на ближайшій отъ двери стулъ. Просидѣвъ нѣсколько мгновеній, онъ невольно глубоко вздохнулъ.

„Чѣмъ чертъ не шутить! думалось ему. Какой-нибудь шалый изъ прежнихъ товарищей начудесилъ, нужно ему въ чемъ-нибудь вывернуться, онъ и назвалъ бывшаго товарища Сивцова, въ надеждѣ, что этотъ Сивцовъ давно уже гдѣ-нибудь за тысячу верстъ отъ Москвы. А Сивцовъ-то оказался въ самой столицѣ, достать его не мудрено... Вотъ и достали... Вотъ теперъ и объясняйся... Да хорошо еще, если тебѣ повѣрятъ.“

Черезъ нѣсколько мгновеній вошелъ въ пріемную молоденькій чиновникъ съ бумагой и карандашомъ въ рукѣ. Онъ оглянулъ всѣхъ, затѣмъ подошелъ къ одному офицеру и, переговоривъ съ нимъ и записавъ что-то, подошелъ къ Сивцову. Эти два лица явились въ пріемную за его отсутствіе.

— Ваше званіе, имя и фамилія? произнесъ онъ сухо, ни грубо, ни особенно вѣжливо.

— Кандидатъ Московскаго университета, Петръ Сивцовъ.

Чиновникъ записалъ имя, повертѣлся въ горницѣ, поглядѣлъ на всѣхъ и опять скрылся въ двери, по дорогѣ доставая изъ кармана портъ-сигаръ.

Черезъ нѣсколько времени онъ снова появился, но уже изъ другихъ дверей, сопровождая какого-то господина въ вицъ-мундирѣ со звѣздой, а затѣмъ попросилъ молоденькаго офицера пожаловать.

Въ этой пріемной очереди не соблюдалось такъ, какъ бываетъ у докторовъ или у адвокатовъ. Да, впрочемъ, у самаго послѣдняго дантиста дѣйствуетъ иногда въ пріемной все та же вѣковѣчная, невидимая моторная сила, именуемая протекціей.

Не скоро дошла очередь до Сивцова. Однако, когда онъ, волнуясь, поднялся на призывъ молоденькаго чиновника, то въ горницѣ еще оставалось человѣкъ пять. Женщина, повязанная платкомъ, мимо которой онъ проходилъ, уже давно, благую часть избравъ, дремала, сидя на стулѣ, и даже прихрапывала.

Сивцовъ вошелъ въ дверь, которую за нимъ затворилъ чиновникъ, и ожидалъ увидѣть начальство, но горница, нѣчто въ родѣ гостиной, оказалась пустою, а слѣдующая дверь была пріотворена. Онъ догадался и двинулся къ ней. Въ то же

время дверь отворилась совсѣмъ и на порогѣ сталъ высокій, довольно полный господинъ, съ большою лысиной и съ двумя звѣздами на вицъ-мундирѣ. Перейдя порогъ, Сивцовъ тотчасъ же былъ пріятно пораженъ. Сановникъ предупредительно улыбнулся и мягко выговорилъ:

— Г. Сивцовъ?

— Точно такъ-съ.

— Очень радъ познакомиться... Пожалуйста! прибавилъ онъ, показывая на кресло около письменнаго стола.

И затѣмъ, едва только Сивцовъ успѣлъ сѣсть, какъ онъ протянулъ ему золоченый стаканъ съ папиросами и прибавилъ:

— Прикажете?

Сивцовъ, смущаясь, объяснилъ, что онъ не курить.

— Отлично дѣлаете. Какая отвратительная привычка и вредная! Я вотъ съ шестнадцати лѣтъ курю. Знаю, что отвращаю себя, но утѣшаюсь, припоминая себѣ изреченіе Вольтера. Когда ему, уже семидесятилѣтнему старику, докторъ запретилъ кофе, говоря, что это ядъ, онъ отвѣчалъ: я совершенно согласенъ, что кофе страшный, смертельный ядъ, но дѣйствующій крайне медленно. За семьдесятъ лѣтъ, что я пью кофе, его губительная сила еще не проявилась. Черезъ сто лѣтъ послѣ перваго приема, говорятъ, непременно ядъ дѣйствуетъ сразу!

Сановникъ разсмѣялся. Сивцовъ тоже постарался посмѣяться и, не смотря на все свое волненіе, онъ все-таки замѣтилъ или почувялъ одну подробность. Ему почему-то представилось, что эта острота начальства повторяется въ этой горницѣ въ миллионный разъ. Быть можетъ, сановникъ ежедневно разъ по десяти и болѣе, предлагая курить лицамъ, которыхъ онъ принимаетъ, каждый разъ повторяетъ это изреченіе Вольтера.

— Ну-съ, началъ сановникъ, раскуривъ папиросу.— Вы, конечно, были удивлены моимъ желаніемъ видѣть васъ... то есть познакомиться съ вами, хотѣлъ я сказать.

Сивцовъ собрался отвѣтить что либо, но тотъ продолжалъ:

— Дѣло касается до васъ. Вы кандидатъ университета?

— Точно такъ-съ...

Сивцовъ зналъ, что вѣжливость и даже обычай требуетъ прибавлять: „ваше превосходительство“, но это титулованіе было ему лично настолько ненавистно—Богъ вѣсть почему—что онъ не смогъ выговорить этихъ двухъ словъ.

— Вы имѣете всѣ права для поступленія на государствен-

ную службу. Желаете ли вы воспользоваться этими правами?

— Конечно-съ, отозвался Сивцовъ, но до сихъ поръ...

— И прекрасно! перебилъ сановникъ.—Какого вы факультета?

— Юридическаго.

— Еще лучше! Но если бы вы даже были и математикъ или филологъ, то это намъ все равно. Угодно ли вамъ будетъ получить тотчасъ же модную должность, а именно занять мѣсто судебного слѣдователя?

— Я искренно буду благодаренъ... началъ Сивцовъ, но тотъ снова перебилъ его.

— Наше вѣдомство въ модѣ теперь, но это еще не важно. Важно то, что судебные округа будутъ открываться одинъ за другимъ, и движеніе по службѣ будетъ такое, какого никогда ни въ одномъ министерствѣ не бывало, да никогда и не будетъ. Поступая теперь къ намъ, вы, право, лѣтъ черезъ десять будете уже предсѣдателемъ окружнаго суда, а то и ранѣе. Во всякомъ случаѣ мѣсяцевъ черезъ шесть вы будете переведены на такое же мѣсто около Москвы, а затѣмъ еще черезъ полгода я вамъ отвѣчаю, что вы будете уже товарищемъ прокурора. А оклады по нашему вѣдомству не такіе, какъ въ другихъ. У насъ захолустный товарищъ прокурора будетъ получать, сколько не получаютъ иные предсѣдатели иныхъ палатъ. Итакъ вы принимаете?

— Я крайне благодаренъ, началъ Сивцовъ—и думалъ про себя: непременно надо сказать: ваше превосходительство, но не сказавъ, онъ продолжалъ:—мнѣ и не снилось никогда... Я постараюсь оправдать ваше довѣріе... Не знаю чему приписать...

И Сивцовъ смолкъ, совершенно не зная и не умѣя говорить тѣ фразы, одну изъ которыхъ нужно было теперь сказать. Но это неумѣніе сказать трафаретную фразу заставило его тотчасъ смутиться и послужило въ его пользу, потому что его смущеніе понравилось сановнику. За то полное отсутствіе „вашего превосходительства“ озадачивало начальственное ухо. Оно ждало напрасно и слегка раздражилось ожиданіемъ.

— И такъ-съ, дѣло рѣшенное! Подавайте прошеніе на мое имя и собирайтесь. Назначеніе ваше состоится тотчасъ же. Ахъ, да, виноватъ! Я и забылъ самое главное... Главное

для васъ, а не для насъ,—громко разсмѣялся сановникъ.— Я забылъ сказать вамъ куда вы будете назначены. Довольно далеко и въ такое мѣсто, гдѣ можетъ быть и людодѣды водятся. Хотя васъ, какъ официальное лицо, авось не съѣдятъ.

И сановникъ назвалъ глухой уѣздъ одной изъ ближайшихъ однако въ Москвѣ губерній. Сивцовъ, ожидавшій услышать, что попадетъ въ страшную глушь на окраинѣ Россіи, очень обрадовался.

— Я думалъ, что вы изволите назвать мнѣ мѣсто въ родѣ Архангельска или даже Иркутска.

— Мы и туда посылаемъ! разсмѣялся снова сановникъ,— но только не тѣхъ, кто у насъ судить, а тѣхъ кого у насъ судятъ. Ну-съ, вотъ и все, прибавилъ онъ, поднимаясь съ мѣста.

Сивцовъ тоже всталъ, но заговорилъ:

— Позвольте обратиться къ вамъ.—Сивцовъ снова хотѣлъ сказать къ вашему превосходительству. Но опять эти ненавистныя его природѣ слова не вылѣзли у него изъ горла.— Позвольте узнать, чему я обязанъ, или, лучше сказать, кому я обязанъ вниманіемъ, которое вы мнѣ оказываете.

— То-есть кто васъ мнѣ рекомендовалъ?

— Точно такъ-съ.

— А изволите видѣть. За васъ меня просилъ мой дальній родственникъ, очень милый малый, котораго я очень люблю и которому отказать не могу. Можетъ быть и отказалъ бы, но я этимъ ставлю его въ весьма неловкое положеніе, потому что и онъ васъ, кажется, совсѣмъ не знаетъ, а его объ этомъ просить невѣста. Сами посудите, можетъ ли женихъ невѣстѣ въ чемъ-нибудь отказать.

И сановникъ снова разсмѣялся, не замѣчая какъ перемѣнилось лицо собесѣдника.

— Ну, вотъ женихъ поклялся своей невѣстѣ, что будетъ просить меня, а мнѣ сказалъ, что готовъ на колѣни стать и облобызать мои сапоги, по гробъ жизни быть мнѣ благодарнымъ и т. д., если я нѣкому г. Сивцову предоставлю тотчасъ же мѣсто. Вотъ я за вами и послалъ. А почему невѣста интересуется вами—это ужъ вашъ романъ, который я знать не могу.

— Какъ ея фамилія? выговорилъ Сивцовъ рвущимся голосомъ.

— Право не знаю. Говорили мнѣ... Забылъ...

— А этотъ молодой человѣкъ, вашъ родственникъ, прошившій за меня, онъ офицеръ?

— Да. Кирасиръ Зарубинъ.

Наступило молчаніе.

Лицо Сивцова мертво поблѣднѣло. Онъ не понималъ и не сознавалъ, что съ нимъ творится и гдѣ онъ стоитъ, но это продолжалось лишь нѣсколько мгновений.

— Извините... Я васъ не задерживаю... разбудилъ Сивцова уже отчасти сухой голосъ сановника.

Онъ двинулся.

XL.

Когда Сивцовъ проходилъ по большой горницѣ, гдѣ еще оставалось нѣсколько человѣкъ, ожидавшихъ очереди, маленькій чиновникъ приглядѣлся къ нему внимательно и подумалъ:

„Должно быть задалъ онъ ему баню! А я думалъ, что это совсѣмъ по другому дѣлу“...

Сивцовъ вполнѣ отрезвился только на воздухѣ. Пройдя немного, онъ повернулъ на бульваръ и сѣлъ на первую попавшуюся скамейку, еще мокрую отъ дождя.

— Что же дѣлать? выговорилъ онъ вслухъ шепотомъ. И затѣмъ, съ этой минуты, за цѣлый часъ, онъ разъ сто повторилъ то же самое.

Посидѣвъ на бульварѣ, онъ озябъ, продрогъ и шибко пошелъ пѣшкомъ домой, чтобы согрѣться. Просидѣвъ у себя часа три, онъ вышелъ снова, и не зная, что дѣлать, отправился къ брату. Не заставъ Павла дома, онъ опять пошелъ домой и попалъ подъ проливной дождь. Благодаря худымъ сапогамъ онъ промочилъ ноги. Но ему было не до того. Его всюду преслѣдовалъ тотъ же вопросъ: Что же дѣлать?

Двадцать разъ, если не болѣе, Сивцовъ игралъ роль прокурора и роль адвоката, или же во всякомъ случаѣ роль двухъ спорщиковъ. То убѣждалъ онъ себя, что нельзя пользоваться протекціей того человѣка, котораго онъ третировалъ мысленно дрянью, болваномъ, фигляркомъ... И мало этого... Протекціей человѣка, который его нравственно раздавилъ!— Совершенно невысказано!

Положимъ, что молодой Зарубинъ являлся орудіемъ судьбы. Не онъ, такъ другой влюбился бы въ Ольгу Калитину и

сдѣлался бы ея мужемъ. Главное было не въ этомъ. Главное въ томъ, что между ними была стычка... Онъ презрительно, не только враждебно, отнесся къ кирасиру, а теперь вся его жизнь будетъ устроена этимъ же самымъ кирасиромъ. Положимъ, что „она“ его просить объ этомъ... Но вѣдь и она виновата предъ нимъ, Сивцовымъ, виновата болѣе, чѣмъ кто-либо. Она сыграла ужасную роль въ его жизни.

Онъ имѣлъ право когда-то вообразить, что она въ его жизни „примиряющее звено со всѣмъ остальнымъ міромъ“. Что же оказалось? Что благодаря ей, послѣдняя минимальная связь его съ міромъ порвалась. Благодаря ей, этотъ міръ сталъ какъ будто для него еще болѣе ненавистнымъ и враждебнымъ. Изъ-за нея окончательно опостылѣло все.

И что же теперь? Она хочетъ поправить свою ошибку, она хочетъ, давъ ему нѣсколько пощечинъ, погладить его по головѣ. Такъ бьютъ охотники нагайкой свою собаку, а потомъ ласкаютъ, чтобъ она не сбѣжала.

Согласиться на то, чтобъ эта дѣвушка сдѣлалась его благодѣтельницей, устроительницей всей его жизни? Немыслимо. Это было бы съ его стороны низко, гадко, даже подло. Попроси она кого-либо другого, тогда быть можетъ еще было бы легче, но именно то, что она—Ольга Калитина,—дѣйствуетъ черезъ своего жениха, есть даже новое оскорбленіе ему наносимое...

И доказавъ себѣ на всѣ лады, что онъ не можетъ принять предлагаемую ему должность, Сивцовъ, переставъ какъ бы философствовать, обращался мысленно и глядѣлъ на себя, на свое положеніе, на свою тяжелую трудовую жизнь и главное глупо-трудовую. И онъ начиналъ разсуждать совершенно наоборотъ, всячески доказывая себѣ, что не согласиться на предлагаемое было бы донъ-кихотствомъ, мальчишествомъ.

„Совершенно вѣрно! снова начиналъ онъ говорить. Принять надо... Вся жизнь устроена. Пожалуй черезъ пятнадцать, двадцать лѣтъ самъ будешь важнымъ чиновникомъ. И дѣльнымъ, полезнымъ, вотъ что главное. Принять надо, но, разумѣется, надо дѣйствовать благовоспитанно. Подавъ прошеніе, надо тотчасъ же ѣхать благодарить господина... какъ тамъ... штабсъ-лейтенанта, что ли?... Кирасира этого благодарить слезно за милость. Онъ подержитъ меня тоже немножко въ передней, прежде чѣмъ выйдетъ. А затѣмъ появится свѣжій, румяный, счастливый, пахнуцій резедой, или

какимъ-нибудь амбгё, можетъ быть даже прищурится и по-смѣется, можетъ быть, вспомнить разговоры наши на террасѣ и въ саду у Калитиныхъ... Однимъ словомъ, какъ выражаются на Востокѣ, „грязью накормить меня“, сколько его душа приметъ. А затѣмъ, пожалуй, скажетъ: я тутъ ни при чемъ, я и радъ бы ничего для васъ не дѣлать, такъ какъ вы дикарь и грубіанъ, но моя невѣста, въ которую вы влюбились сдуру, просить за васъ изъ сожалѣнія, чтобы вы не околѣли голодомъ. Поѣзжайте ее благодарить. А мнѣ ее ѣхать благодарить даже и нельзя. Въ домѣ Калитиныхъ швейцаръ не пуститъ“.

И Сивцовъ начиналъ раздражительно смѣяться.

„Какимъ надо быть мерзавцемъ, чтобы на это согласиться!“ рѣшилъ онъ въ тридцатый или пятидесятый разъ. И конечно, сызнова принимался доказывать себѣ, что играть своею жизнью изъ-за мелочного самолюбія глупость и ребячество. Немыслимо отказаться!

— Странное положеніе, уже ночью, въ постели, выговаривалъ онъ вслухъ.—Даютъ тебѣ на выборъ, или глупое, или подлое, вотъ и выбирай! Разумѣется, приходится выбрать глупое.

Прошло три дня, и Сивцовъ не только прошенія не написалъ и не подалъ, но все еще не рѣшилъ окончательно: подавать или нѣтъ. Вдобавокъ ему очень нездоровилось... ломило все тѣло.

Однажды ему пришло на умъ итти посовѣтываться о дѣлѣ съ братомъ Павломъ. Его забавляла мысль, что можетъ братъ сказать по этому поводу. Разумѣется, впередъ можно было наизусть сказать то, что услышитъ онъ отъ лавочника. Мысль итти посовѣтываться просто забавляла его.

Онъ нашель Павла Ѳедосѣича въ духѣ. Тотъ сидѣлъ съ Ѳедошкой на рукахъ.

— Вонъ, гляди, братъ. Обучился! воскликнулъ лавочникъ съ восторгомъ въ лицѣ.—По сю пору все опасался его на руки взять... Поломаешь аль уронишь, помилуй Богъ. А вотъ... Эвоя какъ держу!.. Однако, Ѳедошка началъ вдругъ нещадно ревѣть при видѣ своего дядюшки, и Павелъ Ѳедосѣичъ передалъ его женѣ.

Петръ Сивцовъ умышленно не сказалъ брату ни слова о предложеніи должности и началъ просто болтать о пустякахъ. Несмотря на болѣзненное состояніе, лихорадку, легкой ознобъ,

Сивцовъ чувствовалъ себя веселымъ, но не нормально веселымъ.

Наконецъ лавочникъ самъ первый заговорилъ о заботѣ брата.

— Что же, Петя, такъ-таки нигдѣ мѣста и нѣту?

— Нѣтъ, есть мѣста... Много даже свободныхъ мѣсть.

— Ну, вотъ, ты на эти и просись! На свободныя.

— Просился.

— Что же?

— Да все то же. На эти мѣста полагается, чтобы не самъ человекъ просился. Какъ лично будетъ просить, ничего не выйдетъ. Надо чтобы какого начальника ни есть другой кто просилъ.

— Вотъ какъ! Кто же?

— Родственникъ, генераль какой, или важный баринъ, или всего лучше кредиторъ; его то-ись, а не твой. А лучше всего и важнѣе, чтобы тетушка просила, особливо коли она старая дѣвица...

— Какая тетушка?

— Есть же у людей тетушки... Вѣдь это только у насъ съ тобой нѣтъ. Вотъ будетъ эдакая тетушка-дѣвица просить, то непремѣнно мѣсто получишь. На то онѣ и на свѣтѣ урождаются, чтобы за племянниковъ хорошія мѣста выпрашивать. А имъ отказать нельзя, потому что онѣ въ родѣ баннаго листа для начальства.

— Ты, братъ Петя, балагуришь, а я вѣдь всѣмъ сердцемъ тебя спрашиваю.

— Мнѣ, Паша, не до балагурства, но уже я объ этой матеріи просто бесѣдовать не могу. Когда зайдетъ рѣчь объ этомъ, такъ мнѣ или ругаться хочется, или уже иронизировать, то-есть насмѣшничать, сказать по-вашему.

— Ну и что же? Что же ты будешь дѣлать?

— А что дѣлать, то и буду дѣлать. Бѣгать по Москвѣ и въ деревянныя бапки клинушки вколачивать и нынѣшнимъ клинушкомъ вчерашній выколачивать безо всякаго желанія.

— Не пойму я.

— А буду уроки давать! А мнѣ особое счастье на дураковъ. За сколько лѣтъ ни одного умнаго ученика не бывало. Не знаю даже урождаются ли нынѣ такіе! Стало-быть и буду эдакъ... нынче одинъ клинъ вбилъ въ башку, а завтра начну вбивать другой, а вчерашній то самъ будетъ вы-

лѣзаетъ вонъ. Да такъ всякій день. Ну, а затѣмъ, понятное дѣло, къ концу сезона окажется, что учитель никуда не годился, не способенъ, совсѣмъ понятливому ребенку ничего объяснить не умѣетъ. Возьмутъ другого клиновбивателя, а я разыщу себѣ другую башку, еще деревяннѣе... Такъ жизнь и пройдетъ.

Сивцовъ уже собрался было уходить отъ брата, ни слова не сказавъ о предлагаемомъ мѣстѣ, протекціи Ольги и своей борьбѣ.

„Какъ ему объяснишь, почему я не могу взять мѣста? думалъ онъ.—Нельзя же съ нимъ объ Ольгѣ Калитиной говорить“.

— Слышь-ко, Паша... вдругъ вымолвилъ онъ будто отъ толчка.—Я вѣдь по дѣлу. Я тебѣ совралъ. Мѣсто мнѣ выходитъ отличное, какого во снѣ не снилось. Такое что черезъ десять лѣтъ всѣхъ судить буду и въ Сибирьсылать... Да.

Павель Ѳедосѣевичъ широко раскрылъ ротъ и глядѣлъ какъ шальной.

— Да. Не вру...

— Вѣрю. Ты никогда не врешь. Ну что жъ, слава тебѣ Создателю... Поцѣлуемся...

— Нѣтъ погоди... Я его взять не хочу... Я не могу его взять.

— Отчего? снова ошалѣлъ лавочникъ.

— Слушай... Какъ бы тебѣ это пояснить примѣромъ.—Сивцовъ подумалъ и заговорилъ.—Ну слушай... Шель ты по улицѣ и отдуль прохожаго, а онъ тебѣ за это сто рублей вдругъ даетъ. Возьмешь ты ихъ?

— Не понятно. За битье кто жъ дастъ денегъ.

— А это къ примѣру. Возьмешь ты?

— Взаимы чтоль?

— Совсѣмъ. Дарить сто рублей, за то что ты его вздулъ. Возьмешь ты?

— А почему же не взять, коли дарить. Что жъ я, дуракъ что ли...

— Вотъ что... Ну, Паша, а я вотъ дуракъ. Не возьму. Такъ и это мѣсто. Два такія лица, коихъ я зналъ, мнѣ его устроили, за меня просятъ. Одно изъ нихъ я обидѣлъ сильно, а другое лицо меня не только обидѣло... Сердце мое изъ меня вытащило, да въ грязь бросило, да ногами затоптало.

Сивцовъ остановился и провель рукой по лицу, слегка измѣнившемуся...

— Ну? Можно отъ эдакихъ людей свое счастье взять?.. Скажи по совѣсти.

Павель Федосѣвичъ вздохнулъ.

— Это я смекаю, Петя... Да... Я завсегда такъ полагаль, что ученье къ добру не ведетъ...

— Что? удивился Петръ Сивцовъ.

— Обожди... Дай тебѣ по своему, по нашему по мужицкому сказать. Ты вотъ ученый вышелъ, баринъ. А я, каковъ былъ, остался мужикъ. Вотъ теперь что мнѣ можно, того тебѣ нельзя. Такъ вотъ во всемъ. Я бы вотъ мѣсто взялъ, ничего... Благо даютъ—бери. По простотѣ... А ты мѣсто взять не можешь. У тебя барская амбиція завелась... Вотъ и выходитъ дѣло то дрянъ. Ученье то это самое амбицію даетъ, а денегъ не даетъ. Вотъ ты и ходи въ гордости и безъ штановъ. Къ примѣру, жить-то и мудроно.

— Правда, Паша, истинная... Но что же мнѣ дѣлать? Обидно мнѣ принять милостыню отъ монахъ враговъ.

— А ты ихъ сердцемъ прости. Вотъ и не враги. Да и бери отъ нихъ все.

— А другой-то... Другой... котораго я самъ первый оскорбилъ.

— У него поди и прощенья попроси.

— Ну это, братъ, дудки! воскликнулъ Сивцовъ и всталъ.

— Надо врагамъ прощать, а самому надо тоже прощенье просить.

— Самъ-то ты эдакъ всегда поступалъ?

— Завсегда... твердо выговорилъ Павелъ Федосѣвичъ.— Спроси у Маши... А то у отца дьякона. Онъ меня десять лѣтъ знаетъ и больше тебя видалъ въ передѣлахъ.

Наступило молчаніе и длилось долго.

Петръ Сивцовъ бродилъ по горницѣ и ежился отъ озноба. Наконецъ онъ остановился противъ брата.

— Что же? Братъ мѣсто, Паша?

— Господомъ благословясь—бери. Пройдетъ годъ и забудешь про обиду, а мѣсто останется при тебѣ. Да и плевать тебѣ на эту дворянскую амбицію, которая засѣла въ тебѣ. Вѣдь ты все-таки нашей кости — мужицкой. Она у тебя не отъ отца съ матерью, какъ у дворянъ. У тебя она самодѣльная.

— Правда, Паша. Но у дворянъ-то этихъ амбиція здоровая, а у меня она еще къ тому и хвораая... Этого я тебѣ пояснить не могу... Это философія.

— Смекаю я... Главная сила... Да вѣдь ты осерчаешь. Говори, Петя... Не осерчаешь... коли скажу...

— Говори, говори.

— Смирися, Петя. Вѣдь ты страсть какой гордецъ. Ты говоришь: тебѣ либо балагурить, либо кусаться. Это не правильно. Ты только одно дѣлаешь — все кусаешься, а когда балагуришь, сдается, себя кусаешь... Бери мѣсто и перестанешь. Ни людей, ни себя кусать не будешь... Не гнѣвися... Я не ученый. А такъ, по простотѣ сказываю... Смирися. Знаешь, чертъ тоже по облакамъ хотилъ, да оборвался.

Петръ Сивцовъ ничего не отвѣчалъ, но сталъ прощаться съ братомъ веселѣе и бодрѣе.

— Завтра или дня черезъ два я къ тебѣ, Паша, приду съ вѣстями, усмѣхнувшись вымолвилъ онъ.

XII.

Однако, прошла еще недѣля, а Петръ Сивцовъ не собрался ни къ брату, ни съ прошеніемъ по начальству. Онъ даже не выходилъ, чувствуя себя совсѣмъ больнымъ, а лежалъ въ постели.

Ему казалось, что у него болѣзни нѣтъ никакой, а что онъ нравственно хвораетъ. Ему чувствовалась во всемъ тѣлѣ какая-то страшная усталость, которая тлетворно разлилась по всему тѣлу, какъ послѣ усиленной физической работы, но вмѣстѣ съ тѣмъ эта же усталость сказывалась въ головѣ. Ознобъ и жаръ чередовались...

Когда онъ принимался дремать, то ему представлялись самыя безобразныя сновидѣнія: то его кусалъ волкъ въ видѣ сановника, то его волочили за воротъ сюртука и билъ какой-то офицеръ, то проходила мимо него Ольга Калитина и, смѣривъ его съ головы до пятъ, хохотала и указывала на него цѣлой толпѣ... А толпа принималась гоготать и ревать по звѣриному.

Черезъ нѣсколько дней, чувствуя себя еще хуже, Сивцовъ рѣшилъ, что надо все-таки послать за докторомъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ надо написать двѣ записки въ тѣ дома, гдѣ давалъ онъ уроки. Если онъ прохвораетъ долго, то тамъ непременно возьмутъ другихъ учителей.

Черезъ силу Сивцовъ написалъ нѣсколько словъ брату и послалъ съ нарочнымъ записку, а затѣмъ уже написалъ, отдыхая, два письма въ дома учениковъ, обѣщаясь быть на уроки черезъ недѣлю.

— Вѣдь нашего брата, грустно шутилъ Сивцовъ,—въ Москвѣ тьма тьмушая. Живо найдется замѣститель, еще дешевле. Если всѣхъ насъ собрать, да ввести въ Москву рѣку, то она выступитъ изъ береговъ.

Получивъ краткую записку, написанную крупными буквами, Павелъ Ѳедосѣичъ самъ одолѣлъ се и прочтя тотчасъ же собрался къ брату. Чтобы не терять времени, онъ взялъ извожика и отправился.

— Аль хворость? выговорилъ онъ, войдя въ номеръ брата.

Дремавшій Петръ Сивцовъ пришелъ въ себя, но не отвѣтилъ сразу, а затѣмъ проговорилъ тихо:

— Дай вонъ... Вода... На столѣ...

Павелъ Ѳедосѣичъ налилъ воды изъ графина въ стаканъ, подалъ брату, оглядѣлся и покачалъ головой:

— Вишь ты... Лежишь, а и воды не кому подать. Небось давно пить-то хотѣлось, а подать некому. Это, братъ, Петя, такъ нельзя. Ты говори: доподлинно хвораетъ?

Петръ Сивцовъ помолчалъ, затѣмъ, будто совсѣмъ придя въ себя, оживился и заговорилъ внятно и твердо:

— Хвораю, братъ. И здорово хвораю...

— А что у тебя?

— Болѣзнь моя мудреная, двойная, и тѣлесная, и душевная. Вотъ что...

— Да какая?

— Да, пожалуй, назови—мировая скорбь.

— Это что-жъ такое?

— У меня не она. У меня хворость попроще.

— Да почему же она приключилась?

— Да такъ полагаю, Паша, давно началась, а теперь разыгралась... А причины простыя. Недоспано, недоѣдено, недопито, переучено, перебѣгано, передумано, затѣмъ перестрадано и, наконецъ, совсѣмъ все перепутано. Теперь ужъ и самъ ничего не разберу.

— Ты опять балагуришь... А ты лучше скажи толкомъ, доктора тебѣ позвать, горячаго чего дать выпить. А то я тебѣ пришлю малины сухой. Кипяткомъ, знаешь, заварить надо, а то еще чего лучше... Вставай-ка, да поѣдемъ ко мнѣ. Я тебѣ горницу отведу. У насъ скорѣй поправишься. А это что жъ такое? Лежишь одинъ, какъ собака, некому вотъ напитокъ подать... Тутъ въ номерахъ-то, поди, одинъ служитель, да и тотъ только въ гробу трезвымъ будетъ, а на страшномъ судѣ опять пьянъ...

— Нѣтъ, братъ, отозвался Петръ Сивцовъ. Стѣснятъ я тебя не стану. Будь ты одинъ — иное дѣло. Нѣтъ, ужъ я тутъ... А ты вотъ что только: Ужъ извини по братству. У меня денегъ ни алтына, а послать за докторомъ все жъ таки надо рубля три имѣть...

— Сдѣлай милость! выговорилъ Павелъ Ѳедосѣичъ. Поспѣшно разстегнувъ кафтанъ, онъ достала изъ бокового кармана сизый сальный бумажникъ большихъ размѣровъ и, вынувъ оттуда двѣ двадцатипятирублевая ассигнаціи, протянулъ брату.

— Куда? Подъ подушку лучше, спросилъ онъ. — А то, смотри, задремлешь, украдутъ... Тутъ вѣдь народъ, поди, шустерь.

— Зачѣмъ, это много... Я вотъ за одинъ урокъ получу не нынѣ, завтра. Ты мнѣ оставь двадцать пять... Довольно.

— Зачѣмъ. Понадобиться можетъ. Все равно послѣ отдашь. А главное дѣло, говорю, подъ подушку положи. Задремлешь, какъ пить дадутъ—стащутъ.

Павелъ Ѳедосѣичъ подsunулъ деньги и сѣлъ на кровать въ ногахъ лежащаго. Онъ вздохнулъ.

— Э-эхъ, дѣла, дѣла!.. Бѣда это, братецъ мой! Стереги-ся, человекъ, что есть мочи отъ всего. Вотъ теперь въ Москвѣ, сказываютъ, всякія болѣзни... Еще, сказываютъ, новая какая-то... Учнетъ человекъ думать эдакое неподходящее. Думаетъ, думаетъ и все это ему представляется совсѣмъ превратно. И начнетъ его всего тряссти... Ну, совсѣмъ какъ бѣлая горячка, съ пьянства. А оно, вишь ты, не бѣлая горячка, а эдакая умственная болѣзнь. Ну вотъ, какъ прежде сказывали, синенькіе чертики прыгаютъ по тебѣ, такъ и нынѣ, говорятъ, вотъ эдакая новая болѣзнь и безо всякаго этого пьянства приключается... Вотъ хоть бы со мной—я вино

въ ротъ не беру, а можетъ на меня напасть. Такъ и говорятъ: начнеть это человѣкъ думать, думать, и все это думаетъ и думаетъ. Ну и пошла писать! Вотъ ты пуще всѣхъ стерегись. Намъ времени нѣтъ очень-то мозгами раскладывать, а вотъ вашему брату... бѣда! Какъ разъ эта хворость привяжется.

Петръ Сивцовъ улыбнулся грустно.

— Я такъ полагаю, Паша, что эта самая болѣзнь у меня теперь и есть.

— Что ты! Христось съ тобой! нѣсколько оробѣлъ Павелъ Ѳедосѣичъ и даже легкимъ движеніемъ какъ бы отодвинулся дальше.

— Да, Паша, эта самая должно быть у меня и есть. Ты не бойся—она не прилипчива. Особливо къ такимъ людямъ, какъ ты, ни за что не пристанетъ. Вотъ кабы ты вмѣстѣ со мной прошелъ черезъ все, черезъ что я прошелъ, ну тогда бы она и для тебя была опасна. А такъ не бойся... Тебя ни за что не тронетъ.

— Да почему же ты полагаешь такъ?

— Да самъ ты сказываешь, что такая хворость: начинается человѣкъ думать, ну и т. д. Ну вотъ со мной оно, это самое творится. Я, вишь, все одно думаю, тоже въ нѣкоторомъ смыслѣ синенькій чертикъ мнѣ представляется.

— Да что жъ такое? озабоченно и тревожно выговорилъ Павелъ Ѳедосѣичъ.

— Представляется мнѣ, братъ Паша, что я, вишь, пятое колесо... Слыхалъ ты, это говорится.

— Слыхатъ слышалъ про пятое колесо, а видать не видаль. Не знаю, что тоись это такое? Вѣдь это, братецъ ты мой, пословица одна, а не...

— Да, російская поговорка. Когда кто въ какое дѣло путается, до него не касающееся, то его называютъ пятымъ колесомъ. А то совсѣмъ ненужный какой предметъ, или ненужнаго совсѣмъ ни кому и ни на что человѣка прозываютъ пятымъ колесомъ. Мнѣ вотъ и представляется, что я эдакое колесо. Иной разъ бываетъ, Паша, я утѣшаюсь особымъ представленіемъ. Видѣлъ я въ обозахъ, когда въ дальній путь отправляются обозчики, бываетъ на телѣгахъ сзади прикручено колесо. На случай, если какое изъ четырехъ по дорогѣ развалится, такъ есть запасное. Вотъ мнѣ иной разъ

чудится, что я эдакое пятое. Развалится какое изъ четырехъ, я сейчасъ пригожусь, во мнѣ нужда будетъ. Ну, а пока всѣ четыре дѣйствуютъ, до тѣхъ поръ во мнѣ нужды не будетъ.

Павель Ѳедосѣвичъ слегка струхнулъ, вздохнулъ и подумалъ.

— „Да, вонь оно какъ! Думалось-ли? Ахъ, ты Господи! А я еще не вѣриль, что эдакая болѣзнь есть, а вѣдь вотъ... Эта самая у брата... Вотъ оно! Почитай умалишенный... На яву бредить. Четыре колеса, а онъ — пятое... Жалко, а дѣлать нечего! Какъ бы тутъ близко сидѣть не вредительно было... Что-жь? Я вѣдь человѣкъ семейный“.

Павель Ѳедосѣвичъ поднялся и, глядя на брата полусочувственно, полуиспуганно, выговорилъ такимъ голосомъ, какъ еслибы просилъ прощенія:

— Ну, я навѣшу опять, а теперь домой надо... Дѣла. Прости. Да за докторомъ-то пошли. Можетъ Богъ дать и ничего. А главная сила — ты не думай, брось это... Какое тамъ, помилуй Богъ, колесо. Это такъ представляется... Навожденіе что ли... А ты скажи себѣ такъ, что пятихъ колесъ, моль, нѣту. Бываетъ всегда четыре, а то и два... у таратаекъ... А пятаго ніколи не бываетъ. Такъ себѣ это и повторяй. Вотъ Богъ и милостивъ! А деньги-то дай получше подсуну, а то, вишь, изъ-подъ подушки-то уголокъ торчитъ. Какъ разъ лакей номерной слящеть, пока ты дремешь.

Павель Ѳедосѣвичъ собралъ весь свой куражъ и хотѣлъ расцѣловаться съ лежащимъ братомъ, но Петръ Сивцовъ протянулъ на него руку и остановилъ его.

— Нѣтъ, зачѣмъ цѣловаться? Чертъ его знаетъ... У меня, можетъ быть, тифъ начинается. Будь милостивъ, Паша, зайди такъ денька черезъ четыре, пять.

— Ладно, ладно...

Павель Ѳедосѣвичъ нахлобучилъ шапку, потомъ ощупалъ бумажникъ въ боковомъ карманѣ, попробовалъ хорошо ли застегнуты пуговицы кафтана и двинулся было къ двери.

— Паша! позваль снова лежащій.

— Чего ты? вернулся лавочникъ.

— Да видишь ли сомнѣніе меня взяло, что коли я и впрямь хвораю... Скверная какая тифозная или иная болѣзнь начинается... Если не ровень часъ помру, то ты сдѣлай милость похорони... И памятникъ поставь дешевенькій...

— Что ты? Богъ съ тобой!

— Да вѣдь я такъ это сказываю. Про всякій случай. Мнѣ-то, по правдѣ говоря, и слѣдъ умереть. А можетъ быть и ничего. Справлюсь... И если справлюсь, то знаешь ли что, Паша, буду я лѣтъ черезъ двадцать важный баринъ, чиновникъ, а не пятое колесо...

— Будешь, будешь... отозвался Павелъ Федосѣичъ. Только главное дѣло не думай, тогда, Богъ милостивъ, все и обойдется. Обѣщайся себѣ не думать. Еще бы лучше—Богу помолился...

— Богу? Какому?

— Вотъ сейчасъ и грѣшишь! Одинъ Богъ на небеси!

— У меня, Паша, свой... И ему я молился...

— Свой... Э-эхъ, братъ... Людской-то не лучше ли будетъ?..

— Мой будетъ людскимъ... лѣтъ черезъ тысячу...

Павелъ Федосѣичъ хотѣлъ отвѣчать, но вспомнилъ про болѣзнь брата—какая она, и только вздохнулъ.

— Не думай... Брось! Навожденіе. Представляется то, чего нѣтъ... Брось, Петя, думанье и все будетъ слава Богу!

XLII.

Явившійся докторъ нашель у Сивцова брюшной тифъ въ угрожающей формѣ при истощенномъ организмѣ, вдобавокъ при обстановкѣ самой неудобной для борьбы съ микробами.

Еслибъ обстановка была и другая, то все-таки индивидуумъ, борющійся отъ рожденья съ иною обстановкой жизненной, — врядъ ли побѣдилъ бы микроорганизмы, объявившіе ему теперь войну.

Преыдущая война сразила!..

Все сказалось, все откликнулось заразъ. И гимназическія отроческія усилія, и университетскія — не по плечу, и бѣганье по урокамъ на пятиверстномъ разстояніи, и нелѣпая невольная любовь со жгучимъ обманомъ, и многое, многое... до гнилыхъ „бистеконъ“ нумерныхъ, до обѣдовъ, до худыхъ сапогъ, до пледа, вмѣсто шубы въ морозъ.

Послѣ ухода доктора Петръ Сивцовъ, долго напрасно звавшій корридорнаго, всталъ съ постели къ звонку и черезъ силу шагнулъ на середину горницы.

И нечаянно увидя себя въ зеркалѣ, онъ испугался самого себя...

Предъ нимъ стояло что-то маленькое, зеленое, тощее, не только не казистое, но противное...

— Если эдакое и поколѣтъ, то кому потеря? вымолвилъ онъ, неприязненно глядя...— Да, эдакое...

Его захватило вдругъ въ горлѣ и слезы подступили къ глазамъ.

— Эдакое... шепнулъ онъ, пятое колесо!..



БЫЛЫЕ ГУСАРЫ.

~~~~~  
ПОВѢСТЬ.

ПОСВЯЩАЮ  
Бывшему Командиру  
☆☆—скаго Гусарскаго полка.





## I.



ѣло было въ сороковыхъ годахъ...

Богоспасаемый городокъ Малороссійскъ, раскинувшись на крутомъ берегу Днѣпра, состоялъ изъ двухъ большихъ улицъ, десятка переулковъ и одной площади, гдѣ. высился большой соборъ. Одни переулки выходили въ поле, другіе упирались въ крутой берегъ и спускались между хатъ и хибарокъ къ самой водѣ. Но они только сами спускались, по нимъ же никто на колесахъ спускаться не отваживался по милости ихъ крутизны, а изъ пѣшеходовъ двигались тутъ преимущественно только бабы съ коромыслами, или съ бѣльемъ, да обыватели съ лошадьми на водопой.

Въ Малороссійскѣ было двѣ церкви, изъ коихъ наибольшая и именовалась соборомъ, были три большія зданія присутственныхъ мѣстъ и еще три, или четыре каменные дома, принадлежавшіе богатымъ помѣщикамъ уѣзда.

Обыватели раздѣлялись на три сорта: мѣщане и немного дворянъ, затѣмъ евреи и наконецъ временный пришлый элементъ, представители мѣстныхъ войскъ.

Въ Малороссійскѣ стоялъ Маріинскій гусарскій полкъ и, кромѣ того, одна батарея.

Въ одномъ изъ большихъ домовъ, полуусадьбѣ, на окраинѣ городка жилъ командиръ полка. Невдалекѣ отъ него, при выѣздѣ изъ города, помѣщалась полковая канцелярія и жилъ адъютантъ. Въ довольно большомъ домѣ, въ серединѣ го-

родка, въ переулкѣ помѣщалась нестроевая команда со своимъ командиромъ, а рядомъ съ ними музыканты.

Большинство офицеровъ жило на квартирахъ, въ самомъ городкѣ, такъ какъ эскадроны были расположены по селамъ, недалеко, въ трехъ и пятиверстномъ разстояніи.

Мѣстное общество состояло изъ полдюжины дворянскихъ семействъ, жившихъ въ городкѣ, да еще полдюжины семействъ ближайшихъ помѣщиковъ и, конечно, всѣхъ гусарскихъ офицеровъ.

Главными членами общества были вновь избранный предводитель дворянства, а равно и прежній предводитель, благодаря его большому состоянію, а равно и клѣбосольству въ красивой усадьбѣ, недалеко отъ городка. А затѣмъ еще большимъ значеніемъ въ обществѣ пользовался командиръ Маринскаго полка флигель-адъютантъ полковникъ Граукъ.

Принявъ полкъ съ годъ назадъ отъ командира, полного невѣжды въ военномъ дѣлѣ, новый командиръ занимался тѣмъ, что съ большимъ трудомъ, но упорно и успѣшно „подтягивалъ“ полкъ.

Прежній командиръ, полковникъ Мамаанастазуполо, съ прозвищемъ „мамашка“, чрезвычайно любилъ раскладывать грань-пасьянсъ, предпочиталъ всему на свѣтѣ рахатъ-лукумъ и очень недурно, или, какъ говорили барышни, „пречувствительно“ игралъ на флейтѣ.

Въ полку при этомъ Грекъ-командиръ была рознь и много недоразумѣній. У Мамаанастазуполо была жена и старая дѣвица дочь, самыя отчаянныя сплетницы, и обѣ съумѣли перессорить почти всѣхъ офицеровъ. Теперь рознь исчезла, и полкъ жилъ дружно. Даже самый злоязычный въ полку офицеръ, подполковникъ Бидра, воплощенная змѣя, и тотъ меньше язвилъ и кусался.

Всю половину зимы гусары прожили тихо и скучно. О весельѣ, подобно предыдущей зимѣ, не было и помину. И только теперь, передъ самыми святками, Малороссійскъ вдругъ оживился и видимо сильно взволновался. Повсюду стало замѣтно особенное движеніе, какъ въ лучшихъ домахъ, такъ и на улицѣ.

Да и было отчего взволноваться обывателямъ городка!

Офицеры гусарскаго полка собрались устроить балъ въ честь жены своего командира. Цѣлый мѣсяцъ шла рѣчь о балѣ, какъ и гдѣ устроить его.



Дѣло было въ томъ, что во всемъ городкѣ было только два свободные дома съ большими залами, гдѣ можно было танцевать. Но одинъ изъ нихъ, по имени „Княжескій“, стоялъ одичалый, съ выбитыми стеклами въ рамахъ и замороженный, а другой былъ собственно усадебный домъ, то-есть былъ за пять верстъ отъ городка, и поэтому назывался даже „Пятовскимъ“. Онъ стоялъ тоже пустой и запертый, ибо владѣлецъ его, богатый мѣстный помѣщикъ, жилъ въ другой губерніи.

Полкъ рѣшилъ избрать „Княжескій домъ“.

Переговоры о томъ, чтобы нанять его на одинъ разъ для бала велись съ управителемъ, который долженъ былъ списаться съ княземъ, всегда жившимъ за границей. Разрѣшеніе было наконецъ получено, и „Княжескій домъ“ оживился. Прежде всего надо было вставить рамы, затѣмъ хорошо вычистить, даже кое-гдѣ перемѣнить обои, а главное—вытопить. Уже цѣлыя двѣ недѣли какъ домъ готовился для бала, а все еще былъ не въ порядкѣ и холоденъ.

Всѣмъ распоряжались адъютантъ и казначей.

Офицеры выбрали ихъ распорядителями, какъ самыхъ дѣльныхъ и самыхъ усердныхъ.

Казначей Уткинъ взялъ на себя часть увеселительную, а адъютанту Нѣмовичу было поручено все самое „существенное“... отъ повара до шампанскаго.

Оба офицера хлопотали постоянно въ нанятомъ домѣ. Хотя теперь оставалась еще недѣля до бала, но и многое еще приходилось устроить.

Среди дня многіе изъ офицеровъ полка отъ нечего дѣлать заѣзжали въ домъ поглядѣть и поболтать. Нѣкоторые изъ нихъ помоложе дѣлали репетицію—пробовали пройти мазурку, а то и польку. И всѣ оставались довольны и паркетомъ, и размѣромъ залы. Было гдѣ развернуться!

— Такой балъ закатимъ... Только держись! говорили они.

## II.

Въ темный сырой вечеръ, при легкой оттепели, по одной изъ улицъ Малороссійска, часовъ въ восемь, двигался медленными шагами молодой гусарь. Онъ направлялся именно къ „Княжескому дому“, заранѣе условившись съ товарищами, распорядителями бала, вмѣстѣ итти на вечеръ къ старшему полковнику.

Офицеръ шелъ глубоко задумавшись и, уже приближаясь къ улицѣ, гдѣ былъ нанятый для бала домъ, вдругъ повернулъ въ противоположную сторону.

— Не могу! вымолвилъ онъ вслухъ. — Хоть на секунду. Все будетъ легче.

Онъ прошелъ переулочекъ и вышелъ на главную улицу городка, Дворянскую, которая, однако, была такъ же темна, какъ и всѣ остальные. Только въ одномъ мѣстѣ разливался сильный свѣтъ. Но причиной тому были не уличные фонари, а рядъ освѣщенныхъ оконъ большого дома.

Офицеръ перешелъ улицу, на противоположную сторону отъ дома и, очутившись противъ него, остановился. Улица была настолько широка, что свѣтъ оконъ не достигалъ до него и онъ стоялъ въ темнотѣ.

Пристально и пытливо глянулъ онъ въ домъ. Занавѣсей не было нигдѣ, и горницы, окнами выходившія на улицу, были какъ на ладони.

Передняя, гостиная и еще маленькая комнатка были ярко освѣщены и видимы до мелочей. Но всѣ эти горницы были пусты.

— Чай пьютъ, рѣшилъ онъ, зная, что столовая выходитъ окнами во дворъ.— Подождать? А если увидить кто... Глупо... Вдыхатель чуть не изъ-за забора!

И онъ стоялъ въ нерѣшительности... потомъ двинулся, но тотчасъ же снова остановился.

Офицеръ-гусаръ былъ корнетъ, князь Аракинъ, молодой малый, но некрасивый и неуклюжій. Главною же чертою его характера была особенная щепетильность и обидчивость, изъ-за чего у него было не мало недоразумѣній. Аракинъ кичился немного тѣмъ, что былъ единственный титулованный офицеръ въ полку. При этомъ средствъ у него не было никакихъ и онъ жилъ однимъ жалованьемъ. Вообще же это былъ очень добрый малый, честный и прямодушный.

Не прошло минутъ трехъ, какъ на улицѣ по той же панели, гдѣ онъ стоялъ, показался среди тѣмы прохожій и слышался звукъ шпоръ.

Князь быстро двинулся отъ проходящаго, но, отойдя нѣсколько шаговъ, обернулся и разглядѣлъ какого-то офицера въ шинели, который сталъ почти буквально на покинутомъ имъ мѣстѣ и также глядѣлъ на освѣщенный домъ.

— Что такое! почти взволновался князь. — Это странно. Неужели и другіе то же дѣлаютъ. Но кто же это?

И онъ рѣшился стоять и ждать...

Занявшій его мѣсто тоже стоялъ неподвижно, очевидно занятый наблюденіями въ окна.

Прошло минутъ пять, но князю, въ которомъ давно закипѣли ревность и тревога, показалось, что прошло уже четверть часа и даже болѣе...

Онъ вдругъ рѣшился и двинулся назадъ, чтобы спугнуть офицера, занявшаго его мѣсто, а главное, узнать кто онъ.

Офицеръ, оказавшійся по шапкѣ гусаромъ, не двинулся съ мѣста завидя князя и, приглядѣвшись къ нему, засмѣялся...

— А я здѣсь дежурю... Смотрю... Здравствуйте, князь... заговорилъ онъ юношески свѣжимъ и слегка женственнымъ голосомъ.

Товарищи поздоровались, и князь сталъ около.

— Что вы, Звѣздочкинъ, смотрите? выговорилъ онъ нѣсколько необычнымъ голосомъ.

— А вотъ шелъ мимо въ гости и увидѣлъ. Вонъ видите! показалъ офицеръ на окна.

Князь поглядѣлъ и увидѣлъ, что гостиная была уже не пуста. Въ ней появились три личности. Сидѣвшая на диванѣ пожилая женщина, около нея на креслѣ молодая дѣвушка, блондинка, а затѣмъ ближе къ окну другая женщина, высокая и сѣдая. Поодаль отъ нихъ среди горницы двигался и что-то продѣлывалъ, будто представлялъ нѣчто... ихъ же товарищъ, гусарь.

Быстро оглядѣвъ всѣхъ, князь вымолвилъ:

— Вижу... Но что же тутъ любопытнаго?

— Ничего! отозвался Звѣздочкинъ. — Теперь ничего. А когда я проходилъ, онъ Богъ знаетъ что дѣлалъ. Смѣшно было... Точно трепака плясалъ... Да и теперь, смотрите, онъ что-то изображаетъ. Кажется показываетъ, какъ саблей рубить... А вѣдь я его не признаю. Кто же это...

— Не признали. Это командиръ нестроевыхъ, болванъ Караваевъ! сердито отвѣтилъ князь.

— Такъ, такъ... Узналъ. Я его одинъ разъ только видѣлъ. Являлся... А домъ это чей?..

— Домъ? Вы не знаете чей это домъ? удивился князь, и тотчасъ заподозрилъ юнаго товарища во лжи.

„Впрочемъ, можетъ и правда не знаетъ, подумалось ему. Вѣдь онъ недавно произведенъ въ офицеры и всего съ недѣлю, какъ въ городѣ“.

- Это домъ Задольскихъ, сказалъ онъ.  
 — Кто такіе?  
 — Задольскія, двѣ сестры, дѣвицы.  
 — Это онѣ и есть... Вотъ которая стоитъ, а другая сидитъ. Старыя дѣвицы...  
 — Нѣтъ, размѣялся князь.—Это приживалки. Вонъ молоденькая—Задольская. А другой сестры въ горницѣ нѣтъ...  
 — Она хорошенькая... Бѣлокурая... А та такая же или хуже?..

Князь не отвѣтилъ.

- Что же, Караваевъ ихъ хорошій знакомый?  
 — Даже вздыхатель. Въ женихи мѣтитъ, какъ и всѣ Мариницы... сказалъ князь.—Какъ и вы будете скоро, прибавилъ онъ сухо.  
 — Я?! Что вы! Христосъ съ вами! воскликнулъ Звѣздочкинъ.—Нѣтъ, князь, если моя нога переступить хоть разъ порогъ этого дома, то ждите свѣтопреставленія на другой же день. Я терпѣть не могу дамскаго общества и отъ всякой юшки спасаюсь бѣгствомъ.

Между тѣмъ гусарь, видимый въ гостиной, что-то снова усиленно размахивалъ правою рукою. Женщины смѣялись.

— Дуракъ! вдругъ рѣзко выговорилъ князь.—Показываетъ какъ пикой колоть. Воинъ! Какъ же? Герой гусарь. Портняга. Даже на маневрахъ не бывалъ. Воображаетъ, что поясничествомъ понравится. Оселъ. Идіотъ... Пойдемте! прибавилъ онъ слегка нетерпѣливо.

И оба офицера двинулись вмѣстѣ.

Товарищъ, котораго встрѣтилъ князь, былъ только-что произведенъ въ корнеты. Это былъ средняго роста, очень юный на видъ и бѣлолицый молодой человѣкъ съ большими красивыми глазами. У него не только не было усовъ, но не было и тѣни какого-либо пущка на губахъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова птенецъ, вылетѣвшій только изъ гнѣздышка.

На Звѣздочкина и смотрѣли въ полку именно такъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ офицеровъ, которые находятся на особомъ положеніи во всякомъ полку. Всѣ считаютъ долгомъ имъ протезировать. Они — полковыя дѣти.

Это тѣ юноши, которые прямо отъ маменьки съ папенькой, отъ мамушекъ, тетушекъ, братцевъ и сестрицъ, съ варенья и печенья, попадаютъ прямо въ среду офицеровъ. Они всегда ухмыляются глупо, озираются робко и краснѣютъ отъ

всякой офицерской бесѣды, такъ какъ многое, о чемъ у маменьки съ папенькой было запрещено даже и на умѣ имѣть, здѣсь говорится вслухъ. Звѣздочкина звали въ полку: птенчикъ, цыпленокъ, душанчикъ. За послѣднюю зиму кто-то почему-то прозвалъ его „княжна“, и это прозвище укрѣпилось за нимъ.

Офицеры долго шли молча. Князь насвистывалъ маршъ, а свистѣнье было у него всегда признакомъ внутренняго волненія.

— Вы куда, Звѣздочкинъ, идете? сухо спросилъ онъ наконецъ.

— Я... Я такъ... смутился видимо юноша.—Я вотъ пройду и вѣроятно домой.

— Такъ я васъ провожу до вашей квартиры.

— Да... Но... Я не знаю... Можетъ быть я...

Корнетъ окончательно запутался и запнулся. Князь косо глянулъ на него, но среди темноты ночи не могъ видѣть лица его. Голосъ однако явно выдавалъ его смущеніе.

— Опять подъ окна!! рѣзко вырвалось вдругъ у Аракина вспышкой.

— Что?.. Какія окна!?

— Опять подъ окошки того дома, который вы якобы даже не знаете кому и принадлежить.

Звѣздочкинъ пріостановился и обернулся къ товарищу.

— Совсѣмъ ничего не понимаю... тихо произнесъ онъ.

— Вы влюбились, заговорилъ князь глухо,—въ одну изъ Задольскихъ. Какъ и всѣ мы по очереди влюблялись. Вотъ и все!.. Мнѣ любопытно знать только одно: въ которую... въ младшую или старшую?

— Христось съ вами! воскликнулъ Звѣздочкинъ.

— Я васъ убѣдительно прошу, г. корнетъ, отвѣчать, въ которую... почти грозно произнесъ Аракинъ, тяжело переводя духъ.—Одна изъ нихъ мнѣ личность не чужая... Одна изъ нихъ... Я люблю одну изъ нихъ и надѣюсь добиться взаимности... Вотъ!.. Я говорю прямо... Мнѣ все равно. Это чувство невыносимо... Лучше прямо объясниться...

И князь отъ волненія почти задохнулся.

Появшій, наконецъ, все Звѣздочкинъ остановился, задержалъ Аракина за руку и горячо, наивно, но краснорѣчиво началъ убѣждать товарища, что онъ все во снѣ видѣлъ.

Князь, наконецъ, успокоился, протянулъ руку корнету и произнесъ мягко:

— Простите. Я ревнивъ, какъ дьяволь, какъ дуракъ. Но, ради Бога, общайте, чтобы все осталось между нами. Я высказался вамъ одному. Изъ-за того только, что поймалъ васъ на томъ мѣстѣ, гдѣ бываю всякій вечеръ, чтобы видѣть ее... Я бываю часто у нихъ, но, конечно, не могу бывать ежедневно. Сплетни пойдутъ... Итакъ, даете слово, что все останется между нами.

— Даю... Богомъ клянусь...

— Ну прощайте, улыбнулся князь, подавая руку.—Идите на свое тайное свиданіе.

— Я иду къ одному... Меня позвали въ гости, снова смущаясь отозвался корнетъ.

— Ладно... Ладно... Идите...

— Ей-Богу!

— Да ладно, говорю...

— Ну ей-Богу же, вы Богъ знаете что вообразили! горячо протестовалъ Звѣздочкинъ.—Ну, хотите я вамъ правду скажу! Хоть и стыдно... Вы ахнете и меня на смѣхъ поднимете.

— Почему же... Свиданіе, вотъ и все... Съ какою-нибудь Оксаной, Олесей, а то съ Хайкой, то-есть жидовкой.

— Ну слушайте... Я шель къ гадалкѣ.

— Что-о? Къ кому? воскликнулъ Аракинъ.

— Къ гадалкѣ... Ну вотъ, что на картахъ гадаютъ... Тутъ одна... говорятъ, удивительная.

Звѣздочкинъ ожидалъ, что товарищъ прыснетъ со смѣху и начнетъ подшучивать, но князь стоялъ молча и будто что-то обдумывалъ.

— Откуда же вы знаете, что въ городѣ есть такая?.. спросилъ онъ, наконецъ.

— Хозяйка квартиры мнѣ сказала.

И Звѣздочкинъ, ободренный тѣмъ, что князь не сталъ сразу надъ нимъ насмѣхаться, началъ воодушевившись объяснять, что онъ вѣритъ „во многое эдакое...“ Онъ сознался, что у него теперь важное семейное дѣло на плечахъ, отъ котораго зависитъ вся его будущность, и ожиданіе исхода этого дѣла его просто измучило. Поэтому онъ рѣшился развлечься, потѣшиться и пойти спросить хоть у гадалки, что его ожидаетъ въ скоромъ времени.

— Хозяйка говоритъ, прибавилъ Звѣздочкинъ, — что эта сущая колдунья, что ее на сто верстъ кругомъ всѣ помѣ-

щики знают и часто за ней своих лошадей присылают, выписываютъ къ себѣ погадать... Вотъ какая!.. Что за важность... Вѣдь это же не безчестное дѣло, извинился корнетъ. — Ребачество и малодушество — итти гадать. Правда. Но, право, иное много хуже. Вотъ хоть схитрить, обмануть, солгать...

— Ну, Звѣздочкинъ, вотъ что... Я съ вами! вдругъ выговорилъ князь, добродушно разсмѣявшись. Вѣдь я вамъ не помѣшаю.

— Идемте. Я очень радъ... Очень, очень радъ... воскликнулъ юный корнетъ. — Вдвоемъ веселѣе, да и удобнѣе... Будто не въ серьезъ — если два человѣка и больше... А одинъ пойдетъ — выходитъ таинственно. Какъ будто и впрямь, что важное совершаетъ и прячется... Идемте. Тутъ недалеко.

Товарищи двинулись, весело болтая.

— Вотъ не воображалъ — куда вдругъ ужоу! сказалъ Аракинъ. — Знаете, я еще ни разу этимъ не занимался... Гадать...

— Нѣтъ я... Я иногда бывалъ, сознался виновато Звѣздочкинъ. — Въ Петербургѣ въ зиму-то раза два заходилъ... Тамъ была эдакая старая женщина, теперь умерла ужъ, дворянка, разорившаяся, съ проломленною головою...

— Вонъ какъ! разсмѣялся Аракинъ.

— Да. Во лбу дыра — кулакъ влѣзетъ. Неприятно было смотрѣть на нее. Какъ она, знаете, гадала! Поразительно!

— Несмотря на проломъ въ башкѣ?

— Напротивъ, она увѣряла, что съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ ее разбили лошади и изуродовали, она именно и начала ясно видѣть будущее... Карты она клала бывало такъ... будто для проформы только. А сама смотритъ въ стѣну или потолокъ и говорить... говорить...

### III.

Гусары повернули въ переулочекъ и остановились у третьего маленькаго дома. Калитка оказалась запертою. Крайнее окошко, очень низкое, было довольно ярко освѣщено. Они постукали.

Чрезъ нѣсколько мгновеній на дворѣ раздались шаги, кто-то подбѣжалъ къ воротамъ и пискливый голосокъ спросилъ:

— Чего тамъ?..

— Здѣсь живетъ Авдотья Галактіоновна Мушкина? спросилъ Звѣздочкинъ.

— Здѣся. Здѣся. Вы къ ей стало быть...

— Да. Да. Къ ней самой!

— По своей, стало быть, нуждѣ?..

— Да, именно! И крайняя намъ нужда, пошутить князь. — Отпирайте.

Калитка отворилась, и молоденькая дѣвушка, подростокъ, завидя двухъ гусаръ, ахнула и оторопѣла.

— Чего вы испугались... Мы такіе же люди. Не грабители, сказалъ Аракинъ.

— Нѣтъ ужъ вы дайте... Я сбѣгаю, спрошу у Авдотьи Галактіоновны...

— Пустое... Зачѣмъ... сказалъ князь и тихо прибавилъ товарищу. — Идите. Нечего предупреждать. Пожалуй съ носомъ останемся.

— Какъ же... Позвольте... растерянно залепетала дѣвушка. — Тамъ же и гости... Барыня и барышня. Позвольте я спрошусь...

Гусары не слушали и двинулись. Но затѣмъ оба остановились, не зная куда идти.

— Ну идите, говорите Авдотѣ Евдокимовнѣ, что ли... сказалъ князь. Но когда дѣвушка пошла впередъ, оба офицера двинулись за ней вплотную... И всѣ вошли вмѣстѣ въ холодныя, длинныя и темныя сѣни, а затѣмъ и въ домикъ. Душный, спертый воздухъ пахнулъ на нихъ, когда первая дверь отворилась. Они очутились въ просторной горницѣ, тускло освѣщенной сальной свѣчю, гдѣ оказалось все, что бываетъ во всякомъ домѣ, но въ разныхъ горницахъ. Тутъ былъ и диванъ, и кровать, и вѣшалка съ верхнимъ платьемъ, и большая русская печь съ раскаленнымъ жаромъ, гдѣ дымился горшокъ и пахло щами, и, наконецъ, въ углу столярный станокъ... Очевидно, эта комната замѣняла собой много комнатъ.

Гусары остановились, озираясь на простую мѣщанскую обстановку, свидѣтельствовавшую о достаткѣ.

Дѣвушка юркнула въ дверь второй маленькой горницы, гдѣ было свѣтлѣе. Тамъ начался шепотъ, потомъ сдержанный смѣхъ, очевидно веселая шуточная тревога.

— А вѣдь мы кого-нибудь изъ городскихъ накрыли тутъ! шепнулъ князь.



— Я объ этомъ и не подумаль! затревожился юный корнетъ.—Вѣдь увидятъ...

— И мы увидимъ.

— Да вѣдь женщины... Имъ и Богъ велѣлъ по гадалкамъ шататься. А мы-то? Гусары!

— Такъ что же? Гусары, именно... а не монахи, улыбнулся Аракинъ.

Въ эту минуту изъ горницы, тщательно и не очень широко отворивъ и затворивъ за собой дверь, вышла пожилая и полная женщина, на видъ простая мѣщанка.

— Извините, судари мои... А позвольте вамъ сказать, что вы въ неурочное время посѣтили меня... заговорила женщина простодушно, но развязнымъ голосомъ и съ жестами, доказывавшими, что она привыкла къ сношеніямъ со всякаго рода людомъ и всякіе виды видала.

— Вотъ что-съ... перебилъ ее князь. — Вы извините... Но намъ днемъ къ вамъ итти не совѣмъ ловко... Что вы ни говорите, моя уважаемая Дарья Евдокимовна, но мы...

— Авдотья Галактіоновна, поправилъ Звѣздочкинъ товарища.

— Ну да... уважаемая Авдотья Галактіоновна... продолжалъ князь такимъ тономъ, какъ еслибы буквально повторялъ вторично то же самое имя.—Вы насъ примите и намъ нашу злосчастную судьбу распишите... А мы со своей стороны и красненькой для васъ не пожалѣемъ.

— Мнѣ, сударь мой, г. офицеръ, сухо отозвалась женщина,—извините, не знаю какъ васъ именовать. — Мнѣ не въ диковину ваши денежки. Меня господа дворяне во всей губерніи знаютъ и часто провизіей одной на сотни рублей отблагодариваютъ... Да это что... А вотъ у меня теперь гости... И я васъ впустить не могу... Пожалуйте завтра... А теперь милости прошу—ослобоните.

Звѣздочкинъ двинулся уже, чтобъ уходить, но князь вдругъ заупрямился.

— Какъ вамъ угодно, моя дорогая, а мы не уйдемъ. Мы не бродяги какіе и не жида. Какія бы гости у васъ ни были, имъ гусарское общество не въ обиду. Мы подождемъ. Барыни 'ваши кончатъ, уйдутъ, а мы начнемъ про нашу судьбу.

— Но позвольте, г. офицеръ... съ нѣкоторымъ даже до-

стойнствомъ возразила женщина. Можетъ быть моимъ гостьямъ не желательно съ вами повстрѣчаться.

— Пойдемте! Ну что!.. сказалъ Звѣздочкинъ.

Князь, ни слова не говоря, двинулся и сѣлъ на диванъ.

— Ну пожалуйста... Ну зачѣмъ... началъ умолять корнетъ.

— Застрѣлите меня тутъ, а не пойду. Такъ вотъ хоть до завтрашняго утра сидѣть буду... Хочу я узнать свою судьбу отъ Анны... Анны Степанидовны...

За дверью въ маленькой горницѣ вдругъ послышался сдержанный смѣхъ.

Всѣ обернулись на дверь.

— Вотъ видите, сказалъ князь, — ваши посѣтительницы и тѣ смѣются, что вы насъ гнать хотите. И князь прибавилъ громче и обращаясь къ дверямъ: — Сударины! Заступитесь за насъ грѣшныхъ.

За дверью раздался уже звонкій, откровенный, несдерживаемый смѣхъ, и князь вдругъ наострилъ уши... Что-то знакомое и даже особенное почудилось ему въ этомъ смѣхѣ. Онъ совершенно не зналъ кто смѣется, но его все-таки будто кольнуло.

Дверь пріотворилась, и незнакомый князю голосъ произнесъ:

— Авдотья Галактіоновна... На минуточку.

Женщина, разводя руками отъ происшествія, какого съ нею еще вѣроятно не бывало, вошла снова въ горницу, изъ которой появилась.

— Ну пожалуйста уйдемте... заговорилъ Звѣздочкинъ. — Вѣдь это же насиліе надъ какими-то барынями.

— Мы ихъ накрыли... Правда... отвѣтилъ князь. — Да вѣдь и мы сами тутъ. Всѣ причастны къ дѣлу и свидѣтелей нѣтъ. Всѣ и виноваты.

— Можетъ быть это дамы изъ здѣшняго общества.

— Говорю вамъ, всѣ... И онѣ и мы, равно...

Но Аракинъ не успѣлъ договорить... Дверь отворилась. На порогъ появилась молодая дѣвушка брюнетка и смѣясь вышла въ сопровожденіи пожилой женщины.

Князь ахнулъ и вскочилъ съ дивана.

Дѣвушка, неудержимо смѣясь, подошла къ нему и протянула руку.

— Марья Борисовна? выговорилъ князь и смутился.

— Мнѣ не стыдно, звонкимъ веселымъ голосомъ произнес-

ла дѣвушка.—Я люблю гадать и часто зову къ себѣ Авдотью Галактіоновну. А вотъ теперь она хворааетъ—я сама пришла.

— Простите, Марья Борисовна... Ради Бога! заговорилъ князь виновато и смущенно.—Еслибъ я зналъ, что это вы, то повѣрите...

— Да я, князь, не сержусь... Что за важность... Вы же пришли гадать... А вы еще гусарь, воинъ. Серьезный человекъ. А намъ, дѣвицамъ, и Богъ велѣлъ глупостями забавляться... Ну, идите... Узнавайте свою судьбу! кокетливо добавила дѣвушка и, надѣвъ шубу, направилась къ выходной двери, сопровождаемая своею спутницею. Обѣ вышли въ сѣни, пока хозяйка тщетно металась и звала дѣвущку проводить гостей. Ея не было нигдѣ.

— Ахъ треклятая. Опять провалилась!.. ворчала хозяйка. Аракинъ между тѣмъ оглянулся въ горницѣ и не нашелъ товарища.

— И мой тоже провалился, сказалъ онъ.—Гдѣ же онъ?

— Не знаю-съ, не видала... отозвалась хозяйка любезнѣе, обращаясь къ гостю, названному сейчасъ „княземъ“.

Въ эту минуту выходная дверь снова отворилась, и обѣ гости быстро явились вновь въ горницѣ.

Молодая дѣвушка смѣялась, но уже инымъ смѣхомъ, съ оттѣнкомъ полусерьезной, полупшуточной тревоги.

— Авдотья Галактіоновна, воскликнула она. — Мы боимся. Позовите Пашу проводить... Или вотъ вы, князь, пожалуйста...

Что прикажете?

— Проводите насъ... Тутъ въ сѣняхъ въ углу кто-то вдругъ при насъ спрятался. Я боюсь...

— Батюшки свѣты! воскликнула хозяйка. — Опять забрался. Ради Создателя! Ваше сіятельство!.. Марья Борисовна! Помогите... Третевось у меня воровъ накрыли ввечеру... Ради Создателя...

— Полноте! Успокойтесь! заговорилъ князь.—Позвольте я васъ провожу...

— Батюшка, князь, не уходите! заметалась хозяйка. — Марья Борисовна. Золотая... погодите... Уйдете вы, меня тутъ одну убьютъ... Золотая... Дайте прежде оглядѣть... съ фонаремъ!.. Ваше сіятельство, ради Создателя. Вотъ! Вотъ фонарь...

Страхъ мѣщанки сообщился тотчасъ и пожилой женщинѣ и самой молодой дѣвушкѣ. Она перестала смѣяться и вопросительно-тревожно глядѣла въ лицо князя.

Аракинъ ухмыльнулся съ чувствомъ собственнаго достоинства и гордо принялъ роль и видъ спасителя беззащитныхъ.

Онъ взялъ зажженный хозяйкой фонарь въ лѣвую руку, подавъ другую молодой дѣвушкѣ и выговорилъ шутливо:

— Пожалуйте. Пускай цѣлая армія грабителей нападетъ на васъ, но пока я живъ, съ вами ничего не случится.

И сразу открылось торжественное шествіе.

Впереди двинулся Аркинъ подъ руку съ дѣвушкой, которая снова смѣялась, но невольно жалась къ своему покровителю, за ними пошла гостя спутница, а за нею хозяйка и явившаяся, какъ изъ подъ земли, дѣвчонка служанка.

— Вонъ тамъ! Въ углу! За бочкой! шепнула дѣвушка князю, когда они были въ сѣняхъ.

Князь улыбнулся недовѣрчиво, но присмотрѣвшись, дѣйствительно увидѣлъ въ полусвѣтѣ, бросаемомъ изъ закопѣлаго фонаря, какую-то фигуру, прижавшуюся въ углу...

— Я боюсь... шепнула дѣвушка...

Но князь запагалъ рѣшительнѣе и, поднявъ фонарь надъ головой, крикнулъ: „Кто тамъ?!“

Изъ-за бочки двинулась на нихъ фигура въ военной шинели...

— Это вы? вскрикнулъ князь.

— Я... конфузливо откликнулся юный корнетъ.

Громкій всеобщій смѣхъ огласилъ сѣни.

— Вы всѣхъ перепугали! хохоталъ князь.— Васъ за грабителя приняли. Да зачѣмъ же... Что же вы тутъ дѣлали...

— Я... я—ничего... Такъ... смущенно и едва слышно отвѣтилъ корнетъ.

Молодая дѣвушка, не имѣя возможности сдержать чуть не истерической смѣхъ, бросила руки Аракина и побѣжала впередъ. Вскорѣ она была уже за калиткой на улицѣ, но и оттуда все еще доносился ея припадночно-звонкій смѣхъ до слезъ.

— Ахъ вы, Звѣзdochкинъ, Звѣзdochкинъ, хохоталъ князь.— Но вдругъ, бросивъ фонарь, онъ пустился догонять дѣвушку... Настигнувъ, онъ попросилъ позволенія проводить ее до дома.

— Вотъ происшествіе-то... сказалъ онъ весело.

— Да... Но зачѣмъ же онъ спрятался? смѣялась дѣвушка.— Скажите, кто это? Вашъ... Гусаръ вѣдь...

— Да, товарищъ. Корнетъ Звѣздочкинъ.

— У него пресмѣшное лицо, замѣтила дѣвушка и прибавила мысленно: „но милое“.

А оставшійся въ сѣняхъ съ хозяйкой Звѣздочкинъ мысленно повторялъ:

„Какъ глупо! Какъ глупо! Думалъ вѣжливѣе, лучше, а вышла чертовщина“.

— Теперь слободно. Если такое ваше желаніе... Если прикажите—пожалуйте... уже нѣсколько разъ повторала хозяйка корнету.

— Нѣтъ... нѣтъ... отозвался наконецъ Звѣздочкинъ. — Ужъ лучше въ другой разъ. Скажите, кто эта дѣвица?

— Намъ не полагается сказывать, жеманясь отвѣтила женщина.

— Да вѣдь я отъ товарища все равно могу узнать.

— И то правда... Это барышня Задольская, Марья Борисовна.

— Задольская? Ну что жъ... Пускай... Мнѣ все равно.

И корнетъ двинулся изъ сѣней въ раздумьи.

„Какъ глупо, бормоталъ онъ уже на улицѣ.—Задольская? Это чей домъ мы глядѣли. Глупо. Не хотѣлъ вотъ конфузить и ее и себя. А вышло хуже! Ну, ушелъ бы совсѣмъ. А то выдумалъ въ темнотѣ пропустить мимо себя. Вотъ и пропустилъ! Какъ, Господи, глупо.“

И чрезъ нѣсколько минутъ, выйдя на большую улицу, корнетъ прошепталъ:

— А вѣдь эта... очень хорошенькая... А какъ князь сконфузился? Ужъ не та ли эта, въ которую онъ влюбленъ? Вотъ оказія-то была бы... Да. Очень, очень хорошенькая. А я то... я то... Отличился! Гусаръ, да за бочкой!... Можетъ быть еще съ капустой...

#### IV.

Въ этотъ же самый вечеръ, какъ было условлено заранѣе, у старшаго въ полку офицера полковника Капорко должны были собраться нѣсколько человѣкъ товарищей, чтобы потолковать насчетъ бала.

Капорко не пользовался особеннымъ уваженіемъ и особен-

ною любовью въ полку именно за то, что былъ старшимъ и уже очень давно. Его прозвище было „Запорка“. Будучи старшимъ полковникомъ, онъ не выходилъ въ отставку и запаралъ собой цѣлый рядъ ваканцій и производствъ. Про него говорили полушута, полудосадливо:

— Отопрись эта проклятая Запорка, сколько тогда человекъ выиграютъ по чину!

Каждый разъ, что слабый здоровьемъ холостякъ хворалъ и ложился въ постель, въ полку довольно серьезно начинали помышлять о томъ, „отопрется запорка или нѣтъ?“ Помретъ Капорко, или опять встанетъ? Но увы! Полковникъ всегда снова вставалъ.

Болѣе всѣхъ злобствовалъ на Капорко командиръ перваго эскадрона, подполковникъ Бидра. Человекъ богатый и самолюбивый уже сидѣлъ болѣе десяти лѣтъ въ этомъ чинѣ изъ за проклятой „Запорки“. А между тѣмъ онъ мечталъ только объ одномъ: быть произведеннымъ въ полковники и сейчасъ же жениться.

Человекъ десять офицеровъ должны были явиться въ квартиру Капорко, чтобъ обсудить одинъ очень важный вопросъ. Листъ приглашенныхъ на балъ давно былъ составленъ, но не всѣ приглашенія были разосланы. Двѣ городскія гостиницы были на половину уже полны прїѣзжими помѣщиками съ женами и дочерьми. Пустые номера были уже заняты заранѣе. Пора было обсудить окончательно приглашеніе нѣкоторыхъ лицъ, которыхъ прїѣздъ не ожидался.

Нѣмовичъ и Уткинъ явились прежде всѣхъ къ Капорко. Затѣмъ прїѣхалъ пятидесяти слишкомъ лѣтній Бидра, маленький, худой, рыжій, съ большими ногами, металлическимъ голосомъ и злыми глазами. Про него говорили нѣкоторые, что у него особенно злой умъ. Другіе опредѣляли вѣрнѣе: весь онъ былъ „умная злость“.

Нѣсколько позднѣе явились къ Капорко три эскадронные командира. Майоръ Андрюхинъ—полу-хохолъ, полу—полякъ происхожденіемъ, съ огромными висящими черезъ подбородокъ усами, и самый добродушный русскій человекъ сердцемъ и разумомъ. Арслановъ, тоже майоръ, по происхожденію имеретинъ или грузинъ, безъ малѣйшихъ національныхъ типическихъ чертъ восточнаго человека. Арслановъ былъ настоящей гусаръ, много выпивалъ не пьянѣя до безсознательности, много игралъ въ банкъ и штоссъ, и часто дрался на дуэли.

Онъ былъ всеобщимъ любимцемъ въ полку. Третій эскадронный командиръ былъ ни рыба, ни мясо, ни нѣмецъ, ни русскій,—ротмистръ Грабенштейнъ. Онъ обыкновенно молчалъ всегда пуще всякой могильной плиты.

Затѣмъ явился ротмистръ Караваевъ, чисто русскій чело­вѣкъ по рожденію, но по внѣшности армянинъ или грекъ, а по свойствамъ характера и по склонностямъ—жидъ. Рот­мистръ былъ командиромъ нестроевой команды.

Въ числѣ приглашенныхъ были и два младшіе офицера: Корнетъ Рубинскій 2-й, очень умный, „читающій“ гусаръ, и поручикъ Николаевъ, высокій и стройный блондинъ, большой ухаживатель и сердцеѣдъ.

Когда всѣ гости полковника усѣлись въ гостиной и при­нялись за жидкій чай съ лимономъ, явился князь Аракинъ, сіяющій довольствомъ. Всѣ оказывались на лицо и Капорко вѣжливымъ до робости и нерѣшительнымъ голосомъ, что было его отличіемъ, попробовалъ было начать дѣловую бесѣду, заговоривъ о балѣ... Но это не удалось...

— Ну-съ, такъ какъ-съ вотъ... Насчетъ дѣловъ - то на­шихъ-съ... сказалъ онъ.

— Да вотъ увидимъ, что-нибудь рѣшимъ! гаркнулъ майоръ Андрюхинъ, своимъ добродушно рѣзкимъ голосомъ.—Успѣ­ется!

И по этому голосу видно было, что майоръ хотъ двадцать четыре часа будетъ участвовать на совѣщаніи, но ничего не рѣшить.

— По моему, коли рѣшать главный вопросъ какъ слѣду­еть, выговорилъ ехидно Бидра,—пригласить ихъ обѣихъ, да въ залѣ и повѣсить рядомъ, или одну противъ другой... Здоровые костыли Нѣмовичъ приготовить.

— Вы завсегда-съ такъ шутите, подполковникъ! отозвался тихо Капорко.—Давайте-съ серьезно говорить-съ.

Всѣ офицеры, двусмысленно улыбаясь, промолчали, зная о чемъ рѣчь Бидры, и въ чемъ заключается главное затрудненіе. И снова началась болтовня.

Проболтавъ часа два о служебныхъ мелочахъ, о военныхъ новостяхъ, было снова предложено заняться дѣломъ.

Первымъ пунктомъ совѣщанія явился бывший предводитель дворянства Кургановъ, находившійся теперь въ контрѣ съ новымъ предводителемъ.

Но этотъ вопросъ былъ не мудренъ. По предложенію Ар-

сланова было рѣшено послать одного изъ младшихъ офицеровъ въ имѣніе бывшаго предводителя.

— Кого же послать? спросилъ кто-то.

— Когонибудь изъ младшихъ... Ну хоть Аракина. Ради параду... Онъ сіятельный.

— Самое лучшее Звѣздочкина! Онъ такой тихій, учтивый!

— Вѣрно... вѣрно... заговорили многіе. — Звѣздочкина. Послать князя къ Курганову—много чести.

Рѣшено было немедленно дослать деньщика на квартиру корнета Звѣздочкина, тотчасъ вызвать его и дать порученіе на другой же день рано утромъ выѣзжать съ приглашеніемъ къ бывшему предводителю.

— Ну-съ, теперъ главный вопросъ! Тутъ уже-съ... признаться сказать-съ, терніи и шипы, пошутилъ Капорко тихо, ласково и опуская глаза, какъ бы отъ смущенія.

Всѣ опять начали двусмысленно переглядываться, улыбаясь и зная заранѣе, что этотъ вопросъ рѣшить мудрено. Дѣло шло о томъ, приглашать или не приглашать барышень Задольскихъ.

— Да! воскликнулъ вновь Бидра.—Барышни Задольскія!! Да! Магическія два слова! Ей Богу, говорю приготовить два костыля, поздоровѣе, да обѣ эти картинки...

— Полно вамъ, отмахнулся нѣсколько угрюмо маіоръ Арслановъ.—Эдакъ мы никогда не кончимъ... А музыка слышите уже началась.

И маіоръ показалъ пальцемъ въ сосѣдную комнату, гдѣ деньщики устанавливали столъ для ужина, за которымъ ожидалось и шампанское. А ужинъ, бывавшій у полковника раза два въ мѣсяцъ, бывалъ всегда хорошій, лучше чѣмъ у другихъ офицеровъ, такъ какъ у Капорко были средства. Не даромъ полковникъ двѣнадцать лѣтъ сподрядъ командовалъ эскадрономъ, а однажды случайно болѣе года исправлялъ должность полкового командира.

Такъ какъ маіоръ Арслановъ, первый пьяница въ полку, сталъ настаивать скорѣе сѣсть за ужинъ, то рѣшено было дожидаться только Звѣздочкина. Черезъ полчаса посланный солдатъ явился обратно.

— Въ гостяхъ, ваше благородіе, у протопопа! рывкнулъ деньщикъ.

— Батюшки-свѣты! Куда угодилъ корнетъ нашъ! ахнулъ Арслановъ.—Ну, вдругъ, протопопада вълюбится въ него...



Гусары усѣлись тотчасъ за ужинъ и оживились за столомъ хлѣбосола полковника, умѣвшаго угощать. Послѣ долгой веселой болтовни о всякой всячинѣ, снова въ третій разъ поднять былъ шуточно важный вопросъ.

— Вотъ что, господа, заговорилъ добродушный Андриухинъ,—позвольте мнѣ объяснить на мой рассудокъ. Впервые, прежде всего, опять-таки, и въ сотый разъ, при всѣхъ вотъ клянусь Всемогущимъ Богомъ и всѣми святыми угодниками, что я ни за одну изъ нихъ формально не сватался и стало быть отказа никакого не получалъ. Вотъ вамъ Христосъ Богъ! Не вѣрите, какъ хотите!

— Да, вѣримъ, вѣримъ! раздалось нѣсколько голосовъ.— Вѣдь это про всѣхъ говорятъ.

— Да, вѣстимо про всѣхъ, но про иныхъ-то говорятъ резонно, а про меня... суцая клевета. Я за всю мою жизнь про эдакую мерзость, чтобы жениться, никогда не помышлялъ. Я офицеръ, а какой это офицеръ женатый! Я бы на мѣстѣ Государя приказалъ бы женатыхъ офицеровъ тотчасъ изъ полка исклѣчать.

— Она! Хватилъ! Bravo! раздались голоса.

— Такъ позвольте. Насчетъ дѣла. Если намъ пригласить на балъ барышень Задольскихъ, протяжно заговорилъ Андриухинъ,—то тогда неукоснительно произойдетъ нѣкій скандалъ и даже чертямъ въ аду будетъ тошно отъ недовольнаго вида нѣкоторыхъ господъ офицеровъ.

— Какое намъ дѣло до чертей! Хорошо имъ, или дурно, сострилъ Бидра.—Не сватайся!

— Дайте сказать! добродушно крикнулъ Андриухинъ.—Если же съ другой стороны барышень Задольскихъ на балъ не пригласить, то будетъ такая дьявольщина, что не только чертямъ будетъ тошно, а во истину въ Малороссійскѣ будетъ свѣтопреставленіе! Вотъ теперь, стало быть, намъ надо рѣшить, что лучше: чтобы чертямъ въ аду было тошно и нѣкоторымъ людямъ на балѣ не вольготно, или чтобы было настоящее столпотвореніе и землетрясеніе. Отсюда я вывожу, что какъ ни вертись, а барышень пригласить надо.

Наступило молчаніе. Казалось, что никто изъ присутствующихъ не хочетъ первый выразить своего мнѣнія.

— Вопросъ крайне мудреный, заговорилъ Уткинъ.—Просидимъ мы тутъ зря до разсвѣта и ничего не рѣшимъ, потому что у многихъ рыло въ пуху.

— Позвольте, вымолвилъ вдругъ Караваяевъ, — что значить — рыло въ пуху.

— А вотъ на ворѣ шапка горитъ. У васъ оно въ этомъ самомъ пуху, ехидно зашипѣлъ Бидра. — Всѣмъ извѣстно, что вы сунулись курочку съѣсть, но скушать-то не удалось ни той, ни другой. Вотъ вы теперь, конечно, приглашать ихъ на балъ и не пожелаете. А вотъ я не хватался ни за одну, такъ по-моему ихъ надо непременно пригласить на балъ и умертвить... ради того, чтобы миръ, тишь и гладь наступили на землѣ, хотя бы на той землѣ, гдѣ расположенъ Маріинской гусарскій полкъ. Пространство невеликое. А то изъ-за этихъ двухъ попрыгушекъ у насъ въ полку всякая неурядица. Торчатъ на глазахъ двѣ хорошенькія дѣвчонки, да съ здоровымъ приданымъ, съ помѣстьями и капиталами. А у насъ въ полку почти все голъ. У кого и было что, такъ протрублено и давно изъ трубы въ поднебесье улетѣло. Вотъ, помоему, и надо бы ихъ похерить.

— Вы все шутите, подполковникъ! мрачно заявилъ Грабенштейнъ.

— Вѣстимо, шучу... А коли хотите вопросъ рѣшить серьезно, то опять-таки я вамъ въ сотый разъ предлагаю: давайте всѣмъ полкомъ ихъ похитимъ, да обѣихъ, по нашему усмотрѣнію, и обвѣнчаемъ съ двумя нашими офицерами. Сдѣлаются онѣ полковыми дамами, перестанутъ быть невѣстами и будетъ у насъ тишь да гладь, да Божья благодать!

— Э-эхъ! воскликнулъ маіоръ Арслановъ, сильно подкутившій и красный, какъ ракъ. — Все турысы на колесахъ! Ну, рѣшайте... Воровать, такъ завтра, хоть утромъ! Да! Уворуемъ и обвѣнчаемъ... Ну, съ княземъ Аракинымъ что-ль...

— Обѣихъ! пошутилъ Капорко.

— Обѣихъ нельзя... Да мнѣ все равно... Ну по жеребью... На узелокъ... пьянымъ голосомъ крикнулъ Арслановъ.

— Замолчи ты... Конца, господа, не будетъ, заявилъ Николаевъ.

— Стойте, стойте! заявилъ Нѣмовичъ. — Давайте большинствомъ голосовъ рѣшать. Звать барышень Задольскихъ, или не звать?

— На голоса! Ну-съ, начинайте! Ну, вы, Караваяевъ!

Караваяевъ промолчалъ и угрюмо отвернулся, бурча что-то себѣ подъ носъ, а все общество залпомъ хохота отвѣтило на предложеніе.

— Стойте. Я выдумалъ! серьезно произнесъ Бидра. Дайте намъ, полковникъ, каждому по клочечку бумажки. И каждый изъ насъ будетъ класть клочекъ въ шапку, или въ ящикъ, что ли... Куда-нибудь! Баллотировка! Бумажка цѣльная будетъ означать — приглашать, бумажка съ оторваннымъ уголкомъ будетъ означать — не приглашать. Сочтемъ голоса и готово.

— Отлично! усмѣхнулся Капорко. — Сію минуту будетъ готово.

Полковникъ поднялся, досталъ листъ бумаги, нарѣзалъ его ножницами на маленькіе четырехугольники въ вершокъ величины и роздалъ всѣмъ присутствующимъ по кусочку.

— Прежде чѣмъ класть, скомандовалъ Бидра, — незамѣтнымъ манеромъ откусить уголокъ, яко бы патронъ.

Офицеры, смѣясь, поднялись съ мѣстъ. Хозяинъ, перейдя въ сосѣднюю комнату, досталъ большой картонъ и поставилъ его тамъ на столъ. Затѣмъ, со смѣхомъ и прибаутками, всѣ выстроились передъ дверями комнаты и начали, какъ на смотре, поочередно туда маршировать.

Первый показалъ примѣръ самъ хозяинъ и бросилъ свою бумажку въ картонъ. За нимъ прослѣдовали въ комнату всѣ офицеры, по привычкѣ соблюдая старшинство.

Когда всѣ бумажки были въ картонкѣ, Капорко вынулъ ихъ и сталъ выкладывать на столъ. Оказалось, что всѣ билетки были цѣльные и не одинъ не откушенъ. Открытіе произвело настоящій скандалъ.

Въ квартирѣ полковника раздался такой хохотъ и длился такъ долго, что два деньщика прибѣжали изъ кухни и прислушались. Даже двое прохожихъ жидовъ остановились подъ окнами и тоже прислушались.

— Гевалтъ! сказалъ одинъ изъ нихъ.

Дѣйствительно, приключеніе было неожиданное. Тѣ, которые были за барышень Задольскихъ, не боялись класть билетки цѣльными, но тѣ, которые якобы ихъ ненавидѣли и презирали, попались какъ въ ловушку.

Теперь было очевидно, что и Андрюхинъ, несмотря на полученный отъ разборчивыхъ невѣсть „арбузъ“, пожелалъ пригласить барышень, и Караваевъ пожелалъ, конечно, пригласить, и Николаевъ съ Рубинскимъ, относившіеся къ барышнямъ съ крайнимъ презрѣніемъ, тоже положили билетки цѣльными.

— Вотъ-съ, это ловко! не переставая смѣяться, нѣсколько разъ произнесъ Капорко.— Ей Богу-съ ловко! Ай да барышни-съ! Правду говоритъ Бидра: магическія слова—барышники-съ Задольскія!

— Ну, что жъ, по крайней мѣрѣ рѣшили, сказалъ мрачно Грабенштейнъ.— Стало быть завтра и приглашеніе посылать.

— Не письменное, отозвался Андрюхинъ.— Надо послать князя Аракина лично пригласить.

— Что же, я не прочь! тотчасъ отозвался князь.

— Еще бы прочь!.. проворчалъ Николаевъ.

Гости по приглашенію хозяина вернулись въ столовую и заняли снова свои мѣста „кончатъ полдюжину“. Едва они успѣли выпить по стакану шампанскаго, какъ въ горницу явился юный корнетъ, за которымъ посылали солдата.

— Звѣздочкинъ! Здравствуй! Иди братецъ! Что протопопъ? раздалось отовсюду.

— Извините... началъ было явившійся.

— Извиняемъ ради протопоповны! крикнулъ Андрюхинъ.

— Иди, садись около меня, сказалъ Капорко.

Корнетъ сѣлъ около хозяина и вопросительно оглядѣлъ всѣхъ, какъ бы молча прося объяснить, почему собственно за нимъ посылали. Онъ зналъ, какъ и всѣ другіе офицеры, что въ этотъ вечеръ на квартирѣ старшаго полковника будетъ происходить совѣщаніе о важныхъ предметахъ по поводу бала.

Онъ зналъ также, что въ качествѣ самаго младшаго офицера приглашенъ на совѣщаніе не будетъ. Не зная куда дѣваться вечеромъ, онъ послѣ своего приключенія у гадалки отправился въ гости къ отцу-протопопу. И вдругъ его позвали...

— Дѣло простое, милая княжна, заговорилъ Бидра.— Васъ вызвали, чтобы поручить вамъ на завтра справить щекотливое порученіе. Пригласить на балъ барышень Задольскихъ.

— Вздоръ! Вздоръ! заголосило нѣсколько человекъ.— Бывшаго предводителя, а не Задольскихъ.

— Нѣтъ, ей-Богу, лучше наоборотъ! заявилъ Бидра.

Между офицерами завязался шуточный споръ, однако предложеніе Бидры, сдѣланное почти въ шутку, вдругъ оказалось серьезнымъ. Всѣ раздѣлились на два лагеря.

Половина серьезно требовала, чтобы къ барышнямъ Задольскимъ былъ посланъ Звѣздочкинъ, а князь Аракинъ къ Курганову. Болѣе всѣхъ сталъ настаивать Андрюхинъ.

— Намъ надо задобрить Курганова, кричалъ онъ.—Онъ можетъ быть опять начнетъ пиры намъ задавать. Если мы пошлемъ князя, ему будетъ это лестно. Къ барышнямъ послать Звѣздочкина гораздо лучше. Кстати онъ съ ними познакомится. Можетъ быть какую изъ двухъ очаруетъ. Что ни случится, для князя другая останется!

Такъ какъ за все время шутливаго спора стаканы еще чаще наполнялись и осушались, то вскорѣ бесѣда приняла совершенно безсвязный характеръ. Шуму и хохоту было много, но толку никакого.

Было уже три часа ночи, а вопросъ о томъ, кто изъ двухъ офицеровъ—князь Аракинъ, или Звѣздочкинъ поѣдетъ приглашать барышень Задольскихъ, рѣшенъ, конечно, не былъ.

— Повѣсить! Повѣсить! на все восклицалъ Бидра.—И всѣмъ разногласіямъ конецъ будетъ.

— Зачѣмъ я на свѣтъ родился?! изрѣдка отчаянно вскрикивалъ Арслановъ, стуча кулакомъ по столу.

## V.

Барышни Задольскія, имѣвшія сугубо важное значеніе въ глазахъ всѣхъ офицеровъ-гусаръ, равно пользовались особымъ значеніемъ и во всей губерніи.

Двѣ молодыя дѣвушки: старшая—двадцати лѣтъ, младшая—восемнадцати, были обѣ красивы, каждая на свой ладъ, были обѣ умницами и вмѣстѣ съ тѣмъ благовоспитанными дѣвицами. Но помимо этого, у нихъ было и большое состояніе. На каждую приходилось около двухъ тысячъ душъ крестьянъ въ черноземной полосѣ Россіи. Кромѣ большого имѣнія около Малороссійска, у нихъ были еще другія маленькія помѣстья въ другихъ губерніяхъ и собственный домъ въ Полтавѣ, на одной изъ главныхъ улицъ, дававшій большой доходъ.

Въ городкѣ онѣ жили тоже въ собственномъ домѣ, съ большимъ садомъ, прудомъ и оранжереями.

Но магнетическое свойство двухъ барышень Задольскихъ для гусаръ заключалось еще и въ томъ обстоятельствѣ, что онѣ ни отъ кого не зависѣли кромѣ какъ отъ собственнаго каприза и собственной фантазіи.

Задольскія были круглыя сироты. Каждая изъ нихъ могла распорядиться своею судьбою по собственной прихоти. За-

хоти какая изъ нихъ завтра же выйти за кого-нибудь замужъ, то послѣ-завтра могла бы быть и свадьба.

У Задольскихъ былъ только одинъ родственникъ, но и тотъ не настоящій. Былъ вотчимъ, который съ ними не жилъ и съ которымъ были самыя натянутыя отношенія. Обѣ дѣвушки имѣли полное основаніе ненавидѣть этого вотчима, именно Курганова, бывшаго предводителя.

Все состояніе когда-то принадлежало ихъ отцу, а послѣ его смерти г-жа Задольская вышла замужъ за Курганова и онъ сталъ опекуномъ богатыхъ сиротъ. За пять лѣтъ брачной жизни и опекунства Кургановъ счумѣлъ себѣ составить собственное порядочное состояніе на счетъ опекаемыхъ. При этомъ, какъ настоящій вотчимъ, онъ счумѣлъ заставить себя возненавидѣть. Ему на умъ не приходило то, что вскорѣ случилось. Г-жа Задольская простудилась на масляницѣ во время катанья на тройкахъ за городъ и отправилась на тотъ свѣтъ, а присутствіе Курганова въ домѣ Задольскихъ оказалось совершенно излишнимъ. Нашлись люди, которые тотчасъ помогли сиротамъ избавиться отъ опекуна-грабителя и деспота, и завести другого честнаго и добраго, только числившагося опекуномъ.

Съ тѣхъ поръ прошло три года. Вотчимъ и сироты видѣлись изрѣдка и случайно.

При обѣихъ дѣвушкахъ жила масса приживалокъ. Домъ былъ полонъ ухаживающими и обожающими ихъ барынями, но изъ всѣхъ нахлѣбницъ была только одна, которая могла назваться ихъ дальнею родственницею, да и то, какъ говорится, была седьмая вода на киселѣ.

Сестры сироты были обѣ красивы, хотя совершенно не походили одна на другую. Старшая, Марья Борисовна, была брюнетка, средняго роста, полная, живая, пылкая, смѣлая во всемъ и отчасти неводержанная на языкъ.

Вторая, Александра Борисовна, была, напротивъ, много выше ростомъ, нѣсколько худая, и чрезвычайно степенная во всемъ. Одна была сангвиникъ, другая—меланхоликъ.

Сестры были дружны. Гнетъ вотчима при безучастіи и равнодушіи родной матери и многія горести, испытанныя въ дѣтствѣ, сблизили сестеръ и сдружили болѣе, чѣмъ это бываетъ обыкновенно. При этомъ младшая обожала старшую и была подъ ея вліяніемъ постоянно во всѣхъ мелочахъ жизни. За то во всемъ исключительно важномъ страстная и пылкая

Машенька поступала по совѣту степенной и хладнокровной сестры. Такимъ образомъ въ пустякахъ повиновалась во всемъ сестрѣ младшая, а въ серьезныхъ вопросахъ, вліяющихъ на существованіе, старшая безропотно исполняла совѣты и чуть не приказанія младшей.

Обѣ дѣвушки были, конечно, избалованы средой, отчасти прихотливы и капризны, но однако менѣе, чѣмъ оно могло бы быть при ихъ положеніи. Своевольство и самодурство Курганова надъ женой и дѣвочками, всякія притѣсненія и наказанія, испытанныя ими въ тѣ самые годы, когда онѣ впервые сознательно оглянулись кругомъ себя, принесли большую пользу.

Теперь обѣ сестры постоянно твердили, что замужъ не хотятъ и не пойдутъ, видѣвши близко на примѣрѣ матери, каково бываетъ жить со злымъ мужемъ.

Разумѣется, всѣ приживалки и нахлѣбницы поддерживали въ своихъ барышняхъ это выгодное для нихъ расположеніе мыслей.

Но обѣ сестры изрѣдка, оставаясь вдвоёмъ, признавались обоюдно.

— Вѣдь это все такъ говорится, глубокомысленно замѣчала одна, — а подвернись кто подходящій, какъ я себѣ представляю будущаго мужа, то я пойду.

— Это другое дѣло! Понятно, и я тоже. Да вѣдь это надобно, чтобы такой нашелся, отзывалась другая.

Жениховъ, разумѣется, была масса.

По выраженію одной изъ приживалокъ, жениховъ у дорогихъ барышень была „неотолченная труба“. Обѣимъ сестрамъ ежегодно дѣлалось по три, по четыре предложенія. Разумѣется, дѣвушки понимали, что ихъ состояніе и независимость играютъ при этомъ главную роль.

И какіе только женихи не перебывали!

За годъ предъ тѣмъ за одну изъ Задольскихъ сватался черезъ сваху мѣстный стряпчій, пятидесятилѣтній, на поджарыхъ ногахъ, но съ такими зубами, что ради забавы молодыхъ дѣвицъ сгрызалъ грецкій орѣхъ со скорлупой въ порошокъ и глоталъ все вмѣстѣ.

Разумѣется, взоры двухъ невѣсть-сиротъ были направлены, въ особенности за послѣдній годъ, исключительно на гусарскій полкъ.

Насколько гусарамъ нравилось приданое хорошенькихъ дѣ-

виць, настолько самимъ дѣвушкамъ нравились золотые шнуры, шпоры и сабли.

Съ тѣхъ поръ, что полкъ былъ расположенъ въ ихъ городкѣ, уже человекъ четыре изъ гусаръ тоже сватались за нихъ, но осторожно, не гласно и не прямо, чтобъ избѣжать стыда въ случаѣ отказа.

Гусаръ Николаевъ, сердцеѣдъ, иносказательно и хитро посватался за Машеньку Задольскую на вечеръ въ третьей фигурѣ кадрили, но четвертую онъ уже танцевалъ съ вытянутымъ лицомъ и кусаль губы.

Маіоръ Андрухинъ тоже соблазнился. Хотя онъ и клялся Богомъ, что никогда не сватался, но тѣмъ не менѣе съ полгода назадъ подсылалъ знакомую барыню разузнать у главной нахлѣбницы — родственницы, какъ можетъ быть принято его предложеніе. Отвѣтомъ былъ — арбузъ.

Вообще къ этой родственницѣ наиболѣе обращались тѣ изъ претендентовъ, которые не рѣшались прямо заговорить съ дѣвушками.

Анна Михайловна Нехайко, вдова интендантскаго чиновника, надворная совѣтница, чѣмъ она очень гордилась, числилась тетужкой Задольскихъ.

Она считалась многими женщиною степенною, разсудительною и имѣющею вліяніе въ домѣ. Въ дѣйствительности Анна Михайловна была нулемъ и отличалась особенною несообразительностью.

Она была очень богомольна и, не пропуская ни единой службы въ церкви, вставала даже въ шесть часовъ утра къ заутренѣ. Разумѣется, она обожала и даже боготворила обѣихъ дѣвужекъ, у которыхъ жила съ тѣхъ поръ, что онѣ освободились отъ опекуства, и при томъ гордилась тѣмъ, что зоветъ ихъ заглазно племянницами.

Обѣ дѣвушки звали ее однако не тетужкой, а просто Анной Михайловной. За то она звала ихъ уменьшительными именами безъ прибавленія отчества.

Несмотря на общее пристрастіе къ клеветѣ и сплетнѣ, какое бываетъ во всякомъ городишкѣ, о дѣвицахъ Задольскихъ не ходило никакихъ дурныхъ слуховъ.

Онѣ вели себя осторожно и пользовались безукоризненною репутаціею.



## VI.

Ротмистръ Караваевъ, промолчавшій у Капорко упорно весь вечеръ, вернулся домой озабоченный и озлобленный. Было нѣчто новое! Новый корнетъ „Княжна“ явится въ домъ Задольскихъ въ первый разъ. Онъ „чахлый цыпленокъ“ для него, Караваева; но какъ посмотреть на него барышни? Мальчишка можетъ понравиться.

Караваева не беспокоило настоящее „положеніе дѣлъ“. Князь Аракинъ мѣтилъ въ женихи къ „Сашенькѣ“, которой нравился, а „Машенька“ никѣмъ не была занята. По ограниченности ли ума или вслѣдствіе самомнѣнія, но ротмистръ серьезно мечталъ о своемъ бракѣ со старшею Задольскою и уже звалъ сестеръ заглазно по ихъ именамъ.

Прежде всего, какъ практическій человѣкъ, онъ подружился со вдовой „тетушкой“, чтобы дѣйствовать чрезъ нее. Анна Михайловна считала Караваева очень приличнымъ женихомъ, даже совсѣмъ подходящимъ. Надѣясь сама, совершенно зря, на успѣхъ, женщина смущала и черномазаго друга своего, хотя знала, что племянница всегда зоветъ его не иначе, какъ идоломъ. Дѣйствительно, Караваевъ былъ далеко не завидный женихъ и изо всѣхъ гусаръ, самый „не гусаристый“, какъ про него выразилась одна еще бодрая вдова помѣщица, бредившая Маринцами во снѣ и на яву.

Караваевъ, нося русскую фамилію, смахивалъ сильно на азіята и цвѣтомъ кожи и волосистостью, цѣлыми усами на рукахъ, и глазами съ бровями, и наконецъ извѣстною медленностью въ соображеніи. Однако, въ одномъ дѣлѣ Караваевъ былъ очень быстроуменъ, а именно по части казенныхъ денегъ и ихъ прикарманивая на всѣ лады.

Ротмистръ завѣдывалъ нестроевою командою еще со времени командира „Мамашки“ и хотя ходилъ давно уже слухъ, что новый командиръ собирается его замѣнить другимъ, но однако это все откладывалось.

Граукъ не трогалъ Караваева, считая его очень практическимъ человѣкомъ, но зорко слѣдилъ на нимъ и позволялъ наживаться умѣренно.

За послѣдній годъ Караваевъ готовъ былъ самъ отказаться отъ нестроевыхъ. Игра не стоила теперь свѣчъ! И только

самолюбіе удерживало его перейти въ строй, снова подъ команду другого товарища, такъ какъ объ эскадронѣ онъ, конечно, не могъ и мечтать.

При командованіи Мамаанастазопуло, ротмистръ катался какъ сыръ въ маслѣ, и теперь, имѣя капитадецъ, увеличивалъ его постоянно, давая займы подъ ростовщичьи проценты своимъ же товарищамъ. Но дѣлалось это, конечно, тайно отъ многихъ и главнымъ образомъ отъ Граука. Офицеры Николаевъ, Уткинъ и даже князь Аракинъ были должны Караваеву довольно много.

Впрочемъ недавно командиръ нестроевыхъ попался въ просакъ, такъ какъ деньги, данныя имъ одному остзейскому барону, выжитому изъ полка Граукомъ, пропали безвозвратно. Караваевъ побоялся заикнуться о долгѣ, такъ какъ баронъ хотѣлъ жаловаться Грауку на то, что уже одними процентами два раза уплатилъ долгъ товарищу ротмистру.

Караваевъ мечталъ о Машенькѣ Задольской съ ея деньгами, какъ мусульманинъ мечтаетъ о раѣ съ гуріями.

— Господи! Чего бы я не надѣлалъ!.. думалъ онъ.— Сейчасъ бы въ Москву! Милліонъ бы нажилъ однимъ учетомъ векселей, да мастерствомъ на биржѣ.

Черномазый, сутуловатый, некрасивый и сорокалѣтній ротмистръ уже съ полгода ухаживалъ за старшею Задольскою.

Ухаживаніе его заключалось въ томъ, что онъ бывалъ въ домѣ раза по два въ недѣлю и, бесѣдуя съ барышнями о сапогахъ, о сукнѣ, а главнымъ образомъ, о „богатомъ Ростовскомъ купечествѣ“, въ которомъ имѣлъ знакомыхъ, наводилъ на сестеръ только тоску.

Но онъ этого и не подозрѣвалъ. Напротивъ, онъ обманывался вполне, считая, что имѣетъ шансы на успѣхъ и можетъ надѣяться.

Виновата, помимо Анны Михайловны, была отчасти и сама Машенька. Вдова Нехайко наивно и безъ дурной цѣли лгала, говоря ротмистру, что Машенька къ нему относится сердечно, что „почему же онъ не женихъ“?

Сама же Машенька иногда шалила и кокетничала отъ тоски, и однажды, на неожиданный вопросъ, сдѣланный якобы въ шутку Караваевымъ— „пойдетъ ли она замужъ за сорокалѣтняго человѣка къ примѣру, въ родѣ него, Караваева“, отвѣчала тоже ради баловства:

— Отчего же не пойти! Въ сорокъ лѣтъ человѣкъ всегда

степеннѣе. Не вѣтрогонъ. Ухаживать не станеть, потому что на него ни одна женщина взглянуть не захочеть. А я ревнивая!

— Пошли бы... съ замираніемъ сердца переспросилъ два раза Караваевъ.

— Понятно пошла бы! хохотала быстроглазая Машенька.

Съ этого дня ротмистръ считалъ себя чуть не нарѣченнымъ и, переговариваясь постоянно съ другомъ Анной Михайловной, наускивалъ ее на дѣвушку.

— Вы меня, сударыня, расписывайте... Дѣвицы глупы... Имъ все можно во всякомъ видѣ представить... говорилъ онъ.

— Расписываю, Никифоръ Ивановичъ. Расписываю, увѣрляла Нехайко, — но умалчивала о томъ, что „племянницы“ ей самой предлагаютъ Караваева въ мужья.

— А я въ долгу не останусь, общалъ ротмистръ.—Какъ сказано было не разъ. Десять тысячъ за мной считайте, если все выгорить.

— Зачѣмъ! Зачѣмъ! отмахивалась Нехайко.—Я васъ люблю и Машеньку люблю...

Подобныя бесѣды между двумя друзьями бывали нерѣдко. Караваевъ терпѣливо ждалъ со словъ друга, что Машенька отъ него сойдетъ съ ума, а Анна Михайловна тоже ждала этого и все общала ему этотъ моментъ, который все откладывался по разнымъ причинамъ, совершенно случайнымъ.

— Вотъ Сашенька теперь очень княземъ вашимъ занялась! говорила она за послѣднее время. — Какъ она порѣшитъ за него замужъ, такъ мы и Машеньку уговоримъ. Въ одинъ день и вѣнчаться будете.

Караваевъ зналъ, что въ полку и въ городкѣ никто Машенькѣ не нравится—и былъ спокоенъ. За появленіемъ всякаго новаго лица въ домѣ Задольскихъ ротмистръ, конечно, зорко слѣдилъ, а Нехайко аккуратно доносила. И каждый разъ, что у барышень появлялся новый знакомый, хотя бы и не гусаръ, практически тонкій и лукавый человекъ, хотя совершенно ограниченный, серьезно тревожился. Вполнѣ увѣренный въ несуществующемъ чувствѣ къ нему старшей Задольской, онъ наивно волновался, опасаясь соперника.

Посылка гусарами юнаго корнета Звѣздочкина къ Задольскимъ тоже смутила его. Чѣмъ юнѣе и глупѣе казался ему новоиспеченный корнетъ, похожій на дѣвочку, тѣмъ казался онъ почему-то опаснѣе.

— Дѣвицы—дурафьи, разсуждалъ онъ. — На нихъ законъ не писанъ.

Проволновавшись ночь, Караваевъ на утро рѣшилъ въ полдень ѣхать къ Задольскимъ, предупредить ихъ...

Предупредить, что Звѣздочкинъ молокососъ, дуракъ, по прозвищу „княжна“ и что вообще такой цыпленокъ, что не только не гусарь, но даже и не человѣкъ.

— Необходимо нужно это! серьезно рѣшилъ Караваевъ, собираясь къ дѣвушкамъ.

Между тѣмъ барышни Задольскія были теперь въ такомъ затруднительномъ и даже оскорбительномъ для нихъ положеніи, въ какомъ не бывали никогда.

До нихъ достигъ невѣроятный слухъ, что гусары изъ мести за то, что онѣ „разборчивыя невѣсты“, рѣшили ихъ не приглашать на свой балъ. Младшая сестра отнеслась къ этому болѣе хладнокровно и разсудительно, за то старшая была совершенно поражена незаслуженнымъ оскорбленіемъ и чувствовала себя готовою на всякій рѣшительный шагъ.

— Вотъ какъ скажу! объяснила она сестрѣ. — Явись теперь кто изъ нихъ за меня свататься, я соглашусь, чтобы только быть приглашенною.

— А послѣ? воскликнула Сашенька. — Послѣ!? На всю жизнь несчастной быть. Съ ума ты сошла.

— Что ты! Богъ съ тобой. Послѣ бала я откажусь опять... Надую!

— Это нечестно, Маша. Да и опасно...

Разговоръ этотъ произошелъ между двумя сестрами именно въ то время, когда собравшійся къ нимъ Караваевъ подъѣзжалъ къ дому.

— Ну, отъ этого идола ничего не узнаешь, сказала Машенька, завидя скучнаго вздыхателя.

Караваевъ вошелъ и раскланялся. Товарищи, увидя его теперь здѣсь, не узнали бы командира нестроевой команды. Это былъ другой Караваевъ. Онъ былъ важенъ, держался прямо, поворачивался медленно на каблукахъ, бряцалъ шпорами, говорилъ внушительно и даже какъ-то таинственно. Именно за эту вѣщность, не зная, что она напускная, старшая Задольская и прозвала его идоломъ. Послѣ четверти часа общей бесѣды Сашенька, по знаку сестры, вышла и оставила сестру наединѣ съ ротмистромъ, чтобы кое-что вывѣдать отъ него насчетъ приглашенія на балъ.

Караваевъ тотчасъ же началъ объяснять Машенькѣ, что у нихъ въ полку есть молокососъ, по прозвищу „княжна“, недавно произведенный въ офицеры.

— Такъ... Дрянъ суцая... Зовутъ Звѣздочкинымъ.

Но это было мало интересно старшей Задольской и она тотчасъ перевела разговоръ на балъ и прибавила:

— Намъ ничего неизвѣстно о вашемъ балѣ?

— Какъ-съ... Помилуйте... Весь уѣздъ толкуеть объ этомъ! не понялъ Караваевъ.

— Да мы-то собственно не знаемъ, потому что кажется... Намъ кажется... не придется и быть на немъ.

— Зачѣмъ-съ.

— Мы... мы собираемся ѣхать въ имѣніе. Да и вообще... запнулась дѣвушка, приглашенія не получали.

— Приглашеніе будетъ-съ. Запоздало.

— А можетъ быть и вовсе не будетъ? тревожно спросила Машенька.

— Я вамъ за него словомъ моимъ отвѣчаю. Я скажу сегодня же Нѣмовичу или Уткину... Они что-нибудь напутали. Какъ жаль вотъ, что вы не полковая дама. Были бы вы... къ примѣру...

Караваевъ покраснѣлъ и поперхнулся, а затѣмъ продолжалъ:

— Были бы вы женой кого изъ нашихъ, то и безъ приглашенія пріѣхали бы на свой балъ... Скажите вы, Марья Борисовна, одно слово и были бы вы гусарскою дамою и были бы...

И Караваевъ опять поперхнулся.

— Для этого надо, чтобы кто изъ гусаръ пожелалъ этого...

— Желających много... Помилуйте-съ.

— Да не подходящіе были... А если бы...

Машенька, хитря, рѣшилась на отчаянный шагъ и въ послѣдній мигъ струсила.

— Что-съ... еслибы... выговорилъ Караваевъ, и духъ сперло у него въ груди.

— Еслибы подходящій кто... конечно, и я, и сестра, могли бы быть полковыми дамами.

— Скажите слово, Марья Борисовна! воскликнулъ Караваевъ.— Всякій-съ изъ насъ. Ну вотъ... ну вотъ хоть бы и вашъ покорнѣйшій слуга... На жизнь и смерть. Душой преданный... Всѣми помышленіями ежечасно и еженочно... Только куражъ покидаетъ словесно выразиться или открыться...

— А вотъ послѣ бала, если мы на немъ будемъ, я подумаю вообще... объ этомъ серьезно. И рѣшусь... выговорила Машенька, испугалась, но тотчасъ оправилась, подумавъ: — „Я вѣдь не сказала ему за кого!..“

— Я бы всю мою жизнь, Марья Борисовна, началъ ротмистръ взволнованно.

— А день окончательно рѣшенъ? перебила дѣвушка.

— Рѣшенъ-съ. Рѣшенъ... Въ воскресенье. Я бы, Марья Борисовна, всю мою жизньъ всего поведенія... снова началъ ротмистръ, путаясь отъ волненія.

— И мазурка будетъ! И ужинъ... Много ли дамъ будетъ? перебила Машенька, опасаясь переходить съ двусмысленной бесѣды на опредѣленную.

— Да-съ... да-съ... И повара изъ губерніи. Всю жизньъ всего поведенія, Марья Борисовна, передъ супругой, данною Всевышнимъ Судіей... Марья Борисовна.

— Мы объ этомъ послѣ бала вообще перетолкуемъ, какъ слѣдуетъ. А теперь оставимте... рѣшительно вымолвила Машенька.

— Преклоняюсь, Марья Борисовна. Слова ваши мнѣ святейшій законъ.

— Вотъ только будемъ ли мы... У насъ есть враги въ полку.

— Будете... будете... Я вамъ словомъ отвѣчаю. Звѣздочкинъ долженъ...

Караваевъ запнулся, чтобы не дать маху.

— Этотъ Звѣздочкинъ—такъ дрянъ сущая, не стоитъ и говорить о немъ. А я такъ къ слову говорю...

И Караваевъ началъ такъ расписывать корнета на всѣ лады, что онъ выходилъ хуже черта.

Сашенька, верпувшись въ гостиную, удивилась, глядя на офицера и сестру. Караваевъ сидѣлъ нѣсколько красный и сохлѣлъ громче обыкновеннаго, а Машенька имѣла виновато-шаловливый видъ.

„Напроказила, подумалось младшей. — Неужели у нея хватило храбрости на то, чѣмъ она похвалялась. Надуть“.

Ротмистръ всталъ и уххаль сильно взволнованный объясненіемъ и считая себя женихомъ.

— А вѣдь ты напроказила? строго спросила младшая. — Неужто же...

— Самую чуточку, Саша... звонко размѣялась старшая.—Чуточку... На пяточекъ идола надула. Ей Богу! На копѣчку...

## VII.

Оставалось, наконецъ, до бала три дня. Только три!.. А приглашенія сестры Задольскія не получали.

Поднявшись рано, обѣ дѣвушки грустно пили чай и совѣщались съ Анной Михайловной. Это случалось очень рѣдко, только въ самыя затруднительныя минуты жизни, когда сестры, чувствуя погибель, хватались за соломенку.

Онѣ призывали тогда съ горя на семейный совѣтъ родственницу свою, зная отлично, что она женщина просто глухая.

Раза два случилось, однако, что несообразительная Анна Михайловна чисто „по глупости несказанной“ дала хорошій совѣтъ, какъ бы напѣтемъ свыше. И вотъ теперь, въ трудную минуту, сестры и рассчитывали, что авось Анна Михайловна „сдуру“ что-нибудь присовѣтуетъ хорошее.

Однако, на этотъ разъ дѣвушки просидѣли съ родственницей до полудня, толковали на всѣ лады о томъ, какъ поступить, и пришли только, по ея совѣту, къ одному весьма неутѣшительному.

Онѣ рѣшили выѣхать на нѣсколько дней къ себѣ въ имѣніе, чтобы не присутствовать въ городѣ во время общаго веселья. Имъ казалось, что приличіе требуетъ этого. И обѣ сестры чуть не со слезами на глазахъ послали приказъ кучерамъ закладывать большущій рыдванъ шестерикомъ и готовить къ четыремъ часамъ.

Въ домѣ было уныніе и смущеніе. Всѣ нахлѣбницы и приживалки ходили сумрачныя, перешептывались, качали головами. Оскорбленіе, нанесенное гусарами барышнямъ, было оскорбленіе и имъ самимъ.

Одна изъ нахлѣбницъ обозвала даже гусаря словомъ, ею самую сочиненнымъ.

— Шайтаны позуменчатые! Смѣютъ нашихъ барышень обижать. Еще рыломъ не вышли для этого.

Въ то самое время, когда здоровый и толстый мужикъ, старшій кучеръ Тимошей, избалованный до-нельзя барышнями, отдавалъ приказаніе младшимъ кучерамъ и конюхамъ го-

товить шестерикъ въ карету, то есть вычистить лошадей, заплести гривы и хвосты разноцвѣтными тесемочками и напоить, а приживалки ругали и обзывали всякими удивительными словами всѣхъ гусаръ, — въ домѣ вдругъ раздался звонокъ.

Кто-то выглянулъ и увидѣлъ, что у крыльца стоитъ телѣжка парой, а на крыльцѣ одинъ изъ этихъ позуменчатыхъ шайтановъ. Когда лакей отворилъ дверь, молодой гусаръ приказалъ доложить о себѣ.

— Корнетъ Звѣздочкинъ.

Лакей доложилъ. Обѣ сестры остолбенѣли на мѣстѣ въ полномъ недоумѣніи.

— Батюшки! Да вѣдь это тотъ... Тотъ самый! воскликнула наконецъ старшая. — Тотъ, что за бочкой у гадалки сидѣлъ. Звѣздочкинъ.

— Да, но мы его не знаемъ, сказала младшая.

Дѣйствительно, обѣ сестры знали только отъ князя и равно по дикой рекомендаціи командира нестроевыхъ, что въ полку существуетъ юный и женоподобный гусарикъ Звѣздочкинъ. Но онъ у нихъ въ домѣ никогда не бывалъ, и помимо приключенія у гадалки, раза два, или три попался имъ на улицахъ городка.

Теперь оказывалось, что этотъ гусарикъ Звѣздочкинъ вдругъ является безцеремоннымъ образомъ въ домъ по собственному почину, не будучи имъ представленъ. Старшая готова была приказать сказать, что онъ обѣ нездоровы и принять не могутъ, но младшая вдругъ рѣшительно воспротивилась необдуманному рѣшенію Машеньки.

— Не сумашедшій же онъ и не нахаль какой-нибудь! Нѣтъ ли тутъ чего? Надо принять!..

Черезъ нѣсколько мгновеній юный гусарикъ уже былъ въ гостиной, раскланялся, и конфузясь, звучнымъ юношескимъ голосомъ объяснилъ свое посѣщеніе. Когда онъ произнесъ нѣсколько словъ, обѣ сестры вспыхнули сразу.

Востроглазая Машенька чуть не подпрыгнула на мѣстѣ, а всегда спокойные голубые глаза Сашеньки стали на минуту въ родѣ сестриныхъ—заискрились.

— Я присланъ къ вамъ, Марья Борисовна, и къ вамъ, Александра Борисовна, объяснилъ Звѣздочкинъ. — Отъ имени всѣхъ Маринцевъ прошу сдѣлать намъ честь пожаловать на нашъ гусарскій балъ. А вотъ и приглашеніе! прибавилъ Звѣз-



дочкинь, кладя на столъ большой листь бумаги, на которомъ было писарскою рукою прописано почти то же и подписано именемъ Капорко.

Разумѣется, такой пріятный гость съ такимъ пріятнымъ извѣстіемъ былъ принятъ сестрами настолько любезно, что засидѣлся цѣлый часъ. Онъ понравился обѣимъ дѣвушкамъ своею скромностью, вѣжливостью. Въ немъ было что-то вызывающее на искренность и съ нимъ нельзя было стѣсняться. Онъ къ тому же самъ походилъ на дѣвицу въ гусарскомъ мундирѣ.

Выстъ съ тѣмъ обѣ сестры тотчасъ мысленно сознались, что посватайся за одну изъ нихъ этотъ степенный и вѣжливый молодой человекъ, ни та, ни другая ни за что не пойдутъ за него. Ничего нѣтъ въ немъ не только гусарскаго, но даже и мужского.

Между тѣмъ Звѣздочкинь, смущенный сначала новымъ знакомствомъ, понемногу оживился, весело разговаривалъ, шутилъ, острилъ. Сидѣвшей на диванѣ Аннѣ Михайловнѣ, показалось, что птенецъ-гусаръ сразу влюбился въ обѣихъ ея племянницъ. Вообще же офицеръ чрезвычайно понравился Аннѣ Михайловнѣ.

„Эдакій прелестный! думала она, молча сидя и слушая бесѣду.—Вотъ такъ прелестный! Эдакихъ во всемъ полку нѣтъ ни одинаго. Царевичъ какой-то! И усиковъ у него, у моего батюшки, ни одинаго. Чистый царевичъ!“

Почему Анна Михайловна мысленно лишала царевичей усовъ, она, конечно, сама не знала, но почему женоподобный корнетъ ей нравился, было понятно. Женщинамъ ея лѣтъ всегда особенно нравятся юнцы.

Поглядѣвъ долго на Звѣздочкина, Анна Михайловна протяжно въ три приема вздохнула. Она вспомнила, что у нея могъ бы быть уже такой сыночекъ. Женщина, долго прожившая съ мужемъ, не имѣла никогда дѣтей, тѣмъ не менѣе, глядя теперь на юношей и дѣвушекъ, она часто вздыхала, соображая, что и у нея могла бы быть такая дочь, или такой сынъ.

Разумѣется, сестры разспросили новаго знакомаго, давно ли онъ въ полку, отчего его было не видно, есть ли у него родня и гдѣ она, и вообще пожелали узнать чуть не всю его родословную.

Звѣздочкинь объяснилъ откровенно только одно... Онъ въ

полку года съ два, но, будучи юнкеромъ, жилъ въ деревнѣ, гдѣ расположенъ его эскадронъ, и только теперь, произведенный въ офицеры, поселился съ разрѣшенія полкового командира въ городкѣ. На всѣ остальные вопросы онъ отвѣчалъ настолько уклончиво, что ничего даже понять было нельзя. Онъ противорѣчилъ самъ себѣ. Сначала заявилъ себя круглымъ сиротой, а затѣмъ въ разговорѣ два раза сказалъ: „Батюшка такъ пожелалъ. Это пишетъ мнѣ отецъ“.

Когда юный гусаръ раскланялся и вышелъ, Анна Михайловна не стерпѣла, схватила себя за голову и произнесла:

— Вотъ андель, такъ андель! Чистый серафимъ! Вотъ кабы вамъ обѣимъ да по эдакому женишку. Чистый серафимъ!

Но обѣ сестры отчаянно замахали руками, какъ по сигналу.

— Что вы! Что вы! воскликнула Машенька.

— Избави Господи! тише сказала Сашенька.

— Чистый царевичъ неописуемый! вымолвила Анна Михайловна убѣдительно.

— Господь съ вами! Онъ какая-то барышня, а не мужчина! снова воскликнула старшая.—Надѣнь я на себя гусарскій мундиръ, такъ и я бы больше на гусара была похожа, чѣмъ онъ. Я бы вотъ какъ ходила...

Машенька подбоченилась и прошлась по гостиной, топая ногами по полу.

— А это что! обернулась она вдругъ.—Вошелъ, цѣпляеть ногами одной за другую, голову свѣсилъ. Визжитъ что-то такое—не разберешь. Ежится, оглядывается. Подумаешь стащилъ что-нибудь, да улизнуть хочетъ.

И Машенька такъ изобразила Звѣздочкина въ моментъ, когда онъ смущенный входилъ въ гостиную, что не только сестра ея разразилась хохотомъ, но и сама Анна Михайловна начала смѣяться.

Машенька ежилась среди гостиной, щурила глазки, переступала ногами, какъ цапля, и говорила пискливымъ голоскомъ.

— Я присланъ къ вамъ, Марья Борисовна, и къ вамъ, Александра Борисовна, отъ имени всѣхъ Маринцевъ...

И она шаркнула ногой, сдѣлавъ театральнй жестъ.

Въ это мгновеніе Сашенька вдругъ ахнула и схватила себя обѣими руками за лицо...

На порогъ между гостиной и передней стоялъ... и уже давно стоялъ—самъ Звѣздочкинъ.

Машенька увидѣла тоже и мгновенно помертвѣла.

Лицо ея стало не пунцовое, какъ у сестры, а, напротивъ, она поблѣднѣла, какъ снѣгъ.

Анна Михайловна разинула ротъ и глядѣла, какъ шалая или пришибленная.

— Перчатки... выговорилъ Звѣздохинъ, румяный какъ ракъ, и виноватымъ голосомъ.— Перчатки я... Извините... На столѣ...

Машенька блѣдно-зеленая взмахнула руками и такъ заговорила или забормотала, что и Нехайко и сестра бросились къ ней. Она шаталась. Онѣ подхватили ее и, доведя до кресла, посадили... Звѣздохинъ тоже бросился было на помощь, но воздержался...

Всѣ старались не глядѣть другъ на друга.

Корнетъ схватилъ на столѣ забытыя имъ перчатки и хотѣлъ бѣжать, но вдругъ услышалъ въ горницѣ что-то странное, непонятное ему... Онъ даже вздрогнулъ...

Машенька истерически рыдала...

Начался переполохъ... Въ горницу сразу ворвались три какія-то женщины. Анна Михайловна крикнула: „Воды!“ Сашенька бросилась на колѣни предъ сестрой и кричала перепуганно...

— Маша! Маша! Что ты... Маша, онъ простить. Шутили...

Дѣвушка рыдала и всхлипывала.

— Марья Борисовна! воскликнулъ вдругъ и Звѣздохинъ.— Ради Бога. Богъ съ вами. Я ничего же... Помилуйте, что-жъ такое. Пошутили. Марья Борисовна.

— Простите меня! проговорила наконецъ черезъ силу Машенька.

— Богъ съ вами. Шутка шуткой. Я же понимаю. Что за важность.

— Простите. Простите. Я не хотѣла. Это такъ. Такъ... По глупости. Простите... рыдала дѣвушка.

И Звѣздохинъ, самъ не зная какимъ образомъ, отъ этихъ рыданій и слезъ, и въ особенности отъ этого искренняго голоса, почувствовалъ себя настолько потрясеннымъ, что вдругъ со слезами на глазахъ опустился предъ нею тоже на колѣни рядомъ съ ея сестрой.

— Простите вы меня. Не плачьте, Марья Борисовна! Не плачьте. Богъ съ вами!.. Я сдуру вернулся безъ предупрежденія. Я виноватъ.

Чрезъ четверть часа Машенька, съ заплаканнымъ лицомъ, Сашенька и Звѣздочкинъ, тоже румяные, сидѣли у стола и вмѣстѣ смѣялись всему случившемуся. У всѣхъ трехъ равно сіяли глаза, а въ бесѣдѣ чувствовалось что-то особенное, невыразимое. Казалось, что у сестеръ Задольскихъ сидитъ вернувшійся послѣ долгой разлуки братъ, или женихъ одной изъ нихъ.

Звѣздочкинъ уѣхалъ только въ сумерки, обѣщаясь непременно быть на другой день.

Выходя въ переднюю и провожаемый обѣими сестрами, какъ близкій человѣкъ, онъ вымолвилъ, обращаясь къ Машенькѣ:

— Теперь будете опять меня изображать...

— Нѣтъ не буду, отозвалась дѣвушка съ блистающими глазами.— Потому что это все неправда. А если бы кто чужой сталъ васъ передразнивать, то я тому глаза выцарапаю.

И Машенька такъ странно глянула въ глаза Звѣздочкину, что веселое лицо корнета приняло иное выраженіе, смущенно-радостное. Глаза дѣвушки говорили: „Я васъ теперь полюбила“.

Когда корнетъ уѣхалъ, сестры остались однѣ и переглянулись.

— Вонъ... Вышло-то что... сказала младшая сестра.

— Да. Чудно! Видно судьба, тихо отозвалась старшая.

— Онъ тебѣ нравится?

— Разумѣется. А тебѣ?

— И мнѣ тоже... Но я бы за него все-таки не пошла.

— А я бы пошла. Онъ милый, добрый, умный...

— Это правда... Но будто—дѣвица.

— Что жъ? Вотъ про Караваева, или Андрюхина этого не скажешь. Они—мужчины.

— Зачѣмъ крайности братъ. Онъ — дѣвочка, а они будто мужики. А вотъ мой...

— Князь? Да. Но это тебѣ. А мнѣ Аракинъ былъ бы какъ мужъ — не по душѣ... А вотъ этотъ... Чудно это, Саша. Чудно! Онъ мнѣ очень, очень, очень... Ну, очень по душѣ. И сразу все это такъ вышло...

И сестры смолкли и задумались...

## VIII.

Еще въ ночь, наканунѣ визита Звѣздочкина къ Задольскимъ, среди Маринцевъ былъ своего рода переполохъ, вслѣдствіе особаго происшествія.

Случилось оно совершенно неожиданно послѣ вечера у маіора Арсланова. Около дюжины товарищей собрались къ маіору въ гости, въ виду предполагавшейся „битвы“, какъ принято было выражаться, то-есть ради игры въ карты. По случаю пріѣзда въ Малороссійскъ нѣсколькихъ офицеровъ другихъ полковъ дивизіи и двухъ богатыхъ помѣщиковъ, у Арсланова должна была состояться не заурядъ крупная игра въ банкъ, какая бывала не болѣе разъ двухъ въ годъ.

Арслановъ, отчаянный картежникъ, не могъ жить безъ своей страсти къ азартнымъ играмъ. Но эта страсть проявлялась у него какъ бы запоемъ. Маіоръ не игралъ иногда по три мѣсяца и вдругъ начиналъ играть и у себя, и въ гостяхъ, въ городкѣ, въ уѣздѣ, у помѣщиковъ и игралъ недѣли двѣ почти безъ перерыва день и ночь.

Теперь въ немъ начинался новый фазисъ карточного за-  
поя и онъ устроилъ „битву“ у себя.

Около двухъ часовъ ночи въ духотѣ маленькихъ горницъ квартиры Арсланова игра была уже въ самомъ разгарѣ. Всѣ сидѣли за двумя, составленными вмѣстѣ, ломберными столами, среди облаковъ „Жукова“, такъ какъ почти всѣ гости были съ трубками.

Хозяинъ возсѣдалъ одинъ, отдѣльно, въ роли банкмета. Банкъ на этотъ разъ былъ съ „барышней Акулиной Савишной“, или съ „Акулькой“.

Эта особая выдумка появилась недавно и была уже распространена во всей дивизіи. Дѣло заключалось въ томъ, что пиковая дама, именуемая барышней Акулиной Савишной, ложась направо или налево, „била“ или „давала“ всѣ ставки, рѣшая общій выигрышъ или проигрышъ всѣхъ понтеровъ заразъ, на какихъ бы картахъ ни стояли ихъ куши. Изъ двойной колоды, которую металъ банкментъ, выбрасывалась пиковая дама и оставалось три пары обыкновенныхъ дамъ и одна пиковая—всевластная.

Пребываніе „барышни Акулины Савишны“ въ колодѣ, ко-

нечно, особенно раздражало нервы всѣхъ игроковъ. Когда внезапное ея появленіе направо уничтожало всѣ расчеты понтеровъ, она встрѣчалась общими проклятіями, или же, наоборотъ, когда „Акулька“ падала налѣво, ея прівітствовали восторженно и называли „милѣйшею барышнею“, или „прекраснѣйшею дѣвицею“, или „душкой Акулинушкой“.

Арслановъ всегда металъ банкъ съ олимпійскимъ хладнокровіемъ, молча, даже угрюмо, а понтировалъ безпокойно, страстно, азартно, рвалъ карты и отчаянно ругался, хотя, ради благопріичія, по-грузински. Поэтому друзья и гусары-товарищи предпочитали его въ роли банкюмета.

На этотъ разъ Арсланову особенно везло, благодаря пиковой дамѣ. Онъ часто „давалъ“ большіе куши, а „билъ“ маленькіе, и банкъ былъ бы уже давно сорванъ, если бы не Акулина Савишна, которая, какъ заколдованная, сплошь и рядомъ срывала весь столъ въ пользу банкюмета.

— Да ты, чертъ, точно стакнулся нынче съ Акулькой! сказалъ, наконецъ, маіоръ Андрухинъ.

— Да. Удивительно! замѣтилъ гость, уланскій ротмистръ Заборскій, слышій въ дивизіи за дуэлиста. — Ни одинаго разу въ жизни ничего подобнаго не приходилось мнѣ видѣть. Поистинѣ удивительно, прибавилъ онъ съ странной интонаціей.

— Влюбилась въ меня до страсти на сегодня Акулина Савишна, серьезно выговорилъ Арслановъ. — Съ ней это бываетъ, да не на-долго. Ужъ очень она, подлая баба, легкомысленна и слаба сердцемъ.

— Да. Это вѣрно. Да и слава Богу! А то что жъ бы это было, замѣтилъ Бидра. — Никто еще съ помощью Акульки спасибо не нажилъ. А влюбись она въ кого на-долго—разореніе всѣмъ другимъ.

— Кромѣ шулеровъ... прибавилъ Заборскій, ухмыляясь.

— Ну эти... и безъ Акулины Савишны всегда въ выигрышѣ, холодно отозвался Арслановъ, не отрывая глазъ отъ картъ.

— Съ шулеромъ не только въ Акульку, а и въ фофаны на орѣхи не слѣдъ играть, назидательно произнесъ Грабенштейнъ.

Арслановъ, самъ удивленный своимъ счастьемъ, изъ любви перемѣнилъ нѣсколько разъ карты на свѣжія, но Акулина Савишна оставалась попрежнему очарована въ пользу банкюмета.

Если бы не общая и полная уверенность в безукоризненной честности Арсланова, то дело могло бы, действительно, показаться сомнительным, так как в продолжение двух часов времени „Акулька“, при всяком своем появлении, неизменно была и была. Понтеры были в сильном проигрыше, а банк уже дошел до четырнадцати тысяч с заложённых пяти.

Больше других, как на грех, проигрался гость Арсланова—уланъ Заборскій. Онъ игралъ высоко, но осторожно и, какъ принято было выражаться, „изъ-за угла“ или „съ прищѣломъ“. Иначе говоря, уланъ ставилъ очень крупныя куши, шель на „пліа“ и на „транспорт“, но не иначе, какъ „выглядѣвъ“ карту. Отличаясь замѣчательною памятью вообще и на игру въ особенности, онъ могъ запомнить почти всю талію, гдѣ и какъ ложились карты. Когда изрѣдка изъ восьми одинакихъ картъ двойной колоды пять и шесть бывали сряду биты, уланъ тотчасъ выступалъ съ такою же картою и, конечно, по логикѣ случайностей, седьмая или восьмая была почти всегда дана.

При этомъ хладнокровномъ и осмотрительномъ способѣ игры Заборскій бывалъ постоянно въ выигрышѣ.

Онъ сидѣлъ не отходя ни на мгновеніе отъ стола, не понтируя, а только наблюдателемъ и ждалъ талію „колдовскую“ съ исключительнымъ распредѣленіемъ картъ. И просидѣвъ часъ наблюдателемъ, онъ въ минуту бралъ здоровый кушъ.

На этотъ разъ случилось однако нѣчто иное. Нѣсколько разъ барышня Акулина Савишна разстроила вѣрный расчетъ улана своимъ неожиданнымъ появленіемъ — будто на смѣхъ.

Заборскій проигралъ пять тысячъ, три привезенныя съ собой и двѣ занятыя у хозяина банкюмета. Уланъ былъ внѣ себя отъ злобы. Онъ отлично понималъ, что это была простая случайность, такъ какъ заподозрить Арсланова въ шулерствѣ было немыслимо и нелѣпо. Съ сомнительнымъ банкюметомъ никто, конечно, никогда не рѣшился бы сѣсть играть въ эту Акульку, гдѣ одна карта въ колодѣ имѣла такое значеніе, что стоило только ее одну помѣтить и передергивать, чтобы быть всегда въ страшномъ выигрышѣ.

Около пяти часовъ утра игра кончилась, всѣ сѣли за ужинъ, а затѣмъ разѣхались, кто веселый и на-веселѣ отъ шампанскаго, а кто мрачный или взволнованный.

Въ числѣ угрюмыхъ и озлобленныхъ были уланъ Заборскій и одинъ помѣщикъ, спустившій за ночь семь тысячъ.

Арслановъ былъ въ выигрышѣ на семнадцать тысячъ и былъ въ духѣ.

— Денька два, три денежки полежать! шутилъ онъ.— Не выпущу. Ну, а тамъ каналья Акулина Савишна влюбится въ кого другого и ограбить.

На крупные выигрыши въ средѣ офицеровъ никто не смотрѣлъ, какъ на пріобрѣтеніе денегъ для расходованія, а скорѣе какъ на временный вкладъ судьбы, на храненіе, до перваго востребованія. Дѣйствительно крупныя суммы постоянно переходили въ дивизіи изъ рукъ въ руки. Самый курьезный фактъ заключался въ томъ, что въ околоткѣ уже были разорившіеся отъ крупной игры и не было нажившихся картами, ни офицеровъ, ни дворянъ-помѣщиковъ.

Ровно черезъ сутки послѣ вечера у Арсланова былъ уже переполохъ. Адъютантъ Нѣмовичъ рано утромъ пригласилъ старшихъ товарищей къ себѣ, экстреннымъ образомъ.

Когда всѣ собрались, Нѣмовичъ объяснилъ, что созвалъ товарищей по важному дѣлу.

— И важное, и дрянное... сказалъ онъ, опуская глаза и скромно улыбаясь, какъ барышня.

Нѣмовичъ былъ Богъ вѣсть почему адъютантомъ полка. Это званіе вовсе не шло къ нему. Человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, а на видъ чуть не сорока, толстенькій, пузатый, спокойный и тихій до чрезвычайности, онъ былъ самый степенный гражданинъ, какого только можно было себѣ представить, а совсѣмъ не гусаръ по требованіямъ времени.

Нѣмовичъ былъ настолько скромно тихъ, что иногда казался даже робкимъ. Здороваясь и прощаясь, онъ имѣлъ видъ человѣка просящаго извиненія.

— Покойной ночи! говорилъ онъ иногда такимъ голосомъ и съ такимъ поклономъ и рукопожатіемъ, что издали казалось, будто онъ говоритъ: „Виновать! Извините, Бога ради“.

У адъютанта была еще та характерная особенность, что на пузатенькомъ и неуклюжемъ туловищѣ была приклеена точно не его, а чужая голова, маленькая, съ бѣлорозовымъ личикомъ, съ юношескими, хорошенькими черными усиками и съ добродушными дѣтскими глазами.

— Я получилъ сейчасъ письмо съ нарочнымъ, тихо заговорилъ Нѣмовичъ и такъ мягко, что выходило конфузливо и виновато.— Поступокъ очень неблаговидный. Заборскій проигралъ пять тысячъ Арсланову, разозлился и, вернувшись до-



мой, объявилъ въ полку, что платить остальные двѣ не станутъ. Онъ назвалъ „Акульку“ подозрительною выдумкою Маринцевъ.

— Не то... хуже... сказалъ Уткинъ изъ-за спины адъютанта.

— Да вѣдь это не вѣрно, отозвался Нѣмовичъ.

— Ну слухъ... Тамъ послѣ узнается. А все-таки говори, что пишутъ, воскликнулъ Уткинъ.

— Заборскій сказалъ будто, что всѣ Маринцы плуты и шулера.

— Что?! рывкнули въ разъ всѣ присутствующіе.

— А хуже всѣхъ въ полку...

Нѣмовичъ загнулся, улыбнулся виновато и пробурчалъ что то...

— Ну?! ну?! раздались голоса.

— Да говори. Экая мямля. Я что ль? крикнулъ Арслановъ.

— Хуже всѣхъ—ты, вымолвилъ Нѣмовичъ.—И что у тебя крапленая Акулька—въ пользу всего полка.

— Что?! снова заревѣли въ разъ всѣ гусары.

И затѣмъ наступило молчаніе.

— Ну вотъ что, братцы, глухо выговорилъ Арслановъ.— Я поѣду сейчасъ къ уланамъ, узнаю всю правду, и если этотъ подлець сказалъ это про меня—изъ-за того, что продулъ мнѣ паршивыхъ пять тысячъ—то я его попрошу поцарапаться со мной на сабелькахъ и обращу въ шинкованный качанъ.

Наступило снова молчаніе. Всѣ офицеры были, очевидно, поражены извѣстіемъ.

— Это такъ оставить нельзя, сказалъ Грабенштейнъ.

— Что ты? Неужели?! Вишь какой, мыслями—скоробогатый! сердито отозвался Арслановъ.—Ты скоро додумаешься до того, что первые человѣки были—Адамъ и Ева.

— Кто же это оставить! строго отозвался Бидра.—Послѣ Арсланова, если онъ сплохуетъ, я на очереди.

— А послѣ тебя я, прибавилъ Андриухинъ.—Стало быть Заборскому придется безпремѣнно и вскорѣ возлежать на лонѣ Авраамлевоу.

— Если еще его туда пустать! А вѣрнѣе—къ чертямъ на сковороду угодить!

Всѣ разсмѣялись, оживились и черезъ нѣсколько минутъ

уже шутливо принялись за новое совѣщаніе по поводу бала.

— Ты намъ балъ не задержи, а главное не испорти! ска- залъ наконецъ Андрюхинъ, обращаясь къ Арсланову.—Убьетъ уланъ тебя—намъ плясать нельзя будетъ.

— Небось! Кто меня убьетъ—еще не родился! отвѣтилъ майоръ.—Съѣзжу, нашинкую и завтра буду уже обратно.

— Ну, а зарубить-съ онъ и впрямь Арсланова? полушутя спросилъ Капорко.—Какъ тогда-съ быть. Балъ-съ вѣдь, дѣй- ствительно, не состоится. Похороны-съ... И всякое такое...

— Какое это: всякое такое? сердито воскликнулъ Арсла- новъ.—Похоронили и все тутъ... А что жъ еще-то тамъ?

— Ну какъ же. Плачь-съ и рыданія-съ. Трауръ наложимъ и носить будемъ-съ, пошутить старшій полковникъ.

— Враки. Я со всѣхъ честное слово беру, рѣшительно заявилъ майоръ,—что если Заборскій меня убьетъ—вы должны давать балъ въ тотъ же день, когда меня стащите на кладбище. Мнѣ на первыхъ-то порахъ съ непривычки, будетъ, пожалуй, скучно лежать подъ землей. Ну, а зная, что товарищи въ эту ночь пляшутъ—будетъ повадливѣе. Да и музыка, поди, слышна будетъ на кладбищѣ. Тамъ не далече...

— Вретъ эдакое, а не сморгнетъ, досадливо вступился Грабенштейнъ.

— Я не вру, а ты, нѣмецъ, брешешь... Что жъ я совралъ.

— Говоришь, мертвый музыку слушать будешь.

— А почему же нѣтъ! совершенно серьезно спросилъ Ар- слановъ.

— Глупый вопросъ. Потому что это невозможно.

— А кто жъ тебѣ это сказалъ, что невозможно. Ты мерт- вымъ подъ землей ужъ леживалъ, что ли?

— Нѣтъ, коли я еще живъ.

— Такъ и знать ты, нѣмецъ, ничего не можешь, по-на- слышкѣ болтаешь. Чего, братъ, самъ не пробовалъ, про то и разсуждай осторожно, а съ чужого голоса не пой.

Всѣ гусары, слушавшіе спорящихъ, невольно расхохотались серьезно убѣдительному голосу Арсланова.

Затѣмъ всѣ разѣхались и разошлись по домамъ тревожные и озабоченные. Майора всѣ равно любили въ полку. А исходъ поединка, на который рѣшился Арслановъ, былъ совершенно неизвѣстенъ, такъ какъ уланъ Заборскій считался почти брет- теромъ.

## IX.

Однако смута въ полку продолжалась не долго. Майоръ Арслановъ сдержалъ свое слово и въ однѣ сутки съ маху разрѣшилъ задачу постоять за полкъ и за себя. Если Заборскій слылъ за бреттера, то исключительно потому, что имѣлъ частые поединки, но—странное дѣло—всегда съ очень юными или очень скромными людьми. Арслановъ это зналъ и давно догадывался, что Заборскій, собственно, „храберъ при оказіи“ или, вѣрнѣе, „очень смѣлъ, когда не страшно“. Самъ же Арслановъ дрался уже восемь разъ на сабляхъ и три раза на пистолетахъ, и всѣ эти поединки были серьезные.

Въ сопровожденіи Николаева и Уткина, въ качествѣ секундантавъ, майоръ выѣхалъ тотчасъ за сорокъ верстъ въ мѣсто расположенія Красноградскаго уланскаго полка. Онъ справился у уланъ про отзывъ ротмистра Заборскаго о Маринцахъ и о себѣ, и удостовѣрившись, что все правда, потребовалъ у него удовлетворенія. Уланъ струхнулъ сразу, но Арслановъ—страшная горячка и упрямица—настоялъ на своемъ, несмотря на всяческія извиненія Заборскаго, ссылку на нетрезвое состояніе и немыслимость желанія оскорбить Маринцевъ или самого майора.

— Все это, сударь мой, дудки, заявилъ Арслановъ.—Что вы извиняетесь—это хорошо! Оно дѣлаетъ честь вашей кротости въ виду какого-либо оружія. Но я, прощая васъ за клеветничество, тѣмъ не менѣе все-таки хочу васъ саблей капельку построгать, съ цѣлью обученія воздержности на языкъ. Если вы останетесь паче чаянія въ живыхъ, то будете мнѣ за урокъ по гробъ жизни признательны, а если будете убиты, то послужите хорошимъ примѣромъ для другихъ болтуновъ и клеветниковъ. И такъ, и эдакъ—польза. И не бойтесь. Авось вамъ бабушка поворожитъ, а меня—кривая вывезетъ.

Поединокъ, разумѣется, тотчасъ состоялся, и Арслановъ тяжело ранилъ два раза своего противника. Заборскаго увезли домой бозъ сознанія отъ потери крови, а добрякъ и горячка майоръ полетѣлъ, довольный и веселый, обратно домой, несмотря на то, что уланы, тоже любившіе его, удерживали всячески.

— Нельзя! заявилъ Арслановъ. — Ей Богу, нельзя. Надо скорѣе домой...

— Зачѣмъ? Родной! Обождите! упрасивали десять чело-  
вѣкъ уланъ.

— Выпить долженъ за мое здоровье съ товарищами.

— Да мы это и сдѣлаемъ, майоръ.

— Нельзя. Надо со своими прежде. Я послѣ пріѣду. А теперь надо въ семью. По мнѣ тоже дѣти плачуть—мой эскад-  
ронъ.

Вернувшись домой, Арслановъ выкатилъ бочку вина своему эскадрону, роздалъ манерки и, розливъ вино, скомандовалъ:

— Ребята, готовъ животы! Скорымъ залпомъ... въ глотку, маршъ!..

Эта команда повторялась нѣсколько разъ, пока бочка не опустѣла.

Первый разъ всѣ выпили за здоровье самого, невредимо вернушагося, майора, затѣмъ за здоровье Граука, затѣмъ за здоровье офицеровъ, затѣмъ вахмистра, затѣмъ всѣхъ рядо-  
выхъ эскадрона. Потомъ пили за погибель ненавистныхъ май-  
ору жидовъ Малороссійска и всея Россіи. И наконецъ солдаты пили по приказу Арсланова:

— Пей, ребята, за здоровье того, кто любитъ кого. А выпивъ, начинай съизнова, чтобы не забыть, за кого пилъ.

Напоивъ свой эскадронъ до ризъ положенія, майоръ Ар-  
слановъ только съ масляными глазами пріѣхалъ въ штабъ полка. На утро онъ явился къ полковому командиру. Граукъ принялъ майора въ залѣ сурово и стоя отъ него за нѣсколько шаговъ.

— Вы позволили себѣ, майоръ, отлучиться безъ моего разрѣшенія въ сосѣдній уѣздъ? сухо вымолвилъ онъ.

— Виновать, полковникъ.

— Вы подлежите аресту на сутки.

— Слушаюсь, полковникъ.

Затѣмъ Граукъ подошелъ ближе и, протянувъ руку майору, проговорилъ сдержанно:

— По какому поводу вы, майоръ, ѣздили? Мнѣ сказали, будто вы дрались съ уланомъ Заборскимъ, который глупо ото-  
звался о насъ всѣхъ.

— Вамъ, полковникъ, угодно знать, въ чемъ дѣло,—какъ командиру Маріинскаго полка? спросилъ Арслановъ.

— Да. Мнѣ именно необходимо, какъ начальнику, узнать все отъ васъ самихъ, въ виду всякихъ случайностей.

— Я ѣздилъ, полковникъ, тетушку мою поздравить со днемъ ангела. Сегодня Минодоры, Митродоры и еще третья какая-то... Кажись, Нимфодора. Тетушка именинница...

— По всѣмъ по тремъ? серьезно спросилъ Граукъ.

— Точно такъ, полковникъ. А тетушка тамъ около уланъ живетъ, въ усадьбѣ... А разрѣшеніе просить было не время...

— Ну и поздравили тетушку? спросилъ Граукъ не сморгнувъ, хотя губы его уже слегка дергало смѣхомъ.

— Поздравилъ, полковникъ, отозвался Арслановъ, тоже удерживаясь, чтобы не улыбнуться.

— И даже, говорятъ, маіоръ, очень ловко поздравили. Тетушка въ постель слегла... Да, впрочемъ, это хорошее дѣло. Ну-съ, такъ и знать будемъ. А пока, прошу...

Граукъ показалъ на дверь своего кабинета и, пропустивъ Арсланова, вымолвилъ совершенно другимъ голосомъ:

— Чаю хотите?..

— Увольте, полковникъ! жалобно проговорилъ Арслановъ. — За всю жизнь на этакое былъ неспособенъ.

— Виноватъ... воскликнулъ Граукъ, смѣясь. — Забылъ, чай вашъ врагъ... Ну, рассказывайте, дорогой, какъ все было. Сильно вы отхватили Заборскаго?

— Ничего. Посчастливилось... размѣялся Арслановъ. — Руку строгнулъ разочекъ, въ башкѣ тоже маленькую дырку сдѣлалъ, да и по боку разъ мазанулъ. Помнить будетъ.

— А ну, какъ забудетъ тотчасъ... то-есть помретъ.

— Нѣтъ, полковникъ, никогда! рѣшительно и серьезно заявилъ Арслановъ. — Онъ изъ мерзавцевъ.

— Такъ что же?

— Они всѣ, по моему примѣчанію, страсть какъ живучи.

Граукъ расхохотался. Разспросивъ еще о подробностяхъ дуэли, онъ, отпустивъ маіора и проводивъ до дверей передней, крѣпко пожалъ ему руку и прибавилъ:

— Не забудьте, г. маіоръ, арестъ на сутки.

— Слушаюсь, полковникъ. Какъ только оттанцую на балѣ въ честь командира, такъ тотчасъ же и сяду.

Прямо отъ командира Арслановъ отправился на квартиру адъютанта, гдѣ всѣ товарищи въ полномъ сборѣ ожидали его уже съ шампанскимъ.

— Что полковникъ? былъ общій вопросъ.

— Ничего. Арестъ на сутки за то, что съѣздилъ безъ

разрѣшенія тетушку поздравить со днемъ ангела, размѣялся маіоръ.

— Ну, а потомъ... Все-таки вы объяснились какъ слѣдуетъ? спросилъ Андрухинъ.

— Вѣстимо. Я все рассказалъ подробно.

— Все останется подъ спудомъ.

— Разумѣется. Спросилъ, какъ уланы рѣшили. Я сказалъ, рѣшили не знать, не вѣдать. Заборскій, молъ, самъ себя поранилъ въ пьяномъ видѣ. Заявятъ всѣ, что онъ якобы сѣбно косить взялся и объ косу поранилъ себя.

— Это зимой-то? замѣтилъ Бидра.

— Ну, такъ что жъ, что зимой? Что же тутъ такого невозможнаго? серьезно спросилъ Арслановъ, удивленно раскрывая глаза на подполковника.

— Зимой... Мудрено...

— Совсѣмъ не мудрено. Въ пьяномъ видѣ то ли дѣлаютъ. При двухъ свѣчахъ въ горницѣ, съ третьей или съ четвертой трубку закуриваютъ. Я въ этомъ видѣ одной игуменьѣ въ пустынно-жительствѣ предложеніе дѣлалъ, руку и сердце предлагалъ.

Общій хохотъ покончилъ этотъ разговоръ, и всѣ усѣлись за столъ.

— Что же это мы-съ обѣдать или-съ завтракать сѣли? спросилъ Капорко.

— Распиваніе закусывать, полковникъ, отвѣтилъ Нѣмовичъ робко, какъ бы извиняясь.

Въ сумерки на квартирѣ адъютанта было уже много шумнѣе. Маіора Арсланова качали. Всѣ были на веселѣ.

Но вдругъ въ самый разгаръ попойки, шума и гама, дверь отворилась, и на порогъ неожиданно появился командиръ полка.

Все смолкло сразу... Многіе ахнули.

— Я незванный, но надѣюсь хуже татарина не буду, заявилъ, улыбаясь, Граукъ.—Я пріѣхалъ къ вамъ, господа, на минуту, какъ товарищъ, чтобы сдѣлать сейчасъ то, чего за всю мою жизнь не болѣе десяти разъ дѣлалъ. Я выпью цѣлый бокалъ шампанскаго за здоровье нашего молодца-маіора, заступившагося за нашу честь.

— Ура! Урра!! огласилась квартира, и началась пушчая сумятица.

Тотчасъ разлили вино и разобрали стаканы. Грауку подали

бокаль. Полковникъ поднялъ его и произнесъ громко и съ чувствомъ:

— За здоровье маіора Арсланова, а вмѣстѣ съ нимъ и за здоровье всякаго русскаго офицера, которому честь его полка дороже жизни...

*Ура* загремѣло еще сильнѣе и длилось долго. Граукъ тотчасъ же уѣхалъ, но посѣщеніе это при его обычной сдержанности, разумѣется, крайне польстило офицерамъ. Всѣ были довольны и за Арсланова и за себя.

Полковникъ обладалъ особеннымъ секретомъ или форте-лемъ въ обращеніи съ людьми, который производилъ чудеса всегда и повсюду. Секретъ этотъ заключался въ томъ, что онъ отъ крайней сдержанности, почти жесткой, вдругъ переходилъ въ извѣстные моменты къ крайней задушевности и сердечности. Сразу изъ-подъ ледяной коры будто тепломъ повѣетъ, и скажется горячее сердце товарища или начальника.

Когда Граукъ уѣхалъ, Арслановъ задумался, сидя за столомъ, и затѣмъ вдругъ выговорилъ громко:

— Послушайте, ребята-товарищи... Знаете, что я наду-малъ... Распроумнѣйшее...

— Ну... Ну... Ну... раздалось отовсюду.

— Давайте оплатимъ полковнику тою же монетою. Сейчасъ всѣ, въ однѣхъ венгеркахъ, со стаканами въ рукахъ, пойдѣмъ къ нему подъ окошко. Прокричимъ *ура*, выпьемъ и вернемся.

— Идемъ! Идемъ!

— А не разсердится онъ за этакую процессію?

— Мы же по дорогѣ никого не побьемъ, заявилъ Арслановъ.—Ни единого жида не тронемъ. Да вѣдь и итти-то не городомъ.

Такъ какъ квартира адъютанта была почти въ крайнемъ домѣ при выѣздѣ изъ города, а домъ Граука былъ совсѣмъ въ полуверстѣ въ полѣ, то шествіе офицеровъ не могло даже быть увидѣннымъ обывателями.

— Маршъ! скомалдовалъ развеселившійся Капорко.—Звѣздочкинъ! Въ качествѣ-съ младшаго идите впереди съ фонаремъ-съ.

Черезъ нѣсколько минутъ вся ватага гусаръ, человѣкъ въ тридцать, въ однѣхъ венгеркахъ, не смотря на холодъ, и каждый съ полнымъ стаканомъ шампанскаго въ рукѣ, дви-

нулись по морозной гладкой дорогѣ, колоной, младшіе впереди.

Приблизившись къ дому полкового командира, гдѣ стоялъ при полковомъ ящикѣ часовой, гусары выстроились предъ окнами шеренгой съ фонаремъ предъ фронтомъ.

Князь Аракинъ вошелъ одинъ, приказалъ лакею доложить полковнику и просить его подойти къ окну.

Но Граукъ вышелъ на подъѣздъ. Прогремѣло гулкое *ура* и гусары осушили стаканы. Онъ поблагодарилъ, но, смѣясь, прибавилъ:

— Уходите, господа, скорѣе. Не заморозьте мнѣ корнетовъ.

## X.

Наконецъ наступилъ давно ожидаемый день.

У всѣхъ обывателей Малороссійска, даже у жидовъ, было на умѣ и на языкѣ только одно:

„Гусарскій балъ!“

Довольно большой, но низкій одноэтажный домъ, по прозвищу „Княжескій“, давно заглохшій и мертвый, теперь былъ празднично оживленъ.

Съ утра чуть не всѣ офицеры, поочереди, группами, перебывали въ домѣ и въ экипажахъ, и пѣшкомъ. Всякій хотѣлъ взглянуть и узнать, какъ и что. Нѣмовичъ и Уткинъ были въ домѣ уже съ восьми утра до свѣту и уже имѣли усталый видъ и собирались въ сумерки вздремнуть.

Въ домѣ было много пріѣзжаго народа. Нѣсколько лакеевъ, буфетчикъ и два повара, выписанные отъ богатаго помѣщика. Плотники еще стучали, кончая эстраду для оркестра. Съ нѣсколькихъ воровъ снимали и таскали нанятыя дюжины стульевъ разнаго вида и размѣра.

Городъ былъ полонъ пріѣзжихъ семействъ помѣщиковъ, которые сновали по улицамъ въ своихъ дорожныхъ экипажахъ, возкахъ и троечныхъ саняхъ, дѣлая визиты знакомымъ малороссійцамъ и гусарамъ.

Всюду въ домахъ и въ номерахъ гостиницъ, гдѣ были молодыя дѣвицы, дѣло шло только о платьяхъ, лентахъ, перчаткахъ и тому подобномъ. Папеньки съ маменьками, озабоченные не хуже иного купца, пріѣхавшаго съ товаромъ на ярмарку, всячески собирались показать свой товаръ ли-



цомъ, а если это нельзя и не выгодно, то честнымъ образомъ смошенничать и показать изнанкой.

Въ одной семьѣ маменька привезла для дочки бальное платье съ вырѣзнымъ лифомъ на ватѣ спереди. И это не ради боязни, что на балѣ будетъ все время черезчуръ свѣжо, или сквознякъ, а по какимъ-то совершенно инымъ соображеніямъ. Извѣстное дѣло, что всякій хвастаетъ тѣмъ, въ чемъ судьба отказала.

Въ другой семьѣ папенька и маменька грустили и недоумѣвали, какъ быть. У дочки, недурной лицомъ, какъ на грѣхъ, наканунѣ, у самага носа вскочилъ огромный прыщъ. И ничего съ нимъ „чертомъ“ не подѣлаешь. Такъ дѣвица и ступай на балъ самъ другъ.

И много родителей, обремененныхъ дѣвицами-невѣстами, готовили свое бремя на всѣ лады, чтобы попробовать свалить его на плечи какому-нибудь гусару.

Въ девять часовъ начался съѣздъ въ ярко освѣщенный домъ. Гусары были уже всѣ налицо, даже корнеты Цуккеръ и Моргенштюкъ, которые танцовать не умѣли, были вызваны для комплекта, съ приказомъ переиспытать до трехъ часовъ ночи всѣ муки тантала, то есть держаться подальше отъ бужета.

— Когда же всѣ начнутъ развѣзжаться, тогда начинайте и пользуйтесь, было имъ объяснено ихъ эскадроннымъ командиромъ Андрюхинымъ.

Въ десять часовъ горницы и въ особенности большая зала были переполнены гостями. Кавалеры были преимущественно гусары, но было приглашено и до полдюжины черныхъ воронъ съ хвостами, то есть статскихъ танцоровъ. Видъ у этихъ захолустныхъ кавалеровъ среди кучи гусаръ былъ самый убогій.

Барышень было много... И какихъ только обрачиковъ плодотворной семейной жизни на галушкахъ и вареникахъ не навезли сюда сосѣдніе хохлы-помѣщики. Потомки Мазепы и Хмѣльницкаго самодовольно и гордо расхаживали. Ихъ лица не говорили: чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! а говорили: мы горды чѣмъ богаты.

Красивыхъ барышень было мало, за исключеніемъ двухъ-трехъ пухленькихъ и кругленькихъ хохлушекъ съ прелестнымъ цвѣтомъ лица, изъ тѣхъ юницъ, что непостижимо быстро толстѣютъ и въ особенности чернѣютъ къ двадцати пяти годамъ.

— Знаемъ мы ихъ, язвительно усмѣхался всегда Бидра.— Меня не разъ хотѣли женить на этакихъ. Сегодня она пышка, а завтра доменная печь. Нынче розанчикъ, а завтра каравай!

Были тутъ барышни не хохлушки, дочери всевозможныхъ Россіянъ, и чухонскаго, и азіатскаго происхожденія, и протестантскаго, и мусульманскаго толка.

Были маленькія и долговязыя, или сухопарыя, поджаристыя и тощія, или же монументальныя, чуть не въ два обхвата. Были задорныя, востроглазыя, были и кислыя, будто не солоно похлебавшія уже на свѣтѣ. Были словоохотливыя и хохотушки, были тупо унылыя или чѣмъ-то въ жизни озадаченныя, глядящія на всякаго кавалера „какъ корова на репейникъ“.

Въ десять часовъ пріѣхали двѣ „магическія“ барышни и были встрѣчены въ дверяхъ подъѣзда кучкой гусарь, изъ коихъ Звѣздочкинъ и Аракинъ встрѣтили ихъ еще на улицѣ и высадили изъ кареты.

Явившись въ домъ, Машенька и Сашенька произвели впечатлѣніе, такъ какъ обѣ были въ изящныхъ дорожныхъ туалетахъ съ кучей брилліантовъ. Одна въ кроваво-пунцовомъ платьѣ, другая въ бирюзовомъ. Маріинцы обступили двухъ своихъ избранницъ. Барышни Задольскія радостно улыбались всѣмъ гусарамъ, а гусары, даже Бидра и Арслановъ, тоже улыбались, глядя на обѣихъ красивыхъ сиротъ съ огромнымъ приданымъ.

За то присутствующіе купцы съ залежавшимся товаромъ, то есть паленьки и маменьки, пріѣзжіе въ Малороссійскъ съ цѣлью освободиться отъ итоговъ своей супружеской жизни, — угрюмо или насмѣшливо взирали на Задольскихъ и находили единодушно, что въ обѣихъ дѣвушкахъ: „ничего собственно особеннаго нѣту!“

Въ половинѣ одиннадцатаго, во время второй кадрили все двинулось и зашевелилось. Молодые гусары высыпали на подъездъ, старшіе стали въ передней. Въ распахнутую настежь дверь врвался бѣлымъ дымомъ морозный воздухъ, а съ нимъ будто на облакахъ появилась госпожа Граукъ, а за ней самъ командиръ полка во флигель-адъютантской формѣ...

Супругу командира Маріинцы очень любили, но относились къ ней особенно, поклонялись, ставя выше другихъ дамъ и себя самихъ. Ни одному изъ нихъ никогда и на умъ не при-

шло бы начать ухаживать за ней или влюбиться. Это было почему-то совершенно невысказано.

Въ сосѣднемъ уѣздѣ въ уланскомъ полку, той же дивизіи, всѣ офицеры были отчаянно влюблены въ свою командиршу, хотя она была много менѣе интересна, чѣмъ командирша гусарь.

Но дѣло было въ томъ, что между госпожей Граукъ и офицерами не было ничего общаго въ извѣстномъ смыслѣ. Она была слишкомъ образованная женщина, чтобы найти удовольствіе въ томъ, чтобы гусары за ней ухаживали на шаблонный и банальный манеръ. Она относилась къ старшимъ офицерамъ полка крайне любезно, но приближала къ себѣ лишь самыхъ умныхъ и „читающихъ“, въ родѣ подполковника Бидры. Въмѣстѣ съ тѣмъ она относилась сердечно, но покровительственно къ молодежи полка.

Маринцы поэтому или холодно уважали, или платонически обожали полковницу и почтительно поклонялись ей.

## XI.

По пріѣздѣ командира съ женой все оживилось, и балъ пошелъ разгораясь.

Около полуночи уже оказались, какъ всегда бываетъ, герои и героини бала. Поручикъ Николаевъ оказался дивнымъ вальсеромъ, корнетъ Рубинскій 2-й такъ танцевалъ польку и польку-мазурку, что начальникъ его, Арслановъ, замѣтилъ ему:

— Вотъ кабы ты мнѣ эдакъ, братецъ, барьеръ бралъ, я бы всегда былъ тобой доволенъ.

Барышни Задольскія, конечно, почти не садились и летали по залѣ, переходя отъ одного гусара къ другому и вскорѣ ногъ подъ собой не чувствовали.

За то были дѣвицы, которыя тоже ногъ не чувствовали, успѣвъ ихъ отсидѣть. На этихъ, не казистыхъ, изрѣдка грозно поглядывали родители, сознавая, однако, что дочка тутъ ни причемъ... Ужъ если искать виноватыхъ, то пожалуй таковыми окажутся они же, воспроизведя и сочетавъ въ ней свои фізіономіи.

Объ Задольскія въ антрактахъ между танцами расхаживали по залѣ съ кавалерами. И тутъ было замѣчено всѣми нѣчто

новое и поразительное. Если Аракинъ не отходилъ ни на секунду отъ младшей Задольской, то и корнетъ Звѣздочкинъ точно также ни на минуту не покидалъ старшей Задольской. Машенька только одному ему и улыбалась, только его одного и видѣла, а когда корнетъ отходилъ на мгновеніе, дѣвушка задумывалась. За то нѣкто пожиралъ ее глазами... даже стрѣлялъ глазами и настолько убійственнымъ огнемъ, что удивительно было, какъ Машенька еще жива и на ногахъ.

Это былъ ротмистръ Караваевъ, распаленный ревностью и злобой.

Пробилъ, наконецъ, уже часъ ночи. Ужъ толковали о мазуркѣ...

Маіоръ Арслановъ былъ въ маленькой горницѣ, гдѣ играли въ карты, и велѣлъ позвать къ себѣ Нѣмовича или Уткина.

— Что вы, маіоръ? явились оба заразъ.

— Я-то ничего. А вы что же дѣлаете. А еще распорядители!.. Ступайте въ конецъ корридора, да поглядите, какой тамъ Вавилонъ и что творится.

— А что же?

— То и дѣло выскакиваютъ разныя барышни и пристають къ новопожалованному вами въ швейцары унтеру Анчуткину. А онъ имъ одно въ отвѣтъ: „намъ ничево, ваши блахородья, нѣззвѣстно. Пожалуйте вотъ на крылѣчке“.. Барышни наплясались, вспотѣли, спѣшатъ, и онъ ихъ на морозъ приглашаетъ. Ему, дураку, ничего, все равно! „Нѣззвѣстно“ — и шабашъ!

— На умъ не пришло, маіоръ! сказалъ Нѣмовичъ. — Какъ же теперь быть? встревожился онъ.

— Небось... Обойдутся. Скоро конецъ, махнулъ рукой Уткинъ. — А то какъ-нибудь изловчатся.

— Нужда, наука! глубокомысленно произнесъ игравшій въ карты угрюмый Грабенштейнъ.

Между тѣмъ началась мазурка. Пары размѣстились... Въ первой парѣ сѣлъ распорядитель мазурки маіоръ Андрюхинъ съ госпожей Граукъ. На него пріѣзжіе помѣщики недовѣрчиво поглядывали и насмѣшливо улыбались. Сама госпожа Граукъ не понимала, какъ рѣшился пятидесятилѣтній маіоръ пригласить ее и дирижировать. Но товарищи не удивились — они знали, что произойдетъ.

Сашенька Задольская сѣла съ княземъ Аракинымъ, а Машенька съ Звѣздочкинымъ.

— Совсѣмъ скандалъ! замѣтилъ Бидра. Начинаетъ попахивать чѣмъ-то подвѣчнымъ.

И полковникъ не ошибся... Черезъ полчаса, послѣ двухъ-трехъ фигуръ, князь Аракинъ сіяющій подошелъ къ полковому командиру, стоявшему въ углу залы, и прижавъ руку къ виску, выговорилъ восторженно:

— Полковникъ, разрѣшите вступить въ законный бракъ!

— Вотъ какъ! Ну что жъ, усмѣхнулся Граукъ.—Вѣдь не сейчасъ же?..

— Сейчасъ сдѣлалъ предложеніе, принять и получилъ дозволеніе тотчасъ огласить бракъ...

— Съ которою? Съ пунцовою или голубою?

— Съ младшею, полковникъ.

— Ну что жъ. Поздравляю. Отъ души радъ. Вы время не теряете.

— По-гусарски, полковникъ! воскликнулъ Аракинъ.

Граукъ крѣпко пожалъ руку корнета, и князь восторженно счастливый чуть не бѣгомъ вернулся къ своей дамѣ.

Около Сашеньки уже стояла ея старшая сестра, и обѣ дѣвушки были взволнованы.

Черезъ пять минутъ вѣсть обѣжала уже всю залу, всѣ горницы и даже дошла до того мѣста, гдѣ швейцаръ Анчуткинъ продолжалъ отвѣчать съ хохлацкимъ хладнокровіемъ:

— Намъ ничехо нэззвѣстно...

Въ то же время вся зала ахала любуясь... Многіе бросили карты и тоже пришли поглядѣть.

Всѣхъ приводилъ въ восторгъ Андрухинъ своею лихою молодцоватою мазуркой, въ которой чудно сочеталось польское изящество съ російскимъ ухарствомъ.

— Ай да маіоръ! слышалось отовсюду. — Вотъ тебѣ и маіоръ.

— Я за вами этого таланта и не предполагалъ, сказалъ Граукъ, подходя къ танцующему.—Да вы на всѣ руки, маіоръ. Молодецъ ей-Богу.

— Рады стараться, полковникъ! вскрикнулъ Андрухинъ смѣясь.

— Гдѣ жъ вы это наловчились?

— Въ польскую кампанію, полковникъ.

— Да вѣдь вы были ранены съ открытіемъ кампаніи?

— Точно такъ, полковникъ. Пользовался въ госпиталѣ и учился съ тоски.

— Раненый?

— Въ руку, полковникъ... Руку лѣчилъ, а ноги училъ...

Граукъ разсмѣялся и снова отошелъ на свое мѣсто... Но здѣсь Сашенька Задольская, тоже сіяющая отъ счастья, уже ждала его, чтобы выбрать въ фигуру.

— Соболаволите, полковникъ... Съ невѣстой! сказала она, протягивая руку.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ, отозвался Граукъ,—но я могу итти только по человѣчески, шагомъ... Галопомъ, по-лошадиному, не могу.

Уже въ четыре часа ночи послѣ ужина и передъ разѣздомъ было рѣшено протанцовать еще одну послѣднюю кадрили. Уже многіе разѣхались, и дамъ не хватало. Кто-то придумалъ, чтобы нѣкоторые изъ мужчинъ нетанцующихъ взылись изобразить дамъ.

У поручика Николаева тоже не нашлось дамы и произошло событіе. Какъ оно произошло, никто среди веселья и на-веселѣ сообразить не могъ, и всякій только таращилъ глаза отъ удивленія. Когда оркестръ заигралъ ритурнель кадрили, рядомъ съ Николаевымъ, сильно выпившимъ, стоялъ „за даму“ командиръ полка, веселый и смѣющийся при видѣ своего кавалера, который лыка не вязалъ.

— Полковникъ, пожалуйста, тихонько... безсвязно лепеталъ Николаевъ.—Если вы шибко, я не поспѣю... У меня, ей-Богу, ноги...

Разумѣется, всеобщее вниманіе было обращено на эту пару, въ которой шли пунцовый, кисло-сладкій, но какъ-то невинно пьяный поручикъ и дама его—строгій командиръ Маринскихъ гусаръ. Въмѣстѣ съ тѣмъ веселѣ этой кадрили никогда ничего въ городѣ Малороссійскѣ не случалось. Больше всѣхъ смѣялась жена Граука, видя своего мужа танцующимъ въ первый разъ въ жизни, да еще за даму.

Наконецъ, начался окончательный разѣздъ. Въ числѣ послѣднихъ двинулся и командиръ съ женой. Офицеры, конечно, провожали ихъ съ подѣзда до кареты шумно, гульливо. Но тутъ вдругъ появился маіоръ Андрухинъ, долго исчезающій гдѣ-то, вѣроятно въ буфетъ, вынырнулъ и крикнулъ:

— Стой!!

Громкій и грозный голосъ его остановилъ всѣхъ.

— Стой, разбойники. Гдѣ командиръ? Подавай мнѣ командира!

Майоръ былъ изъ тѣхъ, на которыхъ вино имѣло особенное вліяніе. Французы говорятъ: *avoir le vin triste*, или *le vin gai*. Майоръ *avait le vin sévère*.

— Подавай вы мнѣ сюда командира! строго оралъ майоръ, покачиваясь изъ стороны въ сторону на верхней ступенькѣ подъѣзда.

— Что вамъ? крикнулъ Граукъ, оборачиваясь.

— Иди сюда, душа моя!.. Дай себя обнять и расцѣловать. Иди! Я не могу... Кубаремъ по ступенькамъ скачусь, стыдно будетъ... Ты трезвый, полѣзай ко мнѣ.

Гусары нѣсколько опѣшили, но Граукъ, смѣясь, вернулся на подъѣздъ. Майоръ обнялъ его, расцѣловалъ трижды и объяснилъ:

— Я пьянъ. А у пьянаго все изъ башки на языкъ лѣзетъ. Слушай! Я за тебя на смерть пойду! Понялъ? Ты такой человѣкъ... Такой... Не понимаешь? Ну, а я понимаю! Ну, и вотъ... И ступай домой!

И, повернувъ командира, онъ почти толкнулъ его съ лѣстницы.

Когда Граукъ съ женой уѣхали, офицеры, нѣсколько смущенные, обступили майора, браня его за выходку и опасаясь, что полковникъ обидѣлся.

— Дурни! вскрикнулъ Андрюхинъ.—Галки! Нешто такой человѣкъ можетъ за любовь обидѣться? Я же правду сказалъ! Кто сейчасъ пикни... Что про него худое! Сейчасъ голову оторву. Такъ вотъ и знай всё... Уб-бью!!

Офицеры, оставшись въ домѣ, чтобы продолжать очищать буфетъ, преимущественно шампанское, вскорѣ успокоились вполне.

Нѣмовичъ, провожавшій Граука домой, вернулся и заявилъ, что полковникъ и полковница въ восторгѣ отъ бала и отъ всего бывшаго на балѣ, и отъ Николаева, и отъ Андрюхина. Адъютантъ даже передалъ, что Граукъ, уже вернувшись домой, продолжалъ еще смѣяться, вспоминая, какъ онъ изображалъ даму, и какой видъ имѣлъ поручикъ Николаевъ.

Въ шестомъ часу гусары кое-какъ разбрелись и благополучно добрались до своихъ квартиръ. Всѣ до одинаго, отъ старшаго полковника до послѣдняго корнета, тотчасъ сладко уснули кто отъ танцевъ, кто отъ вина...

## XII.

Въ восемь часовъ утра, едва соснувъ часа два съ половиной, всѣ гусары тоже до одинаго, каждый въ своей постели, нещадно таращили глаза. Причина была та, что каждому деньщикъ упорно соваль повѣстку. А повѣстка гласила быть въ сборѣ на квартирѣ полкового командира къ девяти часамъ.

И каждый офицеръ, вскочивъ съ постели и бормоча: „что за дьяволъ! Ахъ ты, дьяволъ! Опять сюрпризъ!“ все-таки быстро надѣвалъ полную форму, приказавъ скорѣе закладывать лошадь или нанять жида возницу.

Полковникъ Граукъ дѣйствительно приучилъ полкъ къ служебнымъ сюрпризамъ. Послѣ прежняго „Мамашки“ перейти подъ ферулу Граука было маринцамъ очень накладно. При Мамашкѣ, года съ два назадъ, одинъ майоръ, нынѣ унесенный на тотъ свѣтъ апоплексіей, проѣхалъ въ телѣгѣ весь городъ Малороссійскъ въ базарный день въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и обнявшись съ жидомъ. А теперь офицерамъ было строго внушено не разстегивать на улицѣ венгерокъ, щеголя бѣлыми жилетами и цѣпочками.

Со времени принятія полка, Граукъ уже двухъ офицеровъ попросилъ снять гусарскій мундиръ и надѣть костюмъ болѣе имъ подходящій, статскій. Несмотря на „подтягиваніе“ полка, офицеры, за малымъ исключеніемъ, очень любили Граука и во всякомъ случаѣ всѣ равно уважали. Эскадронные командиры одно время ежились, чесали за ухомъ, такъ какъ по хозяйственной части явились нѣкоторыя строгія нововведенія. Но благодаря именно этимъ нововведеніямъ солдаты черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ исчезновенія „Мамашки“ и появленія Граука уже обожали полкового командира.

Если въ солдатахъ ничего съ лица не было замѣтно особеннаго, то въ лошадяхъ стала замѣтна нѣкоторая припухлость и округлость. Однимъ словомъ, полкъ сталъ сытѣе, а эскадронные командиры меньше откладывали „дѣтишкамъ на молочишко“.

Внѣ строя, въ своемъ обхожденіи съ офицерами, командиръ былъ безукоризненно вѣжливъ и любезенъ со старшинами и отечески добръ и внимателенъ къ младшимъ.



По службѣ и въ строю онъ былъ безпощаденъ, наводя страхъ на самыхъ смѣлыхъ.

Граукъ принималъ аккуратно каждый четвергъ весь полкъ вечеромъ и угощалъ ужиномъ. Тутъ у себя дома онъ былъ, конечно, не полковымъ командиромъ, а самымъ радушнымъ хозяиномъ, даже сравнительно шутникомъ и болтуномъ. И хотя онъ самъ окончательно отказывался понять, что такое за предметъ—карты, тѣмъ не менѣе въ большой обѣденной залѣ появлялись ломберные столы, на которыхъ, конечно, допускались только вистъ и преферансъ. Игру въ банкъ, начатую однажды Арслановымъ хотя только ради шутки, полковникъ тотчасъ попросилъ прекратить.

— Эдакими вещами шутить нельзя! сказалъ онъ серьезно.—Я лучше соглашусь, чтобы мои гусары у меня въ домѣ жиды съ лягушкой стали вѣнчать, чѣмъ играть въ разбойничьи игры.

— Помилуйте, полковникъ... Тутъ фортуна все... а не разбой, замѣтилъ кто-то.

— А знаете ли вы, какъ опредѣляется эта самая игра, сказалъ Граукъ, смѣясь.—Мнѣ объяснилъ это одинъ учитель математики. Это такая игра, въ которой колода дѣлится на столъ пополамъ, чтобы состояніе одного переходило къ другому цѣликомъ. Карты — полюбовно, а деньги — разбойно.

Ненависть командира къ картамъ и къ вину, почему-то, однако, нравилась полку. Почти всѣ офицеры, отчасти падкіе къ тому и другому, сознавали свою слабость и гордились тѣмъ, что ихъ командиръ чуждъ общему грѣху. Онъ этимъ казался какъ бы выше всѣхъ.

Впрочемъ, главнымъ обстоятельствомъ къ тому, чтобы гордиться командиромъ и уважать его, послужило нѣчто болѣе важное.

Черезъ три мѣсяца по принятіи полка Граукомъ отъ „Мамашки“ были большіе маневры, на которыхъ, помимо командира дивизіи, присутствовалъ даже очень высокопоставленный генераль. Маріинскіе гусары оказались послѣдними во всемъ, даже посадкой людей, не только тощими животами лошадей.

— Что же это, полковникъ? сурово сказалъ инспектирующий генераль.—Вашъ полкъ...

— Рухавка, ваше в—ство! отрѣзалъ Граукъ.

— Сами же вы это говорите?!

— Я только что принялъ полкъ, ваше в—ство! отвѣчалъ Граукъ.

Ровно чрезъ годъ неожиданно былъ назначенъ высочайшій смотръ всему корпусу, въ которомъ былъ и полкъ Граука. Послѣ смотра и маневровъ маринскіе гусары оказались въ блестящемъ видѣ и первымъ полкомъ дивизіи во всѣхъ отношеніяхъ.

— Вотъ это—конница! Вотъ это—гусары! былъ всеобщій отзывъ.

А „подтянутые“ маринцы ликовали.

Получивъ теперь повѣстки, всѣ гусары поднялись на ноги, и въ девять часовъ ровнехонько весь наличный составъ офицеровъ въ недоумѣніи, тараща глаза другъ на дружку, былъ въ сборѣ въ большой залѣ квартиры Граука. Отъ всѣхъ слегка пахло виномъ, у всѣхъ были красные глаза и опухшія лица. У молодыхъ какъ-то странно подергивало ноги, какъ будто они еще собирались и здѣсь продолжать польку или мазурку.

Въ десять минутъ десятого дверь кабинета полкового командира растворилась, онъ вышелъ, отвѣсилъ общій поклонъ и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ, заговорилъ:

— Господа офицеры, я просилъ васъ собраться у меня, чтобы...

И затѣмъ полковой командиръ сказалъ рѣчь. Рѣчь эта была твердая, хладнокровная, дѣльная. — Краснорѣчивое „разнесеніе“ полка въ пухъ и прахъ! Все, что было неисправнаго за послѣднее время по какой бы то ни было части, было изложено полковникомъ кратко, энергично и прямо.

Полковникъ, который вчера, даже не вчера, а часовъ шесть тому назадъ, изображалъ даму пьянаго корнета въ кадрили, теперь изображалъ нѣчто такое, что всѣ сразу совсѣмъ протрезвѣли, совсѣмъ даже какъ будто выспались, потому что всѣ смотрѣли чрезвычайно бодро. Хоть сейчасъ въ атаку итти!

Одна изъ самыхъ существенныхъ частей рѣчи полковника заключалась въ томъ, что онъ попросилъ майора Грабенштейна передать эскадронъ ротмистру Рубинскому 1-му, корнета же Шапошникова за извѣстное ему дѣяніе по отношенію къ одному еврейскому семейству подать въ отставку немедленно.

Полковникъ кончилъ словами, что полкъ—семья, въ полку должны быть отцы и сыновья, должны быть братья. Весь полкъ долженъ стоять за cadaго изъ своихъ товарищей горой. Сору изъ полка не выносить, беречь мундиръ и репутацію полка, какъ зеницу ока. И пуще того — беречь, какъ сердце. Если сердце не въ порядкѣ, то тѣло болѣетъ, а если перестанетъ сердце дѣйствовать, то тогда организмъ будетъ не тѣломъ живымъ, а трупомъ, и вонючимъ, разлагающимся. Полкъ—тотъ же организмъ.

Послѣ второго общаго поклона полковникъ такъ же скрылся въ дверь кабинета. Офицеры стали расходиться, переглядываясь и перемигиваясь. Нѣкоторые были съ недоумѣвающими лицами, но большинство было въ какомъ-то странномъ, восторженномъ настроеніи.

— Что, ребята, произнесъ Андрюхинъ уже на улицѣ. — Вотъ вамъ—весь тутъ! На ладони! Вчера обнимался, и цѣловался, и польку танцевалъ, а нынче—всѣмъ сестрамъ по серьгамъ! Всѣмъ досталось и всѣмъ по дѣломъ! Дружба дружбой, а служба службой! Вотъ это, братцы, не „Мамашка!“ Та бестія была сладкая, а на смотру дивизионномъ двухъ изъ насъ начальству искариотски предалъ, вмѣсто того, чтобъ отстоять. Вотъ этотъ возьметъ, самъ пожуетъ здорово, да опять выплюнетъ. За то же и никому изъ начальства ни одного изъ насъ проглотить не дастъ.

Офицеры разѣхались по квартирамъ, а вечеромъ большая часть съѣхалась въ гости къ старшему полковнику Копоркѣ въ самое веселомъ и игривомъ расположеніи духа. И балъ съ десяти до пяти утра, и сборъ съ девяти до десяти — все вмѣстѣ окрасилось въ одинъ цвѣтъ, который всѣмъ гусарамъ былъ по душѣ.

— Съ этимъ командиромъ, сказалъ кто-то, — не страшно. Только дѣло свое дѣлай. Жестко стелетъ онъ, а спать-то мягко.

Разумѣется, вѣсть объ удивительномъ сочетаніи бала и его смѣшныхъ приключеній со сборомъ офицеровъ и „разноской“ ихъ на квартирѣ командира живо распространилась по Малороссійску. Даже среди жидовъ толковали объ этомъ, потрясая ермолками и пейсами.

— Гасшпидинъ пулковникъ чзвычайну и штрогхій и гхрошій командиръ! безповоротно рѣшили мѣстные Ицки и Мойши.

— Разумѣется, пооригинальничаль, ехидно улыбался Бидра. — Но оно какъ-то ужъ очень забавно вышло... Не успѣли глазъ сомкнуть, какъ продрали опять и прямо — разность!

— Да-съ... Оно очень диковинно надумано-съ... улыбнулся Капорко. — Давно служу, а про эдакое-съ не слыхиваль.

— Будеть у меня полкъ... восклицаль восторженно Андрухинъ. — Я эдакъ же буду... Одною рукой по шерсткѣ, а другою противъ шерстки...

— Не съумѣешь, другъ, задумчиво рѣшилъ Арслановъ.

— Почему? Чего проще...

— Перемудришь. Сдается просто. Тутъ тоже сноровка нужна.

### ХІІІ.

Черезъ день въ городѣ распространился слухъ, что распушившій свой полкъ командиръ отвѣчаетъ на гусарскій балъ-обѣдомъ съ танцами и съ разными затѣями.

Для обѣда уже нанята большая усадьба на пятой верстѣ почтоваго тракта, именуемая всѣми: Пятовскій домъ. Будеть катанье на тройкахъ, нѣчто въ родѣ пикника, а послѣ обѣда танцы до полуночи при иллюминаціи съ фейерверкомъ, несмотря на морозъ.

Между тѣмъ нѣсколько человекъ гусаръ, страстные охотники, готовились на медвѣжью охоту. Крестьянинъ сосѣдняго села, охотникъ, по имени Максимъ, высмотрѣлъ берлогу въ лѣсу, по странной случайности, около того же Пятовскаго дома.

Самые страстные изъ всѣхъ охотниковъ на медвѣдя были — Бидра, Андрухинъ и Грабенштейнъ, но вмѣстѣ съ ними часто отправлялись Каравановъ и Арслановъ. Командиръ нестроевой команды отличался даже особенно мѣткою стрѣльбою. Но этотъ разъ было рѣшено соединить охоту съ пикникомъ и баломъ. Гусары рѣшили отправиться на мѣсто утромъ, а если удастся кому убить медвѣдя, то поднести его устроительницѣ бала-пикника, то есть командиршѣ.

Балъ предполагался черезъ дней пять, и многіе изъ пріѣзжихъ помѣщиковъ остались, получивъ приглашеніе отъ Грауновъ, другіе уѣхали и вернулись опять.

И снова на цѣлую недѣлю городъ Малороссійскъ принялъ праздничный видъ. Повсюду были многолюдныя сборища, вечера и кое-гдѣ танцы.

Но болѣе всѣхъ домовъ оживился домъ барышень Задольскихъ. Ежедневно вокругъ жениха и невѣсты собирался чуть не весь полкъ и многіе изъ пріѣзжихъ семействъ.

Разумѣется, и на Сашеньку и на князя Аракина весело было взглянуть. Настолько они были счастливы и торжествовали. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на важную новость—свадьбу младшей Задольскій съ гусаромъ—чуялась какъ бы въ воздухѣ новая новость, еще болѣе поразительная.

— Вотъ такъ штука! говорили гусары.

— А вѣдь очень-съ похоже? спрашивалъ Капорко лукаво.

— Похоже! отвѣчалъ Андрюхинъ, разводя руками.

— Головой отвѣчаю! увѣрялъ Арслановъ.—Они сами не знаютъ. А я за нихъ знаю...

Дѣло въ томъ, что Маріинцы по всѣмъ видимостямъ ожидали новой свадьбы въ полку. Нашелся еще одинъ гусаръ, который смахивалъ на жениха, хотя клялся и божился, что ничего подобнаго и на умѣ не имѣеть.

Съ самаго бала и предложенія князя Аракина, Машенька начала грустить и говорить, что не можетъ себѣ представить, какъ она останется жить одна безъ сестры...

— Такъ выходи тоже! шутили Сашенька и князь.

Между тѣмъ юный и женоподобный корнетъ Звѣздочкинъ съ той минуты, что подстерегъ Машеньку, какъ она передразнивала его—сталъ ея лучшимъ другомъ. Звѣздочкинъ бывалъ всякій день у Задольскихъ. Корнетъ помогъ даже свадьбѣ Аракина, сдѣлавшись посредникомъ между младшею сестрою и своимъ новымъ пріятелемъ. По его наущенію князь рѣшился сдѣлать предложеніе на балѣ, зная чрезъ друга, что оно будетъ принято.

Теперь настала чередъ Аракина науськивать Звѣздочкина, а равно понукать и Машеньку.

Старшая Задольская сознавалась, что у нея что-то къ Звѣздочкину есть... Какое это чувство, рѣшить мудрено, но оно сильное и глубокое. Оно впервые возникло въ ней. Никогда ни къ одному человѣку не было въ дѣвушкѣ того, что чувствуетъ она къ этому доброму, искреннему и крайне скромному юношѣ-корнету.

И теперь всѣ посторонніе видѣли, что Машенька самымъ

искреннимъ образомъ влюблена въ Звѣздочкина, но что это не страсть, а пожалуй преходящая вспышка. Еслибы что помѣшало, то, конечно, она быстро излѣчится... Но мѣшать нечему и некому. Ничто не препятствуетъ дѣтской вспышкѣ привести обоихъ къ серьезному шагу...

А въ домѣ къ тому же женихъ съ невѣстой. Зараза! Только и разговору, что о свадьбѣ. А извѣстно, что вызовы и поединки, matrimonіальныя влеченія и бракоразводные позывы суть эпидемическія общественныя явленія.

Сестра невѣста смущала сестру, науськивала... А гусары тоже науськивали любимца корнета.

— Выходи за него, говорила Сашенька.—Онъ добрый... Черезъ лѣтъ пять не будетъ такой. Выростутъ усы, будетъ тоже на мужчину похожъ.

— Да это мнѣ все равно, отзывалась Машенька.—Я его именно такимъ люблю.

Гусары проходу не давали Звѣздочкину.

— Ну чего же ты, цыпленокъ, говорилъ Арслановъ.— Вѣдь у нея тыщи въ сундукахъ. Женишься, я у тебя въ банкъ тысячъ десять сорву.

— Чего-съ зѣваете? говорилъ Капорко, надо, голубчикъ, ковать-съ желѣзо, пока горячо.

— Ну, что жъ ты, княжна, проклажаешься. Видимое дѣло, что Машенька въ тебя влюблена, да и ты втюрились. Вѣдь тошно смотрѣть на васъ! почти сердился Андрюхинъ.

— Да у меня и на умѣ нѣтъ... чуть не плакался Звѣздочкинъ.

Но всѣ эти понуканья совсѣмъ свели съ ума юнаго корнета. Онъ съ рожденія ни разу не думалъ о возможности влюбиться и того менѣе жениться. А тутъ вдругъ все какъ-то такъ сразу потрафилось, что онъ безъ вины виноватъ и какъ куръ во щи влетѣлъ...

Онъ и не воображалъ ухаживать за дѣвушкой... Она ему просто понравилась, и онъ полюбилъ ее, какъ родную сестру. Не мудствуя, бывалъ онъ всякій день у Задольскихъ и ни разу не усумнился, что изъ этого можетъ выйти и куда его это вдругъ приведетъ...

Когда молва произвела его въ претенденты, онъ ахнулъ, испугался и заметался, умственно отыскивая лазейку... куда бы проскочить и выйти изъ труднаго положенія. Но этихъ лазеекъ не было. Вѣрнѣе, онъ уничтожались самою Машенькою прямо, искренно и добродушно...

Собрался, было, корнетъ уѣхать мѣсяца на два въ отпускъ, но дѣвушка такъ стала просить его не уѣзжать, что Звѣздочкинъ только вздохнулъ покорно и виновато...

Между тѣмъ была причина, вслѣдствіе которой всего серьезнѣе думала объ этомъ бракѣ именно сама Машенька, умная, крайне честолюбивая и дальновидная, несмотря на свою кажущуюся простоту или легкомысліе.

Корнетъ Звѣздочкинъ, „подружившись“ съ дѣвушкой и взирая на нее какъ на сестру, вскорѣ исповѣдался предъ ней. Онъ передалъ ей то, чего въ полку никто не зналъ и что было его семейною тайною.

Эта исповѣдь всего болѣе и повліяла на честолюбивую дѣвушку.

Звѣздочкинъ передалъ Машенькѣ, какъ лучшему другу, что онъ не сирота, что взявшій его съ рожденія и воспитавшій его петербургскій сановникъ и богачъ графъ Луцкій-Сокольниковъ собственно его родной отецъ. Такъ какъ графъ не женатъ и не имѣетъ прямыхъ наслѣдниковъ, то онъ хочетъ его усыновить, передать ему свое имя, а со смертью и все состояніе. Онъ обѣщаль ему это тотчасъ по полученіи Звѣздочкинымъ перваго чина. Стало быть, именно теперь дѣло и идетъ объ усыновленіи, а просьба графомъ уже подана на Высочайшее имя. вмѣстѣ съ усыновленіемъ графъ намѣревался перевести сына въ гвардію.

Разумѣется, Звѣздочкинъ умолялъ друга Машеньку сохранить все въ глубочайшей тайнѣ и ничего не говорить даже и сестрѣ. Если тайна огласится, то графъ будетъ въ страшномъ гнѣвѣ на него.

Машенька поклялась никому не говорить ни слова.

Да и въ расчеты ея теперь входило разыграть роль дѣвушки, прельстившейся „Княжной“, цыпленкомъ Звѣздочкинымъ, а не графомъ Луцкимъ-Сокольниковымъ.

Марьянцы удивлялись, что ихъ „птенчикъ“ сдумѣлъ понравиться богатой невѣстѣ, довольно разборчивой, но объяснили это дѣвичьими прихотями. Никто въ полку тайно дѣйствовавшей пружины не зналъ и не понималъ.

Граукъ имѣлъ, конечно, кое-какія свѣдѣнія изъ Петербурга о томъ, кто собственно его корнетъ Звѣздочкинъ. Но полковникъ былъ, конечно, не изъ числа тѣхъ людей, которые любятъ по секрету распространять именно то, что просятъ, или надо держать про себя.

Только однажды, наединѣ съ корнетомъ, когда тотъ явился изъ эскадрона въ городъ на жительство, будучи вновь произведенъ въ офицеры, Граукъ спросилъ его:

— Вы знаете графа Луцкаго-Сокольникова?

— Я въ домѣ графа воспитывался, отвѣчалъ Звѣздочкинъ, вспыхнувъ.

— Это отличный человѣкъ!

— Я его люблю... какъ родного отца, отозвался юноша.

Теперь, когда всѣ офицеры науськивали корнета свататься и жениться, Звѣздочкинъ совсѣмъ потерялъ голову и постоянно страдалъ себя:

„И отецъ не согласится никогда на этотъ бракъ!“

Машенька смущалась тѣмъ же вопросомъ, но такъ какъ Звѣздочкинъ предложенія ей не дѣлалъ, и повидимому, только все собирался, то и заговорить съ нимъ объ этомъ было невозможно.

Между тѣмъ былъ въ Малороссійскѣмъ человѣкъ, не спавшій по ночамъ, измѣнившійся въ лицѣ, буквально опалѣвшій и ходившій, какъ въ угарѣ. Это былъ ротмистръ Караваевъ.

Анна Михайловна тайно бѣгала къ другу-ротмистру чуть не всякій день и приносимыя ему свѣдѣнія были фатальныя. Все шло, конечно, къ свадьбѣ. Машенька и думать забыла про ротмистра, только и бредить, что Звѣздочкинымъ, и ждетъ предложенія со дня на день.

— Вотъ гдѣ не чаяли, тамъ и причаили! говорила Нехайко.— Да и можно ли было ожидать, чтобы дѣвица разсудительная польстилась на эдакую милашку безусую.

Анна Михайловна лгала со страху, и конфузу, ибо корнетъ „царевичъ неописуемый“ ей, конечно, очень нравился.

Караваевъ, слушая женщину, только сопѣлъ и думалъ:

— Хоть руки на себя наложить! Все пропало пропадаемъ.

#### XIV.

Между тѣмъ пикникъ Грауковъ и охота гусаръ были злобой дня.

Послѣ многихъ хлопотъ Пятовскій домъ преобразился.

Проселокъ въ полверсты между большимъ почтовымъ трактомъ и домомъ тоже преобразился. Столько возовъ за это время здѣсь проѣхало взадъ и впередъ, столько разъ приѣз-



жали сюда на тройкахъ гусары, одни, помогавшіе въ хлопотахъ командиршѣ, другіе, навѣщавшіе пріятелей, что теперь даже отъ поворота до самаго дома было тоже нѣчто вроде широкаго тракта.

Наконецъ, былъ назначенъ и оповѣщенъ день, въ который состоится вечеръ-пикникъ. Число это было несчастливое — тринадцатое. Къ двѣнадцатому поспѣть не могли, а четырнадцатаго предполагался обѣдъ у предводителя дворянства, въ день именинъ жены его. Были голоса въ пользу того, чтобъ отложить пикникъ на пятнадцатое, но многимъ, и самимъ Граукамъ, казалось глупымъ изъ-за суевѣрія задерживать пріѣзжихъ помѣщиковъ.

Тринадцатаго числа съ утра Пятовскій домъ ожилъ: появились наемные лакеи и всякаго рода народъ, прибывшій съ возами и всякою мелочью, отъ посуды до провизіи.

Деньщики офицеровъ-охотниковъ были съ утра на лицо съ багажомъ господъ, а въ полдень явились сами охотники и нѣкоторые изъ приглашенныхъ гостей, пожелавшіе изъ любопытства быть ближе къ самой охотѣ.

Въ первомъ часу восемь человѣкъ охотниковъ и при нихъ нѣсколько крестьянъ съ вилами и рогатинами двинулись къ лѣсу. Знаменитый въ уѣздѣ охотникъ Максимка обѣщалъ такъ поднять медвѣдицу, чтобы поставить прямо на охотниковъ.

Въ числѣ прочихъ явившихся съ ружьями былъ Николаевъ, князь Аракинъ и, къ общему удивленію, корнетъ Звѣздочкинъ. За день до охоты юноша рѣшилъ тоже участвовать, и Бидра далъ ему свой штуцеръ. Здѣсь снова нѣкоторые стали отговаривать его, но онъ не соглашался. Тогда рѣшено было приставить къ нему самаго надежнаго крестьянина съ рогатиной, въ увѣренности, что если на Звѣздочкина выйдетъ медвѣдица, то онъ непременно промахнется, а пожалуй, со страху и палить не станетъ.

Въ два часа всѣ охотники, одолѣвъ сугробы и достигнувъ чащи лѣса, были на мѣстахъ. Линія была развернута дугой на небольшомъ разстояніи, ради безопасности. Мѣсто, гдѣ была берлога, оказалось замкнутымъ охотниками. Сзади берлоги, гдѣ цѣпь охотничья прерывалась, рассыпались десятка два крестьянъ—поднять гамъ и гвалтъ по данному сигналу, чтобы звѣрь не пустился на утекъ въ самую чащу лѣса.

Въ четыре часа Пятовскій домъ уже началъ переполняться многими изъ приглашенныхъ. Всѣ были увѣрены, что къ пяти

часамъ охота кончится, явятся побѣдители и привезутъ медвѣдя, для поднесенія госпожѣ Граукъ. Обѣдъ готовился къ шести часамъ, а музыканты для танцевъ должны были пріѣхать къ восьми.

Въ третьемъ часу Максимка былъ въ лѣсу, около берлоги и осторожно обходилъ уже выслѣженную имъ огромную медвѣдицу съ двумя медвѣженками.

Охотники, за исключеніемъ Бидры и Караваева, были каждый съ помощникомъ, про всякій случай, то есть съ мужикомъ, у котораго была въ рукахъ рогатина, или простыя вилы. Подполковникъ и командиръ нестроевыхъ, какъ опытные охотники, не пожелали имѣть помощниковъ на случай бѣды. Размѣстившись по линіи, всѣ эти восемь охотниковъ ждали звѣря каждый на свой ладъ.

Бидра, любившій вообще охотиться и нажившій, именно благодаря этому, ревматизмъ въ ногахъ, любилъ охоту на медвѣдя особенно, хотя предпочиталъ ей охоту на кабановъ. Разумѣется, подполковникъ стрѣлялъ отлично и убилъ медвѣдей тридцать въ свою жизнь. Теперь оцъ страстно желалъ, чтобы звѣрь вышелъ на него. Смутиться при этомъ ему было столь же возможно, какъ испугаться встрѣчной собаки.

Сосѣдъ его, Николаевъ, стоявшій саженьхъ въ десяти отъ него, видимо нѣсколько волновался, такъ какъ всего третій разъ былъ на медвѣжьей охотѣ и вообще былъ не изъ смѣлыхъ, а больше, какъ говорили товарищи, куражился „и былъ во истину храбрѣе только на бабу“, то есть, въ дѣлѣ ухаживания за дамами.

Далѣе, третьимъ, стоялъ саженьхъ въ пятнадцати Грабенштейнъ, задумчивый, съ ружьемъ на плечѣ и почти забывъ о томъ, что онъ въ ожиданіи звѣря. Нѣмецъ былъ глубоко обиженъ, что командиръ отобралъ у него эскадронъ, хотя внутренно сознавался, что онъ кругомъ виноватъ и что этого надо было ожидать. Онъ чувствовалъ самъ, что совершенно неспособенъ командовать и даже неспособенъ заставить солдатъ себя уважать. Онъ зналъ, что солдаты не любятъ его и зовутъ, коверкая фамилію: „Гроба-онъ-стоитъ!“

За Грабенштейномъ, тоже шагахъ въ пятидесяти, сталъ Арслановъ, стрѣлявшій плохо. Но онъ по характеру былъ человѣкомъ неспособнымъ испугаться, еслибы на него безоружнаго вышло хотя цѣлое стадо медвѣдей.

— Какъ это люди смерти боятся! часто думалъ дуэлистъ.—

Вотъ если бѣ одни люди легкомысленные и храбрые умирали, а другіе, осторожные, никогда бы не умирали, то... батюшки свѣты! Какой бы я трусъ былъ! Хуже иной бабы. Я бы подѣ пистолетомъ, или вообще при какой опасности — просвирню какую изображалъ бы всегда.

Теперь Арслановъ шутя повторялъ своему мужику:

— Ну, дядя Петя... Вся надежда на тебя. Сплохуешь, медвѣдь насъ обоихъ задержать.

— Что вы, баринъ, какъ же? У васъ ружье. А я что же съ виламъ-то... удивленно и тревожно отзывался мужикъ.

— Да ружье-то само палить не умѣетъ, а я тоже не умѣю. Нѣтъ, дядя Петя, ты ужъ меня не выдавай, голубчикъ. Не хотца мнѣ очинно помирать!

И Арслановъ подробно описывалъ мужику, какъ шаркнетъ медвѣдь изъ чаши, бросится на нихъ и какъ распоретъ ихъ обоихъ, сдеретъ кожу и мясо съ лица и спины. А какъ дойдетъ до костей... хряскъ по лѣсу пойдетъ!

И кончилось тѣмъ, что вѣчно со всѣми шутящій маіоръ, даже со смертью, забавляясь своимъ опасеніемъ предстоящаго имъ сейчасъ „карачуна“, навель на своего „дядю“ съ вилами такой страхъ, что мужикъ стоялъ уже нѣсколько поблѣднѣвъ, вздыхалъ и думалъ:

— Вотъ налетѣлъ-то. У его самострѣль, а онъ на мои вилы полагается.

Князь Аракинъ и Звѣздочкинъ, съ которыми стояли надежные мужики съ настоящими рогатинами—оба равно были „себѣ не рады“, что „чертъ ихъ дернулъ“ итти на эту охоту. Одинъ, женихъ дѣвушки, въ которую влюбленъ и которая его любить и ожидающій еще къ тому же сдѣлаться богатымъ человѣкомъ, размышлялъ теперь о томъ, что на грѣхъ мастера нѣтъ, а судьба любить шутить. Вотъ со старымъ подагрикомъ Бидрой ничего не случится, а съ женихомъ и человѣкомъ самымъ счастливымъ на свѣтѣ, какъ на грѣхъ можетъ что-нибудь произойти ужасное.

Звѣздочкинъ смущался, какъ юноша, самъ не зная, чего онъ боится. Ему представлялось, что медвѣдь „лохматъ“ и непремѣнно, выйдя на него, зареветь благимъ матомъ. И это будто главное, что „зареветь...“

Крестьянищъ замѣтилъ волненіе молодого барина и убѣждалъ его, что „все такъ сдается“, а что иная собака, коли да она бѣшеная, страшнѣе медвѣдя.

— Тутъ токмо одно: нацѣлить и угодить „яму“ въ глазъ, али въ ухо. Больше ничего. Очень ефто просто! увѣрять мужикъ развязно.

Но Звѣздочкину казалось, что цѣлить и попасть въ ухо или въ глазъ медвѣдю совсѣмъ не просто.

Далѣе, сосѣдомъ юнаго корнета былъ его соперникъ и врагъ, командиръ нестроевой роты.

Будучи хорошимъ опытнымъ охотникомъ и отличнымъ стрѣлькомъ, Караваевъ ждалъ медвѣдя непременно на себя, такъ какъ выбралъ хорошее по примѣтамъ мѣсто. Онъ, лукавый и недобросовѣстный во всемъ, и теперь съумѣлъ схитрить.

Онъ далъ Максимкѣ пять рублей, чтобы тотъ выбралъ ему относительно хорошее мѣсто близъ полянки, а звѣря постарался бы гнать и поставить прямо на него.

Однако Караваеву было не по себѣ. Онъ былъ угрюмъ и задумчивъ. Ему было собственно не до медвѣдя. Въ его жизни совершилось нѣчто роковое...

Давно ли богатая невѣста, красавица, была въ него, — онъ это наивно думалъ, — сильно влюблена. Фортуна была на подачу руки и вдругъ... Вдругъ явился человекъ, щенокъ по виду, молокососъ, мальчишка. И все перевернулось. Глупая дѣвченка промѣняла ястреба Караваева на кукушку Звѣздочкина...

Въ нѣсколько дней зданіе, созидаемое давно усиленно, разсчитливо, прилежно, а главное, умно и успѣшно, вдругъ рухнуло.

И гусарь-ростовщикъ чувствовалъ себя теперь положительно придавленнымъ этимъ рухнувшимъ зданіемъ.

Караваевъ, озираясь отъ скуки вокругъ себя, вдругъ увидѣлъ, несмотря на чашу, саженьхъ въ двадцати отъ себя юнаго корнета съ мужикомъ, и снова въ сотый разъ злоба и ревность будто схватили его за горло.

— Щенокъ! проворчалъ онъ. — Взялъ бы вотъ, да шаркнулъ въ тебя вмѣсто медвѣдя.

Звѣздочкинъ былъ виденъ ему вдали, въ просвѣтѣ, среди елей, но не весь. Виднѣлось плечо и шея... Голова и все туловище было укрыто чашей.

Ротмистръ совсѣмъ забылъ про медвѣдя, и глаза его будто противъ воли все косились на этотъ просвѣтъ, за которымъ вдали блестялъ гусарскій шнуръ на шеѣ. Онъ злобился, но вскорѣ эта злоба перешла въ смущеніе и тревогу... Пустыя

мысленныя угрозы и злыя желанія стали невольными побужденіями... Рѣшительно немислимое вдругъ стало представляться возможнымъ, простымъ дѣломъ, а не чудомъ!

„Это еще вопросъ! будто говорилъ кто-то въ лѣсной чащѣ. — Мало ли къ чему жизнь можетъ привести? Мало ль что на свѣтѣ бываетъ? Да и какъ это просто“... Секунда! И Машенька Задольская опять свободна, опять побѣждена и опять будетъ собираться за него, Караваева.

Но поволновавшись, ротмистръ отвернулся отъ смущавшаго его просвѣта, гдѣ виднѣлся корнетъ, и выговорилъ:

— Должно быть, у меня угаръ въ головѣ... А все-таки скажу... Ужасное дѣло! Все было испечено и поджарено, только въ ротъ клади... И этотъ щенокъ все уничтожилъ.

Послѣ Караваева стоялъ крайнимъ въ линіи майоръ Андрухинъ и съ виду казался угрюмѣ всѣхъ... Офицеръ, участвовавшій и отличившійся въ двухъ компаніяхъ, имѣвшій ордена съ мечами, былъ истинно отважный человекъ, хладнокровно храбрый воинъ, сознательно твердо шедшій всегда на опасность. Но бѣда была въ томъ, что Андрухинъ, обладая истинно русскою душою, обладалъ и нѣкоторыми свойствами, немислимыми для нѣмца или англичанина, заимствованными россияниномъ отъ его восточнаго сосѣда.

Андрухинъ теперь помнилъ прекрасно, что число сегодняшнее—тринадцатое... А вдобавокъ, когда онъ садился въ сани ѣхать на охоту, мимо воротъ проѣхалъ соборный протопопъ... По дорогѣ въ Пятовскій домъ Андрухинъ увидѣлъ на опушкѣ зайца, который припустился во всѣ лопатки вдоль дороги, но „пожалуй, послѣ, могъ дорогу и перебѣжать“.

— Часъ отъ часу не легче! рѣшалъ Андрухинъ и, прибывъ въ Пятовскій домъ, хотѣлъ якобы по болѣзни отказаться отъ участія въ охотѣ. Но товарищи не согласились, и онъ отправился въ лѣсъ.

И теперь Андрухинъ продолжалъ мысленно собирать во едино всѣ дурныя примѣты, которыя усердно подобралъ по дорогѣ... Въ Пятовскомъ домѣ какая-то барынька сказала ему, что онъ „смотреть совсѣмъ молодцомъ“. Облачко на небѣ изображало „ни дать, ни взять,—крестъ“. При входѣ въ лѣсъ майоръ споткнулся на пенекъ, и чуть не растянулся. И много, чуть не дюжина дурныхъ предзнаменованій, со всѣхъ сторонъ, осадили майора.

— Скверно! Скверно! повторялъ онъ, тревожно озираясь.—

Да и глупо-то какъ... Лучше быть убиту при атакѣ... А это что жъ такое?... Влѣзеть на тебя Михайло Ивановичъ верхомъ и давай... Тьфу!..

## XV.

Между тѣмъ Максимка, сдѣлавъ свое знатоково дѣло, сталь за берлогой и зычно крикнулъ... Это было сигналомъ. И съ разу весь лѣсъ ожилъ и загудѣлъ. Нѣсколько голосовъ пронзительно взвизгнули, потомъ заорали на всѣ лады, и въ лѣсу раздался неистовый и дикій хоръ двухъ или трехъ десятковъ горластыхъ мужиковъ. Звѣрь не выдержалъ, шарахнулся изъ берлоги и бросился отъ крика по лѣсу, прямо на цѣпь охотниковъ.

Всѣ охотники были уже на сторожѣ и, стоя на мѣстѣ, глядѣли во всѣ глаза. Одинъ только Андрюхинъ внезапно и противъ воли—вслѣдствіе своихъ примѣтъ—бросилъ свое мѣсто и полѣзъ по сугробу стать за цѣпь. Продравшись кое-какъ въ сугробахъ, Андрюхинъ завидѣлъ впереди себя фигуру какого-то охотника, который тоже осторожно шагаль. Онъ приглядѣлся и узналъ Караваява.

— Чудно! подумалось ему. И этотъ тоже, какъ и я, маршируетъ. Я хоть отъ суевѣрья, а онъ почему?

Караваявъ продвинулся шаговъ на десять и остановился среди гушины кустовъ... Андрюхинъ сталь за нимъ шагахъ въ тридцати, но, разумѣется, постарался, чтобы Караваявъ не запримѣтилъ его бѣгства со своего мѣста.

— Этотъ до меня медвѣдя не допустить! подумаль онъ.— Что другое, а стрѣлецъ первый сортъ.

Между тѣмъ медвѣдь, спугнутый изъ берлоги, съ трудомъ пробирался по чащѣ. Онъ лѣзъ съ трескомъ, фыркая и сопя, и вышелъ прямо носомъ къ носу на Николаева.

Офицеръ струхнулъ, но прицѣлился, выпалилъ и промахнулся.

Медвѣдь шарахнулся въ сторону и покатился, какъ лохматый шаръ, прямо на подполковника.

Хладнокровный и аккуратный во всемъ, Бидра допустилъ огромную медвѣдицу шаговъ на десять и выпалилъ въ нее на удачу, куда попало, для того, чтобы только ранить звѣря, озлить и неминуемо поднять на заднія лапы.

Это ему и удалось. Раненый легко, но разсвирѣпѣвшій

тотчасъ же звѣрь поднялся и съ ревомъ зашагалъ на охотника. Бидра спокойно прицѣлился въ ухо, выстрѣлилъ, и огромное животное, пораженное въ мозгъ, снопомъ шлепнулось на снѣгъ, судорожно дергая ногами.

Въ то же почти время раздался еще выстрѣлъ невдалекѣ... Вслѣдъ за нимъ минуты черезъ три прогремѣли еще два выстрѣла почти одновременно...

— Что такое?! воскликнулъ Бидра и сталъ озираться.— Пожалуй, медвѣжатъ много. А можетъ быть, палятъ всѣ по очереди по одному.

Бидра былъ отчасти правъ... Вслѣдъ за медвѣдицей выскочило изъ берлоги двое медвѣжатъ очень крупныхъ... Одного изъ нихъ уложилъ тотчасъ же Грабенштейнъ... По другому пальнулъ смутившійся князь Аракинъ, но убилъ его затѣмъ Арслановъ.

Бидра крикнулъ тотчасъ крестьянина, стоявшаго съ Николаевымъ, чтобы послать по линіи оповѣстить, что медвѣдица убита имъ, и сзывать всѣхъ.

Но охотники уже почувяли сами, что охота кончилась. Всѣ двинулись со своихъ мѣстъ къ полянѣ, гдѣ условлено было сойтись. Крестьяне съ рогатинами и вилами первые двинулись по линіи, окликаая и опрашивая „есть ли, что тащить“.

— Есть. Волоки! крикнулъ весело Арслановъ.

— Иди. Сюда. Есть... крикнулъ и Грабенштейнъ.

Въ то же время крестьянинъ, посланный Бидрой, звалъ народъ къ подполковнику кричалъ:

— Медвѣдь у нихъ. Иди, братцы, впрягаться.

Въ эти самыя минуты Звѣздочкинъ, уже отпустивъ своего мужика, тихо двигался по сугробамъ къ той же полянѣ и радуясь, что охотѣ конецъ, все-таки озирался пугливо.

„Но вдругъ шаркнетъ откуда медвѣдь, да еще раненый и озлобленный!“ думалось ему.

Въ тѣ же мгновенья шагахъ въ пятнадцать отъ корнета, укрытый чашей, былъ охотникъ, который, глядя на шагающую медленно фигуру юноши, стоялъ истуканомъ. Только губы его будто вздрагивали и кривлялись отъ судороги...

— Будь теперь рядомъ медвѣженокъ, бормоталъ онъ... Сказалъ бы: цѣлилъ... обмахнулся... угодилъ рядомъ. Нѣшто лѣзутъ такъ подъ выстрѣлъ, когда охотѣ еще не конецъ. Нѣтъ, не конецъ... Почему я знаю... Хруститъ въ чашцѣ, въ снѣгу. Кто? Что? Почему я знаю! Я не знаю... Думалъ — медвѣдь...

И охотникъ этотъ, Караваевъ, не спускалъ глазъ съ Звѣздочкина. И глаза эти вдругъ будто налились кровью.

„Въ одну секунду... Да. Нечаянно!.. думалось ему сквозь какой-то чадъ въ головѣ.—И все опять вернулъ себѣ. Богатъ и счастливъ. Да, вотъ... Не упusti... Упустишь... Кто видѣлъ? Кто стрѣлялъ? Чаща... Упустишь!..“

— Охъ, Господи! Что же это!?! шепнулъ онъ жалобно.

И Караваевъ, повинувся кому-то невидимкѣ, или чьему-то голосу, почти не сознавая вполнѣ, что онъ дѣлаеть, будто захваченный со всѣхъ сторонъ какимъ-то туманомъ, вдругъ взмахнулъ штуцеромъ и приложился...

Грянулъ выстрѣлъ...

Караваевъ зажмурился. Потомъ, бросившись въ сторону, онъ полѣзъ по сугробу, глядя дикими глазами звѣря и бессмысленно бормоча себѣ подъ носъ:

— На поляну. На сборъ... Я ничего не знаю! Что тамъ было?.. Я не знаю.

Черезъ мгновенье онъ вдругъ остановился и прошепталъ:

— Промахнулся? Аوصь промахнулся! Давай Господи!

Черезъ четверть часа всѣ охотники уже сошлись на полянѣ и поздравляли Бидру. Мужики приволокли трехъ убитыхъ звѣрей и разсуждали, какъ ихъ доволочъ до лошади и розвальной.

Толкуя объ удачномъ полѣ, всѣ охотники переспрашивали другъ у друга: кто палилъ послѣднимъ, спустя много времени, когда охотники и крестьяне уже сходились... {Оказывалось, что никто не стрѣлялъ.

— Да и палить не во что было! замѣтилъ Максимка. — Медвѣжатъ только пара, и оба тогда ужъ были, выходить, убиты.

— Да кто же наконецъ?! Вѣдь чудно это! рассердился Арслановъ.

— Погодите. Это очевидно Звѣздочкинъ! Его еще нѣту! хладнокровно замѣтилъ Грабенштейнъ.

— И то правда.

— Звѣздочкина нѣту... Ну онъ и палилъ.

— Но во что?

— Пожалуй ружье само выпалило! замѣтилъ Бидра.

И всѣ весело заговорили о подробностяхъ кто какъ убилъ своего звѣря, кто палилъ и маху далъ, почему... Князю Аракину помѣшала вѣтка.



— Завсегда, братецъ, такъ... пошутить Арслановъ. — Когда человекъ промахнулся, то такъ и считай, что это случилось именно только потому, что ему что-нибудь помѣшало.

— Главнымъ образомъ мѣшаетъ неумѣнье стрѣлять, замѣтилъ Грабенштейнъ.

— Ей Богу вѣтка!.. клялся Аракинъ.—Знаете прямо это предъ глазами... Зарябило эдакъ...

— Вѣрно! Вѣрно! перебилъ Бидра. — Всегда рябитъ! Особенно отъ медвѣдя. Пуще чѣмъ отъ бекаса.

Всѣ весело размѣялись, и счастливый князь Аракинъ, переставшій быть щепетильнымъ съ тѣхъ поръ, что былъ женихомъ, расхотелся громче всѣхъ.

Прошло съ четверть часа... Всѣ замолкли на мгновенье и оглядѣлись...

— Что это ты? вымолвилъ Арслановъ, глядя въ глаза Андриюхину.

— Ничего, отозвался этотъ.

— Чего насупился. Завидки что ли на насъ взяли.

— Пожалуй, выговорилъ Андриюхинъ и постарался было улыбнуться, но это не удалось. Лицо его было угрюмо.

— Вотъ и командиръ нестроевыхъ тоже въ сумракѣ пребываетъ!.. замѣтилъ Николаевъ.

— Да, сударь, вамъ стыдно безъ поля, сказала Максимица.—Вы у насъ первый стрѣлокъ.

— Не задача, странно отозвался Караваевъ, сиповатымъ голосомъ...—Выйди на меня, я бы маху не далъ.

Лицо и голосъ Караваева были настолько необычными, что всѣ къ нему присмотрѣлись пристальнѣе и удивились.

— Что значить охотничья-то зависть! подумали Бидра и Грабенштейнъ.

Прошло еще съ четверть часа въ разговорахъ и ожиданіи. Звѣздочкинъ не появлялся.

Часть охотниковъ уже собралась направляться въ Пятовскій домъ, но Андриюхинъ и Бидра рѣшили, что надо подождать товарища. Въ особенности настаивалъ Андриюхинъ.

— Нешто можно въ лѣсу одного бросить, сказала онъ мрачно.

— Такъ давайте искать и кликать.

— Искать! По сугробамъ-то?

— По линіи. Утоптано достаточно.

— Нѣтъ. Обождемъ! рѣшилъ Бидра. — А вы, ребята,

марш! скомандовалъ онъ мужикамъ.—Идите и кличте барина... Вѣроятно онъ по неопытности захотѣлъ выбрать путь покороче. Ну вотъ кратчайшій путь всегда къ черту на рога и заведетъ.

Мужики двинулись по линіи немного разсыпавшись и начали вопить.

— Ау! Баринъ! Ау!.. Баринъ. А баринъ! раздалось по лѣсу и басомъ, и дискантомъ, и хрипливо, и зычно.

— Охъ ужъ эти новички! вздохнулъ Грабенштейнъ.—Мерзны тутъ.

Бидра, взявъ подъ руку Арсланова и отведя немного въ сторону, произнесъ тихо:

— А вѣдь дѣло-то не ладно, товарищъ... Погляди-ка на Андрухина...

Черезъ полчаса Максимка и другой мужикъ, идя лѣсомъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ была разставлена цѣпь охотниковъ, вдругъ не вдалькѣ увидѣли на снѣгу навзничъ лежащую фигуру въ гусарскомъ мундирѣ... Бросившись къ мѣсту, они ахнули... Корнетъ Звѣздочкинъ лежалъ, опрокинувшись на сугробѣ, а около него снѣгъ былъ окрашенъ кровью. Онъ былъ мертвъ.

Черезъ часъ въ Пятовскомъ домѣ, гдѣ предполагался пиръ и балъ, было общее смятеніе.

Всѣ охотники недоумѣвали и вспоминали послѣдній выстрѣлъ, раздавшійся, когда охота уже кончилась.

— Это такъ не останется! сказалъ Граукъ. — Это выяснится... Или я сдамъ полкъ и выйду въ отставку.

Госпожа Граукъ и всѣ дамы гурьбой ухаживали за Машенькой Задольской, которая лежала на диванѣ въ истерикѣ и страшно рыдала на весь домъ.

Тѣло молодого корнета было привезено изъ лѣсу въ домъ на розвальняхъ, запасенныхъ для перевозки медвѣдя. Тѣло было освидѣтельствовано полковымъ докторомъ и оказалось, что юноша гусаръ былъ убитъ наповаль. Пуля, попавъ въ лѣвый бокъ, очевидно, пронзила сердце.

Однако, былъ ли заряженъ или разряженъ штуцеръ Звѣздочкина, вѣрно узнать было нельзя, такъ какъ его неосторожно сложили и спутали съ другими совершенно схожими, а Бидра и Грабенштейнъ не помнили—зарядили ли свои послѣ выстрѣла вновь или нѣтъ.

Тотчасъ же, конечно, былъ подробно допрошенъ мужикъ,

приставленный къ корнету. Онъ заявилъ, что баринъ при немъ не стрѣлялъ ни нарочно, ни нечаянно. Мужикъ однако слышалъ послѣдній выстрѣлъ неподалеку за собой и въ томъ мѣстѣ, гдѣ оставилъ корнета.

— Почудилось даже мнѣ, что это мой баринъ и палить! объяснилъ онъ. — Сдается мнѣ, самъ онъ себя по малолѣтству хватилъ.

Среди общей сумятицы и переполоха Андриюхинъ одинъ молчалъ, какъ убитый, и искоса дико озирался на всѣхъ. Разумѣется, тотчасъ все разстроилось, всѣ стали собираться обратно по домамъ.

Тѣло положили на троечныя сани и шагомъ повезли въ городокъ. Офицеры рѣшили ѣхать вереницей за покойникомъ, какъ на похоронахъ.

Во время всеобщаго разѣзда Андриюхинъ разыскалъ Караваева и выговорилъ тихо:

— Сударь мой, мнѣ надо вамъ сказать одно словечко. Пожалуйте-ка на минуточку!

И проведя за собой офицера въ маленькую угольную горницу, гдѣ былъ приготовленъ буфетъ съ фруктами и конфектами, Андриюхинъ подвелъ Караваева къ окну. Держа правую руку у него на плечѣ, онъ приложилъ лѣвую ему на грудь и выговорилъ твердымъ шепотомъ:

— Ну-ка, сударь мой, объясните. Почему и какъ...

— Что ты? отозвался Караваевъ, странно блеснувъ глазами, но стараясь изобразить спокойное удивленіе.

— Какъ все вышло?.. На лукаваго свалите... Чертъ виновать окажется? А?

— Я тебя не понимаю.

— Какъ же теперь быть-то? проговорилъ Андриюхинъ, не слушая и будто думая о чемъ-то постороннемъ. — Ну вотъ что, сударь мой. Вѣдь я видѣлъ.

Караваевъ хотѣлъ что-то произнести, но задохся и его поблѣднѣвшія губы только передернуло.

— Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь? вымолвилъ онъ съ трудомъ чрезъ мгновенье.

— Будьте столь добры, не говорите мнѣ „ты“... Теперь это невозможнымъ стало.

— Я ни черта не понимаю. Что за комедія! воскликнулъ Караваевъ, оправляясь.

— Я видѣлъ вотъ собственными этими двумя глазами... Все!.. Видѣлъ!.. Вотъ сими двумя...

Андрюхинъ показаль себѣ пальцемъ на оба глаза.

— Вотъ я и спрашиваю, какъ теперь быть?.. Сознаетесь, сударь мой, въ смертоубійствѣ, или не сознаетесь?

— Какъ вы смѣете? вскрикнулъ Караваевъ, совершенно позеленѣвъ лицомъ.

— А? Вы эдакъ! Ну, ладно... Знайте только, что я все видѣлъ. Теперь я ни единой душѣ не скажу. Ну, а вы сами-то болтать врядь будете.

Андрюхинъ быстро отошелъ, а Караваевъ остался на мѣстѣ истуканомъ, и потъ лилъ съ него градомъ.

## XVI.

Доѣхавъ въ городокъ вслѣдъ за тѣломъ корнета вмѣстѣ съ другими товарищами, Андрюхинъ объявилъ старшимъ изъ нихъ, чтобъ они непременно были вечеромъ у полковника Капорко ради обсуждения важнаго дѣла.

Затѣмъ онъ отправился къ командиру полка. Граукъ принялъ маіора тотчасъ же и, тревожно сумрачный, поглядѣлъ пристально въ лицо Андрюхина и выговорилъ:

— А вѣдь вы не спроста и не зря пріѣхали. У васъ лицо совсѣмъ такое...

— Перекошенное? Точно такъ, полковникъ, отозвался тотъ.—Я по дѣлу... Только я не къ командиру являюсь... Я къ старшему, что ли сказать, товарищу пришелъ, котораго больше всѣхъ люблю и уважаю и слова котораго мнѣ любимый законъ.

— Спасибо вамъ... Я васъ тоже люблю и тоже уважаю... Ну-съ, присядемъ. Что скажете, маіоръ?

— Скажу полковникъ... Скажу... началъ Андрюхинъ садясь.—Во-первыхъ, попрошу, чтобы Граукъ, товарищъ, къ которому я обращаюсь, ни полслова изъ нашей предстоящей бесѣды не передавалъ Грауку, командиру Маринцевъ. Такъ чтобы командиръ остался совсѣмъ въ сторонѣ. Прошу дать въ этомъ честное слово.

— Даю... чрезъ силу улыбнулся Граукъ.

— Ну-съ... Вотъ что, добрый товарищъ... Въ Маринскомъ полку произошло такое, что полкъ замаранъ, опозоренъ и обезчещенъ на вѣки вѣковъ... Но можно еще честь полка спасти. Только бы разуму хватило, да чтобы время не

ушло... Скорѣе надо. Въ полку одинъ офицеръ другого, товарищъ товарища, застрѣлилъ, какъ собаку, и еще предательски подло. Тайно. Изъ кустовъ. И убилъ, конечно, умышленно.

— Вѣрно?! Умышленно!.. воскликнулъ Граукъ.

— Да. Звѣздочкинъ убитъ умышленно и предательски. На это есть очевидецъ-свидѣтель, котораго Богъ Господь ради справедливости послалъ.

— Кто же его убилъ?.. глухо спросилъ Граукъ.

— Караваевъ.

Полковникъ выпрямился, какъ отъ удара, и закрылъ глаза; затѣмъ онъ поникъ головой и долго молчалъ.

— Мерзавецъ! выговорилъ онъ, наконецъ. — Да. Вѣрно. Онъ такой... И теперь я его яснѣе вижу. Онъ мнѣ казался давно способнымъ на мерзость и подлость, но я думалъ, что ошибаюсь... Это ужасно!

— Да, полковникъ... Это такой острый ножъ намъ всѣмъ, что надо... Надо что-нибудь надумать. Надо спасти честь полка.

— И вы видѣли сами?.. Хорошо видѣли?.. Вы не могли... Ну, не могли ошибиться?

— Полковникъ?! съ упрекомъ вымолвилъ Андрюхинъ.

— Да. Да... Лишній вопросъ. Простите меня. Но это такъ невѣроятно... Такъ ужасно. Да. Это ужасно. И при мнѣ!! Я команду полкомъ. Ужасно! Ужасно!

Граукъ порывисто вскочилъ съ мѣста и молча зашагалъ по кабинету изъ угла въ уголъ. Наконецъ, онъ снова сѣлъ противъ Андрюхина и спросилъ:

— И онъ думаетъ, что никто ничего не видалъ.

— Нѣтъ. Я ему сказалъ, что я все видѣлъ.

— Сказали! Уже?!..

— Да. Еще тамъ, при развѣздѣ.

— И онъ, конечно, отрицаетъ.

— Да. Но фигура его и глаза не отрицаютъ, а подтверждаютъ. Да мнѣ его сознаніе и не нужно. Я видѣлъ самъ... А товарищи мнѣ повѣрятъ. Ну-съ, полковникъ. Что же дѣлать теперь?

— Не знаю... Не знаю... и не знаю! упавшимъ голосомъ выговорилъ Граукъ.

— Объявить все властямъ гражданскимъ. Начнется дѣло въ уголовной палатѣ. Мы будемъ свидѣтелями по дѣлу убій-

ства, а вся губернія... Нѣтъ! Вся Россія... освѣдомится хоть по наслышкѣ, какъ въ Маринскомъ гусарскомъ полку одинъ офицеръ убилъ товарища въ кустахъ, какъ собаку. Посовѣтуете вы мнѣ, полковникъ, направиться въ уголовную что ли палату и донести?

— Нѣтъ... Не знаю... Ничего сказать не могу... Мнѣ мѣшаетъ то, что я командиръ, а не просто вамъ товарищъ...

— Тогда... Тогда я васъ понимаю! твердо произнесъ Андриухинъ.—И больше мнѣ ничего не нужно отъ васъ. Вы такъ же чувствуете и понимаете, какъ и я... Какъ и всѣ мы... Ну-съ... Вотъ... Больше ничего. До свиданія. У насъ сборъ вечеромъ у Капорко.

Андриухинъ поднялся.

— Однако, маіоръ... Все-таки я не знаю, что вы... Какъ вы собираетесь дѣйствовать.

— Наказать злодѣя и подлеца за предательское убійство.

— Какъ же вы накажете его?

— Безпощадно.

— Но какъ?

— Тѣмъ же самымъ. Тою же мѣрою, что онъ мѣрилъ! Что?

Граукъ не отвѣтилъ ни слова, только лицо его измѣнилось.

— Развѣ это несправедливо? спросилъ маіоръ.

Граукъ помолчалъ мгновеніе и вымолвилъ тихо:

— Офицеръ, одинъ, этого рѣшить не можетъ, но нѣсколько человѣкъ товарищей, сообща, могутъ...

Андриухинъ поклонился и быстро вышелъ.

Въ тотъ же вечеръ старшіе офицеры полка собрались на квартиру къ полковнику Капорко.

Когда всѣ были въ полномъ сборѣ, Андриухинъ обратился ко всѣмъ съ рѣчью.

Онъ объяснилъ прежде всего, что въ тотъ моментъ, когда начался гвалтъ въ лѣсу, чтобы выгнать медвѣдя, онъ изъ суевѣрія ушелъ со своего мѣста за цѣпь и случайно очутился за Караваевымъ.

— Онъ стоялъ передо мной, продолжалъ Андриухинъ,—на довольно близкомъ разстояніи, шаговъ въ пятнадцать. И вотъ что я видѣлъ: черезъ десять минутъ, пять ли, теперь не помню, послѣ того, что раздался послѣдній выстрѣлъ вдали, Караваевъ вдругъ тоже прицѣлился и выпалилъ. А затѣмъ онъ бросился бѣжать не къ звѣрю, по которому, какъ я ду-

маль, онъ палилъ, а въ противоположную сторону. Я пригнулся за кустомъ, и онъ пробѣжалъ мимо меня шагахъ въ восемь въ такомъ видѣ, что я тутъ же понялъ, что случилось что-нибудь чрезвычайное. Пропустивъ его, я бросился туда, куда онъ стрѣлялъ... Я нашелъ Звѣздочкина уже мертвымъ, но промолчалъ, когда мы сошлись и его ждали. Теперь завяляю вамъ, товарищи, объ этомъ убійствѣ, чтобы вы рѣшили, что дѣлать. Я подтверждаю все клятвой предъ Господомъ Богомъ.

Наступило долгое гробовое молчаніе. Всѣ присутствующіе были, очевидно, страшно поражены. На нѣкоторыхъ лицахъ, однако, хотя и было написано недоувѣріе, но тревожное, выдававшее внутреннюю борьбу.

„Дѣло немислимое! А Андрюхинъ не лжетъ“, говорили лица.

— А если онъ стрѣлялъ по звѣрю-съ, по зайцу, что ль? А нечаянно-съ попалъ... заговорилъ, наконецъ, Капорко, едва слышно.

— Что вы... Что ты! вырвалось вдругъ сразу, со всѣхъ сторонъ съ упрекомъ и насмѣшкой.

— Нѣтъ!.. Онъ зналъ, во что стрѣлялъ, сказалъ Андрюхинъ, вздохнувъ.—Я видѣлъ, я чувствовалъ, что онъ не въ звѣря палить, а дѣлаетъ что-то особенное, ужасное. Всѣ его ужимки, внезапный прицѣлъ, скачекъ въ сторону... Все это можно было чувствовать, но объяснить нельзя.

Наступило снова тяжелое молчаніе, и долго никто будто не хотѣлъ или не рѣшился прервать его.

— Теперь, товарищи, заговорилъ снова Андрюхинъ,—вы должны рѣшить, что дѣлать. Злодѣй осрамилъ Маринскій полкъ. Намъ надо твердо, единодушно поступить... и строго. Нельзя оставить злодѣя безнаказаннымъ. Нельзя передать дѣла судьямъ для огласки. Нельзя выносить соръ изъ избы, на вѣки позорить полкъ, пятнать мундиръ. Мы должны сами судить и казнить преступника. Сдѣлать это будетъ очень трудно, но возможно. Прежде всего нужно попробовать заставить Караваява сознаться въ преступленіи. Для этого я прошу сейчасъ послать за батюшкой, чтобы онъ явился съ крестомъ и евангелиемъ. Я принесу клятву при всѣхъ, что все мною рассказанное я видѣлъ собственными глазами, а Караваяевъ пускай принесетъ клятву, что это не правда. Согласны ли вы?

— Согласны. На все... раздались голоса, глухіе, смущенные.

Черезъ часть полковой священникъ былъ уже среди офицеровъ. Караваевъ по первому приглашенію сказался больнымъ и за нимъ былъ посланъ Грабенштейнъ, чтобы силкомъ привезти его, если онъ не поѣдетъ добровольно...

## XVII.

При мертвомъ молчаніи появился Караваевъ въ горницѣ, гдѣ сидѣли всѣ старшіе товарищи. Блѣдный, со сверкающими глазами, онъ вошелъ и сталъ среди комнаты не глядя ни на кого.

— Господинъ Караваевъ, встрѣтилъ его Андрюхинъ.—Вы должны здѣсь при всѣхъ гг. офицерахъ, „бывшихъ“ вашихъ товарищахъ, разъяснить дѣло. Я принесу клятву, поцѣлую Крестъ и Евангеліе, подтверждая истину моихъ словъ, что я видѣлъ собственными глазами, какъ вы убили Звѣздочкина. Вы же должны поклясться точно такъ же, что это ложь и клевета.

— Нѣтъ, глухо отозвался Караваевъ, глядя въ полъ и какъ-то странно тряся головой.

— Вы не хотите принести клятву?!

— Нѣтъ!..

— Но этимъ вы прямо докажете, что вы убійца! воскликнулъ Бидра внѣ себя.

— Да, знаю...

— Что?! воскрикнуло нѣсколько человекъ.

— Я сознаюсь, что убилъ... И сознаюсь, что не нечаянно.

Слова эти громомъ упали среди всѣхъ. Оказалось, что нѣкоторые еще сомнѣвались въ умыслѣ преступленія, теперь же сразу все предстало во всей своей ужасной простотѣ.

Мертвая тишина наступила въ комнатѣ.

— Вы сознаетесь... тихо переспросилъ чрезъ мгновенье Арслановъ.

— Да, сознаюсь! гораздо громче и рѣзче произнесъ Караваевъ.—Я его убилъ. И убилъ нарочно. А почему—это мое дѣло.

— Почему! Почему! воскрикнулъ Бидра. — Всему полку извѣстно! Отдѣлялись отъ соперника...

— Это не идетъ-съ къ дѣлу... вступился Капорко. — Это не наше-съ дѣло—разбирать причины.



— Да. Конечно... Правда, сказалъ Бидра и прибавилъ строго: — Теперь ступайте въ кабинетъ полковника и ждите нашего рѣшенія.

Совѣщаніе пораженныхъ и взволнованныхъ донельзя Маринцевъ продолжалось около часа и было наконецъ окончательно рѣшено:

„Объяснить смерть Звѣздочкина несчастною неосторожностью, а Караваеву предложить въ эту же ночь застрѣлиться самому. Если же онъ, какъ надо предположить, не согласится на это, то шести старшимъ офицерамъ взять на себя тяжелую обязанность. Кинуть жребій—кому застрѣлить Караваева какъ окажется это удобнѣе. На кого падетъ жребій, тотъ долженъ безпрекословно принять на себя роль отомстителя“.

Караваевъ былъ снова вызванъ изъ кабинета, и Арслановъ передалъ ему приказаніе полка: застрѣлиться.

— Нѣтъ, хрипиво отозвался онъ упавшимъ отъ волненія голосомъ.—Это комедія и самоуправство. Заявите кому слѣдуетъ. И пускай меня судятъ. Быть солдатомъ, или быть на каторгѣ все-таки легче, чѣмъ самому на себя руки наложить. Да еще по приказанію... чужихъ людей...

Послѣ краткаго молчанія въ горницѣ, Бидра, переглянувшись со всѣми товарищами, сухо и холодно выговорилъ:

— Въ такомъ случаѣ, господинъ Караваевъ, намъ останется подумать, что дѣлать съ вами. Можете отправляться къ себѣ... Но мы васъ просимъ самому на себя не доносить, не отправляться съ повинною, а молчать.

Караваевъ изумленнымъ взглядомъ окинулъ всѣхъ, очевидно совершенно не понимая смысла предложенія.

— Да-съ... Молчать, какъ и мы... прибавилъ Андрюхинъ.— Не позорить весь полкъ. Извольте дать слово.

— Слово убійцы-съ, воскликнулъ расходившійся Капорко.— Отпустите его скорѣй... Тяжело. Гадко... Ступайте...

Караваевъ круто повернулся налѣво кругомъ и медленно вышелъ изъ горницы.

— Ну-съ, а теперь, товарищи, жребій! взволнованнымъ голосомъ заговорилъ Бидра.—Я надумалъ единственный способъ... По моему иного ничего выдумать нельзя. Все останется тайной... Мы сами ничего знать не будемъ... Да... Мы сами не будемъ знать избраннаго судьбой отомстителя за бѣднаго Звѣздочкина. Прежде всего надо написать наши имена на билетикахъ. Кому выпадетъ по жеребью грустное пору-

ченіе товарищей, тотъ долженъ тайно сейчасъ же или завтра, или на недѣль, когда окажется возможнымъ, застрѣлить этого пса... Главное сьумѣть соблюсти тайну.

Наступило молчаніе.

— Ну-съ, рѣшено это? спросилъ Бидра оглядывая всѣхъ.

— Рѣшено... Да... Рѣшено... раздалось нѣсколько сдержанныхъ голосовъ. Только Андрухинъ и Арслановъ крикнули громко и энергично: — „Разумѣется!“ Грабенштейнъ что-то пробормоталъ черезчуръ робко.

— Ну... Аминь! взволнованно произнесъ Бидра, махнулъ рукой и взялъ листъ бумаги.

— Простите, товарищи, смущенно вдругъ заговорилъ Капорко.—Я хочу просить, ради моихъ-съ лѣтъ и здоровья-съ... Если прикажете, я не отступлю-съ тоже-съ... Но я васъ прошу... Увольте меня-съ...

Сразу было поднялся споръ. Одни согласились тотчасъ исключить старшаго полковника и освободить отъ жеребья, но Бидра, Нѣмовичъ и Грабенштейнъ были противъ этого.

— Я тоже не молодъ! сказалъ первый.—Года не при чемъ...

— А я, ей Богу, совсѣмъ не знаю... Сьумѣю ли даже эдакое совершить, тихо сказалъ Нѣмовичъ.

— Съ исключеніемъ одного человѣка шансы для всякаго изъ насъ измѣняются, разсчелъ тотчасъ нѣмецъ.

— Извольте-съ, вымолвилъ Капорко почти со слезами на глазахъ.—Я самый старыи-съ... И я думалъ-съ, вы меня, товарищи, помилуете... Ну, какъ угодно-съ...

Голосъ старшаго полковника странно подѣйствовалъ на всѣхъ, и тотчасъ было рѣшено избавить Капорко отъ жеребья, но вмѣстѣ съ тѣмъ избрать распорядителемъ. Процедура жеребья была опредѣлена тотчасъ замысловато, но толково.

Полковникъ тотчасъ ожилъ и бодро принялся за дѣло. Онъ принесъ картонъ и маленькую шкатулку. Нарѣзавъ листъ почтовой бумаги на маленькіе, въ вершокъ, четвероугольники, онъ сталъ, было, раздавать всѣмъ для вписанія своего имени.

— Нѣтъ, не надо, заявилъ Бидра.—Впишите сами наши имена и прочтите вслухъ.

Черезъ минуту Капорко прочелъ имена:

— Андрухинъ, Уткинъ, Рубинскій, Арслановъ, Николаевъ, Бидра, Нѣмовичъ, Грабенштейнъ.

Затѣмъ всѣ билеты были свернуты въ налочки и брошены въ картонъ, уже знакомый всѣмъ присутствующимъ.

Гусары вдругъ вспомнили, какъ недавно здѣсь у Капорки баллотировали шута барышень Задольскихъ, ради приглашенія на балъ. Какая разница между тогдашнею потѣхой и этимъ ужаснымъ дѣломъ.

— Акимъ, крикнулъ Капорко своего стараго деньщика.— Приведи сюда свою Груньку.

Черезъ минуту полного молчанія въ горницѣ, деньщикъ появился въ дверяхъ, ведя за руку шестилѣтнюю дѣвочку. Грунька ухмылялась и бойко оглянула всѣхъ гусаръ, отъ которыхъ часто получала всякія подачки.

— Поди сюда, Груня! сказала Капорко.

Дѣвочка приблизилась къ нему и къ столу съ картономъ и со шкатулкой, поставленному среди горницы. Гусары сидѣли поодаль отъ стола на стульяхъ у стѣны.

— Гляди, Груня... Видишь въ картонѣ палочки изъ бу-мажки, спросилъ Капорко.

— Визу, отозвалась Груня пискливо.

— Ну, влѣзай на стулъ вотъ... Опуститъ туда руку, по-мѣшай, пошарь и вынь мнѣ одну палочку. Только одну...

Дѣвочка влѣзла на стулъ и, ухмыляясь забавной штукѣ, которую заставляли ее сдѣлать, быстро опустила руку въ картонъ.

— Посарить? бойко спросила она вдругъ смѣясь.

— Пошарь...

— Одну паячку? переспросила Грунька.

— Одну! одну!..

Дѣвочка шибко завертѣла рукой въ картонъ, вытащила два билетика, но одинъ выронила тотчасъ обратно, а другой подала полковнику.

Капорко развернулъ его, быстро перечеркнулъ краснымъ карандашемъ, потомъ снова свернулъ и бросилъ въ картонъ.

Акимъ взялъ дѣвочку и увелъ.

Во время всей этой процедуры ни одинъ гусаръ не про-ронилъ ни слова. Всякій въ свой чередъ былъ взволнованъ, или крайне безпокоенъ или, наоборотъ, неподвижно задумчивъ и углубленъ въ тяжелыя размышленія.

„Вотъ сейчасъ узнаешь! Увидишь свое имя! Перекрещенное краснымъ крестомъ будто кровью замаранное!“ думалось каждому.

Капорко началъ медленно вынимать изъ картона билетики по очереди и называть фамиліи. Названный вставалъ, подхо-

диль къ столу, бралъ билетикъ, читаль свою фамилію, и бросаль его снова, но уже въ шкатулку.

А затѣмъ по заранѣ рѣшенному условію, всякій мгновенно выходилъ изъ горницы и изъ квартиры полковника, дабы нельзя было по лицу его догадаться, на его ли имени оказался красный крестъ. Офицеры съ умышленными интересами прошли предъ столомъ и ушли изъ квартиры.

Ни одинъ не выдалъ себя. Только второй по очереди, Нѣмовичъ, чрезвычайно вдругъ смутился и какъ-то поперхнулся, но лицо его слегка просвѣтлѣло.

— Не онъ? подумали еще остававшіеся въ горницѣ.

Грабенштейнъ, прочитавъ и бросивъ въ шкатулку свой билетикъ, слишкомъ быстро и бодро пошелъ отъ стола.

— Обрадовался Нѣмецъ, подумаль Андрюхинъ.—Такъ же, какъ подъ Грохдовымъ, когда намъ былъ данъ отбой...

Послѣдними прошли Андрюхинъ и Бидра.

Капорко, оставшись одинъ, заперъ маленькую шкатулку, а затѣмъ запечаталь ее своею печатью. Билетики должны были храниться лишь временно. Предполагалось, на худой конецъ, снова собраться всѣмъ и вмѣстѣ переглядѣть билетики, если въ продолженіе двухъ недѣль не совершится условленное и избранный судьбой не исполнить своего долга.

Послѣ совершенія самосуда надъ Караваевымъ, билетики предполагалось тотчасъ сжечь, чтобы все кануло въ воду. Полковникъ зналъ на кого палъ жребій и зналъ, что не придется провѣрять билетиковъ, чтобы уличать малодушнаго и измѣнника.

— Чрезъ дня три, недѣлку—сожжемъ ихъ... думаль Капорко...—У этого, такъ не такъ, а духу хватить... А будь Грабенштейнъ или Нѣмовичъ—была бы канитель или срамота. Теперь все спасено... Маринцы не будутъ осрамлены предъ всею Россійскою арміей...

## XVIII.

Весь полкъ, а равно и весь городъ былъ на похоронахъ несчастно и странно погибшаго корнета. За исключеніемъ командира полка и девяти старшихъ офицеровъ—всѣ были увѣрены, что корнетъ нечаянно застрѣлился на охотѣ. Рот-

мистръ Караваяевъ на похоронахъ не присутствовалъ, ибо былъ якобы боленъ и не выходилъ изъ квартиры. Одновременно было извѣстно, что Караваяевъ уже не командиръ нестроевой команды, ибо подалъ въ отставку, оскорбившись тѣмъ, что Граукъ вдругъ назначилъ на его мѣсто хотя и плохого кавалериста, Грабенштейна, но человѣка практическаго и честнаго.

Черезъ шесть дней послѣ похоронъ юнаго корнета, Малороссійскъ взволновался. Имя Караваяева было у всѣхъ на языкѣ.

— Вотъ неожиданно! Вотъ нельзя было подумать... Вонъ гдѣ дикое самолюбіе-то заводится. Въ какихъ людяхъ!? говорили въ городѣ и въ полку.

Ротмистръ Караваяевъ найденъ былъ поздно вечеромъ мертвымъ среди дороги на выѣздѣ изъ городка. Около него на снѣгу валялся разряженный пистолеть. Рана въ високъ свидѣтельствовала, что застрѣлившійся умеръ мгновенно.

Поводомъ къ самоубійству, по убѣжденію всѣхъ, были двѣ причины: сватовство за старшую Задольскую и ея рѣшительный отказъ, а затѣмъ потеря команды при оскорбительной обстановкѣ, благодаря суровости и рѣзкости Граука. Такъ думали и рѣшили всѣ... кромѣ десяти человѣкъ Маринцевъ съ командиромъ включительно...

При извѣстїи о самоубійствѣ Караваяева, Капорко въ присутствїи восьми сошедшихся къ нему товарищей сжегъ всѣ билетки, на которыхъ были ихъ имена. Напрасно гусары приглядывались внимательно и пытливо другъ къ другу.

„Кто?!“ говорили лица.

Но исполнитель самосуда себя не выдалъ. А старшій полковникъ снова подтвердилъ свою клятву никогда за всю свою жизнь не проронить имени, которое онъ перечеркнулъ краснымъ крестомъ.

## XIX.

Прошелъ годъ... Помимо двухъ трагически погибшихъ Маринцевъ въ полку не доставало еще трехъ гусаръ. Князь Аракинъ, давно женатый и богатъ, вышелъ въ отставку и уѣхалъ съ молодою женою и съ невѣсткой въ Москву, чтобы Машенька могла разсѣяться и скорѣе оправиться отъ удара, которъ ей постигъ.

Старшій полковникъ Капорко рѣшился наконецъ перестать быть „запоркой“ и, удалясь на покой, открылъ многимъ давно желанныя и лелеяныя вакансіи.

Маіоръ Арслановъ тоже вышелъ изъ полка, ибо сталъ вдругъ прихварывать, пренебрегалъ командованіемъ и будто разлюбилъ вдругъ свой эскадронъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ бросилъ картежную игру, при имени „Акулины Савишны“ кисло, иногда и грустно улыбался. Пить онъ окончательно пересталъ, ссылаясь на нездоровье и боль въ головѣ.

Дѣйствительно маіоръ быстро и сильно измѣнился, похудѣлъ, сгорбился, будто сразу состарился. Долгая безшабашная гусарская жизнь видно сказалась вдругъ, сразу и заставила выйти въ отставку.

Скоро въ полку уже всѣ стали забывать о выбывшихъ товарищахъ.

Минулъ годъ со смерти двухъ гусаръ и о нихъ заговорили снова въ Малороссійскѣ дня на два и снова забыли всѣ.

Въ январѣ мѣсяцѣ полковникъ Граукъ получилъ письмо, доставленное ему лично проѣзжимъ черезъ городъ кирасиромъ. Граукъ, прочитавъ письмо, взволновался, но никому не сказалъ ни слова объ его содержаніи.

Черезъ недѣлю однако онъ объявилъ офицерамъ, что получилъ извѣстіе о смерти маіора Арсланова, скончавшагося въ уединеніи на хуторѣ, который онъ себѣ купилъ при выходѣ въ отставку.

Письмо, о которомъ умолчалъ Граукъ, показавъ его только женѣ, было слѣдующее:

„Полковникъ... Вы мой бывшій отецъ-командиръ и остались въ душѣ моей дорогимъ человѣкомъ. Родни у меня на бѣломъ свѣтѣ никого нѣту. Поэтому я и пишу вамъ о томъ, къ чему меня привела судьба... Вотъ уже тринадцатый мѣсяцъ, что я терзаюсь и мучаюсь и жизнь моя хуже каторжной. Больше не могу!.. Убилъ его—я! Кого—вы знаете. Не хочу называть и звать. Итакъ онъ не отходить... Случалось мнѣ десятокъ разовъ драться. Случилось убить двухъ человекъ, одного гусара и одного кирасира. Оба—хорошіе люди, славные товарищи и офицеры. Но такіе же, какъ и я, горячки въ картахъ и горячки на языкѣ. Убилъ я ихъ и жилъ себѣ спокойно безо всякихъ угрызений совѣсти. Дрались мы честно—и шабашъ. Что жъ горевать? И я вѣдь себя подставлялъ. И могъ быть убитъ... И вотъ теперь, видно, за все это старое, Господь наказалъ...“

„Онъ... убить подло, не въ равномъ бою, а хитростью... По приказу товарищей—убить. Правда. Но все жъ таки убить, какъ разбойникъ убиваетъ въ лѣсу прохожаго, какъ палачъ убиваетъ осужденнаго... И онъ меня не оставилъ въ покоѣ!.. Онъ ходитъ за мной. И день цѣлый, и за обѣдомъ, и ночью въ постели—всегда онъ со мной. Такъ жить нельзя! Я забьлъ, будучи гусаромъ, что я христіанинъ. Безпутная жизнь не давала времени очнуться. Теперь я вспомнилъ о Богѣ. Хотѣлъ было въ монастырь итти и спастись въ молитвѣ и постѣ... Но не смогъ! Да и не къ лицу! Какой же я монахъ?!

„И вотъ, истерзавшись, увѣдомляю васъ, что исполнивъ долгъ товарища, совершивъ указанное Маринцами—я жить не могу, не хочу. Мнѣ надо уйти туда же, откуда онъ ко мнѣ все ходитъ. Сравняюсь я съ нимъ и избавлюсь отъ него. А душа не пропала. Богъ все видитъ и проститъ. А вы, полковникъ и друзья-товарищи, гусары, не поминайте лихомъ за васъ душу положившаго!“

Въ концѣ былъ постскриптумъ, написанный уже ослабѣвшею рукою:

„Всякое оружіе мнѣ опротивѣло. И видѣть его не могу... Принялъ сейчасъ какое-то снадобье... Давно ужъ въ аптекѣ досталь... Кажется черезъ часъ кончусь... Но слава Богу... Лежу и его не вижу... Совсѣмъ ушелъ... Меня тамъ ждеть... Тамъ насъ Господь разсудитъ... Обнимаю мысленно Маринцевъ, братьевъ моихъ... Всѣхъ. И бывлыхъ, и нынѣшнихъ, и будущихъ... Ура! Маринцы! Во вѣки вѣковъ...“

## XX.

Спустя мѣсяць Граукъ, не желая быть укрывателемъ всей драмы, происшедшей въ полку имъ командуемомъ, донесъ обо всемъ въ Петербургъ.

И слѣдующіе слова были высшимъ начальствомъ переданы Грауку:

„Оставить дѣло, не давать ему ходу... Дѣло ужасное, но не срамное. Все-таки молодцы, мои Маринцы!“

1891 г.







# ИЗБУШКА НА КУРЬИХЪ НОЖКАХЪ.

---

СКАЗЪ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

*Николаю Ивановичу  
Шульскому.*





I.



ебо синее, чистое, ни единого облачка не ползетъ по немъ, одно только солнце горитъ какъ разъ посередь неба и жаритъ землю.

Село видно на косогорѣ у оврага, звать Воскресенское; за нимъ усадьба. Вправо лѣсъ темный растянулся далеко, верстѣ полста въ обхватѣ. Зовутъ его Солдатская Сѣчь. Много лѣтъ тому будетъ, тутъ Французъ былъ, приходилъ войной въ Россію, а его царь Александръ Благословенный въ гости принялъ и угощенье ему сдѣлалъ царское... Въ этомъ лѣсу наши солдатики Французовъ какъ капусту нашинковали и видимо-невидимо ихъ накрошили. Но лѣсъ этотъ и допрежде Солдатская Сѣчь звался.

Темный стоитъ онъ за полемъ. А въ полѣ пусто, одна рожь шумитъ. Куда ни оглянись — ни души. Село тоже пустое, дворы и усадьба барская пустыя; дорога, оврагъ и за оврагомъ все пусто. Тихо все, словно вымерло. А тихо потому, что весь народъ до зари на сѣнокосъ ушелъ; во дворахъ всего три старухи остались, да дюжины съ двѣ малыхъ ребятъ. Косцы не далеко, версты за двѣ на заливныхъ лугахъ, да не видать ихъ въ ложбинѣ.

Но вотъ около села по дорогѣ пыль поднялась. Бѣжитъ кто-то и шибко бѣжитъ, что есть мочи. Пыль дорожная взвилась и тихонько стелится золотымъ облакомъ на края яроваго. Это сиротка съ двора барскаго, звать Кириакъ, по просту Кирякъ. Онъ пыль такую поднялъ. Обрадовался мальчуганъ,

что выпустили изъ прихожей на свѣтъ Божій, и несется словно борзая за зайцемъ, босыя ноги такъ и топчуть по дорогѣ. Изрѣдка онъ шмыгаетъ ногами на бѣгу, балуясь съ пылью, и оглядывается на золотое облако, что поднимается за нимъ и закрываетъ отъ него деревню и барскій домъ.

Далеко уже Кирия отъ села, и все бѣжить, а въ рукахъ у него рубаха красная, сверткомъ сложена. Мальчугана на сѣнокосъ послали Игнату рубаху снести, а грязную въ мытье взять... Анисья мыть собралась въ кои-то вѣки. Ну, ей—вынь да положь—понадобилась Игнатова рубаха.

Вотъ пропалъ Кирия въ оврагѣ и опять ни души около села. За то впереди за оврагомъ мелькнули мужики съ косами и бабы. Да тоже бѣгутъ всѣ. И бѣгутъ Кириѣ на встрѣчу... Что за притча? Среди бѣлаго дня съ работы бѣгутъ! Показался опять и Кирия изъ оврага и чуть ужъ виденъ парнишка среди ржи колосистой. Глядитъ и онъ: мужики, и ужъ близко, бѣгутъ на него по дорогѣ.

— Эй! мальчуганъ, мальчуганъ! кричатъ всѣ издали и машутъ кто руками, а кто граблями...

А отъ нихъ, и прямо на Кирию, летитъ по дорогѣ большая собака.

— Эй, оборонись! Въ рождѣ! Волкъ, волкъ!

Оторопѣлъ было Кирия и заметался, ни взадъ, ни впередъ. А волкъ ужъ близко, летитъ скокомъ, голову по землѣ несетъ, хвостъ поджалъ. Бѣшенный по всему... Кирия далъ стрелка назадъ, а тамъ въ бокъ, и пропалъ. Подпрыгнулъ онъ было разъ, мелькнула черная голова надъ золотистою нивой, могъ бы и волкъ завидѣть, да на счастье споткнулся мальчуганъ, кувырнулся и утонулъ воржи... Пора было... Волкъ ужъ поравнялся...

— Задержи, задержи! Пусти чѣмъ попало! слышитъ вдругъ мальчуганъ.

Вскочилъ онъ на ноги, выглянулъ изъ колосевъ на дорогу и, прицѣлившись, пустилъ рубахой. Лихо намѣтилъ Кирия — не даромъ въ бабки играть любилъ — прямо волку въ голову. Да рубаха-то красная развернулась на лету, мазнула волчью морду и распласталась на пыли. Фыркнулъ волкъ и обернулся, какъ еслибы ножомъ его рѣзнули. Щелкнувъ зубами, вцѣпился онъ въ рубаху и, тряхнувъ ею, бросилъ...

Взвиль мальчуганъ: изорветъ рубаху!.. Что тогда отъ тетки Анисьи?..

Не мѣшкая, выскочилъ Киря на дорогу... Прыгнулъ къ рубахѣ; волкъ повернулъ назадъ къ ней же, а вдѣпился въ него; рванулъ за портки, встряхнулъ и повалилъ мальчугана.

Не успѣлъ мигнуть Киря, а ужъ, опрокинувшись, валялся въ пыли... Видѣлъ онъ у себя на груди жесткую щетину, мокрую морду, зубы бѣлые. Тутъ же и косы засверкали. Крикъ, гамъ, пыль... Помертвѣлъ онъ съ перепугу, а когда открылъ глаза, то видитъ кругомъ себя все свои мужики и всѣ-то говорятъ и никто не слушаетъ... А на краю дороги, лежитъ волкъ вверхъ животомъ весь изрубленный и кровь течетъ изъ него, пыль въ красное тѣсто мѣситъ.

— Рубаха! завылъ Киря.

Да гдѣ ужъ, каку тутъ рубаха; вся въ клочьяхъ затоптана, порѣзана.

— Больно что ль, плечо-то? пристають къ нему. Глядь, и его плечо все въ крови. Волкъ укусилъ, либо косою рѣзнулъ кто въ переполохѣ. И загалдѣли всѣ:

— Здорово куснулъ-то?

— Чей такой?

— Да онъ же... Кирякъ! Сиротка! Съ двора ейнаго.

— Барынинъ Киря!

— Сидѣть бы во ржи... Не вылазить!

— То-то, да! Во ржи! А то вишь...

— Зачѣмъ лѣзъ, щенокъ! Вотъ-те и вылѣзъ.

— Васька кричалъ: задержи. Тоже дурень. Робенка въ грѣхъ ввелъ.

— А рубаха-то? Чья энта? Распороли же мы ее ловко.

— Иди къ рѣчкѣ. Обмойся. Эхъ, дѣло-то какое!

Начали ставить Киряка на ноги, не стоитъ, пошатывается, позеленѣлъ со страху... Спрашиваютъ, ругаются... Онъ все молчитъ, да трясется какъ въ лихорадкѣ, а кровь такъ и льетъ изъ плеча, такъ и поливается.

Взялъ Кирю за руку мужикъ Власъ и повелъ къ рѣчкѣ. Одеревенѣлъ бѣдняга, насилу шагаетъ. Да и плечо смерть больно. Словно гвоздемъ ковыряетъ.

— Эхъ-ма! Дѣло-то, дѣло какое... толкуютъ за нимъ мужики.—Взбѣсишься ты, Кирякъ, кусаться почнешь. Тебя въ чуланъ надо теперъ, да на замокъ. Бѣ-ѣ-да!

А на дорогѣ ужъ кучи народа. Всѣ съ сѣнокоса сбѣжались: мужики, бабы, парни, дѣвки, ребята. Шумъ, гамъ, споры.

— Рой яму, ребята. Зарывай... Такъ бросать не гоже. Духъ отъ него пойдетъ. Да и собаки пожалуй нажрутса.

— Есть время копатьса... Въ рѣку его и шабашъ, кричить Васька Глазатый.

— Эко, вретъ-то, дура. Воду испакостишь, что пить будешь? Рой, рой яму-то.

— И рубаху тоже вали. Ее не годно носить теперь.

— Зарывай и рубаху! Ну, живо! Да за дѣло! А то не додѣлаемъ, барыня те похвалить.

— Стой! дьяволы! Моя рубаха! Ахъ дьяволы! Ахъ!

— Брось. Брось. Не гоже. Взбѣсишься...

Парни, дѣвки и ребяташки, насмотрѣвшись досыта на волка, подергавъ его за хвостъ, бѣгутъ на рѣчку Кирию смотрѣть. Обступили, таращутса. Мальчуганъ и не видитъ никого, загребаетъ воду и все мочить плечо. Рученки такъ и трасутса... Плачетъ ужъ бѣдный, самъ не знаетъ отъ боли, иль съ напугу. Да и отъ тетки Анисьи за рубаху что еще будетъ.

— Что жъ теперь съ имъ дѣлать?

— Съ Кирякомъ-то? Барынѣ доложить.

— Вѣстимо барынѣ... Доложи поди...

— Запрутъ въ чуланъ теперь. На хлѣбъ на воду.

— Онъ теперь вѣдь кусаться долженъ.

— Вѣстимо долженъ.

— Вотъ страсти-то! визжать дѣвки на разные голоса.

А парень какой-то балагуръ обхватилъ свою сосѣдку черную бровую Машку и вцѣпился ей зубами въ сарафанъ.

— Я тожъ бѣшенный! кричить.

И давай кидаться. Бабы въ разсыпную отъ него. Хохотъ, визгъ, суматоха...

А одинъ шустрый мальчуганъ Ванька, прозвищемъ Агафьинъ, пролѣзъ сквозь толпу впередъ, и дергаетъ Кирыка:

— Киря, а Киря! Укуси! Укуси!

— Пошелъ ты поганецъ... Ну! отмахнулся Власъ и даль озорнику подзатылину.

## II.

„Кирию бѣшенный волкъ укусилъ!“

Ходила эта вѣсть по дорогѣ и пошла на сѣнокосъ, пошла тоже и на село, и давай изъ избы въ избу ходить гдѣ старые

остались, и по всей слободѣ прошла въ минуту. А тамъ перешла чрезъ ворота на барскій дворъ; заглянула въ службы, въ конюшни, въ людскую, въ садъ и съ трехъ крыльцовъ въ разъ въ барскій домъ вошла. Шмыгнула та вѣсть шибко въ дѣвичью, добѣжала до ключницы, а тамъ ужъ тихонько, съ опаской (чтобы себѣ бѣды не нажить) пролѣзла къ барынѣ въ кабинетъ... Дальше она уже не пошла запросто пѣшкомъ, а по написаніи на атласной бумагѣ въ пакетѣ поѣхала по почтѣ въ городъ Москву въ видѣ интереснаго разсказа съ чудесами да съ прикрасами—отъ барыни къ одной пріятельницѣ княгинѣ. Ну и пусть путешествуетъ, Христось съ ней. А какая другая вѣсть вышла изъ кабинета на село? Вѣсть та была:

— Приказать старостѣ связать двѣнадцатилѣтняго парнишку по ногамъ и по рукамъ и запереть, да не во дворѣ, а подалше гдѣ, на селѣ, въ чьей ни-на-есть банѣ, иль въ овинѣ. И такъ до девятаго дня, а тамъ видно будетъ...

Забѣгала эта вѣсть какъ шальная по всей слободѣ. Ку-терьма!

Загалдѣли мужики, заохали бабы, завизжали дѣвки, а у ребятишекъ ушки на макушкѣ.

— Мати Божья! Это жъ не сподручно. Бѣшенаго около людей держать. И опять тоже баню пакостить выходить со-всѣмъ глупо.

— А изъ овина уйдетъ! А то подожгетъ!

— Вѣстимо подожгетъ... Бѣшенный вѣдь...

Погалдѣли мужики и прослали старосту къ *ей самой*.

— Не сподручно, докладаетъ староста *ей самой*.—Народъ перекусать можетъ... И опять тоже баню испакостишь. А въ овинѣ тоже стеречь надо... А народъ весь на работѣ.

Не поняла *она* этого разсудка.

— Вырваться можетъ, на барскій дворъ прибѣжить. Тебя, оборони Богъ, испужаетъ, а то и того... Отъ бѣшенаго какое же уваженье. Помилуй Богъ, матушка, шаркнетъ съ саду... Хоша и малъ парень, а укусить... тоже не хорошо.

Сразу поняла *она* этотъ разсудокъ.

— А и то!.. Не годно! Не годно! У меня съ саду все расперто день-деньской.

— А дозвошь, матушка... Въ Солдатской Сѣчи есть избушка такая махонькая... Ужъ годовъ съ десять, сказываютъ, никто въ ней не живетъ. Пусть его тамъ очу-

нѣтъ маленьчко... Коли милостивъ Богъ, выпустимъ опосля. А до девятаго дня въ избушкѣ запремъ. Сказано сдѣлано.

### III.

Время уже далеко за полдень было. Огородами вдоль околицы идутъ по дорогѣ въ лѣсъ мужикъ рослый и мальчуганъ.

Мужикъ Власъ широко и здорово шагаетъ по пыльной дорогѣ и кладутъ огромный слѣдъ огромные лапти. Опустилъ онъ маленько голову, и большущая борода сѣдая всю грудь закрыла... Думу думаетъ Власъ и, поднявъ съ земли сучокъ сухой, грызетъ въ зубахъ... Мальчуганъ Киря почти рысцой поспѣваетъ за Власомъ. Лицо у него желто, скучно, напугано, плечо тряпичей повязано, а рубашонка все та же—въ крови... Другой-то нѣту!

Мальчуга хоть малъ человекъ, а тоже уперся глазенками въ землю и тоже молчить, тоже свою ребячью думу думаетъ. Идетъ, идетъ, да вздохнетъ тяжело.

Ведетъ его дядя Власъ въ страшнѣйшій лѣсъ—Солдатская Сѣчь, гдѣ стоитъ одиныхонька на полянкѣ избушка древняя; каково въ ней-то жить, вдали отъ всякой живой души человеческой!

„Помереть бы лучше сиротѣ...“ думаетъ про себя Киря, то что слышалъ сейчасъ на барскомъ дворѣ. „Кабы тятка съ мамкой живы были, такъ не прослали бы въ лѣсъ дремучій!“ припоминаетъ онъ слова барскаго кучера, сказанныя ему вслѣдъ.

Дядя Власъ думаетъ тоже про Кирю:

„Жаль сиротку... одичаетъ одинъ-то. Какъ махонькому въ лѣсу жить одному? Нечистую силу ангель хранитель къ младенцу не допуститъ. Вѣстимо. Ну а все жъ не годное дѣло! Жаль, право-слово—жа-аль!“

Вошли они въ лѣсъ. Темный, да высокій стоитъ онъ. Вѣтерокъ по верху шурхаетъ, пошевеливаетъ макушки, солнцемъ освѣщенные, а внизу-то тихо, пусто, не шелохнется ни что... Чѣмъ дальше, все гуще тарашится синеватая и лохматая чаща. Глушь, дичь, темь... Только гулъ какой-то чуть слышень... Говоръ непонятный царства лѣснаго.

Вошли въ лѣсъ и идутъ Власъ съ Кирей тихо, будто не-



охотно, молчать оба, только трава шуршитъ, да хворостъ хруститъ подъ ногами. Сзади еще видать просвѣтъ съ поля, скоро и его не будетъ и насилу распознаешь пѣшеходовъ среди чащи лохматой. Еще съ версту лѣсомъ итти до поляны.

— Чего горевать-то, заговорилъ дядя Власъ. — Хлѣбушка тебѣ приносить буду. Дѣла никакого, гуляй себѣ, да бѣлокъ пужай... Богу молись. Може и ничего. Молиться умѣешь? *Отче нашъ* знаешь?

— Нѣту-ти... *Богородицу* знаю, пищитъ Киря.

— Ну, *Богородицу*. Это все одно. Какъ знаешь, такъ и молись. Господь милостивъ. Черезъ недѣлю, двѣ и выпустятъ... Ну, а кусаться будешь, вѣстимо и на долго... Тогда опаска на тебя нужна; и съ людьми тебѣ жить не придется. Да оно можетъ и не будетъ... Не вѣдомо. Можетъ тебя это косой кто дернулъ, а не волкъ. Богъ милостивъ... А будетъ потреба кусаться... ты доску возьми, грызи... А на село не смѣй... Убьютъ какъ пса!.. Изъ ружья, паренекъ, убьютъ! Такой приказъ на тебя отъ барыни.

Заплакалъ Киря и горько плакалъ, долго. Полегчало ему немного на душѣ, словно тяжесть съ слезами вылилась.

— Я, дядя Власъ, буду все *Богородицу* читать, шепнуть онъ.—Авось тады и ничего.

— То-то... Да. А-вось! Богъ милостивъ... А то, говорю, доску возьми. Можетъ отгрызешься и пройдешь.

И двигались такъ Власъ съ Кирей ровно, да не спѣшно, а лѣсъ все темнѣлъ, дорога пропала и такъ какая-то тропа насилу видать, ползетъ по травѣ, извиваючись вокругъ стволовъ широкихъ, да кустовъ густыхъ. А осины серебристыя, клены развѣсистыя, сосны и ели колючія, березки бѣлыя все пуще обступали ихъ и тарачили на нихъ вѣтки лохматыя, хватали ихъ за плечи, цѣплялись за шапки и шелестили, шумѣли по-своему, будто ворчали сердито: зачѣмъ вы, люди, лѣзете сюда? Тѣсно вамъ что ль въ полѣ-то? Оставьте насъ въ покоѣ въ нашемъ лѣсномъ царствѣ!

Дядѣ Власу одна сосенка совсѣмъ шапку стащила долой. Осерчалъ онъ на нее.

— Ахъ ты, проклятая...

Взялъ да и сломалъ длинную вѣтку, что дорогу загородила. Хрястнуло дерево и звонко отдалось кругомъ, будто осерчали сосѣдки всѣ за товарку свою и ахнули за нее... Оглянулись оба человѣка, и старый и малый...

— Да-а! Лѣ-ѣсь! заговорилъ дядя. — Это не на селѣ. А сними съ себя крестъ — такъ чего, чего не насмотришься, да не наслушаешься. Нечего *ему* будетъ тогда бояться... и начнетъ предъ тобой свои колѣна откалывать. Да-а. Лѣ-ѣсь! Человѣку этого разумѣть нельзя. А все грѣхи его... Не будь грѣшенъ человекъ... Вотъ святые пустытники живали все въ лѣсу. Потому на все Его воля Божья... Въ лѣсу и грѣха меньше, потому — искушенья нѣту. А на людяхъ все грѣхъ. Живи человекъ въ лѣсу — воромъ не будешь, разсуждалъ дядя Власъ, пробираясь по чащѣ.

— На селѣ людно, дядя. А въ лѣсу нѣтъ! молвилъ Киря.

— То-то, то-то! понялъ Власъ на свой толкъ. — На селѣ, да на людяхъ все грѣхъ. Я вотъ тоже уйти хочу. Не въ лѣсу жить! Нѣтъ! А хочу чрезъ годикъ отпроситься у барыни и пойти по свѣту на храмъ собирать подаяніе... Въ чужихъ людяхъ грѣшишь опять меньше. А въ родной сторонѣ всегда грѣха много.

#### IV.

Опять просвѣтъ сталъ видѣнъ. Скоро вышли Власъ съ Кирей на полянку. Свѣтлую, зеленую полянку такъ и засыпало цвѣтомъ душистымъ, желтымъ, бѣлымъ да лиловымъ. Другимъ воздухомъ на нихъ потянуло.

„Тутъ не темно! А цвѣту-то... Вѣнки плестъ... думаетъ Киря. А то повалятся въ травѣ...“

„Эхъ, сѣнокося богатый!“ думаетъ Власъ.

Въ концѣ полянки торчатъ что-то сѣренькое; она и есть избушка. Зачѣмъ срубъ тутъ поставили, кто таковъ сложилъ его и когда то было, никому вѣрно невѣдомо. Жилъ тутъ давно человекъ какой-то, долго жилъ, померъ и имени ему нѣтъ... Только избушка сѣренькая скосилась на бокъ отъ годовъ большихъ—будто старуха старая пригорюнилась — и стоитъ одна одиныхонька середь зеленой, душистой полянки и молчитъ... Что видѣла, что слышала на вѣку своемъ, о томъ ничего не сказываетъ.

Складена она прежде была съ затѣями, на кирпичѣ, а померъ хозяинъ, люди-воры да и время, тоже воръ не малый, растащили камень и только накрошили кругомъ. Осталась избушка на четырехъ столбикахъ дубовыхъ по угламъ и вы-

шла сѣрая старуха какъ сказывается: избушка на курьихъ ножкахъ.

Подшли Власъ съ Кирей къ избушкѣ, насилу дверь отворили, присохла... Пожалуй съ годъ никто не навѣдывался, не заглядывалъ внутрь... Вошли они въ избушку, оглядѣлись. Все какъ слѣдуетъ быть: стоять двѣ лавки, столъ, печь въ углѣхъ коть малость развалилась, но еще служить можетъ.

Отперъ дядя Власъ окошко, не скоро тоже подалось и оно, будто тоже приросло дерево къ дереву... Выглянулъ онъ изъ окошка на цвѣтистую полянку.

— Эка тишь какая! Не худо тутъ, паренекъ, жить. Коли не одному...

Вздохнулъ Кирякъ и тоже все оглядѣлъ. Окружили полянку высокія деревья, стоятъ дружно да тѣсно и золотыми маковками чуть покачиваютъ. Полянка тоже позлатилась направо отъ заходящаго солнца, а налѣво длинная тѣнь протянулась и угломъ темнымъ легла. Все душисто, ясно, тихо. Тишь, да гладь, да Божья благодать!

— Ну, хозяинъ! Не горюй. Вотъ тебѣ хлѣбушка. Тутъ на недѣлю хватить. А вода, какъ сказано: тутъ у болотца ключъ холодный да чистый. Такой воды и на селѣ нѣтъ. Ну вотъ... и живи; и Господь съ тобой, и анделъ твой хранитель тебя помилуй и спаси. Не станешь кусаться, то недѣли черезъ двѣ, а то и прежде, на село вернуть; ну, а будетъ въ тебѣ потреба кусать... Какъ сказано, возьми что ни на есть и грызи... Глянь-ко на меня; ишь глазища-то! Теперь-то тебя не позываетъ?

— Какъ то-ись...?

— Не позываетъ, къ примѣру, меня куснуть?

— Н-нѣтути...

— Ну, Господь милостивъ. Прости! Мнѣ пора.

— Охъ, боюсь... Боюсь, дядя... Я одинъ помру тутъ, заплакалъ Киря.

— Глупая голова! Что жъ тутъ дѣлать... Боишься? Знамо дѣло боишься. Еще бъ да не бояться. Да пособить-то горю нельзя. Обживешься... Ну, прости.

Вышелъ дядя Власъ на крылечко... вздохнулъ и зашагалъ по полянкѣ ровно и широко. Что онъ цвѣту помялъ своими лаптищами!

Киря сталъ на крылечкѣ и все глядѣлъ за нимъ. Вотъ дядя и полянку прошель, остановился, сорвалъ что-то, долженъ

цвѣтъ... понюхаль и опять зашагалъ; вотъ вошелъ въ лѣсъ и пропалъ за сосной. Выглянула было спина его широкая межъ двухъ деревъ и опять пропала. И нѣтъ его! И нѣтъ ничего. Одинъ Кирякъ. Одинъ! Все темно, глухо, пусто. На полянкѣ какъ-то все вдругъ будто помертвѣло, избушка одичала, деревья лохматыя словно страшнѣй глядятъ, да грозятся на Кирю. Все кругомъ будто узнало и поняло, что дядя Власть ушелъ отъ мальчугана и сразу все посмѣлѣло... будто подумало: одинъ Кирякъ-то! Одинъ! Нечего намъ бояться. Подавай его сюда теперь!

„Охъ, жутко! жутко! Матерь Божья! Ангель хранитель обороны меня, не давай“, заплакалъ и зашепталъ Кирякъ.

И остаться на крылечкѣ боится Киря, и войти въ избушку страшно. Ну, если увидишь тамъ кого на лавкѣ. Сѣлъ мальчуганъ на траву и еще пуще зарыдалъ.

— Дядя Вла-ась! Дя-а-дя Вла-ась! закричалъ онъ вдругъ.

— Вла-а-ась! заоралъ весь лѣсъ со всѣхъ сторонъ.

Онѣмѣлъ малый человѣкъ Кирякъ и шелохнуться, дыхнуть боится... Сердце застучало молотомъ. Плакать пересталъ сразу. Что-то будетъ! Господи Иисусе!

Солнце сѣло, темнѣтъ стало... Лѣсъ, какъ высокая черная изгородь, началъ будто сходиться вокругъ поляны. Будто сжимается онъ кругомъ и подходитъ къ избушкѣ все ближе да ближе, обхватить ее хочетъ. Страхъ еще пуще взялъ Кирю. Вскочилъ онъ и, косясь на лѣсъ, побрелъ тихонько въ избушку...

— Господи! Я въ избушку иду... На мнѣ крестъ есть, вслухъ говорить мальчуганъ, самъ не зная зачѣмъ.

Вошелъ, озирается... Темно... Никого нѣту. Перекрестился онъ, заперъ дверь, столомъ заставилъ. Окошко заперъ, и сталъ прислушиваться. Духъ замираетъ... Все тихо, не шелохнется, не звякнетъ. Крикнуть было кто-то разъ и замолчалъ. Да то филинъ... птица. Сѣлъ на лавку мальчуганъ и уши наострилъ, слушаетъ, озирается...

Такъ и ночь пришла черная, страшная... Такихъ черныхъ ночей и не видалъ никогда Кирякъ ни прежде, ни послѣ... Такая ужъ выдалась ему эта первая ночь.

Забился Киря тихонечко подъ лавку, укрылъ голову поддевкой и началъ молитву повторять... Долго не спится ему... Ну вдругъ выйдетъ онъ изъ лѣсу и придетъ сюда... А Киря одинъ! Люди почитай за двѣ версты.

— Господи! жмется Киря къ углу и плачетъ.

Можетъ онъ ужъ и идетъ по полянкѣ, шагаетъ крючкова-  
тыми ногами, хвостъ по землѣ тащится, рога на головѣ,  
красные глазища... Идетъ да смѣется, что Киря одинъ въ  
избушкѣ... Идетъ! Вотъ можетъ ужъ у двери. Вотъ засту-  
чить сейчасъ копытами лошадиными по крылечку, приотво-  
рить дверь и выглянетъ изъ-за косяка усмѣхаючись страшно.

— Господи помилуй! рыдаетъ мальчуганъ и весь трясется  
и все жметъ къ углу, не знаетъ куда бы голову засунуть  
и все ждетъ, ждетъ...

## V.

Свѣтлое, прохладное утро глянуло въ окно избушки, а за  
нимъ засверкало сквозь макушки деревьевъ яркое солнышко.  
Скоро совсѣмъ выползло оно изъ-за чащи, стало надъ лѣсомъ  
и, позолотивъ поляну, глянуло и въ окно избушки, да прямо  
подъ лавку въ лицо Киряка. Будто подшутить захотѣло, ослѣ-  
пивъ глаза яркими лучами.

— Вставай, молъ, паренекъ! Чего спать-то!

Вскочилъ Киря на ноги, прямо къ окошку и отворилъ его.  
Чудное дѣло, какъ весело и свѣтло на полянкѣ!

„И чего я робѣлъ вчера?“ удивляется мальчуганъ. Вышелъ  
онъ на крылечко и глядитъ на лѣсъ.

„Тутъ же не страшно. Ей Богу“.

Досталъ Киря хлѣба и, забывъ помолиться Богу, сѣлъ на  
порогъ, и, покусывая ломоть, все оглядывалъ онъ поляну,  
лѣсъ да избушку свою на курьихъ ножкахъ.

„Тутъ драться нѣкому. Людей нѣтъ и тетки Анисьи тоже  
нѣтъ. Одинъ себѣ наибольшій“.

„Все бы хорошо, да плечо-то, нѣтъ-нѣтъ да ковырнетъ.  
Все плечо опухло да посинѣло“.

Доѣлъ онъ хлѣбъ и побѣжалъ, какъ дядя Власъ наказы-  
валъ, къ болотцу... Нашелъ ключъ, легъ животомъ на землю  
и давай тянуть ключевую воду. И впрямь такой воды на селѣ  
нѣту.

Всталъ Киря на ноги, быстро пошелъ отъ ключа, но вдругъ  
сталъ какъ вкопанный.

„А теперъ что жъ дѣлать? Что пожелаешь! Самъ себѣ хо-  
зяинъ. Да что?! Какъ же такъ-то? И дѣлать нечего? Нешто  
это бываетъ? Вѣстимо бываетъ. Вонъ собаченка барынина,

сказывала дворня, ничего не дѣлаетъ... Лежить да спать... А барыня-то сама? И она тоже...“

Вернулся Киря тихонько, размышляя дорогой, на свою полянку и опять оглядѣлся. Все стоитъ свѣтлое, зеленое, пахучее. Лѣсъ на безвѣтріи будто замеръ, будто прислушивается самъ къ окрестной тиши. Ничто не шелохнется, не шурхнеть. Ничего и никого нѣтъ нигдѣ. Одинъ онъ, Кирякъ, живая тварь среди общаго покоя и молчанья. Повернулся Киря направо, на-лѣво, назадъ, поглядѣлъ на избушку, поглядѣлъ и на синее чистое небо, потомъ сѣлъ на траву душистую и усмѣхнулся...

„То-то теперь тетка Анисья во дворѣ... ругмя-ругается, аль бьетъ кого непѣходя!“ Мальчугану вдругъ пришло на умъ, что можетъ быть чрезъ нѣсколько дней его опять возьмутъ во дворъ и опять Анисья на немъ срывать все начнетъ. И ему вдругъ какъ будто стало жаль проститься съ полянкой.

„Я здѣсь не боюсь. Одинъ вотъ... а не боюсь. Да и чего робѣть? Вотъ у меня крестъ на шеѣ? а онъ креста тоже боится. Потомъ я *Богородицу* по памяти вычитываю. Онъ этого тоже не любитъ.“

Легъ Киря на спину и, задравъ босыя ноги вверхъ, долго болталъ ими въ воздухѣ. Наконецъ сталъ онъ пристально смотрѣть въ небо чистое.

„Богъ Господь тамъ!“ подумалъ Киря. „На самой середкѣ должно... Матвѣй столяръ сказывалъ, что Его не видать, а Онъ-то все видитъ. Какъ все то-ись... И заступится, если что... Непремѣнно заступится, потому что я крещусь и молюсь. Нынче-то утромъ забылъ! Вечеромъ за то опять *Богородицу* прочту. А еще дядя Власъ говоритъ андѣль хранитель есть у всякаго. И у меня есть“. Разсмѣялся мальчуганъ и заплѣлъ:

— Не бо-юсь! Не бо-о-юсь. Я Божинокѣ молюсь и ничего не бо-о-юсь!..

Полежалъ Киря, повалился на травѣ и опять началъ глядѣть въ небо и думать, что Богъ тамъ, на самой на середкѣ и все видитъ...

„Вотъ теперь Онъ глядитъ и видитъ меня!.. Я-то не вижу, а Онъ видитъ...“

Мальчуганъ пристальнѣе впился глазами въ средину лазурнаго неба и вдругъ сердце его затрепетало. Ему стало страшно.. Онъ вспомнилъ какъ написанъ Богъ на потолокѣ храма сель-

скаго... Большущая борода бѣлая, звѣзда въ темени. То писанный по глиня, а тутъ въ небѣ, то настоящій. Вотъ вдругъ увидишь Его середь неба... а людей никого... Одинъ вѣдь онъ въ лѣсу... Киря всталъ и, косясь на синее небо, пошелъ на опушку лѣса.

Не утерпѣлъ Киря, скоро и въ самый лѣсъ заглянулъ.

Темно! Да ужъ не такъ же темно... Все жъ такі просвѣты есть...

Вдоволь набѣгался мальчуганъ по чащѣ лѣсной, держась поближе къ полянкѣ... Зайца спугнулъ и началъ лаять на него по-собачьи. Сову нашель на дубу и давай швырять чѣмъ попало въ пучеглазую. Долго швырять и сбиль съ сука... Шарахнулась она въ чащу и пропала. Бѣлку видѣлъ онъ, какъ махнула она съ сосны на березку; слазилъ бы за ней, да плечо болить. Бѣлка махнула скоро съ березки на большущій дубъ и сгнула.

Вечеру только проголодался мальчуганъ и припустился въ избушку... Ноги немного подкашивались...

Какъ стало смеркаться, опять притихъ малый человекъ Киря. Хоть ужъ не плачетъ, какъ вчерась, не забивается подъ лавку, лежитъ на ней, а не подъ ней, а все какъ-то жутко... А пришла ночь — не смогъ Кирякъ... Опять подъ лавку! Опять *Богородицу* читать принялся... Опять поддевкой голову закуталъ. Душно страсть, дышать нельзя... Да что дѣлать—боязно!

Но не долго кутался мальчуганъ да молился; умаялся въ день-то по лѣсу бѣгая, и заснулъ тотчасъ... Поддевка свалилась съ головы, руки раскидались по полу... и знать ужъ грезится ему что-то. Одинъ-одинехонекъ въ дремучемъ лѣсу беззаботно смѣется кому-то мальчуганъ.

Вѣдь во снѣ-то онъ не мужикъ, не сирота, не ребенокъ. Во снѣ-то—что на суду Божьемъ—всѣ ровни, и знатный, и нищій, и умный, и глухой... А сны-то золотые, да грезы радужныя у нищихъ да ребятъ, поди, еще золотистѣе, еще радужнѣе!..

## VI.

А на утро, ранымъ-рано, Киря сидѣлъ уже на полу въ избушкѣ, оттачивалъ колышекъ камнемъ острымъ и напѣвалъ вѣсенку:

Плыла лебедь, лебедь си-ня-я...

Кирѣ и дѣла нѣтъ, есть ли на свѣтѣ *льбеди*, да еще синія. Такъ на селѣ пѣсня сказывается. Стало есть.

Вдругъ стукнули на крылечкѣ. Оторопѣлъ Киря, запнулся и сердчишко замерло. Дверь отворилась и полѣзда въ избу борода сѣдая.

Какъ шальной бросился мальчуганъ къ бородѣ этой.

— Дядя! Дядя!

Сталь дядя Власть, глядитъ во всѣ глаза и руку оттопырилъ на мальчугана, что прыгаетъ на него.

— Ты... того... Не куснуть ли?..

— Нѣту, дядя. Радъ больно. Соскучился одинъ.

— И не позывало кусаться?

— Нѣту; зачѣмъ? Я и думать забылъ.

— Ну, а самъ-то ничего?..

— Ничего. И плечо подживаетъ. Ты за мной, дядя?

— Вишь хлѣба принесъ...

— Еще оставаться!..

— Не ладно твое дѣло, родимый.

И рассказалъ дядя Власть по порядку, что барынѣ изъ города отписали въ грамоткѣ, чтобъ имѣть опаску великую на Кирю. Девять дѣнь, молъ, ничего не покажутъ, а ждать девять годовъ—тогда видно будетъ.

Мальчуганъ обомлѣлъ, побѣлѣлъ лицомъ и застылъ на мѣстѣ.

— Дядя, дядя. Что жъ это... Какъ девять?.. Годовъ-то девять!! Годовъ?!

— Да. Что жъ дѣлать, родимый, барыня порѣшила, жить тебѣ зиму и лѣто въ этой самой избушкѣ всѣ девять годовъ. Дрова близко, жаръ сколько хошь, волковъ у насъ не много, да и зачѣмъ они къ тебѣ пойдутъ. Мучицы будутъ отпущать со двора барскаго. Барыня со страховъ приказала всякое, что на потребу тебѣ надо, все отпущать. Можетъ тебѣ съ села и бабу отрядять на зиму — Афимью глухую... Знаешь?.. Чтобъ съ тобой жить... А по мнѣ и это на что! Хуже! Афимья только ругаться да драться будетъ... Одному тебѣ волготнѣе... Только живи, да на село не кажись... А на зиму и платье сошьютъ, тулупчикъ и валенки тоже дадутъ. Дворовые тоже часто навѣдываться и помогать будутъ. Имъ ты всѣмъ жалостенъ такъ сталъ, что въ воскресенье молебень служить о твоёмъ здравіи будутъ. И барыня все объ тебѣ спрашиваетъ и все въ Москву пишетъ.



Давно бросилъ Киря колышекъ и камень, и, сидя на лавкѣ, тяжело задумался и не слушаетъ дядю Власа. Девять годовъ! Вѣдь это сказать легко... а поди-ко проживи ихъ въ лѣсу. Вѣдь чрезъ девять годовъ онъ совсѣмъ большой парень будетъ. Что теперь Васька или Макарка! Ему 21 годъ минеть... Девять годовъ. Какъ же это такъ? Тутъ, коли думать, такъ и мыслями спутаешься.

Сталъ дядя Власъ расписывать Кирѣ какое онъ себѣ хозяйство заведетъ въ избушкѣ. Коли все сбѣлаетъ барыня, какъ общаетъ, то его судьба утѣшная будетъ, какъ еслибъ онъ барченкомъ родился, аль въ сорочкѣ.

Повеселѣлъ было Киря, но скоро опять голову повѣсилъ.

— Да ты, паренекъ, не тоскуй! Мало что говорится да не сбывается, иначе заговорилъ Власъ.—Вѣдь девять-то годовъ—долина страшная. Первое дѣло, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ и въ столько времени барыня сама девять разъ помереть успѣетъ.

— А не помретъ коли, дядя...

— А не помретъ, то второе буду я сказывать: опекунскаго долгу на насъ видимо-невидимо... Ну, да ты этого не разумѣешь... Насъ, паренекъ, не нынѣ, завтра продавать могутъ. Понялъ?

— Кому?...

— Кому... Кто покупать будетъ!..

— И тебя продадутъ, дядя? изумился Киря.

— Вѣстимо... И меня и тебя, бѣшенный ты не бѣшенный—все едино! И избушку эту, и лѣсъ. А коли продадутъ, ты и придешь опять жить на село. Мы новому-то барину не скажемъ ничего про волка. Можетъ и то не волкъ, а косою тебя съѣздилъ кто сдуру.

Но Киря не утѣшился и сталъ плакать. Наплакавшись, рассказалъ онъ все Власу: какъ онъ страсть боится по ночамъ, какъ лѣсъ крикнулъ: Вла-асъ! и многое другое.

— И, и, родимый! Ты эти мысли брось. Говорю, первое дѣло, Богу молись. Этимъ ты пуще всего у лѣшаго, прости Господи, охоту отобьешь смущать тебя. Онъ ни коимъ видомъ не тронетъ безгрѣшнаго. А еще вотъ лучше того, принесу я тебѣ святую икону. Вотъ что...

— Какую?

— Все равно, какую ни на есть. Была у меня одна старенькая, Ивана Воина. Поглядѣтъ надо въ холодной избѣ.

— Ты, дядя, лучше бы Богородицу. Какая вотъ у тетки Анисьи...

— Ну, ладно. Сыщемъ. Ну, вотъ принесу икону Божіей-то Матери, да водички святой въ пузырекѣ. Мы икону тутъ въ углу поставимъ, а водицей окрошимъ всю избенку и крылечко. Этого онъ пуще всего не любить, и на версту полянку обѣгать будетъ; крюку сто версть дастъ, а куда ужъ ты его калачомъ не заманишь.

— Такъ принеси, дядя, не забудь.

Посидѣлъ часокъ старый Власъ и собрался на село.

Пошелъ Кирия проводить его до опушки и опять заплакалъ.

— Я къ барынѣ ужотко схожу, деньжонокъ выманю, да топориншко тебѣ махонькой въ городѣ справлю, и на деревнѣ тоже кой-что соберу тебѣ по хозяйству. Посмотри, какъ ладно будетъ.

— Спасибо... Да икону-то не забудь.

— Не бойсь. Не забуду. Она тебѣ въ благословеніе мое будетъ. Умру я вотъ, дядя Власъ, ты и скажешь: вотъ, моль, его благословеніе. Поминки по мнѣ когда справишь. Будто я тебѣ крестный былъ.

— И пузырекъ, дядя.

— Святой водички... тоже. Ну прости... бѣшенный. Тебѣ на селѣ другого имени нѣтъ: Кириякъ бѣшенный.

— Я же не бѣшенный!.. обидѣлся Кирия.

— Глупая голова! мало-ль что народъ болтаеть. На то онъ и народъ—чтобъ врать... Въ обиду все входить, заху-даешь... Меня вонъ махонькаго попадѣй звали, а я отъ того не пропалъ. Такъ и ты... Ну, прости!..

Запагалъ дядя Власъ и пропалъ въ чащѣ. Поглядѣлъ Кирия, постоялъ, вздохнулъ раза два и побѣжалъ въ избушку.

— Бѣшенный! Какой же я бѣшенный!

И сталъ малый человекъ смѣяться надъ глупостью людской.

— Народъ глушь, болтаеть зря. Вотъ что. На то онъ и народъ, чтобъ врать! важно сказалъ мальчуганъ, входя въ свою избушку.

## VII.

Такъ жилъ Кирия изо дня въ день, цѣлыя недѣли отсчитывалъ. Вволю хлѣбъ жевалъ, водой ключевой запивалъ. По лѣсу ходилъ, лѣсныхъ птицъ слушалъ, со всякою травкой талъ въ бесѣды входить.

Изрѣдка, разъ съ десятокъ, приходили къ нему въ лѣсъ кой-кто съ барскаго двора и съ села. Смѣялись всѣ много, травили его другъ на дружку, да звали бѣшеннымъ; и стали мальчуганъ отъ нихъ въ лѣсъ уходить. Какъ завидить кого изъ незваныхъ гостей на полянѣ, такъ выскочить изъ избушки да въ лѣсъ. И сидитъ въ чащѣ, пока не уйдетъ народъ.

Бояться Кирия пересталъ. Чудное это дѣло! Пришелъ разъ дядя Власъ, принесъ икону Владимірской Божьей Матери и пузырекъ съ святою водой. Уставили они икону въ переднемъ углу, окропили водицей всѣ углы, печь, крыльцо и прочиталъ дядя Власъ молитву премудреную. И какъ рукой сняло страхъ съ Кирыка. Малый ли человекъ посмѣлѣлъ, или онъ вблизи ужъ не отваживался лазить и сто верстъ крюку давалъ, невѣдомо. Но только сила въ томъ, что когда дядя Власъ ушелъ, то мальчуганъ сѣлъ на лавку, поглядѣлъ на икону и усмѣхнулся.

— Ну, вотъ то-ись ничего не страшно! Ну, вотъ просто какъ бы во двору въ дѣвичьей. Даже и того лучше. Тамъ иной разъ соннаго на полу ткнуть мимоходомъ тетка Анисья по ногамъ и крикнетъ: чего ножищи-то свои протянулъ! Баринъ! Пройти нельзя!

Завелась у мальчугана рухлядь разная. Что дворовые дали, а что дядя Власъ, вымоливъ у барыни денегъ, въ городѣ купилъ. Пить воду на болотце Кирыкъ уже не бѣгалъ, а приносилъ воду въ шайкѣ на домъ. Рубилъ онъ себѣ дрова самъ, топилъ печь, а въ печи дѣлалъ себѣ обѣдъ два раза въ недѣлю. Многое множество досталъ Власъ припасовъ, но откуда, не сказалъ. И онъ же досталъ крупъ и выучилъ мальчугана какъ себѣ кашу дѣлать.

День-деньской проводилъ Кирыкъ на полянѣ, да въ лѣсу, грибы таскалъ и варилъ себѣ, ягоду тоже собиралъ и наѣдался въ волку.

Бывало иной разъ тоска возьметъ мальчугана, но не по людямъ, — люди его бѣшеннымъ прозвали, — а тоска отъ бездѣлья. Хотѣлось бы ему что-нибудь мастерить, да нечего. Сталъ было онъ избушку чинить — досокъ нѣтъ, и пилы нѣтъ, да и гвоздей нѣтъ. Кой-что топоромъ сладилъ, а всего нельзя. Обѣщался дядя Власъ помочь горю, инструментъ столярный достать, да денегъ не хватило.

Такъ, день за день, пришла и осень ненастная. Скучно

стало въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ. Отъ зари до зари плачетъ небо тусклое, вѣтеръ воетъ. Страшнѣе сталь лѣсъ густой. Похудѣлъ, оголѣлъ, словно богатырь-мертвецъ стоитъ. И маковки зеленыя пропали, а протянулась кругомъ избушки сѣрая паутина сучковъ да вѣтокъ и тарашится, застилая небо.

Привалила наконецъ и зима, и еще стало тошнѣе въ лѣсу. Завалили сугробы полянку, завалили избушку. Шагу никуда ступить нельзя... Обѣщались прислать Афимью къ Киряку, да день за день все откладывали. А пришелъ Миколинъ день, узнала барыня, что „бѣшеному“ въ лѣсу и одному живетъ—ничего, слава Богу, то и порѣшила: и быть такъ!.. Кирякъ же радъ былъ безъ Афимьи глухой оставаться: чортъ сущій была баба...

За то, какъ завалило сугробами избушку, одичалъ паренекъ совсѣмъ.

И прискакала вдругъ въ избушку гостя нежданая, незваная, что зовутъ сестрицей Тоской. Полюбила она Кирю и зажила съ нимъ въ избушкѣ пустой. Съ нимъ встанетъ утрому и хлѣбъ сухой гложетъ, съ нимъ у окошка примостится и сидитъ, на сугробы выглядываетъ, съ нимъ и спать уляжется... Полюбила сиротку и чуть не загубила дружбой своею. Приѣдетъ дядя Власъ по сугробамъ и отгонитъ неотвязную. А какъ только онъ въ сани и на село, такъ она опять шастъ въ избушку и еще пуще лѣзетъ къ Кири. Иной разъ до слезъ горькихъ доведетъ мальчугана. Плачетъ онъ, плачетъ. А тоска все ни пяди прочь... Только караулить полянку: не ѣдетъ ли Власъ. Коли ѣдетъ, на утекъ надо.

Запоздалъ разъ какъ-то дядя Власъ. Морозы здоровенные подошли. Хлѣбъ весь вышелъ. Дрова есть, а зажечь нечѣмъ. Спицы огня не даютъ. Что-то съ ними приключилось, и не горятъ, какъ заколдованныя. Не въ домекъ мальчугану, что отсырѣли на окнѣ и горѣть не могутъ. А дяди Власа, какъ на грѣхъ, нѣтъ какъ нѣтъ.

Сестрица Тоска осмѣлѣла совсѣмъ, царицей расположилась и позвала гостей, двухъ братцевъ своихъ. Старшій—Голодъ; сказываютъ, кто видѣли: тощій, зеленый, безволосый, глаза провалились, еле живъ... онъ тихонько пришелъ. Младшій—Холодъ; сказываютъ, кто видѣли: бодрый, молодцоватый, самъ весь синій, изо рта паръ валитъ; этотъ ухитрился, въ щель пролѣзъ. Съ виду онъ хоть страшный, а подсядетъ, да начнетъ на ухо нашептывать, такія чудесныя сказки рассказы-

васть, такіа пѣсни напѣваетъ, что вотъ такъ сонъ и клонить.

И сидѣлъ сирота-Кирикъ съ своими гостями незваными. Голодъ знать по одну руку, Холодъ по другую, а Тоска за плечами, обняла его и навалилась на спину...

Разъ какъ-то собрались сестрица и два братца и стали кликать Смерть... Кликали, кричали они на всю полянку, на весь лѣсъ... Услыхала Смерть и пошла на крикъ къ избушкѣ... Да замѣшкалась по счастью, и только было собралась на крылечко лѣзть, а тутъ вдругъ дядя Власъ чрезъ сугробы и валить въ саняхъ, да хлѣба везеть.

И Боже мой что вышло! Сестрица-Тоска какъ только увидѣла Власа (не любила она его), такъ первая и пустилась на утекъ и слѣдъ простыль. Братцы, Холодъ съ Голодомъ, заупрямились... Все лѣзутъ къ мальчугану. Кирикъ лежитъ, радуются глаза его на дядю Власа и только плачутъ, а встать онъ не можетъ. Ухватили его Холодъ съ Голодомъ и держать.

Вотъ затопилъ Власъ печку, растопилъ горячо, страсть, паръ пошелъ отъ сырой избушки, и освѣтилъ алымъ пламенемъ всю горницу. Вскочилъ Холодъ, упрямылся, упрямылся, и такъ, и сякъ... все остаться хочеть. Да не совладать видно съ огнемъ. Забился ужъ онъ къ окошку, гдѣ рама худа была. Положилъ Власъ еще охапку дровъ въ печку... Холодъ не вытерпѣлъ, съ огнемъ, знать, вмѣстѣ въ трубу далъ тягу.

Посадила Власъ Кирику за столъ и давай кормить хлѣбомъ, да картофелемъ печенымъ... Голодъ и не упрямылся, а въ разъ со всѣхъ ногъ бросился и пропаль невѣдомо какъ и куда. И что вышло-то. Побѣжалъ онъ должно-быть къ Смерти, да со злобы и подговорилъ ее. Она и шастъ въ избушку... Только-что Кирикъ поѣлъ хлѣба, не успѣлъ еще и доѣсть всего, что Власъ въ ротъ совалъ, а Смерть и влѣзла въ избушку...

— Смерть моя пришла! говорилъ Кирикъ. — Животъ захватило. Жгеть. Помираю...

Перепугался дядя Власъ. Ума приложить не можетъ. Съ Тоской, съ Голодомъ, съ Голодомъ онъ справился, а со Смертью извѣстно совладать трудно... Сталъ онъ молиться... И должно Господь услышалъ его молитву. Голова его умная сейчасъ смекнула. Сталъ онъ возиться съ Кирикомъ; тѣмъ-то горячимъ животъ растеръ, укуталъ и приставилъ его на лавкѣ грудью къ самой печкѣ.

Билась, билась Смерть, всячески лѣзла къ Кирику... Пять часовъ упрямылась она злоющая... Да не удалось... Выгналъ-таки ее дядя Власъ... и закричалъ, усмѣхаясь:

— Смерть, говоришь. Нѣтъ, врешь! Зачѣмъ умирать? Приходи она послѣ... Когда слѣдовать будетъ... А теперь шалить!..

Съ этого дня только Тоска опять приходила къ Кирѣ, и то когда Власа не было. А Холодъ и Голодъ не смѣли и носу казать. Да и Тоскѣ-то плохое стало житье... Выучилъ Власъ Кирю лапти плести, и навезъ кучу лыка. Какъ при-  
мется Киря за работу, такъ Тоскѣ и надо вонъ изъ избушки... А коли Холодъ съ морозу сунется, полѣзетъ въ дыря избушки—начнетъ Киря дрова колотъ, печку растапливать, чтобы хлѣбъ печь, да похлебку варить, и пропадетъ проклятый. Голодъ и не навѣдывался.

Всю зиму шлеть Кирякъ лапти и кузовки. Кучу цѣлую наворачивалъ въ горницѣ, а Власъ пріѣзжалъ и увозилъ... Дивились люди на селѣ, какъ онъ ловко лапти плетъ. А не дивились люди, какъ мальчуганъ одинъ молъ одиныхонекъ въ лѣсу живетъ. Барыня приказала, такъ что жъ подѣлаешь!

### VIII.

Зима долга, а какъ ни долга, все жъ прошла. Пришла весна, пріѣхалъ какъ-то дядя Власъ и навезъ Кирѣ телѣгу цѣлую всякаго добра. Разбѣжались глаза у мальчугана. Обмеръ онъ.

— Неужто все мнѣ? Кто далъ? Барыня что ль?

— Барыня? Жди отъ нее! А лапти-то, да кузовки... За нихъ, братъ, деньги люди дали. А купцы эти деньги у меня взяли, да вотъ это все дали.

Съ этой поры пошло все на иной ладъ. Киря плететъ лапти да кузовки не десятками, а сотнями, а люди деньги даютъ, а купцы ихъ берутъ и всякое добро даютъ, а дядя Власъ въ избушку его возить.

Какъ собрался разъ дядя по свѣту итти на храмъ соби-  
рать и ушелъ, то Кирѣ заботы ужъ не было. Самъ богатъ.

Среди лѣта вдобавокъ какъ-то разъ приходитъ въ избушку старуха, старая, тощая. Киря ее со страху за саму Смерть принялъ было... Заговорила она по-человѣчьи, назвала себя бабушкой Минодорой и сказала, что за дѣломъ пришла.

Спросила она Кирю, не знаетъ ли хорошихъ мѣстъ грибныхъ въ лѣсу.

— Какъ не знать... Вотъ ступай прямо по овражинѣ, гдѣ березой зачастило... началъ было объяснять мальчуганъ.

— Но бабушка не пошла и говорить:

— Нѣтути, родненькій, мнѣ ужъ не набрать. И глаза протерлись, ничего не видать, да и нагинаться не могу—поясница совсѣмъ не слушаетъ. Нагнешься, да такъ на четвереночкахъ и останешься. А хочешь ты, парнекъ, грибы набирать, сколько твоихъ силъ хватить? Я за ними приходилъ буду, да уносить. За деньги! Мнѣ урокъ даденъ такой. А деньги, извѣстно: тебѣ половина и мнѣ половина. Безъ обману, родненькій.

Чудно-было показалось Кирѣ. За грибы, да деньги брать! Но старуха пояснила ему, что у нихъ офицеровъ много военныхъ, полкомъ пришли. И эти самые офицеры за грибы стали вдругъ деньгами платить. А староста ее въ лѣсъ послалъ.

— Намъ что за дѣло! убѣдила бабушка Кирю. — Сами деньги даютъ. Никто ихъ не неволить.

„И вѣстимо, подумалъ Кирякъ, намъ что за дѣло!“

— Кто жъ такіе эти офицеры? Живые что ль, люди?..

— А господа... Все тѣ же помѣщики. Только все полкомъ ходятъ.

„Чудно!“ подумалъ Киря, удивляясь.

— И полкомъ такъ и пришли?

— Полкомъ, парнекъ. Туча ихъ, видимо-невидимо.

— А мудрено это, бабушка? ты видѣла?

— Что родненькій?

— Полкомъ-то ходить, говорю, мудрено? присталь Киря. — Мудренѣе что ль чѣмъ вотъ колесомъ по дорогѣ?

— Ужъ не знаю, родненькій.

— Я чай дерутся, бабушка?

— Не видала. Да какъ не драться...

— И далече это?.. Поглядѣлъ бы я, да перенялъ...

— Нѣтъ, тутъ вонъ! Верстовъ съ десятокъ... Такъ грибы-то будешь набирать?

— Приходи въ вечеру. Во, натаскаю кучу.

Но бабушка Минодора согласилась ходить два раза въ недѣлю и забирать грибы.

И пошло дѣло опять на ладъ. И шло такъ долго. Хоть и не велики деньги доставались Киряку, всего алтынъ пять заразъ, да помаленечку набралось ихъ много.

Что грибовъ перешло отъ Киря къ бабушкѣ, и счету

нѣтъ... а что грошей перешло отъ бабушки Минодоры къ Кирѣ, тому счетъ есть...

Много ушло ихъ опять къ купцамъ. Навѣдался опять дядя Власъ на село родное, зашелъ къ парню, взялъ деньги и привезъ въ избушку много добра всякаго. Но много денегъ и осталось у молодца.

Когда никого нѣтъ въ избушкѣ, приподниметь Киря одну половицу, да начнетъ отсюда таскать мѣдяки... Кучу наворотить... Никто этого не знаетъ! Самъ дядя Власъ не знаетъ, думаетъ, что всѣ пятаки къ купцамъ уходятъ чрезъ его руки.

Сколько разъ хотѣлъ Киря поднять половицу при дядѣ Власѣ, да такъ ни разу и не заикнулся объ ней.

„Ну, вдругъ попросить у тебя эти деньги дядя Власъ, шепчетъ кто-то Кирѣ на ухо. Или онъ разболтаетъ на селѣ, да придуть отъ барыни ихъ взять за оброкъ. Спасибо старуха Минодора счета не знаетъ, да не помнитъ что перетаскала сюда мѣдяковъ... А ты болтать... Молчи!“

И молчить Киря.

И скоро прибылъ въ избушку баринъ важный и зажилъ весело, звать его Достатокъ. А Голодь-то и Холодь съ сестрицей Тоской? Они гдѣ-жъ? Сказывалъ дядя Власъ, что они зажили недалече, на селѣ, у одной солдатки съ тремя ребятами.

Поднять бы Кирѣ половицу-то въ углу, да выгнать ихъ отъ солдатки, какъ по щучьему велѣнью, также вотъ какъ дядя Власъ прогналъ ихъ разъ отъ него.

„Что жъ проку! думаетъ Киря. Выгонишь ихъ отъ солдатки, они пойдутъ къ другому кому, имъ вездѣ и всегда мѣсто найдется! А на всѣхъ бѣдняковъ никакихъ пятаконъ не хватить...“

Чудень міръ! Сытый и голодный, что Турка и Нѣмецъ, другъ дружку не понять. И будетъ время, что Турка и Нѣмецъ одну рѣчь поведутъ и уразумѣютъ другъ дружку. А сытый и голодный вѣкъ будутъ на разные лады говорить и никогда имъ другъ дружку не понять. Нищій у купца милостыню, бываетъ, по-русски просить, а тому тарабарщиной кажетъ...

## IX.

Дядя Власъ все ходилъ по свѣту... Кирякъ все жилъ да жилъ въ лѣсу... Оба гроши собирали. Одинъ себѣ, другой Богу. Но деньги къ деньгамъ льнутъ. Нежданно, негаданно



случилось такое, что сталъ Кирякъ совсѣмъ богатъ, хотъ и чужими деньгами.

Разъ какъ-то объ осень позднюю, ненастье было на дворѣ и съ утра моросиль дождь. По всему видно было, жди скоро снѣгу и саней. Скучно было Киряку въ избушкѣ. Лѣтомъ онъ оживаль, а какъ дѣло къ зимѣ, и онъ пригорюнится. Холодно, жутко, скучно. Все мертво будетъ опять кругомъ его избушки. Одинъ дымокъ въ трубѣ шевелиться будетъ, а остальное все застынетъ и замретъ. Вдругъ слышитъ онъ шаги, и не успѣлъ встать со скамьи какъ видитъ, самъ дядя Власъ.

Давно, ужъ болѣе года, не видалъ онъ его, съ самыхъ прошлогоднихъ Петровокъ. Метнулся къ нему Кирякъ и началъ кричать съ радости. И Власъ радъ былъ, любилъ онъ парня.

— Здорово, Кирюша!

— Откуда, дядя, Богъ принесъ?

— Издалече, родимый, отвѣчалъ Власъ, помолясь на иконы.—Болѣ года странствовалъ.

— Я чаю, весь свѣтъ пронзошелъ, ходимши-то годъ цѣлый.

— Свѣтъ не свѣтъ, а много мѣстовъ выходиль, покуда ты тутъ сидѣлъ, паренекъ. Дайкосъ мнѣ прежде всего хлѣбца. Отощаль я.

Сѣли они, поѣли, перетолковали о разныхъ дѣлахъ. Рассказаль Кирякъ свое, Власъ свое расписаль: и гдѣ бываль, и что видѣлъ, и чего наслушался. Какимъ слухомъ земля полнится.

— Ну, слушай-ка, родимый, теперь въ оба, сказаль вдругъ Власъ.—Дѣло—важнѣе нѣтъ. Слушай. Хочешь ты мнѣ службу сослужить? Во вѣкъ не забуду. А дѣло не мудреное и не тяжелое. Я тебѣ служиль, теперь ты мнѣ послужи.

— Что укажешь, дядя, хотъ въ воду за тебя топиться полѣзу.

— Зачѣмъ глупое говорить. Топиться грѣхъ. Слушай только, да смѣкай.

И рассказаль дядя Власъ, что, ходючи по свѣту, собралъ онъ на храмъ по обѣщанью безъ малаго тысячу рублей. И теперь у него болѣ полста за пазухой такихъ же рублей. Нести ихъ, какъ и прежде собранные, въ обитель, далече, надо обождать и ужъ заразъ, походивъ еще, объ зимнѣ Микола все снести. Носить же при себѣ боязно. Повѣрить кому на

селѣ тоже боязно. Мало ль злыхъ людей. Деньги не мѣченныя, пропасть могутъ ни за что. У кого деньги въ кулакѣ, тотъ имѣ и хозяинѣ.

— Вотъ я и надумалъ. Возьми ты ихъ и припрядь у себя, до моего приходу. Къ тебѣ какой воръ полѣзеть? Всѣмъ вѣдомо, что у тебя, сироты, скарбъ есть, а денегъ ни алтына. Пропитаться только можешь. А приду я зимой съ другими, возьму эти и снесу всѣ заразъ въ обитель. А помру, ну тогда, парень, тебѣ въ обитель ту не дойти, а нашимъ попамъ отдать, все одно, что въ рѣчку зашвырнуть. Тогда ужъ твое счастье. Бери себѣ и разживайся... А Господь проститъ. Не краденныя. Не Господу Богу, такъ бобылю пошли.

— На что онѣ мнѣ? бормочетъ Кирякъ, и совѣсть взяла его, что дядя Власъ не вѣдаетъ про половицу въ углу.

— Господь Батюшка сиротъ и вдовицъ любить. На твое счастье будетъ, говорю.

— Ладно. Что жъ, дядя. Давай. Цѣло будетъ. Мы тутъ полъ поднимаемъ и скоронимъ въ землю. Хоть и стору, то деньги цѣлы будутъ.

— Только вотъ что, Кирюша... Ты не думай. Я, братъ, не помру. Стало ты на нихъ и не зарься.

— Что ты, дядя, Господь съ тобой. Да на что мнѣ онѣ? Я деньгамъ и счета не вѣдаю. Богъ съ ними. На селѣ вонъ кабакъ деньгу просить, а здѣсь въ лѣсу кому онѣ нужны? У меня свои вотъ...

— То-то, то-то. А я за ними приду объ Миколы. До тѣхъ поръ еще, гляди, сотенную, другую наберу. Православные охотно мнѣ даютъ.

— Приходи. Цѣлы будутъ. А я помру, такъ подь поломъ въ землѣ и найдешь самъ, говоритъ Кирякъ и думаетъ опять: „Положить бы деньги Власовы со своими. Сознаться дядѣ, что и у него есть свои алтыны скопленные“.

Собирался парень, собирался, да языкъ точно къ небу прилипъ, такъ и не заикнулся.

— Ну, Кирюша, такъ тащи топоръ. Примемся строить, говоритъ Власъ.—Скоро смеркаться начнетъ, а мнѣ засвѣтло надо до села добратся.

Принесъ Кирякъ топоръ и все совѣсть его щемить.

Принялись оба за работу, подняли полъ, вырыли яму и въ вечеру деньги, бумажками и серебромъ, были ужъ запрятаны подъ переднимъ угломъ, а полъ опять на мѣстѣ.

Сталь Власъ прощаться и опять говорить:

— Ну береги, Кирюша, это не мои деньги. Православныхъ подаяніе. А помру, ну бери себѣ. Только, парень, опять сказываю: я не помру. И ты на мою смерть мыслей не раскидывай. Это тебѣ грѣхъ будетъ, да и въ дуракахъ опосля останешься какъ вернусь, да унесу деньги.

— Я объ нихъ, дядя, и думать-то не буду. Мнѣ что горохъ, что деньги, все одно, да у меня не мало и своихъ, дядя, есть... Вотъ что! рѣшилъ ужъ сознаться Кирякъ.—Ты не думай, дядя, что я нищъ. У меня тоже деньги есть, повторять парень и ждалъ — вотъ спросить дядя: каки таки у тебя деньги?

Но Власъ ничего не переспросилъ и парень замолчалъ. Покосился онъ только на уголь, гдѣ были деньги его, посеменялъ ногами по полу, да такъ-таки и не сознался, что другая половица у него есть подъемная.

Ушелъ дядя Власъ. Кирякъ проводилъ его чрезъ лѣсъ до поля и вернулся. Еще тошнѣе стало ему одному. Да и совѣсть ужъ грызть совѣмъ начала его, что не сознался Власу въ своихъ грошахъ.

„Вотъ дядя-то довърился. Какую кучу денегъ далъ охранять. А я свои отъ него тайлъ все, и нынѣ не сказался. Богъ и накажетъ“.

Прошли зимніе Миколы, пришли и лѣтніе. Прошло лѣто, пришла осень... минулъ годъ... Дядя Власъ не навѣдывался за деньгами. Не было объ немъ на селѣ ни слуху, ни духу. Разъ какъ-то повстрѣчалъ Кирякъ кузнеца Егора съ села и узналъ отъ него, что Власъ, слышно, будто ко Святымъ Мѣстамъ ушелъ, ко гробу Господню. А вѣрно ли то, нѣтъ ли, никому не вѣдомо. Можетъ и померъ...

Задумался Кирякъ къ вечеру, сидя у себя въ избушкѣ. „А ну, какъ дядя Власъ безъ вѣсти пропадетъ, да деньги-то эти его будутъ?“

— Охъ чтой-то я! ахнулъ парень.—Грѣхъ какой. Лукавый это меня смущать началъ. Зачѣмъ Власу пропадать? Храни его Господи въ пути. Помолится у гроба Господня, такъ и подавно цѣль и невредимъ придетъ на село. Придетъ и спасибо скажетъ, что деньги цѣлы.

Тою же зимой померла на селѣ барыня, на самой на масляницѣ... Блины все!...

Воскресенское село перешло ея племянницѣ. Приѣхала

какъ-то новая барынька, еще дѣвица, вернула хвостомъ по дому, да по саду, напилась молока у дьячихи; гуляя по селу все въ платочекъ сморкалась, а ввечеру же опять уѣхала. У нея, слышь, не такая вотчина подъ Москвой есть. Что тебѣ твой городъ!

А тамъ чрезъ полгода баринъ завелся новый, мужъ барынинъ; тоже и онъ пріѣхалъ на часъ времени. Обозвалъ онъ покойную барыню душой, обѣщался новые порядки завести и, потерявъ на дворѣ штучку какую-то мудреную, да еще съ руки рукавичку зеленую о пяти пальцахъ, уѣхалъ... Про Кирыка никто ему не помянулъ безъ Власа. Такъ по старому все и пошло. Только парни да дѣвки сказывали Кирыку, что на селѣ часто поминають про ту барскую найденную штучку и все ахаютъ, да гадаютъ, на что барину нужда можетъ быть въ эдакой мудреной штучкѣ. Сказывали, что это будто машинка такая—блдохъ ловить...

## Х.

День за днемъ словно муравьи ползуть, а годъ цѣлый со-коломъ пролетитъ... Вотъ былъ, а вотъ и нѣту! Пройдетъ зима, лѣто придетъ, а тамъ опять зима, да эдакъ кругомъ, кажись все то же... Да только кой-кто померъ, а кто и живъ, такъ ужъ человѣкъ-то не тотъ... По пословицѣ: все поють многая лѣта, а все многихъ и нѣту.

Давно ль дядя Власъ привелъ мальчугана Киры въ Солдатскую Сѣчь и посадилъ „бѣшеннаго“ по приказу барыни, а тамъ икону принесъ, да водой святой горницу кропилъ? Сдается недавно было это... А много съ той поры воды утекло. Годъ за годъ, прошло съ тѣхъ поръ болѣе семи годовъ.

Дядя Власъ померъ гдѣ-то на пути. А деньги остались... Мальчуганъ Киры ужъ красавецъ-парень. Сталъ онъ сторожъ лѣсной, сталъ тоже богатъ Власовыми деньгами... Не будь онъ „бѣшенный“, то пора бы ужъ и поженить его, ради тягла да оброка.

Избушка прежняя не то на курьихъ ножкахъ, не то другая. Курьи-то ножки все тѣ же у нея, да шапка другая, крыша новая, свѣтлая тесовая. Крылечко тоже новое о трехъ ступеняхъ, а противъ окошка кусты торчатъ и лѣтомъ цвѣтами посыпають заваленку. Отъ избышки плетень протянулся

на полсотни шаговъ и за нимъ огородъ; золотые подсолнухи выглядываютъ изъ-за частокола... И много за плетнемъ всякой всячины, и морковь, и брюква, и рѣдька, и огурцы...

На полянѣ цвѣту меньше видать, а саженой съ двадцать хлѣбомъ засѣяно. Колосится рожь высокая, да чванливая такая, въ струнку вытянулась, въ небо маковки лѣзутъ и только чуть кланяется, да шепчетъ сердито, когда вѣтеръ пролетный обезпокоитъ ее.

А въ избушкѣ самой тоже многое на перемѣну пошло. Глянешь—глаза протрешь. Божьимъ благословеньемъ зовутъ это люди. Все, чѣмъ богатъ человѣкъ на селѣ, все тутъ есть.

И какъ разжился Кирякъ — міру на аханье. Правда, и всѣмъ вѣдомо, что наловчился онъ такіе кузовки плестъ, что сказываютъ въ самое Москву ихъ возили да продавали.

Вѣрно ли, нѣтъ ли, но въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ часто бывалъ народъ съ села. Киряка на смѣхъ подымать подымали, а завидовать тоже завидовали. Стали его разъ звать по указу барскому на деревню. Новый староста нарочно заходилъ.

— Ты же не бѣшеный. Такъ иди... Тягло будетъ лишнее... Оброкъ положить... Лѣсника стараго найдемъ, лядацаго, а ты работать иди.

— Какъ можно, завѣрялъ парень.—Мнѣ съ людьми жить не рука. Меня зачастую по ночамъ тянетъ кусать. Перекусаю народъ, и вамъ бѣда, и мнѣ грѣхъ!

— Вотъ что! Ну, такъ ужъ сиди въ лѣсу! рѣшилъ староста.

Парень Кирякъ вралъ не спроста.

Съ чего ему съ вольной поляны, да вольнаго лѣса итти подъ палку становаго, да старосты, да десятскаго, да всякаго, у кого она есть. Пусть лучше слухъ лихой идетъ про него, да люди его бойся, чѣмъ итти на село, да на корявой какой силкомъ жениться.

„Нѣтъ, засадили сюда махонькимъ, какъ пса какого прогнали съ села, думалъ Кирякъ,—такъ теперь не зови люди. Теперь ужъ мнѣ не голодно, не холодно и не боязно въ лѣсу.“

И оставили молодца въ лѣсу, только оброкъ положили, да косилась зависть на него людская, что онъ разжился. И въ правду, станешь считать въ горницѣ все добро его — глаза разбѣгутся. Избушка смотритъ что съ иголки. Въ углу

новый столъ большой, надъ нимъ иконы разныя, и по воскреснымъ днямъ лампадка горитъ предъ ликами. Тутъ и Владимірская, Власова, и отъ Печерскихъ угодниковъ Успеніе, изъ дерева рѣзное; тутъ же Никола Чудотворецъ бабушки Минодоры, что за грибами ходила въ лѣсъ, мѣдяки ему таскала. Разъ осенью пришла старая, образъ этотъ принесла и простилась, умирать собираясь, и померла на утро, какъ обѣщалась.

Въ углу шкапчикъ и всякая рухлядь, да посуда, да всякій скарбъ; за печью ларь на запорѣ и замокъ виситъ на немъ, а ключъ при хозяйнѣ... А въ ларѣ томъ тоже кое-что есть... Подъ ларемъ на полу та же прежняя половица, что поднятъ можно, а подъ половицей ужъ мѣшокъ съ деньгами серебряными и бумажными. Тутъ и свои, и Власовы—вмѣстѣ.

Да мало чего нѣтъ въ избушкѣ. Бѣлка на окошкѣ сидитъ ручная, гони ее вонъ—сама вернется въ свою конурку что пристроилъ ей хозяйнъ подъ печкой. По полу зайченокъ прыгаетъ, дикъ еще: чуть что, уши наострить и подъ печку забьется. За окошкомъ на стѣнѣ, противъ куста цвѣтистаго, малиновка въ клѣткѣ и день-деньской пиликаетъ свою пѣсню немудреную.

Въ горницѣ же подъ потолкомъ другая клѣтка побольше и въ ней сѣрая птица сидитъ, кургузая, глупая, хвостъ выпачканъ. Какъ есть суцая дрянъ! А хозяйнъ въ ней души не чае, другомъ сѣрымъ зоветъ и ни за какія деньги не отдастъ. А почему?

Потому что какъ станетъ темнѣть, протянется на полянкѣ синеватая пелена ночная, засіяютъ звѣздочки надъ темнымъ лѣсомъ... иль глянетъ въ избушку мѣсяцъ двурогій... встрепенется сѣрая кургузка и залется звонко... И забудешь, что она сѣрая, да грязная, да глупая. Забудешь избушку и лѣсъ!.. Какъ тебя звать забудешь!.. Затянетъ она свою пѣсню вольную, то оборветъ, то опять подхватитъ, и лется пѣсня, раскатываясь шире да шире, сильнѣй да сильнѣй... На всю вотъ поляну пролилась, до лѣсухватила и на весь лѣсъ дремучій разсыпалась бисеромъ... Къ облакамъ и мѣсяцу взвилась, и на весь міръ Божій словно половодьемъ весеннимъ разлилась... И стоитъ все въ пѣснѣ этой, будто плаваетъ въ морѣ разливанномъ, все онѣмѣло, замерло, не дышитъ, только однѣ звѣздочки мигаютъ весело, зная и онѣ слушаютъ съ небесъ своихъ...

Оборвется пѣсня... и нѣтъ ничего!.. Стучитъ только сѣрая кургузка носомъ по клѣткѣ, сѣмя клюетъ или хвостъ себѣ чистить...

Но въ душѣ Киряковой запало что-то и осталось отъ пѣсни той, и долго щемить тамъ. Да, можетъ быть, еще осталось тоже кой-что и во тѣмъ царствѣ лѣсного. Можетъ тамъ, гдѣ нѣтъ ни глаза, ни уха, ни шаговъ человѣчьихъ, качается да шелеститъ одна малая былинка и можетъ шепчетъ по-своему на ушко сосѣдкѣ: „хорошо поетъ нашъ царевичъ лѣсной!“

Другой главный пріятель Киряка былъ мохнатый песь Шарикъ. Такой песь, что только не говорилъ. И то языкомъ не говорилъ, а глазами да хвостомъ во истину все сказывать могъ.

Однажды зимой, когда стали иногда бродить волки по полямъ, вышелъ Киря погулять около избушки, не отходя далеко. Вдругъ видитъ, летитъ къ нему желтая собака что есть мочи, а за ней волкъ. Киря понялъ, впустилъ бѣднягу въ избушку, а волку на носъ дверь на запоръ. Походилъ, походилъ волкъ и ушелъ во свояси.

А новаго гостя, уже раненаго, уложилъ Кирякъ въ углу за ларемъ и долго, недѣли три, за нимъ ходилъ; день и ночь сидѣлъ онъ надъ нимъ, теплою водой обмывая его раны. Песь и руки и ноги его лизалъ, и случалось, глядя на новаго хозяина и друга, плакалъ. Да, глядитъ, а изъ глазъ будто слеза бѣжитъ. А то, поглядитъ, поглядитъ на Киряка, на горницу, на печку, задумается и, поднявъ голову, долго не шелохнется; а тамъ снова глянетъ на хозяина, вздохнетъ тяжело и опуститъ голову на полъ.

Наконецъ и выздоровѣлъ песь, Шарикомъ прозванъ, и остался жить въ избушкѣ. Знать и псу въ лѣсу показалось лучше, чѣмъ на міру. Полюбилъ же онъ новаго хозяина. Когда Кирякъ ходилъ по горницѣ, а Шарикъ лежалъ въ углѣ, то куда бы хозяинъ ни двинулся, Шарикъ, не подымая морды своей съ протянутыхъ лапъ, водилъ глазами за хозяиномъ. И чуть тотъ къ двери—такъ и шаркнетъ за нимъ.

Когда Кирякъ уходилъ далеко въ лѣсъ, то оставлялъ друга стеречь избушку. Это было вѣрнѣе замка. Песь садился на заваленкѣ или въ горницѣ на лавкѣ у окна и сидѣлъ уши наостривъ. Коли кургузка прыгнетъ, даже хотъ муха пролетитъ, то Шарикъ ужъ гнѣвается и рычитъ сердито. А вы-

лѣзеть изъ-подъ печуры заяцъ, иль бѣлка, онъ такъ и вскинется на нихъ.

— Не смѣй, моль, безъ хозяина никто въ горницѣ самовольничать! Сиди всякъ въ своемъ шесткѣ. Я васъ!...

Извѣстно всему міру, что прикащикъ завсегда строже и злючѣй хозяина, потому что онъ самъ подневольный и въ отвѣтъ ходитъ...

## XI.

Пришло время и на Кирыка бѣда стряслась. Бѣда не бѣда, горе не горе, а ему жить отъ того не легче. Пожалуй иная бѣда и лучше бы. Бѣду избыть можно, горе изжить можно. А у Кирыка наводенье непонятное. Пришло двадцатое лѣто Кирыковой жизни, да и принесло съ собой новую и невѣдомую кручину.

Дѣла всѣ у молодца въ порядкѣ, рожь отъ ведра колоситься собирается, огородъ весь въ цвѣту богатомъ, въ избушкѣ всѣ слава Богу здоровы, и Шарикъ, и зайченокъ, и бѣлка, и кургузка... А Кирыка скучаетъ... На душѣ все тревога, будто вотъ все ждетъ чего. А чего ему ждать?! Чуть что стукнетъ въ избушкѣ, иль крикнетъ кто въ лѣсу, иль чуть мелькнетъ кто на опушкѣ близъ полянки изъ сельчанъ, Кирыкъ прислушивается, да приглаживаетъ, а тамъ отвернется и вздохнетъ... Глядя на него иной разъ и Шарикъ сгруснетъ, и онъ начнетъ помахивать хвостомъ, вздыхать, да визжать тихонько.

А заляется кургузка въ своей клѣткѣ подъ вечеръ тихій... Кирѣ еще тошнѣе и отъ пѣсни и отъ вечерней мглы, что, ложась пеленой на міръ Божій, ложится будто тоже и на сердце его, и будто тоже пеленой черною, тязкою, невыносною... Взялъ бы вотъ да и залился рѣвкой!

Уйдетъ онъ изъ избушки, на заваленку сядетъ, но и тутъ не долго усидитъ, побредетъ въ лѣсную чащу, темную да сонную, и бродитъ тамъ во тьмѣ безъ толку, да пугаетъ птицу въ ея мирной дремѣ.

Душно станетъ Кирѣ. Душнѣе, чѣмъ среди бѣла дня, когда солнце паритъ. Чудное дѣло! Такъ вотъ и бродилъ онъ часто и ночью и днемъ, не находя себѣ мѣста.

Выкупаться что-ль?... думалось ему иногда. Нѣтъ!

Слазить на дерево ради баловства за совой... Ну вотъ!



Либо съ Шарикомъ повозиться на полянѣ?... Нѣтъ! За-чѣмъ?... До того ли! Самъ не знаетъ молодець чего ему надо. Что за притча?...

А притча простая. Притча эта во языцѣхъ была завсегда, есть и будетъ. Стояль свѣтъ и будетъ стоять, и всякій такъ хворать будетъ, какъ Киря вдругъ прихворнулъ теперь.

„Богъ милостивъ, сказалъ бы покойникъ дядя Власъ. Отъ этой хворости люди не мрутъ!“

Любовь просится въ сердце Киряково. Вотъ что!.. И мудреную такую рѣчь ведетъ она:

„Стукъ! стукъ! Пусти родимый! Хочешь, не хочешь, пусти! Я старая вѣковѣчная бродяга, и добрая, и лихая, и пригожая, и отвратная... Два мѣшка со мной за плечами. Въ одномъ-то мѣшкѣ все-то сладко, а въ другомъ все-то горько... Бочку меда сварю я тебѣ, — и ложку дегтя положу на правую. Подъ небеса вознесу тебя—и на землю скину оттуда. И чѣмъ выше залетимъ,—тѣмъ больнѣе свалимся. Поцѣлуевъ горячихъ сотни надаю я тебѣ,—и на каждый тысячу слезъ въ придачу дамъ. Чудный, золотой, новый мѣръ покажу я тебѣ—и словомъ единымъ разнесу его, и въ прахъ превращу. И когда ты смѣлою рукой луну ужъ хватать будешь,—муравей тебя пятой раздавить... Такова моя повадка испоконъ вѣку. Боишься пустить въ гости? Ну, какъ знаешь! А я все-таки войду. Волей-неволей, а поклонися мнѣ земно и послужи мнѣ вѣрой и правдой. И за службу твою усердную—спасибо не жди!“

Изъ-за гостя этой новой все чаще да чаще и уходилъ Кирякъ изъ избушки своей, и бродилъ или сидѣлъ недвижимъ въ чапцѣ лѣсной на травѣ. Здѣсь ему не такъ тошно бывало какъ въ избушкѣ. Часто подумывалъ онъ о томъ, что у всякаго молодца на селѣ есть и молодича, хозяйка, а у него нѣтъ, и не будетъ. Но не думалось и не чаялось Киряку, что кручина-то его въ томъ и есть; что будь у него хозяйка въ избушкѣ, такъ опять зажилъ бы онъ безъ заботы.

Правда, зорко поглядывалъ онъ на опушку, когда невзначай чье платье дѣвичье мелькнетъ въ кустахъ. Правда, не бѣгалъ ужъ онъ въ лѣсъ отъ дѣвокъ что приходили къ нему съ села. Но онѣ-то на него косились. Промежъ собой онѣ смѣхоту о немъ заводили, но отъ него самого сторонились, и заведи онъ съ ними смѣхъ да балагурство, такъ только перепугалъ бы ихъ. Сказано, бѣшенный! И всякая молодича съ

села помнила про то. Поиграй да ухвати онъ иную въ обхватъ ради потѣхи, какъ парни на селѣ завсегда балуются, такъ обмерла бы дѣвица до смерти. Знать, моль, кусаться полѣзь.

И чувствовало сердце Киряково, каждый разъ какъ заводилъ онъ бесѣду съ сельскими молодницами, что онъ — отрѣзанный ломоть.

— Стороняйся отъ меня. Боязно! Я вишь „бѣшенный!“

## ХП.

Бродилъ Киря вотъ такъ-то разъ въ обѣдъ по лѣсу, сѣлъ на прогалинѣ и голову повѣсилъ среди затишья лѣсного; досталъ хлѣба изъ-за пазухи и сталъ жевать съ тоски.

— А-у! летить вдругъ по лѣсу издаличе.

— А-у! А-а-у! отвѣчаютъ вдругъ близехонько изъ чащи, чуть не за спиной его. Даже вздрогнулъ Кирякъ.

Въ кустахъ мелькнулъ кто-то, край платья видать. Вотъ рука бѣлая, голая по плечо, просунулась, колючую вѣтку сорсны гнетъ на сторону и пролѣзаетъ нагибаясь молодница на прогалину. Юбка синяя, воротъ рубахи отъ жары разстегнуть на груди. Грудь высокая и крѣпкая, шнуромъ перетянута, рукава засучены по плечи, на лѣвой рукѣ, бѣлой и сильной, кузовокъ висить. Лицо смуглое, румяное, загорѣлое, усмѣхается; глаза черные ярко свѣтятся, будто вспыхиваютъ. Идетъ будто плыветъ, мягко и тихо ступаютъ по травѣ ноги въ лаптяхъ.

Глядитъ на нее Киря и думаетъ. „Эка молодка... пригожая!“

Увидала она незнаемаго человѣка, оробѣла, стала подѣ деревомъ и глядитъ не сморгнувъ.

— Чего уперлась? Человѣка испугалась?.. смѣется Кирякъ.

— Хлѣбъ-соль... добрый человѣкъ. Нашихъ дѣвокъ не видалъ? говоритъ молодница, косясь на него быстрыми глазами.

— Нѣту... А вы кто такія?

— Воскресенскія. По грибы да по ягоду вышли.

— Воскресенскія... Нашъ приходъ. Тебя-то какъ звать, лебедка? Я чтой-то тебя николи не видывалъ.

— Аксютой. Старостина я... Старосты Филиппа Андроныча стало быть дочка. Мы переселенные съ другого уѣзда. Еще постомъ баринъ тятю сюда старостой поставилъ. Коли жъ ты

нашего приходу сказываешься, какъ же ты насъ не знаешь? Да я чтой-то тебя не признала. Ай ты врешь... Какъ звать-то тебя?

— Имя мое мудреное, смѣется Кирякъ.—Попъ пьянь крестиль. Скажу — не запомнишь. Садись-ка вотъ. Хлѣбца на вотъ отвѣдай.

— Что жъ сяду... Умаялась.

Поставила Аксюта кузовокъ на траву и сѣла съ Кирей; хлѣба взяла, поблагодарила и ѣсть, только бѣлые зубы мелькають да щелкають.

— И жара, парень, стоять. Страсть! Въ лѣсу-то токмо и вздохнешь... а на селѣ пекло наскрозь тебя береть.

— Да, тепло, говорить Кирякъ, а самъ хлѣбъ держитъ въ рукѣ, не ѣсть, а на молодку смотреть.

И чудное творится въ немъ. Глазъ оторвать не можетъ отъ красавицы.

Аксюта не рада, что и сѣла съ нимъ. Хоть она и бѣсъ дѣвка, да на селѣ. А тутъ въ лѣсу незнаемый парень съ ней, да еще молчитъ, да глаза таращить.

— Ну чего! Глаза просмотришь. Аль я углемъ мазаная? вымолвила она наконецъ, искоса глянувъ на парня.

Кирякъ отвелъ глаза отъ нея, вздохнулъ и ни слова не молвивъ, началъ хлѣбъ жевать, глядя въ траву.

Отъ этого вздоха смирнаго, да невеселаго, осмѣлѣла сразу Аксюта.

„Парень смирный. Иль у него бѣда какая стряслась...“ подумала она и прибавила:

— И врешь ты, парень, что тебя попъ пьянь крестиль... А? Чего ты имя-то тайшь свое?.. Ишь ты черномазый какой, да черноглазый. Кабы нашего приходу былъ, я бы тебя спознала. На селѣ-то пригожихъ всего у насъ одинъ Ванька Агаѣинъ... А и тотъ много хуже тебя будетъ. Ишь у тебя озарные глазищи-то! У-у!! Не сглазъ смотри.

Разсмѣялась Аксюта и, ткнувъ пальцемъ на Кирю, принялась опять хлѣбъ жевать. А этотъ на нее опять смотреть.

— Экая ты молодница изъ себя...

— Что? Корявая?.. заигрываетъ Аксюта.

— Пригожа ты больно... Ишь вѣдь какая. Много у васъ такихъ-то, какъ ты?

— Что я!.. Я, слышь, на цыганку схожа. А у насъ на селѣ есть дѣвки краше меня много. Кабы нашъ-то былъ, такъ

не пыталъ бы... Одна есть Маряша, куда лучше меня будетъ. Толстѣя, здоровая. Корову свою силкомъ за рога въ клѣтъ таскаетъ, а корова-то пеструха бодливая. А то есть еще...

— Гдѣ ей до тебя! Маряшѣ-то... Что толста-то? Эка невидаль. Гдѣ ей до тебя!

— Нешто ее знаешь?

— Нѣту-ти, не знаю... Такъ говорю.

Разсмѣялась Аксюта.

— Не знаешь; а говоришь, гдѣ ей до меня. Зубоскаль ты.

— Зачѣмъ... Ты-то ужъ больно пригожа.

— Вотъ ты званья своего не сказываешь. Бѣглый ты.

— Зарѣжу, боишься?

— Небойсь! Меня рѣзать не за что. Грибы-то я и такъ отдамъ. Я, парень, никого не боюсь. Вотъ что!

— Ужъ и не боишься? Гляди-ко, проворна. Киряка бѣшанаго я чай боишься.

Аксюта перестала смѣяться и, держа во рту за смуглоую щекой непрожеванный кусокъ, глянула на парня.

— Киряка всѣ боятся, вымолвила она, качнувъ головой и прибавила тише будто тайное что—онъ слышь, паря, кусается; все одно, что волкъ.

— Кусается? Ишь вѣдь! мотнулъ Кирякъ головой.—Какъ же ты одна бродишь по лѣсу?.. Ну повстрѣчаешь его невзначай... Онъ тутъ не далече живетъ.

— Повстрѣчаю, убѣгу къ своимъ товаркамъ. Насъ тутъ много. Да я его боюсь-то не гораздо шибко. Вотъ что, парень.

— Не боишься?! И врешь!..

Аксюта подумала и создалась, тряхнувъ головой:

— Малость самую боюсь. Самую то-ись малость...

— Отчего жъ такъ?

Усмѣхнулась Аксюта и начала опять жевать.

— Пошто же ты такая приткая, коли всѣ боятся?

— То-то не всѣ. Дядя Власъ не боялся, ходилъ къ нему въ избушку и ночеваль у него... А дядя Власъ что бывало сказаль, то его слово, парень, свято... А онъ вишь у тяти бываль, еще когда мы у себя жили, не переселенные, и часто у насъ про то сказываль тятѣ, а я слушала. Сказываль онъ: все то врутъ про Киряка.

Поглядѣль Киря на Аксюту и глаза его блеснули сильнѣе, тревожно опять на душѣ стало.

Видно ему дѣло есть до того, что Аксюта не боится бѣшенанаго.

— Такъ ты Киряка не боишься?

— Заладилъ свое... Говорять, малость боюсь. На то у меня свои мысли есть, чтобы не гораздо бояться. Я, парень, умная и безстрашная. Тятя сказываетъ, меня бы слѣдъ въ солдаты сдать. Онъ меня съчъ собираетъся.

— За что?

— За что? Такъ! За безстрашье. Да за мысли...

— Какія мысли?

— Мало что! Много знать будешь—скоро состаришься. И о Кирякѣ у меня тоже свои мысли.

— Дядя Власъ говариваль?

— Хочь бы и онъ! Тебѣ что? Ты что за допрощикъ?

— Стало ты знаешь, что онъ не бѣшенный, не кусается...

Что все то враки. Вѣрно знаешь?

— Вѣрно! Коли тебѣ дѣло какое будетъ къ нему, иди не бось. Я и сама къ ему въ избушку собиралась разъ. Вотъ что! Одна собиралась.

— И зря болтаешь. Сейчасъ говорила: встрѣчу въ лѣсу, убѣгу. Да и зачѣмъ тебѣ къ нему итти?

— Видѣть хочю. Дядя Власъ сказываль, у него бѣлка ручная, соловей тоже есть, поеть знатно. А я до соловьевъ охоча.

— А-у! а-а-у! раздалось вдругъ въ лѣсу, недалече отъ нихъ.

— Это Лушка голось подаетъ. Лушку знаешь?

— Знаю. Кривая вѣдьма...

— Анъ врешь, не крива.

— Ак-сю-у-у-та-а! раздался снова голось Лушки и звонко да визгливо разнеслось, будто шлепнуло по лѣсу: та-а.

— Аксюта откликнулась:—Сю-у-да!

Киря всталъ.

— Ну прости, лебедка, мнѣ домой пора.

— Что жь ты вскочилъ? Пойдемъ грибы искать.

— Нѣту... Мнѣ пора...

— Ты бы, парень, на село приходилъ. Вотъ хочь въ Ильинъ день. На селѣ у насъ масляница будетъ.

— Мнѣ далече. А ты вотъ приходи опять послѣзавтрева сюда, тихо да робко выговорилъ Киря и самъ себѣ подивился.—Я тебя на самое грибное мѣсто сведу. Въ разъ одинъ эдакихъ три короба наберешь. Ладно чтоль?..

А самъ парень думаль: и что это я затѣваю?

— А ты нешто будешь въ нашей сторонѣ?

— Я къ Киряку на побывку собираюсь на весь день.

Аксюта вытаращила свои зоркіе глаза.

— Мы съ нимъ водимся. Съ Кирякомъ-то. И давно.

— Вона какъ. Что жъ водитесь... Да ты не балуешься?

— Зачѣмъ. Буду, говорю, у Киряка весь день. И сюда приду.

— Я вотъ что, парень. Аксюта запнулась. — Я, парень, приду. Дѣвки наши по грибы опять собираются... Я отъ нихъ отстану, да тайкомъ и заверну сюда. А ты тутъ жди. Да ты не обманешь? Мѣсто-то покажешь?

— Такъ тебя прямо на него и поставлю. Придешь что ль?

— Да ты вотъ не сказываешься, какъ тебя звать. А то бы я безпремѣнно пришла.

— Кузьмой меня звать, Бѣлкинымъ. На вотъ!

— Ну, ладно. Прости Кузьма. Такъ я приду.

— Прощай. Буду тебя тутъ ждать съ обѣдовъ съ самыхъ.

— А-у! кричить Лушка близко за кустами.

Аксюта не откликнулась, а глядѣла зорко вслѣдъ парню и будто что еще хотѣлось ей сказать, да не простое...

Киря отошелъ скорѣе. Зналъ онъ бабу что кричить: ау.

— Отчего бы тебѣ, Кузьма, къ намъ на село не прійти? крикнула вдругъ Аксюта ему вслѣдъ и усмѣхнулась. — Я бы съ тобой, говорю, въ хороводъ пошла. Приходи. Слышь что ль, черноглазый!

— У васъ почище меня парни есть для хороводовъ-то, разсмѣялся Киря, пролѣзая въ кусты.

— А може и нѣту! крикнула опять Аксюта, когда ужъ онъ пропалъ въ кустахъ, и прибавила весело, выкрикнувъ что было въ ней мочи: — Чортъ черномазый!..

Хотѣлъ Кирякъ тоже крикнуть въ отвѣтъ: вѣдьма кievская! да нельзя было. Лушка, пожалуй, по голосу его узнаетъ и вся его затѣя съ Аксютой прахомъ пойдетъ. Побойтся дѣвица къ „бѣшенному“ прійти въ лѣсъ по уговору.

Вернулся парень домой, и цѣлый день, а за утро опять день цѣлый диковинное съ нимъ было. Избушка его, Шарикъ и други пріятели: бѣлка, заяцъ, соловушка, даже лавка и столъ, всѣ иначе будто поглядывали на него, будто бурчали про себя:

— Аксюта! Аксюта! Аксюта?!

— Ахъ ты Господи! Какое дѣло?!.. думаль Кирякъ, и будто себѣ загадку загадываль, самъ тоже все повторяль: Д-да!? Аксюта!?

### ХІІІ.

На третій день уже въ сумерки вдругъ завидѣль Кирякъ на опушкѣ платьѣ синее.

Вышла на поляну молодница, постояла, поглядѣла и усѣлась на траву подь деревомъ.

„Аксюта пришла!“ шепнулъ Кирякъ, глядя въ окно, а самъ будто обмеръ. Ни съ мѣста. Будто страшное что на опушкѣ. Да вдругъ и бросился изъ избушки... шапку забыль, кузовокъ забыль. Вернулся за ними, весело усмѣхаясь, и опять побѣжалъ.

— Увидаль меня? Здорово, востроглазый! кричить Аксюта на встрѣчу.

— Здорово! Что поздно пришла?

— Работа была... Что Кирякъ-то?

— Что ему... Ничего.

— Какъ ты не боишься эдакъ съ нимъ водиться? Я вотъ на селѣ вечероеъ обинякомъ спрашивала. Баяють всѣ, что онъ бѣшенный совсѣмъ. Я выходить на поляну-то боялась... Ну коли, думаю, да нѣту тебя, а онъ шаркнетъ ко мнѣ. Я вѣдь одна нонѣ пришла, безъ товарокъ.

— Враки все. Говорю тебѣ: нѣту его смириѣе, Киряка этого. Хочешь, сама повидаетъ.

— Чтой-то ты! Зачѣмъ? Богъ съ нимъ!

— Со мной, небось.

— Развѣ что съ тобой. Да и то страшно. А одна ни за какія я, парень, коврижки не сунулась бы къ нему... А ужъ больно мнѣ его видать хочется. Всѣ болтають о немъ, а я одна не видала ни въ жисть.

— Увидишь, дай срокъ. А теперь за грибами поидемъ.

— Поидемъ... А что жъ, парень, село-то свое вѣдь ты не сказалъ. Что хорошаго? Вотъ по лѣсу идемъ вмѣстѣ, а чей ты будешь, мнѣ не вѣдомо. Не гоже эдакъ-то таиться.

— Ну, изъ Матвѣевки, коли ужъ приспичило!

— Такъ-то лучше. Ты, Кузьма, меня не обидишь? Въ ѡврагъ не заведешь? Вы, Матвѣевцы, озорники, сказываютъ, большіе, конокрады не лучше Демьяновцевъ.

— Полно ужь. Ты-то меня не обидь! А мнѣ гдѣ обидѣть! смѣется Кирякъ.— Да ты и не конь, а дѣвка. Иди-ко, небось.

Пошли они по лѣсу. Кирякъ весель былъ, какъ давно не бывалъ. Всякое болталъ Аксютъ о лѣсѣ, показывалъ да рассказывалъ, что нѣту въ немъ ни лѣшаго, ни другого чего страшнаго.

Слушала все Аксюта, глаза свои черные что уголь раскрывала широко, головой мотала, да охала.

— Охъ, востроглазый! Все ужь ты знаешь. Да и безстрашный тоже. Лѣшаго вишь на тебя нѣтъ. И Кирякъ-то не бѣшеный.

Пришли они въ густую чащу; прямо на мѣсто привелъ ее востроглазый. Бѣлыхъ грибовъ, да березовиковъ—тѣма тѣмущая, и не нагибайся, а садись, да и укладывай, не сходя съ мѣста. Оба кузова наполнили они сразу, да подоль Аксюта тоже полнехонекъ набрала.

— Ну, будетъ съ тебя... До двора не дотащишь всего.

— Спасибо тебѣ, Кузьма.

— Сядемъ чтоль, хлѣбца поѣдимъ, да вотъ еще на, баловничества тебѣ захватилъ съ собой. Угошайся.

Сѣли они. Кирякъ досталъ хлѣбъ изъ-за пазухи, да въ придачу изъ кармана высыпалъ огурчиковъ, да гороху свѣжаго кучу навалилъ въ свою шапку и поставилъ предъ Аксютой.

Аксюта принялась за ѣду, а сама заглядываетъ парню въ лицо, усмѣхаясь лукаво.

— Чего ты къ намъ,—свое я скажу,—на село николи не навѣдаешься, востроглазый?

— И безъ меня у васъ парни есть, усмѣхается тоже и Кирякъ.

— Знамо есть. Да что жъ что есть? И ты бы ходилъ.

— На что я пойду? Не къ кому мнѣ ходить. Нѣту у меня тамотко никого. Ни пріятельевъ, ни зазнобы.

— Ужъ и нѣту? усмѣхается Аксюта, быстро огурецъ кусая, такъ что хруститъ на зубахъ, будто сахаръ.— Ужъ и нѣту! повторяетъ молодка, заигрывая.— Ври ты...

— Да и нѣту.

— А можетъ и есть?

— Никого нѣту.

— Ужъ и никого? усмѣхается все воструха.

— Вѣстимо... Не ты же ждать будешь.



Откусила Аксюта другой огурецъ и пустила въ парня кускомъ, а сама громко смѣется, такъ что грудь будто прыгаетъ подъ сарафаномъ.

— Чего швыряться-то... Правду говорю. Не ты же, воструха, поджидать будешь.

— Что жъ? И я бы пожалуй... Ванька-то Агаѣинъ глаза намозолилъ. Все одинъ, да одинъ. Носъ-то у него закорючкой. Да и съ Демьяновскими водиться сталъ, а въ Демьяновъ народъ, парень, воръ на воръ. Тятя говорилъ. А ты бы вотъ пришелъ на село. Мы бы съ тобой въ хороводъ пошли. А то на качели. Я, парень, такъ раскачивать умѣю, что дѣвки то и дѣло съ доски у меня валяются; со мною всѣ боятся на качеляхъ. Разъ было Ваньку спшибла съ доски объ земь...

Молчалъ Кирякъ долго, не отвѣчалъ на всякія рѣчи Аксюты... Искушала его воструха и розсказнями своими, и глазами лукавыми, и смѣхотой озарною да задорною.

— Что жъ ты уперся? Аль языкъ прикусилъ ѣмши?

— Смѣхъ тебѣ все, Аксюта. Вижу я... Съ тобой свяжешься, горе наживешь... И опять тоже скажу... Не знаешь ты кто я таковъ. Не знаешь съ кѣмъ въ лѣсу-то стакнулась.

Не весело сказала это Киря. Не усмѣхнулась Аксюта, перестала кусать ломоть и глядить, какъ востроглазый парень вдругъ голову повѣсилъ.

— Вамъ вострухамъ, молодежицамъ, все смѣхота одна...

— Кому смѣхота тутъ?.. Я не вру! громко выговорила красавица.—Приходи на село въ праздникъ. Вотъ Ильинъ день будетъ. Придешь—увидишь... коли я кого подпущу къ себѣ, окромя тебя. Вотъ что, Кузьма. У меня двухъ словъ нѣту, парень. Мнѣ Ванька-то Агаѣинъ поперекъ горла сталъ. Ты и смирънѣй его и пригожѣй. Вотъ что!

Хорошимъ голосомъ сказала это Аксюта. Смѣху не было на губахъ. За сердце хватили Киряка слова ея. Поднял онъ голову, зорко глянулъ на дѣвицу и будто огнемъ пыхнулъ его взглядъ. Отвернулась даже воструха отъ глазъ его и на пенекъ глядить... Молчить Кирякъ и только смотреть.

— Смѣхоты тутъ нѣту... шепчетъ Аксюта, не глядя.

— Эхъ-ма!.. Спрошу я у тебя. Кто я таковъ? Откуда? Какъ звать меня? Скажи-тка?

— Кузьмой.

— Кузьмой! То-то... Не былъ я Кузьмой никогда. Сказать тебѣ кто я таковъ, оробѣешь и зазывать-то къ себѣ перестанешь.

— Чего мнѣ робѣть? Не бойсь... Не изъ таковскихъ. Какъ ты ни зовися, я все свое сказывать буду. И зазывать буду... Будь ты хоть душегубъ лѣсной, мнѣ что! Я не купецъ товарный...

— Кирякомъ меня зовутъ. Бѣшенымъ. Вотъ что!

Обмерла Аксюта, ахнула и качнулась на траву, будто подстрѣленная. Хлѣбъ уронила, горохъ изъ шапки съ колѣнъ просыпала и молча вытаращила глаза на парня; будто помертвѣла вся она, лицо побѣлѣло, руки трясутся... И вдругъ заплакала воструха.

— Что, лебедка, грустно да тихо выговорилъ Кирякъ, — позовешь теперь хороводы водить? Да не робѣй. Не плачь. Обидно это. Господи, Батюшка небесный! Вотъ вѣдь второй день калякаемъ. Ничего. Не укусилъ вѣдь. А теперь узнала—дрожь взяла, да выть стала.

— Охъ, боюся я... Матеръ Божья, боюсь... плачетъ Аксюта и все таращить глаза на „бѣшенана“.

Молчить Кирякъ, не шелохнется и голову повѣсилъ.

Встала вдругъ тихонько Аксюта съ мѣста. За сердце взяло Киряка.

— Что жъ?.. Обидѣть хочешь и ты... Какъ отъ звѣря какого сторонисься. Неужто жъ взаправду робѣешь ты меня?!

— Да какъ же, родимый... Посуди... Люди баюють, ты укусишь!

— Ну, присядь ты хоть на минутку. Поясню я тебѣ самъ все... А тамъ какъ знаешь. Хочешь уйдешь, хочешь останешься.

Побоялась Аксюта послушаться „бѣшенана“, изъ страха съѣла подальше и робко уставилась на парня. Началъ Кирякъ сказывать ей о себѣ все, какъ было, какъ онъ за бѣшенана прослылъ. Чуднымъ голосомъ говорилъ Кирякъ. Каждое его слово прямо Аксюту за душу брало. Жаль ей стало парня пригожаго. Скоро напугъ ея прошелъ совѣтъ. Недаромъ востра да шуэтра была красавица.

„Гдѣ такого бояться? Эко люди-то врутъ. Онъ парень пригожий. Гдѣ ему кусаться?“ думала Аксюта, когда прослушала весь его сказъ.

— Повѣрила... Аль все боишься? спрашиваетъ наконецъ Кирякъ.

— Нѣту, не боюсь... Можетъ и правда все то враки одни. Дядя Власъ тоже такъ-то вотъ сказываль.

— Будешь приходить за грибами?

— Буду.

— Ну спасибо тебѣ. А то я бобылемъ живу. Какъ дядя Власъ ушелъ, такъ я одинъ совсѣмъ и остался. Совсѣмъ какъ звѣрь какой. Придутъ отъ васъ парни да дѣвки, только дразнять.

Посидѣли они еще съ часъ времени и Аксюта совсѣмъ по-смѣлѣла. Опять горохъ ѣсть, да огурцы грызеть. Повеселѣлъ и Киря, да такъ, какъ еще никогда не бывалъ весель. Сталь онъ звать Аксюту въ избушку прійти. Она обѣщала, хоть и не сразу.

— Не обманешь?

— Сказала приду. Въ Ильинъ день и приду. Вотъ что! Я тебя теперь, что тятку,—ничего не боюсь.

— Ладно. Ждать буду... А теперь пора тебѣ ко двору.

Поднялись они. Аксюта опять усмѣхаться начала. Киря радъ былъ этому смѣху, стало и впрямь не боится его.

— Ну, прости, красавица. Спасибо тебѣ за то, что повѣрила, да не робѣешь меня.

— Прости, Кирюша.

Взяла Аксюта кузова свои съ грибами, стоять, глядять на него и еще пуще смѣется.

— Ну чего? Смѣхунья? шепчетъ Кирякъ.

— Востроглазый! шепчетъ дѣвушка. — Востроглазый! вторяетъ, глядя ему въ лицо, будто этимъ другое что сказать хочеть.

— Сама ты востроглазая. Взялъ бы я тебя да... Да не кусать бы сталъ, а взялъ бы вотъ эдакъ...

— Какъ эдакъ-то?.. Руки коротки... Я не дамся.

— Не дамся... Ну не надо, Богъ съ тобой...

— Не надо... Эхъ ты!... Ванька вотъ не такъ... Ты скажи: силкомъ возьму.. Сунься. Можетъ я тебя такъ тресну, что окостенишь. Валдай!..

— Что такое?

— Два покоя! хохочеть Аксюта, а глаза такъ и прыгаютъ, такъ и горять...

— Охъ, огонь ты!... вздохнулъ Кирякъ, глядя на нее.

— Знамо огонь. А ты что? казанская сирота.

— Съ вами повадка нужна. А я вишь въ лѣсу выросъ. Меня осмѣять не мудренное дѣло.

Кирыкъ грустно глянулъ на дѣвицу и она сразу перестала смѣяться.

— Ты, Кирыша, чуденъ больно, непонятный какой-то, выговорила Аксюта...— Пстой вотъ... Приду я къ тебѣ въ Ильинъ день — я тебя пройму. Ишь черномазый чертъ какой... а смиренъ. Нѣтъ того, чтобы... И Аксюта загнулась.

— Чего?...

— Ничего! Ну тебя совсѣмъ! Непонятный. Прощай!

— Проводить тебя до поля?

— Веди, дѣдушка Елизаръ...

— Что еще?

— Ничего!

— Ну не пойду, коли не хочешь.

— О-охъ какой! Ну тебя, прощай, кисляй.

И Аксюта, отчаянно махнувъ рукой, запагала изъ лѣсу. Кирыкъ долго стоялъ, не двигаясь, сопѣлъ да въ траву смотрѣлъ.

#### XIV.

До Ильина дня четыре дня осталось. Работа не клеилась у Кирыка. Утромъ разъ забылъ корму птицамъ всыпать, чуть не заморилъ птахъ своихъ, къ бѣлкѣ и не подошелъ ни одного разу. Хлѣбъ въ печкѣ сжегъ... Богу молился, грѣшилъ только... Не такія молитвы Богу угодны. Новое и чудное съ нимъ приключилось. Околдовала его воструха, — старостина дочка.

Кирыкъ все про Ильинъ день думалъ. Чтобы ни дѣлалъ, а Ильинъ день въ головѣ застрялъ и мѣшаетъ. Праздникъ извѣстно большой, да и храмовой еще въ Воскресенскомъ-то селѣ. Грусть одолѣла вдругъ Киры, сталъ онъ думать о томъ, какъ люди живутъ и какъ онъ. Вотъ въ праздникъ, православный народъ принарядится, въ церковь Божью повалить, изъ церкви, пообѣдавъ, разряженный на улицу высыпетъ. Пѣсни пойдутъ, хороводы. А на рѣчкѣ близъ моста соберутся парни купаться и тоже потѣха день-деньской. А на краю-то села, гдѣ кабакъ большой, еще пуще стонъ стоять будетъ. И крики, и пѣсни, и драка, и смѣхъ, и горе. А у него въ лѣсу что праздникъ, что будни, все едино...

Захотѣлось ему избушку что ли бросить? на селѣ съ людьми жить? Стало выходить Кирякъ загрустил о храмѣ Божьемъ, о людяхъ; стало быть его тянеть тоже пѣсни пѣть, хороводы водить, водку пить, съ дѣвками ласы точить.

„Какъ можно! сталъ разсуждать Кирякъ. Чтой-то меня никакъ лукавый смущать сталъ. Какъ это, чтобъ мнѣ избушку бросить, да къ людямъ итти. Ну ихъ! Пропади они пропадомъ! Вотъ въ Ильинъ день отведу душу. Нагуляюсь съ Аксютой по лѣсу“.

Прошли четыре дни, пришелъ Ильинъ день. Не весело было Киры для праздника. Опять тѣ же мысли.

„Вотъ теперъ всѣ люди во храмѣ, Богу молятся,“ думалось ему поутру.

Сталъ и онъ молиться, да скоро къ окошку отошелъ... Голова что ли тяжела была, иль недужилось. А на душѣ мутить все и глаза все къ окошку тянеть. А чего на опушкѣ лѣсной увидишь? Нѣтъ ничего. Да и не будетъ... Такъ, зря болтала воструха, ради баловства обѣщала быть...

Полдень пришелъ. Сидитъ Киры на крыльцѣ, на поляну смотреть. То войдетъ въ избу, то опять выйдетъ и опять глядитъ во всѣ глаза. Тоска одолѣла его совсѣмъ. Шарикъ тоже за хозяиномъ ходитъ и жалобно визжитъ. Чуетъ песь, что неладное у хозяина дѣется.

„Никто въ лѣсъ не пойдетъ за грибами... думается Кирыку. Кому охота ходить въ праздникъ такой большой. Весь народъ на улицѣ, гульба, веселье. Мужики, бабы, парни, дѣвки, ребятки—всѣ гуляютъ, кто во что гораздъ. Кто пляшетъ да поетъ, кто въ бабки играетъ, кто водку тянеть, кто изъ парней побогаче, насажавъ въ телѣгу полдюжины бабъ, катаетъ ихъ по селу; у качелей пряники, орѣхи, стручки ѣдятъ; а пѣсни-то голосистыя такъ и гудятъ по всему селу, да надъ рѣкой... Веселье! Что жъ? И не грѣхъ совсѣмъ. Праздникъ большой! Да, кому охота по грибы въ лѣсъ итти? Никто не пойдетъ въ эдакій день. Ванька-то Агаѣинъ я чай въ хороводахъ-то теперъ оттопываетъ. Молодецъ онъ, слышь, изъ себя, какихъ нѣту. Всѣ дѣвки на него зарятся. Вотъ она небось тоже... Аксюта... Я чай и она теперъ съ нимъ въ хороводѣ пляшетъ, а тамъ ввечеру за овинами встрѣнутся по уговору.“

И Кирякъ вдругъ двинулся и охнулъ, будто защемило что. Шарикъ къ нему сунулся съ лаской.

— Ну, пошелъ! Куда лѣзешь, окаанный! крикнулъ вдругъ Кирякъ на пріятеля и чуть не ударилъ пса, но тотчасъ самъ удивился и приласкалъ друга.

Долго сидѣлъ Кирякъ на крылечкѣ, и не утерпѣла душа. Заперъ онъ Шарика въ горницѣ и пошелъ по полянѣ туда, гдѣ тропа на село ведетъ. Вошелъ онъ съ поляны въ лѣсъ, прошелъ много, посвѣтлѣлъ лѣсъ. Вонъ поле, рѣчка, за ней село видать... Часъ цѣлый, а то болѣе простоялъ онъ, глядя на село и назадъ пошелъ, ничего не дождавшись. И сѣлъ опять у себя на крылечкѣ.

„Ужъ смеркаться скоро станетъ,“ думаетъ Кирякъ, и горько у него на душѣ стало. „Тамъ, поди, Ванька пляшетъ. Каки тебѣ тутъ грибы въ лѣсу! У него-то пряники медовые, а у тебя хлѣбъ да горохъ!“ — И вдругъ какъ бы озлобился Кирякъ. — „Какое имъ дѣло до меня, народу-то? Имъ бы на смѣхъ подымать. Совсѣмъ я одинъ. И помрешь тутъ, такъ небось зарюютъ, какъ пса.“

И смеркаться стало; луна выплыла изъ-за деревъ и потемному небу пошла... Какъ и прежде, какъ и всегда... тихо да плавно. А на нее, какъ всегда, сѣрыя, кудрявыя облачки, откуда ни возьмись, побѣжали; вотъ повстрѣчались съ ней, зацѣпились. Потемнѣло все, и полянка, и избушка, и Кирякъ на крыльцѣ... Пробѣжали облачки дальше въ свою сторону и опять выкатилась луна, и опять пошла на встрѣчу другого большаго облака. Облацище это звѣремъ чуднымъ растарацилось, долгія руки и ноги и хвостъ пушистый закорючкой размахнуло по небу ночному... А луна все идетъ на него, какъ всегда... тихо да спокойно. Смотритъ она серебряная на Киряка, и нѣтъ ей дѣла до того, что Кирякъ тоскуетъ, пригорюнившись на крылечкѣ избушки. Будто говорить ему:

„Аксютка-то?.. Э-эхъ, парень, парень... Эка что надумалъ? Срамота!.. Глянь-ко сюда вотъ... Какова ширь-то небесная подъ престоломъ-то Божьимъ разстилается... Звѣздъ-то что рассыпано серебристыхъ и всѣ-то мигаютъ весело другъ дружкѣ, усмѣхаются знать, глядя на глупство твое. Глянь-ко облачки какія плывутъ, одно за другимъ, вереницей, будто богомольцы ко Святымъ Мѣстамъ пробираются. И далеко ихъ путь, и откуда, куда, и зачѣмъ такое—Господь Богъ про то знаетъ, да ангелы Божьи вѣдаютъ... А ты объ Аксюткѣ... Эхъ, парень, парень. Право!..“

И Кирякъ пересталъ на небо глядѣть. Стыдъ его что ли взялъ. И радъ онъ былъ, что облачище большое съ хвостомъ-то съ своимъ загромоздило и прикрыло луну насмѣшницу. Но вотъ опять пролѣзла луна изъ-за него и опять ярко свѣтитъ... Но Кирякъ и смотрѣть не хочетъ на нее...

Лѣсъ темный—Солдатская Сѣчь высокою изгородью стоитъ вкругъ поляны, охватилъ ее и избушку со всѣхъ сторонъ и грозно шевелить маковками. И ему знать дѣла нѣту, что Кирякъ голову на руки опустилъ и дышетъ неровно. Нѣтъ! Ему дѣло знать есть.

Темный, да грозный, да лохматый, сердито глядитъ онъ на избушку и на Киряка и качаетъ головой.

„Акютка-то?! Ахъ ты дурень эдакій! Вишь съ чѣмъ прилѣзь! Мало тебя бьютъ! Ишь что выискалъ! Дровъ-то нѣту, чѣмъ завтра хлѣбъ-то испечешь! Прикинулся вишь чуть не хворымъ. Смотри ты у меня!.. По сю пору ладно было, дѣло дѣлалъ и Богу молился, такъ цѣлъ и невредимъ былъ. А будешь баловаться, такъ у меня тутъ въ чащѣ ночью чего-чего нѣтъ. Всѣхъ на тебя выпущу. Акютка?!. Смотри ты у меня! Такую тебѣ Акютку задамъ въ полночь, что волосъ дыбомъ станетъ. Акютка?!.“

Опустилъ Кирякъ голову совсѣмъ и глаза отъ лѣса на траву перевелъ. Сталъ онъ было гладить Шарика, но пріятель его зѣвнулъ и взвизгнулъ тоскливо, будто тоже говоритъ:

„Черта ли въ этой Акютѣ! Вѣдь не высидишь ея тутъ. Спать бы теперь завалиться, ей Богу...“

Такъ и полночь пришла... Вдругъ встрепенулся Киря, поднялъ голову, не сталъ смотрѣть ни на лѣсъ, ни на небо съ луной и звѣздами, ни на друга Шарика, а сталъ слушать... Дыханье затаилъ и слушалъ всѣмъ тѣломъ, всею душой слушалъ.

Что жъ такое случилось въ эдакій часъ страшный, когда люди спятъ, а врагъ Божій рыщетъ по свѣту и души, слышь, грѣшныя во тьмѣ ночи за нимъ бродятъ, какъ псы за хозяиномъ? Тутъ бы тоже спать или Богу молиться, а Кирякъ слушаетъ, да радуется, да вздыхаетъ сладко.

Да глупая, сѣрая птица голосъ подала изъ избушки...

Раскатилась пѣсня ея звонкая, да горячая, по всей полянѣ росистой, по всему лѣсу мохнатому и въ поднебесье достала. Я чай и лунѣ слышно, какъ летится эта пѣсня, рѣчь земная, любовная, страстная, огневая!

„Ой! любитесь люди! Безъ любви вся жизнь—алтынъ! Ой! люби Кирякъ, послушай ты меня“. Поеть сѣрая кургузка. „Любить — жить! Коль не любить, такъ и не жить. И все любить! Одна луна-красавица, мерзлая да бездушная, одна-одинехонька по небу рыцеть... Лѣсъ, дурень, самъ не знаетъ, зря тебѣ болтаетъ; у него же въ чащѣ все любитъ, все парами живетъ, и звѣрь, и птица, и букашка... И то Господь велить. На томъ мѣръ стоитъ. Не будь любви, такъ всему свѣту карачунъ пришелъ бы... Аксюта?... Жди ее, люби ее. А какъ полюбить она тебя, такъ тогда и лѣсъ тебѣ другое запоеть и будетъ звать къ себѣ въ чащу, гдѣ потемнѣе, да поглуше, да самъ же васъ отъ людей укроетъ. И луна тебѣ другое скажетъ. Скажетъ: вольно здѣсь у меня, свѣтло, чудно, высоко... Идите-ко вы сюда и носитесь какъ облачки... И носитесь такъ хоть вѣкъ, безъ конца, да безъ слѣда по-синевѣ небесъ...“

И долго пѣлъ соловушка. И долго, все, укрытое пеленой ночной, будто тайкомъ слушало его: и Кирякъ, и Шарикъ, и поляна, и лѣсъ, и небесная звѣзда, и былинка земная...

„Ой, любитесь люди!“ слушали всѣ и въ молчаньи нѣмомъ-другъ на дружку глядѣли и трепетно чуяли, что соловушко-правъ, да и правда-то его золотая..!

## XV.

Поднялся Киря на утро ранехонько, умылся, Богу помолвился, какъ слѣдуетъ, засыпалъ сѣмя пріятелю—сѣрой кургузкѣ что вечерось пѣла. Бѣлку пустил на столъ; и самъ сѣлъ перекрестясь и ѣсть началъ. Шарикъ сѣлъ на лавку около хозяина и сталъ облизываться въ ожиданіи. Зайченка-изъ угла припрыгаль на середку пола, уши наострилъ, тоже-подачки ждетъ. Начали всѣ ѣсть, и хозяинъ, и други-пріятели.

— Что, Косой! Голодень? На вотъ и тебѣ, ѣшь... говориль Кирякъ. — Эй! ты, не лѣзь... крикнулъ онъ бѣлкѣ, — сиди смирно. Тебѣ что, песь? Луку не хочешь? Тебѣ все-хлѣбца?—спрашивалъ онъ Шарика.—Чудень ты, песь. Тебѣ-бы на огородѣ издохнуть съ голоду. А человѣку—нѣтъ.

Солнце выглянуло изъ-за лѣса, посмотрѣло въ избушку и видитъ, всѣ ужъ сидятъ—ѣдятъ. Соловушка, и тотъ носомъ-стучить, зерно за зерномъ уплетаетъ.



„И что такое было вечерось? думалось хозяину. Чудное дѣло! Глупство какое! Что жь мнѣ безъ нея ужь будто и не прожить? Проживу... Ей-ей!“ божится парень. А потому божится, что будто кто-то ему на ухо все нашептываетъ:—Ой врешь, не проживешь!

Сталь Кирякъ думать о вчерашнемъ днѣ.

— Глупство! опять сказалъ онъ, когда хлѣбъ доѣлъ и думу додумалъ. — Не балуй, Кирякъ! Тебѣ, паря, жить Богъ велѣлъ монахомъ, въ лѣсу... Жить не дурная! Ну, и не гнѣви Господа.

Тряхнулъ Кирякъ головой по-молодечки и пошелъ въ лѣсъ дровецъ наколотъ. Спѣшить не къ чему, онъ не батракъ, самъ себѣ хозяинъ, и порубить, и посидить, на небо утреннее поглядить... Сложивъ вязанку дровъ, взвалилъ на плечи и тихонько домой пошелъ.

Повозился Кирякъ малое время въ избушкѣ, хотѣлъ ужь въ огородъ копаться итти, тутъ вдругъ крылечко скрипнуло и слышно кто-то сталъ за дверью и не шелохнется стоять. Зарумянилось лицо Киряка.

Вѣдь мужикъ одинъ, что онъ ждетъ, долженъ завтра прійти, нынче некому быть. Кромѣ развѣ... Кого?

А въ дверь вдругъ стукнули тихонько да и чудно такъ. Боязною рукой стукнули.

— Чего? Входи, добрый человекъ... еле-еле говоритъ Кирякъ и думаетъ... „Ну вотъ же не она. Ей-Богу не она. Пойдетъ она въ избу къ бѣшенному!“

Отворилась дверь. У Киряка духъ занялся и молчить, не двинется, какъ деревянный. Стоитъ на порогѣ Аксюта и боязно поглядываетъ въ избушку, боится знать молчанья Кирякова. Сердце-то ея тоже колышется, да замираетъ. Боится она „бѣшеннаго“ Киряка? Или отъ другого чего? Кто жь знаетъ, коли онъ сама не знаетъ.

— Аксюта! выговорилъ хозяинъ и руки опустилъ.

— Я самая! Забылъ что ль? Звалъ же...

— Я-то не забылъ...

— Вчера не пустили дѣвки съ хороводомъ своимъ.

— Можетъ и боялась... бѣшеннаго-то...

— Полно ты... Чего корить-то... Вотъ же пришла.

И Аксюта затворила за собой дверь.

— Спасибо. Садись.

Перемолвились Кирякъ съ Аксютой тихо да диковинно

такъ. Будто оба боятся другъ дружки. Лица румяныя, голоса нетвердые, руки пустымъ дѣломъ заняты: она у порога стоитъ, фартукъ перебираетъ да мнетъ; онъ среди горницы стоитъ и лукошко вертитъ да разглядываетъ безъ нужды.

— Садись. Что жъ стоишь...

Сѣла Аксюта, а Кирякъ все стоитъ: вотъ собрался съ силой, глянулъ на нее. „Эко пригожа! Нѣтъ кажись ея краше на свѣтѣ.“

— Ты вчера-то ждалъ?

— Ждалъ. Весь день гадалъ, придешь ли.

— Нельзя было. Спихватились бы всѣ. Хороводы водить нельзя вишь безъ меня, говорятъ дѣвки.

— А може, говорю, и боязно было. Кирякъ-то кусается слышь...

— Заладила лягуха въ пруду! сердито проворчала Аксюта и прибавила:—боязно было бы, такъ не пошла бы и нонѣ. Полно, говорю, корить-то. И то не весело.

И дѣвица отвернулась и скосила глаза въ окно.

— Чего тебѣ-то не весело? Вчера небось до ночи пѣла да плясала... съ Ванькой-то... Агаѣинымъ. А ночью-то, поди, за огородами попалась ему ненарокомъ, по уговору!

Встрепенулась Аксюта и, обернувшись, глянула Киряку прямо въ глаза. И щеки ея румянѣ стали, и глаза сверкнули будто искрой...

Не совладаль Кирякъ съ собой, отвернулся и пошелъ искать что-то въ углу. И не знаетъ самъ человѣкъ зачѣмъ роется.

— Ванька? Агафьинъ!? протянула дѣвица, сердито усмѣхаясь.—Я ему вечерось у качелевъ такую тукмонку поднесла, что онъ отъ меня вертуна далъ.

— Онъ не кусается... шепчетъ Кирякъ, да все роется въ углу безъ нужды.—А я-то вишь, сказываютъ, кусаюсь.

— Ну, чего ты! Чего! Ну, на вотъ, кусай, коли бѣшенный. Кусай! Я на то вотъ пришла.

Аксюта высунулась въ окно, глядитъ на поляну и губы грызетъ, а тамъ помолчала и прибавила тише:

— Видно въ лѣсу тожъ люди... Тожъ не хуже нашихъ, Воскресенскихъ, зубы скалить охочи...

— Я не зубоскалю... бурчитъ Кирякъ изъ угла.

— Чего жъ навязался съ Ванькой, да съ кусаньемъ. Что я, барщину правлю что ль сюда-то ходючи?.. Избушка-то

въ лѣсу—не ближній свѣтъ... Самъ же вотъ зазываль, да самъ и ханшь, поносишь...

— Я не поношу... тихо и присмирѣвъ заговорилъ Кирякъ.—Что ты, Господь съ тобой...

— За огородами я не болтаюсь, вдругъ заплакала Аксюта, надумавшись.—Ты про меня этихъ мыслей не пускай... я тебѣ ничего худого не сдѣлала, а ты вотъ...

— Что ты! что ты! Христось съ тобой! Аксютушка. Да я не... Я зря... Къ слову пришлось.

Кирякъ совсѣмъ потерялся, вышелъ изъ угла, сталъ среди горницы и руки растопырилъ.

— Ты отъ меня, парень, кромѣ ласковости ничего не видалъ, а самъ меня поносишь... плачетъ Аксюта, а сама думаетъ: „И чего это я вою?“

Шарикъ тоже повернулъ морду къ ней и пристально глядѣлъ Аксютѣ въ лицо, тоже будто думалъ: и съ чего это ты воешь?

Кирякъ долго усовѣщевалъ дѣвицу на всѣ лады, а она хоть и не плакала ужъ, а глаза все терла фартукомъ.

Парню, въ лѣсу живя, вновь были бабьи да дѣвичьи увертки, да прикиды.

— Да что ты, дура что ль? воскликнулъ вдругъ Кирякъ.— Я тебя ждалъ четверо сутокъ, чуть не спятилъ ждамши. Не знамо чѣмъ ты меня приворожила... Полно выть-то... Глупая голова!

Шарикъ тоже рывкнулъ съ нетерпѣнья, будто говорилъ:

— Ну, повила и буде!.. А что жъ эдакъ-то!

Аксюта перестала тереть глаза и скоро начала усмѣхаться. Кирякъ сталъ ей показывать все свое богатство, друзей-приятелей своихъ приволокъ къ ней по очереди. Бѣлку на столъ пустилъ и усадилъ. И Косого за уши притащилъ, хоть и упирался онъ въ полъ всѣми четырьмя ногами.

— Иди, иди! Небось! говорилъ Кирякъ.—Да ты въ ножки поклонися. Здравствуйте молъ. Какъ живете-можете?

И какъ ни отбивался Косой, а заставилъ его хозяинъ нагнуть голову и поклониться красавицѣ въ ножки.

Дошло дѣло и до сѣрой кургузки. Тоже показалъ Кирякъ и этого друга дорогого.

— Днемъ не поетъ онъ?

— Нѣтъ! Въ вечеру только, да ночью... А ужъ какъ поетъ... Кабы не соловушка, то инъ бываетъ, померъ бы ка-

жись съ тоски одинъ-то. Жаль, нельзя тебѣ послушать его...

— Я въ вечеру навѣдаюсь, коли проводишь до села.

Сталь вѣшать Кирякъ на мѣсто клѣтку, а у самого въ ухахъ звенить.

„Въ вечеру, въ вечеру, коли проводишь.“ И будто екнуло въ немъ вдругъ сердце. Въ вечеру дѣвица не то что днемъ!

А Аксюта переглядѣла все въ избушкѣ, и мысли всякія пошли ей въ голову, сидитъ, не шелохнется, молчитъ.

— Что ты? шепнулъ Кирякъ.— На вотъ хлѣба. Поѣшь.

— Хорошо тутъ жить!.. Тутъ не хуже, чѣмъ на селѣ. Эка тишь какая! Тутъ вѣдь жисть праведная должна быть... Не съ чего тутъ грѣшить.

— Тебѣ бы не ужиться, лебедка, говоритъ Кирякъ, не глядя на нее и усердно разжевывая ломоть.

— Какъ тебѣ не знать, ты все знаешь, ворчнула Аксюта.

Посмотрѣлъ Кирякъ на красавицу, оглядѣлъ ее, оглядѣлъ избушку, все добро свое, на половицу, гдѣ деньги ненужныя спрятаны, покосился... Пришла ему дума, и хорошая была, а кусокъ хлѣба въ горлѣ сталь, будто захватило вдругъ дыханье.

Была та дума такая: „Кабы жить здѣсь съ Аксютой!“

Перемѣнился вдругъ лицомъ паренекъ отъ однихъ мыслей этихъ... Будто испугался чего... Стоитъ не шелохнется съ кускомъ во-рту и уперся дикими глазами въ красавицу.

— Чего ты... такой стоишь!.. Оробѣла вдругъ Аксюта.

— Мысли глупыя на умѣ. Скучно вишь, сдается, одному здѣсь жить.

— Женился бы...

— Не пойдетъ ни одна. За бѣшеннаго-то...

— Мало ли дѣвокъ на селѣ! Выбирай да и сватай...

— Не пойдетъ ни одна, говорю. Аль не слышишь!

Хочется Аксютѣ сказать что-то въ отвѣтъ. Больно хочется. Такъ вотъ слово это и просится, а она молчитъ...

А Кирякъ заладилъ свое.

— Я вишь „бѣшенный“. За меня никакая дѣвка не пойдетъ. Коли отецъ съ матерью нудить будутъ, то и тогда не пойдетъ ни одна. Топиться побѣжить.

И ждетъ онъ, скажетъ Аксюта то слово свое, но дѣвица тоже уперлась въ полъ глазами быстрыми и—молчокъ. Усмѣхается въ сердцѣ своемъ, весело, лукаво... и молчитъ.

Ждалъ, ждалъ Кирякъ и понурилась на грудь голова молодая, тихо, понемногу клонилась, за то низко и повисла... Шепнулъ онъ еле слышно.

— То-то вотъ...

Услыхала дѣвушка слова эти, поняла хорошо; не мудрое дѣло такія слова понять... Поняла, и опять ничего не сказала.

Прошло не мало времени, не шелохнется Кирякъ. Заглянула Аксюта въ лицо его, сидитъ онъ тоскливый, будто хворый. Какое ни будь сердце, хоть желѣзомъ шитое, а колыхнется въ груди дѣвичьей... Вѣдь отъ нея это! Она наворожила эдакъ въ два раза.

Двинулась Аксюта на скамейкѣ, глядитъ на него, губами двинула, сказать что-то хочетъ... Вотъ заговорить... Нѣтъ, ничего! Молчитъ красавица. Ужъ не баловство ли одно у нея на умѣ? Нѣтъ. Хорошія слова просятся на языкъ, не спокойна и ея грудь, бьется подъ шнуромъ сарафана, рука тоже шевелится, потянула ее къ Кирѣ сила-невидимка. Такъ что же? Не сподручно красной дѣвицѣ самой нахрапомъ брать... Ея дѣло молчанкой волю дать. Пусть беретъ... А этотъ сидитъ. Гдѣ ему брать!

И опять молчатъ, сидятъ, не шелохнутся.

Вдругъ двинулся Кирякъ, голову поднялъ, вздохнулъ.

— Что жъ, пойдемъ за грибами.

Аксюта отвернулась лѣниво въ окно и вздохнула протяжно.

— Пойдемъ, говорить, а сама думаетъ: „только того и будетъ?!“

И досада взяла красавицу. И еще пуще полюбился ей этотъ парень красивый да смиренный.

„Вонъ Ванька Агаѣинъ, какъ цѣпной песь, налѣзаетъ... А этотъ на зло тебѣ, издалече поглядываетъ, будто не съ дѣвицей, будто съ попомъ бесѣдуетъ“.

## XVI.

Пошли Кирякъ съ Аксютой въ лѣсъ на то же мѣсто грибное и шли не весело, будто лѣниво, мало и говорили, только изрѣдка парень взглядывалъ искоса на красавицу и думалъ: „Ужъ какъ пригожа-то“.

И каждый разъ что онъ взглядывалъ на нее, его точно въ жаръ бросало, духъ захватывало въ горлѣ.

Аксюта была въ короткомъ синемъ сарафанѣ, съ засученными рукавами на крѣпкихъ рукахъ. На ногахъ новыя лапти. Рубаха бѣлая на груди тоже опять была растегнута отъ жары. Грудь подъ горломъ открылась бѣлая что снѣгъ. А горло словно какъ отрѣзано отъ тѣла коричневою полоской и само все темно, будто мѣдное стало отъ загара. И лицо темное, тоже солнцемъ пожжено, а румянецъ алый все жъ таки осилили позолоту солнечную и проступаетъ на круглыхъ щеки. Губы пухлыя и розовыя будто вишеня, глаза черныя, быстрыя, лукавыя, все бѣгаютъ да искрятся, да вспыхиваютъ. Черная тяжелая коса виситъ за спиной и тянетъ голову. Не знаетъ красавица куда съ ней отъ жары дѣваться. То за спину откинетъ, то на плечо возьметъ, и, сбросивъ на грудь, длинный конецъ за поясъ заткнетъ, то опять за спину перекинетъ.

Лѣнливо бродили по лѣсу и парень и дѣвица. Лѣнливо въ овражину спустились, гдѣ грибное мѣсто зналъ Кирякъ. Лѣнливо грибы собирали. И жара-то велика, да и сами-то они будто въ сердцахъ да въ обидѣ другъ на друга. Идутъ, молчать, не взглянуть прямо другъ на дружку, а все наровятъ искоса, изподлобья глянуть, чтобъ непримѣтно было. Аксюта губы надула, будто обидѣла ее Кирякъ, а парень охаетъ да вздыхаетъ, будто хворость одолѣла вдругъ. Пришли они въ оврагъ, сѣли въ кустахъ отдохнуть и опять молчать... И лѣсъ непролазный, лохматый, тоже молчитъ надъ ними...

— Жара! шепнула Аксюта и, протянувшись на спину въ высокой травѣ, легла, закинула свои голыя руки, опрокинула и голову въ траву.

— Лѣто!.. тихо буркнулъ Кирякъ, косясь на дѣвицу, что лежитъ около него, высокогрудая, съ мѣдно-румянымъ лицомъ, съ круглой шеей, огненными глазами.

Она запрокинула голову среди муравы и цвѣту полевого на два листа большущаго лопуха, а третій надъ самымъ лицомъ нависъ и качается тихо; а молодая грудь выше лица поднялась и чуть-чуть шевелится ровно.

Лѣто краснымъ зовется, и точно что въ жаркое лѣто отъ горячаго солнышка все стоитъ червонное да красное.

Середь голого поля въ лѣтній день такъ и пышетъ пламенемъ, траву жжетъ; желтая да сухая хруститъ она подъ ногой. Тишь стоитъ душная, всякому малому вѣтерку радуется душа... Небо изъ конца въ конецъ чистое, голое, синее,

развѣ гдѣ одиноко ползеть облачко бѣлое; заплуталось бѣдное, потерялось въ синемъ морѣ небесномъ, плыветь тихо, тихо, будто умаялось въ пути безъ конца, безъ начала; или стосковалось, что прильнуть не къ кому, а иди, плыви, сиротой горемычною... И ему страннику тверди небесной, будто жарко отъ солнца.

Середь поля мошка мелкая заливааетъ все, вздохнуть не даетъ, въ ротъ, въ уши, въ глаза лѣзетъ.

Не то въ лѣсу старомъ да густомъ, въ темной чащѣ Солдатской Сѣчи.

Маковки сосновыя да дубовыя стоятъ горячія, а внизу сумракъ, холодокъ, благодать. Наверху жарко да красно, а внизу-то синевой все затянуло. Сюда и птица на день запряталась да порхааетъ по холодку съ вѣтки на вѣтку, ждетъ сумерекъ, когда можно ей будетъ по верхушкамъ запрыгать, а то и въ поднебесье махнуть, утонуть въ той выси лазоревой, гдѣ человѣкъ только глазомъ да сердцемъ бываетъ.

И что за чудная да премудрая синева въ густомъ старомъ лѣсу, нѣмая, неразгаданная... Все видишь: сучья, вѣтки, мохъ, хворостъ, звѣря, птицу, мошку, букашку; все глазъ перебралъ и счелъ, а будто и не все... Будто есть тутъ еще что-то, чего не уловишь и не назовешь по имени словомъ человѣческимъ. А можетъ и нѣту его въ царствѣ лѣсномъ, а только сдается такъ душѣ. А можетъ и впрямь есть что, и смотреть оно на человѣка, да со всѣхъ сторонъ заглядываетъ ему въ душу. Это знать тоже душа, да тоже бессмертная, вѣчная. Душа темная самого батюшки лѣса!

Тишь невозмутимая, никого нѣтъ кругомъ, ни одинаго живого человѣка! А жизнь ключомъ бьетъ, кипитъ, клокочетъ. Во все проникла и во всемъ дышетъ. Сильная, молодая, стоглазая, стоустая...

И все это круговоротомъ жгучимъ идетъ; шевелится, глядитъ, стучитъ, поетъ, жужжитъ, летитъ, скачетъ. Вотъ заяцъ прыгнулъ и птицу спугнулъ, птица спорхнула, — вѣтка встряхнулась, и листь развернулся, а съ листа букашка въ траву упала и муравьи отъ нея разбѣжались со страху.

И все свое дѣло дѣлаетъ, свою работу работаетъ, и, зная, свою тайную думу думаетъ, свою невнятную рѣчь ведетъ. И издавна идетъ тутъ война, вѣчная, неустанная, мудрая... Сошлись тутъ два воителя: жизнь со смертию. Сильна смерть, но жизнь еще сильнѣе. Здѣсь, гляди, смерть поборола, трав-

ку засушила, птицу убила, букашку, козявку придавила. Однимъ махомъ въ прахъ сто жизней превратила. А тамъ, глянь-ко рядомъ же... двѣсти другихъ жизней на свѣтъ выползли, шевелятся, дышать... И какъ ни сильна смерть, но много ей работы; безъ отдыха, безъ усталости, упрямо и злобно воюетъ она и все жь побороть по сю пору не можетъ.

Не узнать когда сошлись враги эти и схватились, не узнать когда покончатъ и кто кого одолѣетъ. Чудное это дѣло! Вѣчное это дѣло! Кто думаетъ, да гадаетъ про это дѣло, ничего не распознаетъ и загадки этой не осилить. Только одна душа человѣчья чувствуетъ это дѣло и чувствуетъ эту душу окрестную, какъ чувствуетъ и душу мировую. И чувствуетъ она, что всѣ тутъ сродни, всѣ дѣти одной матери; чада одной силы, великой, вѣчной, сокровенной, святой...

Кирякова душа чуяла душу лѣсную.

Въ лѣсу онъ выросъ, потому онъ и жилъ съ лѣсомъ душа въ душу. Словомъ назвать, пальцемъ показать, разумомъ рассудить все, что диковинно дѣется въ мохнatomъ царствѣ лѣсномъ изо дня въ день, каждый часъ и каждый мигъ, Киряку, извѣстно, не подъ силу было. Но каждый разъ, что засиживался парень лѣтомъ въ лѣсу, въ жаркій ли полдень, въ сумерки или въ ночь синюю, когда заря съ зарей сходится, это дѣло лѣсное и его захватывало и его за душу брало тихонько. И сладко трепетала и замирала душа.

Теперь, сидя около Аксюты, парень инымъ окомъ глянулъ кругомъ себя, и противъ воли подумалось ему:

„Всѣмъ-то хорошо на свѣтѣ... Вонъ двѣ букашки красныя ползуть... Двѣ вмѣстѣ... Поди и у нихъ забота какая, аль дѣло свое есть... А то небось уходятъ куда подъ листь отъ другихъ товарищей своихъ, чтобы тамъ гнѣздо строить... Только я вотъ какъ перстъ одинъ“...

— Ко двору пора! буркнула вдругъ Аксютя, не поднимаясь изъ травы и только, переложивъ голову на закинутыя руки, покосила на парня свои черные глаза, не то сердитые, не то усталые отъ жарыщи.

— Посидимъ...

— Чего сидѣть?.. Чего высидимъ?.. Вона солнце куда ушло... А мнѣ далече...

— Версты всего три. И тѣхъ нѣтъ.

— Не тебѣ итти. У меня ноги не заячьи. Тоже умаялись за день, угрюмо говорить дѣвица.—Опоздаешь—заругаютъ. Не ровень часъ, тятка и отстегаетъ.



— Ну, пойдёмъ, вздохнулъ Кирякъ. Когда опять-то ждать?

— Это зачѣмъ?.. совсѣмъ сердито огрызнулась Аксюта.— Что жъ я такъ и буду въ лѣсъ-то бѣгать? Чего я тутъ потеряла?.. Разъ пришла, ну и буде. Грибовъ-то этихъ и ѣсть некому.

Голосъ Аксюты такъ и билъ Киряка по сердцу. Шибко зла стала дѣвица, а за что? И Богъ ее знаетъ.

— Ишь вѣдь ты какая, сказалъ Кирякъ.— Не хочешь, не приходи, Богъ съ тобой... Сама сказывала, въ вечеру придешь, соловья послушать...

— Что мнѣ твой соловей! У насъ въ Машкиномъ бору не хуже твоего соловьи. Меня туда Ванька сводить обѣщался.

— Ванька! Ну и иди туда! И слушай!.. вдругъ окрылся Кирякъ. Озлился онъ сразу такъ, что и не вспомнить ему, бывала ли прежде когда такая въ немъ злоба.

— Въ Машкиномъ бору, сказываетъ Ванька, такіе есть...

— Ванька! Лѣшаго ему... Первый онъ головорѣзъ. Его бы въ солдаты давно... Да мнѣ что... Иди съ имъ...

— И пойду!

— И иди!

— Да и пойду!

— А сюда съ нимъ не ходи.

— И сюда приду, коль вздумаю. Къ тебѣ въ избу съ имъ приду.

— Попробуй... Какъ бы я тоже васъ по-своему не наладилъ!

— Наладилъ? Онъ тебя, знаешь, какъ приметъ. Что тебѣ становой... Мысли всѣ растеряешь...

— Охъ, молчи! Молчи, озорная! ахнулъ вдругъ Кирякъ.

— Чего мнѣ молчать! Что ты баринъ что ли какой? Говорю, вмѣстѣ съ Ванькой къ тебѣ...

— Молчи! вскрикнулъ вдругъ Кирякъ и руки поднялъ на дѣвицу. Сверкнули глаза его огнемъ.

— Что ты! Иль драться вздумалъ.

— Убилъ бы я тебя!

— За что это? И Аксюта, приподнявшись, повернулась на бокъ и оперлась на руку. Лежитъ дѣвица и смотреть. И глаза ея насмѣхаются надъ нимъ.

— А за то... За то... заворчалъ Кирякъ,—чтобъ моя ты была... Убилъ бы, да въ землю вотъ тутъ зарылъ, да и сидѣлъ бы надъ могилкой. Хоть мертвая, да моя бы...

— Убилъ бы?.. Убитые-то ходять безъ упокоя. И я бы къ тебѣ эдакъ въ избушку приходить стала по ночамъ.

— И ходи. Не боюсь. Я-бъ тебя ухватилъ въ охабку, да...  
 — Мертвую-то... Прытокъ больно! Ты и живыхъ-то дѣвокъ боишься! злобно разсмѣялась Аксюта и отвела глаза.

И не глядитъ ужъ дѣвица на парня. Будто не стоитъ онъ того. Смотритъ она на кустъ черемухи, да ухмыляется ехидно и зубы бѣлые скалитъ межъ розовыхъ губъ.

— Боишься! повторилъ Кирякъ и головой тряхнулъ. Чего мнѣ бояться. Эка страсть?..

— Мертвую бы!.. ехидно бурчитъ все Аксюта не глядя. И живой-то боится. Кисляй Кисляичъ!

— Тебя что ль боюсь-то, глупая...

— Подшибленный...

— Ну смотри ты! Какъ бы я тебя тутъ въ лѣсу... Смотри...

— Давно смотрю-то. Глаза просмотрѣла. Эхъ, да что тутъ!.. Взяла бы я тебя за хвостъ, да объ земь...

И Аксюта ужъ не балагурить, а совсѣмъ злится, подняла руку на парня и замахнулась. Кирякъ ухватилъ эту руку въ обѣ свои, стиснулъ и глядитъ красавицѣ въ румяное лицо, будто спрашиваетъ что глазами. И духъ занялся въ немъ, сердце стукнуло.

— Охъ ты, Аксюта... еле-еле шепчетъ онъ, обмирая.

Аксюта живо поднялась, сѣла, сразу вцѣпилась обѣими руками въ его рубаху и, упираясь, потянула его...

— Еще кто кого! Я одолѣю и не такого какъ ты, пучеглазый! разсмѣялась красавица какъ-то чудно. Будто не до смѣху ей совсѣмъ.

И Аксюта потянула еще сильнѣе. Кирякъ ухватилъ дѣвущку за обѣ руки и дернулъ къ себѣ... И не очень ужъ сильно и дернулъ-то... Да знать захотѣла дѣвица силой потягаться, обхватила парня за шею руками, стиснула голову, и крѣпко прижалась лицомъ пламеннымъ къ его лицу. И покатились оба съ размаху въ траву высокую.

— Охъ, Аксютушка! простоналъ Кирякъ, будто прощенья просилъ.

Поборола знать дѣвица воструха.

Спугнули парень съ дѣвицей зайца изъ норы, какъ покатились по травѣ.

Давно слышалъ онъ рѣчь чловѣчью около себя и притаился за пенкомъ. Авось пройдутъ мимо. А они сѣли тутъ, да еще кричали, бранились. А тамъ вдругъ еще хуже вышло, подрались и чуть не задавили его враги. Вскочилъ заяка

косой и шаркнулъ чрезъ траву въ чащу; зацѣпилъ только лапами по одуванчику. Посыпался пушокъ сѣрый и полетѣлъ въ лица горячія что лежать въ травѣ...

Косой ускакалъ; а тутъ въ травѣ, гдѣ Аксюта съ Кирякомъ остались, стало тихо, мертво, будто и нѣтъ никого.

Тихо гладитъ Аксюта парня руками по головѣ и тихо молча цѣлуетъ въ глаза, въ губы, въ щеки. Обомлѣлъ Кирякъ, и не знаетъ, живъ онъ, или померъ. И то никакъ померъ. Должно это смерть эдакъ приходитъ къ людямъ. Въ глазахъ все темно, голова огнемъ горитъ, лицо опаленое, а на душѣ сумятица такая, что вотъ сейчасъ все тѣло разнесетъ на части.

Не скоро заговорили парень съ дѣвицей, а какъ заговорили, то окоlesiцу понесли. И не разберешь о чемъ. И сами-то знаютъ ли, о чемъ воркують.

А солнце не ждетъ, давно сѣло за краемъ земли... Встрепенулась вдругъ Аксюта.

— Домой пора. Бѣда! Покуда добѣжишь, смеркнется.

И вскочили оба, и припустились изъ оврага что есть духу.

— А грибы-то... вспомнилъ Кирякъ, на бѣгу.

— А, ну ихъ... Каки тутъ грибы.

— Какъ же такъ-то?

— Грибы-то, Кирюша, я и въ тотъ разъ въ рѣчку забросила, смѣется Аксюта.— У насъ ихъ тятка не любитъ. И намъ ѣсть не велить.

— Зачѣмъ же нонѣ-то зря ходили, да набирали опять?

— Да вѣдь я ради грибовъ въ лѣсъ-то... Охъ, да оловянная же ты башка! ахнула Аксюта.

И опять припустились они и скоро были ужъ на опушкѣ.

Долго прощались Кирякъ съ Аксютой на опушкѣ лѣсной. Совсѣмъ темно стало, а они все прощаются да смѣются.

— Эка день коротокъ! пожалѣлъ Киря, идя въ избушку.— Вотъ не успѣешь оглянуться, и ночь.

Полно, коротокъ ли? Прежде все дологъ былъ, да вдругъ нынѣ коротокъ сталъ. Оглянуться въ день цѣлый сто разъ успѣешь. А вотъ нацѣловаться досыта, во сто лѣтъ не успѣешь.

## XVII.

Что жъ это, солнце что ли поднялось среди ночи темной и ярко озарило одну избушку среди тьмы, среди лѣса, утонувшаго во мракѣ ночи? Нѣтъ, не одно солнце, а десять ихъ

взошло и всё свѣтять ярко на одну избушку, все освѣтили въ ней золотымъ сіяніемъ, отъ уголка, гдѣ половица тайная, до печурки, гдѣ заяцъ спитъ, отъ иконъ и ликовъ святыхъ до самой глубли сердца Кирякова. Все горитъ чуднымъ радужнымъ огнемъ, все сіяетъ золотомъ, все блеститъ и искрится, будто сотни алмазовъ разсыпались вдругъ по всей избушкѣ...

Нѣтъ, избушка также мирно приютилась среди полянки и укрыта тьмой полуночи, какъ и лѣсъ, и село, и весь видимый міръ Божій. Это не солнце свѣтитъ съ неба среди ночи, а счастье въ ожившей душѣ Киряка освѣтило все, и въ немъ, и вокругъ него.

Это счастье — тоже солнце золотое, лучистое, теплое, но обманчивое, лживое. Придетъ день, и вдругъ нѣтъ зари и не жди восхода. Пропадетъ это солнце твое пропадомъ и на вѣки. Теперь освѣтило оно вдругъ и разогнало тьму съ души Киряка, но чѣмъ лучезарнѣе восходъ этого солнца, тѣмъ быть можетъ внезапнѣй и страшнѣй будетъ ночь, что надвинется послѣ него, ведя за собой тьму кромѣшную души одинокой, жизни лишней...

Охъ, помнить бы надо Киряку слова старой бродяги, вѣчной странницы міровой, что говорила ему: „съ однимъ поцѣлуемъ что просять люди, тысячу слезъ даромъ даю я въ придачу!“

Да и помнилъ бы Кирякъ, такъ все одно пропалъ бы. Не его вина...

Виновата та святая волна что вѣки-вѣчные съ силой богатырскою лется, поливается по всему, что живетъ на міру, по всему, что дышетъ. Что это за волна? Словомъ не назовешь. Коли хочешь имя знать, такъ поди подслушивай не рѣчи людскія, а ихъ поцѣлуи. Подслушивай сердцемъ то нѣмое томленье, что въ ночь майскую разлито по всему міру Божьему и охватило все, отъ былинки въ дубравѣ мохнатой и темной, до звѣздочки въ чистой лазури небесъ.

Да, пришелъ чередъ, полюбилъ Кирякъ, полюбилъ безъ ума, безъ памяти, днемъ и ночью, утромъ яркимъ, вечеромъ тихимъ, у него все одно въ головѣ, все одно на душѣ... все Аксюта.

Старая сказка: любиться. Старая и безсмертная. Давно міръ Божій стоитъ, старый-престарый онъ старичина, годамъ своимъ счетъ давно потерялъ и сызнова считать началъ; давно и люди на немъ живутъ; много всякаго бывало да сплывало

и промежь ихъ, и званья не осталось. И жили-то всё люди на разные лады, а любилсь, да по сю пору все любятся, все на одинъ ладъ. Сказка старая, а конца ей нѣту, да и не будетъ во вѣкъ, потому что хороша ужъ больно. Стоялъ свѣтъ и будетъ стоять, а умнѣе той сказки не придумать людямъ.

Повадилась Аксюта въ лѣсъ ходить. Кирякъ знать приворотомъ приворожилъ красавицу. Дня не пройдетъ, чтобы дѣвица не прибѣжала въ избушку.

Замѣтилъ староста Филиппъ Андронычъ, что повадилась дѣвка за грибами, да за ягодой. А ходить одна... Иной разъ подстережетъ ее. Одна пошла, одна и назадъ идетъ. А парни на селѣ все лядащѣе, да и зачѣмъ имъ въ лѣсъ ходить, на то огороды да задворки.

А въ лѣсу кто жъ? Одинъ Кирякъ „бѣшенный“ живетъ. Къ нему дѣвицу, поди, калачомъ не заманишь.

„Видно и впрямь до ягоды охотница стала Аксюта“, рассудилъ Филиппъ Андронычъ. „Ну и пусть себѣ отходится. Объ осень надо замужъ отдавать, тогда ужъ наработается вдоволь, тягло-то отбывая съ мужемъ“.

Кирякъ съ Аксютой видались и разсуждали какъ имъ по закону Божьему дѣло свое обдѣлать. Давно ужъ показалъ Кирякъ Аксютѣ половицу и деньги свои... Разсудила Аксюта, что тятка Филиппъ Андронычъ за деньги его не поглядитъ, что онъ бѣшенымъ слыветъ.

— Пришлю я тебѣ Матрену, Кирюша, рѣшила разъ Аксюта.— Знаешь Матрену Безродную? Ну вотъ я ее пришлю, а ты и посылай ее къ намъ свахой. А я ужъ ходить сюда обожду, а то тятка ужъ общать часто сталъ, что меня за шатанье мое отстегаеть, да на село наше прежнее переселить. Тогда бѣда.

Ушла Аксюта. Прошло цѣлыхъ три дня... и ни слуху ни духу. Ни Аксюты, ни Матрены Безродной. Закручинился Кирякъ и духомъ смутился.

„Знать провѣдалъ все Филиппъ Андронычъ. Дѣвку отодрали и заперъ въ чуланъ, а меня драть отложилъ до воскресенья, когда послободнѣе. Ну, а деньги? Небось Аксюта про деньги тоже сказывала. Ну, какъ отбереть за оброкъ, за цѣлые девять годовъ. Охъ, бѣда, бѣда... Связался съ народомъ не даромъ. А все окаянная воструха Аксюта... Охъ, Господь съ ней! Чего это я ругаюсь“.

Такъ вотъ сидѣлъ Кирякъ у моря, погоды ждалъ и смущался разными мыслями. Иной разъ еще бѣдовѣ мысли въ голову ему лѣзли.

„А ну, вдругъ я повѣнчаюсь, заживу купцомъ, скотину всякую заведу... А тутъ вдругъ, живехонекъ дядя Власть, придетъ отъ Гроба Господня, да скажетъ: подай мнѣ мои денежки Божьи, что я на храмъ собиралъ отъ православныхъ... Помилуй Богъ!“

И ужъ совсѣмъ лихорадка принималась трепать Киряка.

### XVIII.

Наконецъ дождался Кирякъ, пришла Матрена Безродная. Объяснилъ онъ ей свое дѣло и удивилъ ее. Сначала отказалась баба наотрѣвъ, даже ругаться стала.

— Съ какихъ же я безумныхъ глазъ пойду это тебя сватать? Да еще къ старостѣ. Ты же бѣшеный.

Долго уговаривалъ ее Кирякъ и умасливалъ всячески, но безъ толку, и только смогли дѣло повершить три рубля. Взяла Матрена деньги и не знаетъ класть ихъ въ карманъ или нѣтъ. И деньги большія, да и отъ „бѣшеннаго“. Можетъ это онъ насмѣхается зря. Можетъ бумажка-то по виду только на деньги смахиваетъ.

— Что жъ, парень, аль у тебя много ихъ, что такъ-то зря суешь?

— Стало есть, тетка, то не твоя забота, бери. Дѣло справишь, еще приходи получать.

— Ишь вѣдь... Ну стало и впрямь надуть идтить... свахой.

Стала собираться Матрена Безродная на село и все головой трясеть. Дѣло-то диковинное.

— А ну, меня староста отстегать велить. Срама такого не изживешь. За что другое народъ порюютъ. И меня не разъ въ жисти пороли. А за сватовство отстегаютъ, тогда хоть-скрозь землю провались; на селѣ на сто годовъ помнить будутъ, что Матрена сваха стеганая. Золь у насъ народъ зубъ скалить. Такъ стеганой свахой и пойдешь у нихъ. Вотъ что-голубчикъ ты мой.

Уломалъ таки Кирякъ Матрену. Собралась она въ Воскресенское и ужъ на крылечкѣ вдругъ вскинулась, да назадъ...

— Чего? Аль забыла что...

— Парень! Да попь-оть тебя вѣнчать станеть? спросила она.

— Дура! Ты что ль будешь?

— Ну, а не станеть? Батюшка у насъ куды крѣпокъ. Навысь Евлампія хоронить не хотѣлъ. Пять день билися съ нимъ и такъ и эдакъ, просто не приведи Богъ, намучились, парень. Чего, чего не пробовали. Провонялъ всю избу.

— Ну, ну. Иди ужъ. И на батюшку я знаю такой наговоръ, что захочу, онъ меня съ бѣлкой повѣнчаетъ. Вотъ что!

— И вотъ врешь!

— Не вру. Наговоръ такой знаю.

— Съ бѣлкой? Это небось грѣхъ? Чуденъ ты, парень.

Ротъ разинула Матрена и подумавъ собралась и вышла. Сошла она съ крыльца, перешла поляну, ужъ въ лѣсъ было вошла и вдругъ назадъ опять идетъ.

Опять знать забыла что.

— Эй, тетка! крикнулъ Кирякъ чрезъ всю поляну. — Уходи. Не то три рубля мои отдавай!

Стала Матрена, поглядѣла издали на избушку и, обтеревъ себѣ губы рукой, повернула на дорожку въ лѣсъ и пропала въ чащѣ.

— Что-то Богъ дастъ? вздохнулъ Кирякъ. Пора-бы.

Ужъ скоро вотъ двѣ недѣли должны минуть, что все въ головѣ у него точно ходуномъ ходитъ. Давно-ль онъ жилъ одинъ-одинехонекъ съ своими пріятелями, а тутъ... Аксюта!.. И отъ Аксюты все вверхъ дномъ стало. Глаза ея черные, да губы горячія, да грудь высокая, трепетная—все въ умѣ у него; днемъ—какъ сонъ какой, а ночью во снѣ—какъ на яву. Что было у нихъ въ оврагѣ, кажись, во сто лѣтъ былъ-емъ не заростеть.

Шарику же все это было не по нутру. Новые порядки, новый народъ чужой, да пуще всего мыканье хозяина изъ избы на крыльцо, съ крыльца въ избу, а тамъ въ огородъ, а тамъ въ лѣсъ, да все безъ дѣла, съ пустыми руками. Часто глядѣлъ Шарикъ на хозяина, и будто говорилъ:

— Чего ты это снуешь? Эка вѣд не сидится!

Иной разъ заговорить Кирякъ и руками разводитъ начнетъ. Шарикъ къ нему вскочить. Прежде бывало хозяинъ больше все съ нимъ разговаривалъ. Подойдетъ Шарикъ, замахаешь хвостомъ и морду сунеть ему въ животъ или въ руку.

— Ну, тебѣ что, глупый? Куда лѣзешь? досадливо скажетъ хозяинъ.

Отойдетъ Шарикъ и ляжетъ въ углу, а самъ смотритъ. Иной разъ оиать соберется вскочить къ хозяину, но встанетъ только и не идетъ... кажись не его надо. И опять ляжетъ.

— Ужъ и не поймешь нонѣ тебя! думается Шарикъ.

## XIX.

Разъ сидѣлъ хозяинъ не шелохнувшись на лавкѣ и думу думалъ, а Шарикъ собрался, какъ всегда, мухъ ловить по полу. Вдругъ закричалъ на него Кирякъ не своимъ голосомъ:

— Ты! Чертъ! Испужалъ даже. Эка распрыгался. Лежи смирно.

А Кирякъ зlobенъ былъ оттого, что ужъ третій день ждалъ отвѣта съ села.

Нѣтъ ничего! Провалились всѣ. Аксюта могла бы навѣдаться. Нѣту. Матрена еще вчера должна бы прійти. И тоже нѣтъ.

„А ну, и въ самомъ дѣлѣ попь вѣнчать не захочеть?“ пришло Киряку на умъ. „Вреть. Дамъ ему десять рублей, такъ и впрямь съ бѣлкой обвѣнчаютъ.“

Вдругъ смотритъ Кирякъ, вышелъ изъ лѣсу на поляну мужикъ рослый и здорово шагаетъ къ нему. Голову нагнулъ, въ землю глядитъ, лица не видно, шапка торчитъ торчкомъ; идетъ мужикъ прямо на избу, торопится, а ни разу и не глянулъ на нее. По всему видно, человекъ не простой. Либо десятскій, либо даже изъ стана кто...

— Ахти! ахнулъ вдругъ Кирякъ и заметался въ горницѣ не хуже зайки пріятеля.—Самъ онъ Филиппъ Андронычъ! Староста! Батка ея. Ой, дрянъ дѣло. Бѣда идетъ въ избу. Бѣдовая бѣда идетъ. Авось, только драть. Авось, отдереть, да уйдетъ съ миромъ...

Поднялъ голову мужикъ предъ крыльцомъ, остановился и глянулъ на избушку. Лицомъ угрюмъ и суровъ, но не отъ заботы, а отъ природы таковъ видно.

— Онъ! онъ! Самъ пришелъ вмѣсто сватовъ, говорить Кирякъ про себя.—Чтой-то будетъ! Не отдалъ бы въ солдаты.



Оробѣлъ малый до страсти. Хоть бѣжать. Да куда бѣжать-то? Подъ печь, думаетъ, влѣзу. Не найдеть—уйдетъ. Да гдѣ тебѣ! Не махонькой. Прежде лазилъ, а теперь не пролѣзешь. Ай попробовать! Да нѣтъ, куда тебѣ!.. Великъ. А крыльцо ужъ скрипитъ. Вотъ и дверь отворилась. И негаданный гость стоитъ на парогѣ.

Вошелъ староста, снялъ шапку, помолился на иконы и сталъ глядѣть на Киряка во всѣ глаза, а самъ бороду ерошить и усмѣхается. Не то ласково да добромъ, не то съ сердцовъ смѣхъ его взялъ.

— Здорово, бѣшенный.

— Здравствуй, Филиппъ Андронычъ... хрикнулъ Кирякъ.

И языкъ не вертится у него и въ горлѣ першить, будто съ мороза осипъ.

— Ну сядемъ, будто гости, сказали староста себѣ самому, опять усмѣхаясь.

И сѣвъ на скамью у окна опять глядитъ на парня во всѣ глаза. Кирякъ стоитъ и руки ужъ трясутся.

— На селѣ бають... Ты дѣвокъ вишь ловить сталъ въ лѣсу, да ворожить ихъ. А?..

Прошпенталь что-то Кирякъ. А что собственно, и самому ему совсѣмъ не понятно.

Крякнулъ староста и опять бороду ерошить.

— Вотъ что паренекъ... Слышь-ка... Ты кнута ременнаго не отвѣдывалъ?.. Ну, говори.

— Н-нѣтъ.

— А каши березовой?

— Н-нѣтъ.

— То-то, парень. Видать... что не пробовалъ. Вотъ эдакъ-то завсегда... Какъ кого не поряты... И что изъ него, Господи Иисусе, выростетъ... Озорничество, конокрадство, огородничество, богохульничанье и всякое такое шельмовство; начнетъ съ гороху, да огурцовъ, а кончить кружками церковными да конями... Вотъ ты, по дальности разстоянія и по множеству моихъ у меня барскихъ дѣловъ, у меня изъ памяти вышелъ... Не дралъ я тебя ни разу... Ну вотъ, гляди что вышло... Мою дѣвчонку спроворилъ и къ себѣ зазвалъ. И такого туману напустилъ, что мнѣ вотъ самому въ лѣсъ къ тебѣ итти довелось.

— Филиппъ Андронычъ! вдругъ заговорилъ Кирякъ.—Я не по озорничеству. Я озорникомъ не былъ. Гдѣ тутъ, въ

лѣсу живучи, къ этому дѣлу озорному привыкнуть. Я по совѣсти. Вотъ что, Филиппъ Андронычъ... Я тебѣ какъ предъ Господомъ Богомъ... Дай сказать... Дай сказать, вотъ... по совѣсти, какъ на суду Божьемъ, скажу.

Кирякъ показаль на образа и перекрестился. И вдругъ тутъ же, видитъ онъ, засіяло, заблестѣло у него предъ глазами пятно какое-то серебристое и въ пятнѣ этомъ и Филиппъ Андронычъ весь расплылся. И мокро стало на лицѣ. А это вишь слезы въ глазахъ у Киряка. Давно не плакаль парень. Съ той поры не плакаль, что отъ страху выль въ лѣсу оди-нехонекъ. И теперъ не отъ страху плачеть.

— Ну, ну! Отчего не послушать. Бреши.

Сталь Кирякъ говорить часто да много. Откуда что у него бралось... Староста глаза раскрыль, ротъ разинуль и какъ ерошила бороду рука съ мѣднымъ кольцомъ на пальцѣ, такъ и осталась, замерла, вѣднившись въ русыя лохмы бороды его окладистой.

Ухватилъ эдакъ самъ себя за бороду Филиппъ Андронычъ и слушаетъ. И Шарикъ, сидя на полу, голову задраль и выпучилъ глаза, да новостривъ уши, тоже слушаетъ хозяина.

— Вѣ какъ! Вѣ!.. говоритъ его морда умная. — Ты тамъ хоть и староста, а мы вѣ какъ.

Долго говорилъ о себѣ Кирякъ. Дошло дѣло и до денегъ.

— Ну, а деньги? закончилъ Кирякъ. — Деньги вѣстимо не ворованныя. Поясницей нажита половина, другая дареная: за нихъ отвѣтъ и передъ Богомъ и предъ тобой могу держать. Деньги говорю, твои. Хоть сейчасъ бери. Мнѣ съ Аксютой тутъ ихъ не надо. Ее-то мнѣ... въ хозяйки отпусти. А деньги! Прахъ ихъ возьми! Кирякъ махнулъ рукой и замолчалъ.

Задумался староста, пальцы толстые изъ бороды ужъ вытащилъ, шапку теперъ мнетъ и въ полъ глядитъ. И молчокъ, ни слова. Ужъ много больно парень-то выкляль, да гораздо расписаль.

— Вонъ оно какъ! шепнулъ староста въ полъ. — Д-дѣло. Да! Поди-ко вотъ, разсуди. Въ лѣсу-то живши... А?!

Кирякъ, не долго думая, бултыхнулся мужику въ ноги.

— Филиппъ Андронычъ! всплакнуль онъ снова.

— Филиппъ - то я, Филиппъ! протянулъ съ разстановкой староста. — И Андронычъ... Опять я же все... И староста... Та-акъ. И дѣвчонка у меня — удержу нѣтъ ей. Воструха, что не знаешь за какой ее хвостъ ухватить. И ты тоже парень

съ виду ничего. Смирень, ну и домовитый тоже. Слова нѣтъ, домовить. Ишь развелся какъ, въ лѣсу живя. Да дѣло-то, парень, это непокладное, мудренное. Въ годъ не осилишь... Д-да. Вотъ Безродную я Ѳомкѣ приказъ даль отстегать за сватовство, а теперь, гляди вотъ, самъ словно въ зажорѣ сѣлъ. Народъ-отъ и скажетъ, что ты колдунъ. Матрену-то моль отдраль, а самъ пошелъ и съ дивомъ-дивнымъ назадъ пришелъ.

— Филиппъ Андронычъ! Чтò народъ баеть, не переслушаешь. Тебѣ вѣдомо, что не бѣшенъ я. Такъ чего же?

— Ты, парень, этого смыслить не можешь. Былъ такой-отъ вотъ, какъ ты, кусаный волкомъ, въ Маркеловыхъ дворикахъ... Все ничего, да ничего, не бѣшенъ былъ. И въ церковь ходилъ, и въ кузницахъ былъ, поддувало ворочаль... И всякое такое... Анъ вдругъ разъ и вцѣпился въ пастуха, да и пошелъ кусать. Ползаетъ по звѣриному и кусаетъ. На цѣпь посадили. Цѣпь грызъ. Въ городъ свезли, онъ въ городѣ городничаго за штаны зубами сгрѣбъ. Да! такъ вотъ подполозъ сзади и вцѣпился какъ песъ. Вотъ что... Ну... А что полюбилась тебѣ дѣвчонка, такъ это все баловство. Года твои такіе и время стоитъ—жара. Разлюбится. И заживешь опять по-старому, одинъ...

— Богъ съ тобой, Филиппъ Андронычъ. А я скажу, мнѣ жולי безъ Аксюты, такъ въ гробъ ложись. И ей тоже я по душенькѣ пришелся.

— Ну, бабѣ дѣло что?! Она этого не смыслить. Повеетъ, да и отойдетъ отъ нея. А то выпорю, да заставлю. У меня ей и сосватанный есть, Агаѣи Матвѣвны сынъ, Ванюха. Дѣвка товаръ такой, не залеживается никогда. У меня ихъ три, а гляди, объ будущую зиму всѣхъ расую по сосѣдямъ.

Долго бился Кирякъ со старостой и все не вставалъ съ полу, все кланялся въ ноги. Наконецъ добился парень того, что староста спросилъ:

— Ну, а деньги-то, впрямь, не самодѣльные?

Кирякъ вскочилъ съ радости, бросился въ уголь, сдвинулъ ларь и, поднявъ половицу, сталъ выгребать горстями на полъ и мѣдяки, и свѣтляки, и бумажки.

Всталъ и Филиппъ Андронычъ со скамьи и подошелъ глядѣть.

— Поди жъ ты... А? Въ лѣсу-то живши. Что жъ бы ты на селѣ-то скопилъ... Сколько жъ тутъ?..

— И не вѣдаю, Филиппъ Андронычъ. Должно за сто рублевъ перевалить.

— За сто? Ой, врешь... Гдѣ за сто! Ты поди и счетовъ не знаешь. Гдѣ за сто! Давай-кось перечту, ласково заговорилъ ужъ Филиппъ Андронычъ.

Сѣлъ староста на полъ, шапку отложилъ, и началъ отсчитывать да столбики класть... Долго считаль, раскладываль, пальцемъ тыкаль и наконецъ взялъ палець въ ротъ... сбился.

— Тьфу... Сызнова надо начинать.

Глянулъ онъ подъ половицу, а тамъ еще столько же мѣдяковъ, да свѣтляковъ да бумажекъ, коли не больше.

— И ихъ, парень. И впрямь за сто перевалить. Скажи ты на милость... Како дѣло! А?!

И староста совсѣмъ выпучилъ глаза на парня.

Кирякъ весело усмѣхался.

— Что жъ это, парень? Аль ты всю жисть проѣзжихъ въ лѣсу биваль, да ограбляль? смѣется староста.

— Какіе тутъ, Филиппъ Андронычъ, проѣзжіе, въ Солдатской Сѣчи? тоже смѣется Кирякъ. — И воронъ пролетныхъ не бываетъ. Одинъ мѣсяць по небу ночью проѣзжаетъ, отъ Воскресенскаго вашего къ Матвѣевкѣ...

— Ишь какъ сказываетъ... удивился староста. — Чуденъ ты. Мѣсяць вишь проѣзжаетъ у него... Право чуденъ...

И оба весело разсмѣялись. Староста задумался, глядя на полъ, усѣянный не сочтенными столбиками.

— Да! Настоящіе... Что жъ? Деньги они. Какъ быть должно, заговорилъ онъ самъ себѣ. — И это въ лѣсу-то живши? Въ лѣсу-то? Я думаль Аксютка по дѣвичьей глупости брешеть. Анъ вонъ. Деньги. то жъ намъ теперь дѣлать-то? Видно по рукамъ ударить. Ай-да бѣшенный! Въ лѣсу-то живши?

Черезъ полчаса деньги опять ссыпали назадъ, половина была накрыта, ларь опять на мѣстѣ, а староста собирался домой.

— Ну, нареченный, поцѣлуемся. Что жъ будешь дѣлать! Приходи на село. Откладывать свадьбу нечего. Въ воскресенье въ предбудущее и отпирuemъ. Чего ждать!..

Кирякъ затрясся отъ радости и опять хотѣлъ въ ноги броситься.

— Да не бултыхайся! Что ужъ тутъ ползать, развелъ руками староста. — Дѣло такое, что хоть другимъ у тебя въ ногахъ валяться. Колдовство дѣло, просто.

Филиппъ Андронычъ вышелъ изъ избушки, и, идя по полянѣ домой, еще раза два развелъ руками по воздуху.

## XX.

Въ сумерки прибѣжала запыхавшись Аксюта, такъ и ворвалась въ избушку. Кирякъ только привстать успѣлъ, и повисла дѣвица у него на шеѣ и прижалась крѣпко...

— Тятка! тятка... повторяетъ Аксюта, но задохнувшись отъ бѣга своего и выговорить не можетъ.— Въ воскресенье...

— Знаю... Въ воскресенье, понялъ Кирякъ,— а нонѣ вторникъ. Долго ждать.

— Вѣстимо долго. Повѣнчали бы завтра и слава Богу.

— Ну садись, рассказывай. Какъ Филиппъ Андронычъ во двору-то, да на селѣ оповѣстилъ всѣхъ?

Аксюта рассказала, что когда батька пришелъ изъ лѣсу и объявилъ, что просваталъ ее за Киряка „бѣшенago“, то они никто въ толкъ не возьметъ, думали всѣ, что староста зря балуется. А какъ повѣдалъ, подѣ клятвенное обѣщаніе не болтать, про деньги-то, всѣ домочадцы и рты разинули. Теперь, поди, ужъ изъ двора во дворъ народъ ходить и галдить про свадьбу.

— Ванька навѣдывался къ намъ, прибавила Аксюта.— Сначала не вѣрилъ, а потомъ и ругаться началъ, и позорить: что, дескать, бѣшенатъ разводите будете, и что вашихъ дѣтокъ на цѣпъ сажать будутъ въ городѣ. Тятка его спровадилъ. За нимъ и сама Агаея Матвѣвна приволоклась и тоже зубоскалить. Тятка долго терпѣлъ, но на послѣдяхъ осерчалъ и обругалъ ее. Она стала ему выговаривать, что у Ваньки сто рублей, да домъ... Тятка не стерпя ей и сказалъ: а у Киряка-то, поди, подѣ половицей и всѣ триста, да тоже домъ.

— Ну что жъ?

— Какъ отрѣзало ее. Разинула пасть, постояла да и ушла.

— Дѣло - то это не ладно, Аксютушка. Зачѣмъ Филиппъ Андронычъ бухнулъ про деньги чужимъ-то людямъ?

— Ей на зло. Не стерпѣлъ ужъ.

— Ну вотъ, гляди, дойдетъ до барыни и велятъ отобрать.

— Какое дойдетъ! Барыня, слышь, въ Нѣметчину за водой поѣхала. На цѣлое лѣто собралась.

— Какъ за водой! Что ты путаешь? Нешто господа воду возятъ? Я тоже во двору былъ, порядки барскіе знаю.

— Вѣрно говорю. А вернется когда, то мы деньги затратимъ и скажемъ: похвастали.

Между тѣмъ смерклось совсѣмъ и Аксюта собралась домой. Кирякъ пошелъ проводить ее до поля.

— А вѣдъ Матрену-то, покуда тятка былъ у тебя, вышноролы за сватанье. Ей-Богу!

— Вона дѣло-то какое! Что жъ Филиппъ-то Андронычъ?

— За брата ей зачель. Ейному брату чередъ былъ. За гусей. Все съ пруда слетають на рѣку. Ужъ ему за то семь разъ было. Теперь осьмой-отъ разъ зачли.

— Семь разъ драли, и все изъ-за однихъ гусей? закачалъ Кирякъ головой.

— Семь разъ, Кирюша.

— Ну, а гуси, поди все слетають?

— Вѣстимо слетають. Птица. Не понимаетъ.

— За что жъ человѣка-то обижать за птицу глупую, за гуся!..

— Чуденъ ты, Кирюша! воскликнула Аксюта. — Такъ не гуся же драть-то. Ну, вонъ и село. Прости. Вертай домой.

Они простились. На селѣ Аксюта содомъ нашла.

Приди опять Французъ войной и будь битва опять у Солдатской Сѣчи, то не переполошились бы Воскресенцы столько же, сколько отъ вѣсти что прошла по избамъ. Какъ громъ съ молніей ударила по избамъ вѣсть о сватовствѣ да вѣнчаньи Киряка „бѣшенана“. Прямо рѣшили головы, что Кирякъ колдунъ, самого Филиппа Андроныча заколдовалъ. Пошелъ староста въ лѣсъ за расправой съ озорникомъ, а вернулся тестемъ. Вотъ такъ блинъ!

У Киряка на полянѣ и въ избушкѣ на другой же день перебивало тоже чуть не все село, со смѣшками да опросами, съ ахами, да съ охами. Ванька Агафьинъ тоже былъ и хотъ сказывалъ, что коли ужъ пойдетъ въ лѣсъ, такъ затѣмъ, чтобъ изувѣчить бѣшенана колдуна, однако позубоскаливъ, ушелъ безъ драки. Шибко не полюбилась Киряку рожа Ванькина.

У Киряка отъ всего народа, да отъ разтабарываній пустыхъ, голова кругомъ пошла. Шарикъ и тотъ ошалѣлъ, сбился съ панталыку своего песьяго и не зналъ что ему—лаять ли, кусать ли налѣзающихъ гостей или лаской ихъ встрѣчать. Соловушка пѣть пересталъ. Не любилъ онъ народъ. А тутъ то и дѣло теперь около избушки говоръ да смѣхъ, да тарабарщина людская.

На третій день утромъ, чѣмъ свѣтъ, опять прибѣжала Аксюта и подняла свой содомъ въ избушкѣ. Всѣмъ досталось отъ ея балагурства, и хозяину, и Шарикю, и всѣмъ сожителямъ. А пришла она по дѣлу, сказать Киряку, чтобъ ни за сто рублевъ не сказывалъ никому про свои деньги. А на селѣ пушено, что тятка про его деньги со зла вралъ.

— Тятя указалъ тебя упредить. Говорить, помилуй Богъ, не барышнѣ отберуть, а хуже того, лихіе люди ограбятъ, и тебя убьютъ. Тутъ вѣдь въ лѣсу! Собирался ужъ взять онъ деньги отсюда къ себѣ, для вѣрности, да говорить, ты не довѣришь.

Наконецъ, приласкавъ Шарика, пугнувъ Косого и треснувъ Киряка по спинѣ прутомъ... собралась Аксюта домой. Она бѣгомъ пустилась и Кирякъ проводилъ ее до самой рѣки, хотѣлъ даже до села дойти. Да народъ увидить, а имъ не гоже теперь вмѣстѣ на глаза народу лѣзть.

— Смотри, парень, женимся, я тебя бить буду, грозилась прощаясь Аксюта.—Я куда злюча. Въ гробъ заколочу.

— Ладно, бей, только руки себѣ не обколоти, а то мнѣ же обидно будетъ.

Порѣшили они быть Киряку за утро у нихъ со свахой. Хоть и со стеганой ужъ за сватовство, да что жъ дѣлать; обмахнулся Филиппъ Андроничъ, заспѣшилъ...

## XXI.

Въ полночь страшенъ лѣсъ дремучій. И не вѣсть что чудится человѣку за всякимъ кустомъ, подо всякою вѣткой. А на дѣлѣ-то, нѣтъ ничего. За кустомъ лохматымъ заяка прилежъ или хитрая лиса прикурнула и боится... да не лѣшаго, а человѣка, охотника, собаки его. Подъ листомъ букашка отдыхаетъ въ своей норкѣ, и боится тоже, да не вѣдьмы, а росы холодной иль опять того же человѣка, паты его громадной. На вѣткѣ цѣпко приткнулась малиновка иль зябликъ и, уткнувъ голову подъ крыло, нахохлившись клубочкомъ, дремлетъ, и коли боится, такъ не тьмы ночной и навожденья дьявольскаго, а боится лисы злодѣйки, совы пучеглазой, ястреба кровопійцы, и опять таки того же человѣка, врага вѣчнаго и закоснѣлаго всякой твари Божьей.

Ночь стоитъ мирная, звѣздная, синеватая. Полянка вокругъ

избушки серебрится росой и съ болотца сосѣдняго поднялся туманъ и плыветъ по полянкѣ клубкомъ бѣлымъ, точно будто мертвецъ въ бѣломъ саванѣ поднялся изъ могилы и летитъ тихонько людей живыхъ смущать.

Кирякъ крѣпко спитъ въ избушкѣ на лавкѣ и снится ему... Снится воструха Аксюта. Бѣгутъ они на перегонки по лѣсу; вотъ споткнулся онъ, грохнулся объ землю, а Аксюта все бѣжить и не догнать... Хочетъ онъ встать и не можетъ, хочетъ ухватить Аксюту и рука отнялась. А дѣвица все бѣжить, шибко бѣжить и все будто надъ нимъ, надъ самою головой его, а достать, ухватить ее, Киряку не подъ силу. А ужъ какъ бы ухватилъ-то, да на грудь прижалъ, да цѣловаль бы...

Сладко спитъ Кирякъ и только дышетъ тяжелѣе отъ сновидѣній. И онъ знать давно пересталъ бояться лѣшаго, да тьмы ночной... Да и людей не боится онъ...

А бояться бы людей ему слѣдь... Который ужъ день на селѣ объ немъ только и рѣчи. А ужъ не къ добру людская молва да людская забота о человѣкѣ.

Спитъ безъ просыпу, среди ночи синеватой, молодой парень... А Шарикъ не спитъ. Спалъ песь сладко, но вдругъ проснулся и заворчалъ... Хотѣлъ было, поерзавъ у себя въ углу, опять лечь калачикомъ, да нѣтъ, не спится... Раздулъ онъ свои ноздри, уши наострилъ и глаза растарачилъ, и опять заворчалъ тихонько.

Не ладно что-то. Мѣшаетъ спать чтой-то такое!

Поглядѣлъ Шарикъ въ открытое настезъ окно избушки. Видитъ, ясная, свѣжая ночь, небо синеватое со звѣздами, лохматый лѣсъ за полянкой. Все на своемъ мѣстѣ. Вонъ и хозяинъ на лавкѣ сопить. Положилъ Шарикъ морду на лапу, вытянутую на полу и собрался было спать.

Нѣтъ! нельзя! пахнетъ скверно! Людьми чужими пахнетъ.

Забурчалъ громче Шарикъ, вскочилъ на переднія лапы и сѣлъ. Скосилъ голову и морду, глядитъ на окно и бурчитъ.

А носъ у Шарика бѣдовый. Далече отъ полянки чужой человѣкъ проявился, а ужъ Шарикъ самъ не свой. Не любить онъ запаха человѣчьяго и словно на зло чуетъ его за полверсты.

Посидѣлъ Шарикъ съ минуту, наостривъ уши и вдругъ тихонько прыгнулъ къ окну, взмахнулъ на лавку, поставилъ переднія лапы на подоконникъ и молча глянулъ въ окно.

Все то же. Полянка въ цвѣту и въ росѣ серебряной. Лѣсъ



лохматый также темною изгородью кругомъ обошелъ. Ночь звѣздная мерцаетъ и искрится... И тихо всюду, ничто не шелочнется... Все спитъ, отдыхаетъ отъ жаркаго дня, жизни во снѣ набирается для новаго завтрашняго дня.

Все кажись на міру Божьемъ въ порядкѣ! думается Шарикю. А носъ его проклятый говоритъ: нѣтъ! Не все въ порядкѣ. Слышь, пахнетъ скверно! Чужимъ человѣкомъ пахнетъ... А вонь, вонь, слышь!.. Голоса человѣчи... Далекототъ говоръ, да ночью-то по тиши ночной все слышно на цѣлую версту кругомъ... Слышь, голосъ... Да не одинъ, а два, три голоса, а то и болѣ...

Громче и сердитѣе зарычалъ Шарикъ на непорядки такіе среди мира и покоя ночи. Ужъ не одинъ носъ его человѣка чуетъ, а и ушамъ послышалось тоже... Зорко сталъ оглядывать вѣрный песь полянку и лѣсъ, пока хозяинъ знай сопитъ себѣ да сопитъ на лавкѣ.

Вдругъ заревелъ злобно, залился Шарикъ и съ маху вылетѣлъ за окно на поляну. Увидаль онъ на опушкѣ людей.

Громко, голосисто залился онъ на весь лѣсъ... И не зналъ того Шарикъ, что среди затишья ночного, верстъ на пять разнеслось кругомъ его тьяканье злючее... Не одинъ въ лѣсу заяцъ вздрогнулъ и съежился боязливо подъ кустомъ, не одна пташка встрепенулась, высунула голову изъ-подъ крыла и оглядѣлась съ просонокъ на сучья и вѣтки сосѣднія.

Проснулся и Кирякъ, услыхавъ друга.

— Шарикъ! Чего? Эка дурень! Чего горланишь? Шарикъ! Иди что ль, спи!

Но Шарикъ пуще заливаеця.

— Эка проклятый! думаетъ Кирякъ и, потянувъ на себя тулупъ, повернулся къ стѣнѣ и хотѣлъ было, прикрывшись теплѣй, вздремнуть покрѣпче вплоть до утра. Но Шарикъ еще пуще злится, изъ кожи лѣзетъ, заливаясь лаемъ густымъ... И вдругъ взвизгнулъ онъ, спалъ будто его голосъ, залился онъ хрипло, боязливо, и шаркнувъ назадъ на окно, затайкалъ жалобно, будто плакать началъ.

Прошла знать злоба, страхъ обуялъ пса. Страхъ того, что не беретъ его лай, не боится его чужіе люди, а идутъ да идутъ, шагаютъ по серебристой полянѣ прямо на него къ избушкѣ. Вскочилъ и Кирякъ къ окну, глянулъ и видитъ двигаются къ нему три человѣка.

— Эй, уйми пса-то! кричитъ одинъ.

— Чего вамъ? Кто вы такіе? крикнулъ Кирякъ изъ окна. — Молчи ты, проклятый. Но-о!! Цыцъ! Пошелъ подь печку, Но-о!! Чего вамъ?

Шарикъ ушелъ къ печкѣ, а самъ и трясется, и визжитъ. И озлился онъ, и оробѣлъ отъ эдакаго дѣла ночного. Никогда эдакаго еще не бывало.

— Чего вамъ? спрашиваетъ Кирякъ.

— Какъ на Воскресенское выйти, родимый? говорить одинъ бородатый мужикъ съ мѣшкомъ за плечами, подходя къ избушкѣ. А двое отстали и стоятъ на полянкѣ.

— Какъ? Иди прямо и выйдешь.

— Прямо? То-то прямо, когда знаешь. А насъ лѣшій завель да и закружилъ въ лѣсу. Бѣда. Вечерось вышли изъ Матвѣвки, да хотѣли напрямки отхватать чрезъ лѣсъ, а вотъ грѣхъ и вышелъ. Плутаемъ по сю пору. Измаялись.

— Вы не здѣшніе стало?

— Каки тебѣ здѣшніе, мы изъ-подъ Кіева. Тыщу версть ушли, нигдѣ не сбились, а тутъ вотъ въ пяти верстахъ лѣсомъ-то съ сумерекъ бьемся.

Подошелъ къ избушкѣ и другой человекъ, тоже съ мѣшкомъ и одѣтый по солдатски и тоже заговорилъ. Третій остался поодаль.

— Окажи Божеску милость, заговорилъ солдатъ, — выведи насъ изъ этого лѣса треклятаго. Верстовъ тридцать искружили по немъ. Истрепались такъ, что моченьки нѣтъ.

Заслыша второй чужой голосъ, Шарикъ опять озлился и со злобы опять было полѣзъ къ окну.

— Цыцъ! проклятый! Эка дьяволъ! крикнулъ на него Кирякъ и больно ткнулъ его ногой въ бокъ.

Тявкнулъ Шарикъ, обидѣлся и отойдя сѣлъ опять у печки.

— Да чего жъ тутъ выводить. Идите вотъ прямо, тутъ тропку большущую протоптали съ села... Правда, ночь... Не видать.

— То-то ночь, родимый. А ты проведи хошь малость, хошь на тропку-то поставь. Окажи Божеску милость.

— Изволь, что жъ. Отчего не показать.

Накинулъ Кирякъ тулупъ и, отодвинувъ у дверки засовъ, вышелъ на крылечко.

— Ишь ночь-то славная. Тишь!.. молвилъ онъ.

Повернулся Кирякъ дверь притворить и въ ту жъ минуту что-то не хорошее почувялъ. Сразу захолонуло въ немъ сердце. Вскрикнулъ онъ и смолкъ.

Двѣ ручищи схватили его сзади за горло. Шарахнулся онъ, отскочилъ было, но оба мужика взмахнулись на него, спибли съ ногъ на землю и наѣли.

— Держи горло-то!.. ореть одинъ и веревку тащить изъ мѣшка.

Вѣрный песъ вылетѣлъ изъ избушки и съ воемъ вцѣпился въ плечо одного изъ враговъ ночныхъ. Но третій съ подвизанною платкомъ щекой ужъ подбѣжалъ къ своимъ и съ маху разрубилъ Шарика топоромъ чуть не надвое.

Только хрипнулъ Шарикъ и кувырнулся. И разливаясь по травѣ, задымилась на изморози ночной его кровь, пролитая злодѣйски.

— Охъ, Каины! прошипѣлъ Кирякъ и слезы выпли ему на глаза.

Понялъ парень, что и ему неожиданно-негаданно конецъ Господь судилъ отъ злодѣевъ. Повернули его на животъ, лицомъ въ траву, и опять всѣ трое наѣли.

— Вяжи! вяжи! кричитъ одинъ.

Другой все путаетъ его по ногамъ и рукамъ. Третій руки гнетъ назадъ, да пути затягиваетъ.

Скоро скрутили парня и слезли съ него; вздохнулъ Кирякъ немного легче, но горько на душѣ стало.

— Ну, молодецъ, лѣсной купецъ! слышитъ онъ надъ собой голосъ бородатаго.—Говори гдѣ деньги. Подъ какой половицей?

— Смилуйтесь... Не берите грѣха на душу, взмолился Кирякъ.

— Ну, ну, не торгуйся, парень. Турусы-то эти не разводи! говорить другой.

— Отвѣтъ дадите предъ Господомъ...

— Полно ты. Спасибо голова на плечахъ. Топоръ-отъ вотъ онъ. Не долгое дѣло. А ты говори, гдѣ деньги. Скажешь—оставимъ въ живыхъ, опять разживаться.

— Пожалѣйте, родимые... плачетъ Кирякъ.

— А ты другихъ жалѣлъ? Ты сколько душъ-то загубилъ, чтобъ экія деньги награбастать! крикнулъ снова бородатый.

— Не губилъ я никого.

— Ну ладно, это твое дѣло. А ты сказывай гдѣ казна! крикнулъ солдатъ. — Не скажешь, все перешаримъ и сами найдемъ, но только тогда, вотъ тебѣ Христось Богъ, избу сожжемъ, а тебя порѣшимъ какъ вотъ пса этого.

— А скажешься, такъ быть тебѣ отъ насъ живу, на раз-  
живу! засмѣялся бородатый.

— Охъ, Господи-Батюшка! заплакалъ парень. — До чего  
дожилъ. Слепому какую напустилъ. Ночью, да безъ топора  
вышелъ.

— Спрашивай что ль? Что вожжаться! шепнулъ третій  
злодѣй, прибѣжавшій на подмогу и изрубившій Шарика, и  
почудился Киряку голосъ знакомый. Не даромъ тихо, не во  
весь голосъ говоритъ человѣкъ.

— Ну, скажешь что ль? А то голову лови. Такъ и отпо-  
лыхну вотъ этимъ съ плечъ долой.

И злодѣй, видитъ Кирякъ, замахнулся надъ нимъ съ то-  
поромъ въ рукахъ.

И признался парень, сказалъ все... Гдѣ ларь и гдѣ поло-  
вища.

Солдатомъ одѣтый сѣлъ надъ нимъ стеречь его на кры-  
лечкѣ, а двое пошли въ избушку.

Кирякъ, волей-неволей, смирно лежалъ съ оттянутыми на  
спинѣ руками и стоналъ, припавъ лицомъ къ травѣ сырой.

Солдаты высѣкъ себѣ огня и закурилъ молча, разъ только  
молвилъ онъ Киряку, покуривая трубку и поплеывая:

— Деньги, братъ, отцу родному не кажи. А ты вишь  
дѣвкамъ проходимъ въ лицо ими тыкалъ. Вотъ прослышали  
мы объ нихъ, ну и пришли къ тебѣ въ гости. Захотѣлось  
и намъ на нихъ поглядѣть.

Солдаты крякнулъ и снова заговорилъ:

— И опять скажу, случай, братецъ, диковина! Нешто  
можно въ лѣсу деньги держать? Знамо дѣло ограбятъ...

Солдаты помолчали опять и вдругъ спросилъ:

— А что, парнекъ, суббота нонѣ, ай пятница? Я чтой-  
то и не разберу... А?... Должна, кажись, быть суббота...

Кирякъ не отвѣтилъ, а только вздохнулъ тяжело.

— Ну, лежи... ворчнулъ солдатъ.

Наконецъ заголосили двое въ избушкѣ, поругались видно,  
а можетъ изъ-за тѣхъ же денегъ споръ вышелъ. И слышитъ  
Кирякъ голосъ знакомый того же человѣка что сначала по-  
одаль стоялъ, да потомъ съ нимъ по-шепту говорилъ.

„Чей голосъ? думаетъ Кирякъ. И вдругъ ахнулъ самъ про  
себя.—Ваньки голосъ. Ваньки Агаѣина! Самого его!“

Много прошло такъ времени. Сто лѣтъ прошло для Киряка.

— Ну, чего жъ вы тамъ застряли? крикнулъ наконецъ  
солдатъ, докуривъ и выколачивая трубку о ступень.

Вышли наконецъ и тѣ двое.

— Ну, еще другихъ какихъ нѣту? Ты, лѣсной купецъ! крикнулъ бородатый злодѣй.

— Нѣту... Берите все. Душу не губите! Богъ съ вами! сказалъ Кирякъ.—Что деньги?! Живу быть бы толвию.

— Не ладно, ребята! шепчетъ опять подвизанный. И со всѣмъ Кирякъ призналъ Ванькинъ голосъ.—Не годно его оставлять. Денежки-то вотъ онѣ, не мѣченныя; у насъ... А глаза-то да уши его у него остались. Онъ парень не промахъ! Ну, коли онъ призналъ... да укажетъ оносюя кого изъ насъ!

— Намъ-то что? Насъ ему не найти! Нонѣ здѣсь, завтра за тыщу версть. Твое дѣло! Ты здѣшинскій, сказалъ солдатъ.

— На мой разсудокъ, покончить и съ нимъ.

— Что жъ, на вотъ топоръ-отъ. Я ужъ имъ два раза рубилъ! засмѣялся бородатый.

И замолчали всѣ трое, а сердце Киряково будто кровью горячею облилось...

„Вотъ ударить, думаетъ онъ, и всему конецъ“.

— Ты, Павлуха, проворнѣй меня. Свистни его поперекъ затылка, шепчетъ Ванька Агаѣинъ.

— Вишь выискался! Людей за него рупи. А онъ глядѣть будетъ. Тебѣ опаска. Ну, ты и руби. Чего мнѣ его крошить? Христіанская душа тоже, не песь. Я биваль—знаю каково. На вотъ топоръ.

И затихли опять. Повернулъ Кирякъ голову, и видитъ подвизанный платкомъ. Ванька стоитъ съ топоромъ, глядитъ и сопитъ. Вотъ плюнулъ себѣ на руку, взялъ топоръ въ обѣ и нагнулся надъ нимъ.

— Добрый человѣкъ! взмолился Кирякъ.—Не губи души. Чьи вы и кто вы, одному Богу вѣдомо. Зачѣмъ я васъ искать пойду? Васъ словятъ, я мои деньги все жъ не получу отъ становаго. Убещь ты меня, незнаемый, человѣкъ, моя душенька загубленная къ тебѣ вѣкъ приходить будетъ.

— А, ну те. Тьфу! плюнуть Ванька опять все шепотомъ.— Пойдемъ ребята. Пуцай его. разживается опять. Такъ-то на душѣ легче.

Собрались злодѣи уходить.

— А вѣдь онъ, пожалуй, эдакъ-то съ голоду помретъ! сказалъ солдатъ.—Ну, какъ никто, дня три съ села не навѣдается.

— Небось, навѣдаются сваты да дружки! размѣялся Ванька.  
 — Ему бы, братцы, хоть ноги-то распутать. Что онъ намъ сдѣлаетъ? Насъ трое.

— Ну, не блажи, Павлуха. Коли околѣветъ онъ, лежа тутъ, стало Богъ судилъ. Иди что ль...

И скоро смолкли голоса въ лѣсу.

А Кирякъ лежалъ и напрасно пробовалъ подняться съ земли. Путь скрутили крѣпко руки и ноги... Только плакалъ парень, да стоналъ, и Богу забывъ помолиться, что живъ-то остался.

А кругомъ стоялъ тотъ же лѣсъ изгородью темною, также искрилось небо звѣздное и то же мирное затишье было надъ лѣсомъ и полянкой...

Только вмѣсто Шарика голосистаго, распласталась около Киряка на травѣ изрубленная мертвечина.

## XXII.

Путру пришла Аксюта и нашла Киряка связаннымъ на землѣ. Лежалъ парень какъ мертвый. Не то спалъ, не то окостенѣлъ отъ путь и узловъ, что перекрутили руки и ноги. Стала развязывать его Аксюта, чуя бѣду, но не разумѣя въ чемъ она, и только наступивъ на дохлаго Шарика, стала понимать: „Были люди лихіе... Зачѣмъ? За деньгами приходили“.

Скоро пришелъ Кирякъ въ себя, глаза открылъ и сталъ глядѣть на Аксюту, но говорить долго не могъ. Наконецъ онъ перекрестился.

— Аль бѣда приключилась, Кирюша? Господи! Да кто жъ такое сдѣлалъ? вымолвила Аксюта.

— Господь наказалъ, Аксютушка, выговорилъ наконецъ Кирякъ.— Чужое-то добро въ прокъ нейдетъ... Грѣхъ...

— Какое чужое?..

— Ограбили меня грабители. Въ живыхъ оставлять не хотѣли. Не знаю, какъ цѣлъ остался отъ нихъ. Пойдемъ скорѣе.

Поднялся Кирякъ, шагнулъ было къ избушкѣ, но увидѣлъ Шарика, и за сердце егохватило. Чуть слеза не прошибла.

— Вонъ оно. Злодѣи. Кровопійцы. За меня это... Онъ на нихъ шаркнулъ меня избавлять...

Махнулъ Кирякъ рукой и пошелъ.

Вошли они въ избушку. Все перерыто, половица поднята, а тамъ нѣтъ ничего... чисто.

Будто тутъ только сообразилъ паренъ все дѣло. Взялъ онъ себя руками за голову и сталъ; стоитъ столбомъ надъ половицей и сопить.

— О-о-охъ! вырвалось только у него.

Аксюта сѣла на лавку и давай плакать и причитать:

— Охъ, горемычная я. Нѣту мнѣ пути да счастья. Вотъ болты болтали, сказы рассказывали, и бѣду нажили. Вотъ и нѣтъ ничего... Молчать бы надо, не сказывать. Охъ, я окаянная! Не бывать мнѣ нонѣ твоею женой... Охъ, не родила бы мать на свѣтъ. Быть мнѣ за Ванькой. О-о-охъ! Пойду я потоплюсь въ рѣчкѣ.

— Ванька! крикнулъ вдругъ Кирякъ.—Да кто навель-то? Кто пріятелиевъ сюда сволокъ ночью? Ванька твой, Каинова его душа... Да это враки. И безъ денегъ быть тебѣ моею женой. Шалишь... А не то возьму топоръ, да и пойду крошить...

— Что ты, Кирюша? Не грѣши! Какъ можно!

— Что? Я не грѣшу... Возьму топоръ, да...

— Нѣтъ, я про Ваньку-то. Что ты сказываешь? Онъ паренъ пролазъ, ну, а въ грабителяхъ не замѣченъ.

— Тебѣ я толкомъ сказываю. Я его призналъ. И рыломъ и голосомъ—онъ былъ.

И Кирякъ рассказалъ дѣвицѣ все какъ было съ нимъ ночью. И о словахъ солдата добавилъ: что знали они про деньги.

— Солдатъ?! Солдатъ Павелъ?! вскрикнула Аксюта.—Это его пріятель изъ Демьяновскихъ. Онъ конокрадъ.

— Павелъ ли, конокрадъ ли, того я не знаю. А что Ваньку я призналъ. И коли Филиппъ Андроничъ тебя за него будешь неволить, то я...

— Что жъ ты можешь?

— Да нешто расправы на такое дѣло нѣту? Что ты! Господь же съ тобой...

— Какая расправа, Кирюша? Господь нѣтъ. Барыня за водой уѣхала. Становой самъ первый грабитель, и Демьяновцы ему же тройку пѣгихъ подвели объ Пасху отъ всего міра... Охъ, да что тутъ! Горе наше, горче нѣтъ.

И Аксюта пуще залилась.

Цѣлое утро до полдня прогоревали и продумали Кирякъ съ Аксютой о своей бѣдѣ... и ничего не надумали.

— Что скажетъ Филиппъ Андронычъ? сталъ говорить Киря.

— Я тятю-то моего знаю... Его сказъ короткій. Мнѣ, скажетъ, деньги подавай. А украли—ну и аминь. Начинай сызнова копить, да живо. А не можешь, ну, значить, бей лбомъ объ стѣну, можетъ лучше будетъ... Его сказъ, говорю, короткій.

Прустная, красноглазая, пошла Аксюта домой. А Киряку, хоть и было самому горько, пошелъ рѣть яму, зарыть Шарику.

Не прошло часу, едва успѣлъ онъ заравнять яму ногами, видитъ, идетъ изъ лѣсу самъ Филиппъ Андронычъ.

Подошелъ староста и говорить:

— Здорово, бѣшеный. Дѣвка-то моя вреть что ль? Аль и виравду тебя обновили за ночь-то?..

— Грѣхъ вышелъ, Филиппъ Андронычъ. Скарбъ разный, все цѣло, а денегъ и званья нѣтъ.

— Во! выговорилъ староста и сталъ какъ вкопанный.

Постоялъ онъ такъ, потюмъ шапку снялъ, лобъ обтеръ, за ухомъ почесалъ, опять шапку надѣлъ и будто не знаетъ что ему дѣлать теперъ.

А Кирякъ стоитъ,—молчить.

— Во какъ! Дѣло какое. А я было тебѣ приговорилъ коровку у Силантія за восемь рублей. Да и лошадку тожъ съ Демьяновки Гаврило отдавалъ. Жеребеночекъ—лучше не надо; въ тѣлѣ, хвостъ торчкомъ. Хоть бы подъ барченка вирагай. Анъ вонъ оно что!

— Разживусь опять, Филиппъ Андронычъ. Богъ милостивъ. Дукавый попуталъ. Вы же на селѣ съ языка спустили, грѣхъ и вышелъ. Авось разживуся. Только бы мнѣ Аксютушку, а то и безъ денегъ горевать не буду, при счастье своемъ буду.

— Нѣтъ. Это ужъ зачѣмъ. Это ты, тарень, брось. Каки тебѣ теперъ затѣи свадебныя. Аксюта и съ Ванькой сговорю.

— Что ты, Филиппъ Андронычъ?

И Кирякъ затрясся всѣмъ тѣломъ.

— Что я? А по твоему какъ? Въ лѣсу ей жить? Человѣкъ?!

— Побойся Бога, Филиппъ Андронычъ.

— Побойся? Я боюсь. Надо бояться. Да тутъ дѣло такое.



Ты бобыль, да бѣшеный. Что жъ я, оголѣлый чтоль какой, чтобы дѣвку бобылю бѣшеному отдавать. Были деньги, парень, у тебя, былъ и разговоръ другой. А нѣтъ денегъ, ну стало и нѣтъ ничего. Все одно, что по водѣ пальцемъ тыкали да круги разводили. Все по старому. Такъ-то вотъ. Ну, прости. Да смотри у меня, дѣвку мою не смущать опять.

— Филиппъ Андронычъ!

— Ну?

— Филиппъ Андронычъ... И Кирякъ заплакалъ.

— Ну? Заладилъ...

— Филиппъ Андронычъ... Богъ...

— Знаю, что Богъ. Все Богъ... Прости.

— Филиппъ Андронычъ!

Но староста махнулъ рукой и зашагалъ чрезъ поляну.

— Филиппъ Андронычъ!! побѣжалъ за нимъ парень.

— Ну чего бѣжишь?

— Филиппъ Андронычъ! Что жъ мнѣ дѣлать теперь? Скажи ты...

— Что дѣлать! Ничего... Что жъ тутъ дѣлать? Староста развелъ руками.—Ничего тутъ не подѣлаешь. Лбомъ обь стѣну бей. А то ищи вора.

— Ванька Агаѣинъ—воръ! Филиппъ Андронычъ.

— Ну ладно, прости!

— Тебѣ я сказываю. Ванька воръ. Я его призналъ. Хорошо призналъ. Онъ, да еще солдатъ Павель какой-то. Да третій бородатый... А Ванька навелъ.

— Ну, ври больше.

— Не вру я, Филиппъ Андронычъ.

— Врешь.

— Убей меня Богъ, коли вру. Ванька твой Агаѣинъ — злодѣй.

Староста запустилъ руку съ кольцомъ подъ шею и, крѣпко ухвативъ себя за бороду, сталъ таращиться на парня.

— Слышь-ка, Кирюша, заговорилъ староста ласково.— Ты прислушай... Ты, вотъ, съ горя своего околесицу понесъ. Неблизцы взводить на людей сталъ. Слышь-ка. Живи ты тутъ въ лѣсу своемъ по-Божью. Ну, я тебя и не трою. А будешь озорничать, да Ваньку того оговаривать, то я тебя перво-наперво отдеру здорово, а тамъ въ телѣгу, въ городъ, да въ солдаты, а то и въ самое въ Сибирь... Слышалъ

ты про нее, про матушку?.. Тамо людей на цѣпочкахъ содержать. Поняль? Ну, прости...

— Давиться мнѣ теперь! горько заплакаль Кирякъ.—Одно мнѣ стало... Давиться.

— Какъ знаешь... Давися, коли умѣешь. А лучше, говорю, лбомъ объ стѣну бей. И грѣха нѣтъ. Ну, прости.

Филиппъ Андронычъ размахисто зашагалъ назадъ по полянѣ, будто приходилъ дѣло какое справить.

Справиль, моль, дѣло и во свояси надо.

Хоть бы обернулся разъ мужикъ глянуть, что парень... Жизнь у него, всѣ чувства у него унесъ вѣдь мужикъ. Единнымъ словомъ разумъ у парня изъ головы вышибъ, безъ ножа зарѣзалъ и обездушилъ человѣка, а самъ — будто не его это и дѣло.

А парень сталъ среди поляны, растопырилъ руки и глядитъ, разиня ротъ, въ спину Филиппа этого Андронова. Будто дивится... Глядитъ, какъ лаптищи его шмыгають по травѣ и мигають подошвы стертые. Какъ голова съ большущею шапкой раскачивается на ходу вправо да влево. Пропаль мужикъ въ чащѣ и вотъ вдругъ будто вновь содѣялось съ парнемъ что-то нехорошее. Будто снова обокрали его второй разъ. Будто Аксюта теперь только совсѣмъ пропала для него и стала Ванькина. А онъ будто теперь остался вдругъ одинъ, да совсѣмъ одинъ-одинешенекъ, какъ и не бываль никогда одинъ. Оглянулся парень на поляну и лѣсъ, что стоитъ кругомъ, глянулъ и на небо синее съ солнцемъ. Думалъ, знать, парень, и тамъ въ лѣсу, и на небѣ синемъ тоже что неслыханное, новое и страшное содѣялось сейчасъ. Анъ, нѣтъ. Глядь, они все тѣ же.

— Чего вы... махнулъ онъ вдругъ рукой. — Ишь, вѣдь, все по-своему стоитъ... Охъ, жутко. Пустота!

И сталъ Кирякъ глядѣть кругомъ себя такъ, какъ глядѣлъ тому назадъ восемь годовъ, когда Власъ привелъ его да бросилъ въ лѣсу одного... Тогда глухо да пусто было, и теперь также. Тогда онъ со страху *Богородицу* вычитываль. А теперь... Теперь кулаки вдругъ сжалъ. Теперь не боязно ему. Нѣтъ! Закопошилось вдругъ что-то, силища какая-то, въ груди его, да полѣзла въ горло, и душить стала, и руки трясутся. Великія дѣла эта силища творить на свѣтѣ. Люди ее злобой зовутъ.

## XXIII.

На селѣ Воскресенскомъ свадьбу справиль и знатно отпироваль Ванька шустрый. Агаеья Матвѣевна и Филиппъ. Андроничъ породнились и стало-быть силы заберуть на селѣ еще пуще... Ну, да это ихъ дѣло...

Аксюта подѣ вѣнцомъ выла... какъ слѣдуетъ... Подшучивали надъ ней не мало послѣ вѣнца, что она за бѣшеннаго чуть не собралась замужъ. Аксюта отгрызалась.

А въ лѣсу-то, въ избушкѣ-то на курьихъ ножкахъ, грѣхъ какой съ той поры былъ.

Хозяинъ избушки—знать правду про волка-то сказывали—не тотъ человѣкъ сталъ. Не даромъ девятый годъ подходиль съ укуса волчяго. Боже избави кому на поляну выйти; какъ пѣсь, кидается „бѣшенный“ на людей. Страхъ такой навелъ на весь околотокъ, что боятся люди за версту подходить къ полянѣ.

Батюшка Воскресенскій по епархіальному начальству грамотку о Кирякѣ ужъ отписываль, и обозваль его „плевеломъ“. Становой своему начальству доносиль, спрашиваль, не подобаетъ ли по закону пристрѣлить его, аль иное что смертное произвести, и обозваль онъ Киряка „противозаконнымъ обывателемъ“.

Староста драть все хотѣлъ и много разъ посылаль ребятъ въ избушку... да ослушались ребята, не пошли. Укусить, самъ пропадешь...

Одичаль бѣдный Кирякъ. Денегъ, что пропали, не жалѣлъ, а Аксюту изъ ума выкинуть не можетъ. То и дѣло, вспомнить про старое, бывалое у нихъ съ Аксютой, и затрясется, побѣлѣетъ лицомъ и побѣжитъ въ лѣсъ. И рыщеть по лѣсу звѣремъ, покуда не подкосятся ноги и покуда голодъ не вернетъ его въ избушку.

Такъ и пошли день за день, и осень пришла сырая, ненастная. Стало все чахнуть, да помирать кругомъ. Оголѣлъ лѣсъ, оголѣла полянка, ни зелени, ни цвѣту, ни птицы гвѣвчей. Скоро совсѣмъ помретъ все...

Мертвеца человѣка подѣ землей зароютъ и отъ людей укроютъ, а мертвецъ Божій міръ долго не укрытый стоитъ, нѣмой, голый, мокрый, холодный и мутными, мертвыми оча-

ми молча смотреть на человѣка. Только небо плачется все надъ нимъ. Только вѣтеръ жалобно воетъ, будто поминки свои справляетъ по немъ, панихиды свои поетъ; а тамъ, наплакавшись, саванъ бѣлый принесетъ и за одно утро обовѣетъ имъ наготу мертвецкую и укроетъ все отъ глазъ людскихъ.

Но Кирякъ не думаль и не гадалъ о зимѣ, не запасался ничѣмъ. Одичалый человѣкъ рыскалъ по сырости и стужѣ осенней и не загадываль о томъ, что дѣлать будетъ.

Аксюты нѣту, Ваькина она, такъ что жъ ему? Пропади все пропадомъ. Взялъ бы онъ бичеву, да затянулся въ петль на любомъ сучкѣ, да страшно, что съ душенькой будетъ. На судъ-то Божій какъ итти съ дерева-то, да съ веревкой-то на шею! Спросить Господь на Страшномъ Судѣ: ты что это съ веревкой-то?.. Какъ на это отвѣчать? Замѣсто того, чтобы ждаль своей кончины человѣческой, заговорить Господь,—ты самъ, вишь, распорядился на сучкѣ! Татаринъ ты, что ль? Какъ опять на это отвѣчать?

Часто, бывало, нависнуть съ вечера тучи на небѣ, заволокутъ все къ ночи, лѣсъ, поляну, избушку, и ляжетъ на все тѣма кромѣшная. Не видать огонька въ окнѣ, не топится печка, не искрится труба, не шелохнется ничто въ избушкѣ. Не сидитъ хозяйинъ ея на лавкѣ, починяя да справляя дѣло какое хозяйское. Лежить онъ въ углу на полу, свернувшись клубкомъ, какъ песь, не умытый, лохматый, ногти злобно грызетъ и водить глазами безпокойными по тѣмъ горницы, словно ищеть кого.

И бываетъ, видить одичалый человѣкъ во тѣмъ этой разное навожденье. Видить Власа съдого съ книжкой, старую Минодору съ пятаками; видить чаще да яснѣе бѣлогрудую дѣвицу съ очами лукавыми, со смѣхомъ пѣвучимъ, и лѣзетъ она къ нему неотвязно съ поцѣлуями горячими, руками голову беретъ, да гладить, да голубить; и душа изъ тѣла просится къ ней... А тамъ, видить злодѣевъ съ топорами иль злыхъ людей съ рѣчами такими, что хуже топора иль ножа.

И бываетъ, среди тѣмы этой захохочетъ одичалый человѣкъ и заговорить одинъ, самъ съ собой.

— Проклятые! Будьте прокляты! Лѣшимъ пугали сызмала, а онъ ничѣмъ меня въ лѣсу не обидѣлъ. А вотъ вы, люди-христиане, злѣе дьявола, загубили душу.

А осень ужъ давно на дворѣ. День за день дичаетъ лѣсъ оголѣлый; дичаетъ и хозяинъ избушки. Бродить онъ худой, испитой, желтый.

— Убью! говорить часто вслухъ.

Про кого говорить, самъ того не знаетъ, не попадися ему человѣкъ... Богъ вѣсть на что врагъ подобеть его, на какое дѣло рука подыметъ.

#### XXIV.

Разъ какъ-то разгулялась осенняя погода. Еще въ сумерки небо все мутное да сизое было. Въ лѣсу и на полянѣ все темнѣло да темнѣло; солнце еще не сѣло, а ужъ чудилось, что и ночь давно на дворѣ.

Вѣдному Киряку чрезъ мѣру недужилось съ утра. И въ головѣ какъ-то совсѣмъ помутилось все, и тѣло знобить, и мысли лихія все на умъ идутъ. Смотритъ онъ все на топоръ, что виситъ въ углу на гвоздѣ, и думаетъ: „взялъ бы вотъ да порѣшилъ бы... Кого? И Ваньку злодѣя, и Филиппа Андронова, и самое ее... Да. И ее бы ужъ... за одинъ разъ! Зачѣмъ въ лѣсъ бѣгала, обнимала, да голубила... Никто не толкалъ, не звалъ... Пришла ворожея, смутила лаской своей и загубила зря, задаромъ.

Погодка все пуще шла, и Кирѣ пуще недужилось. Выглянулъ онъ разъ въ окно—туча страшная собирается и валитъ клубомъ чернымъ по небу... Быть грозѣ и бурѣ великой... Заходить ходуномъ, застонеть Солдатская Сѣчь.

Какъ смерклося совсѣмъ, тьма тьмушая легла на все и ни зги не видно... Вдали гудитъ уже громъ и все чаще, и все ближе. Скоро зачастилъ по крышѣ избушки дождь съ градомъ и зашумѣлъ среди тьмы ночной. За нимъ во слѣдъ голосъ невидимый заголосилъ и взвылъ надъ лѣсомъ.

Жутко человѣку отъ голоса этого...

По полямъ и лѣсамъ, по селамъ и городамъ, по всему міру голосить голосъ этотъ, ходить ходуномъ вонитель этотъ, невидимый, буйный; то реветъ, то плачетъ горько, то свиститъ, то воетъ злобно. Вѣтрожь люди прозвали шатуна этого все-свѣтнаго... Назови какъ хочешь, дѣло не въ кличкѣ. А что это такое?.. Кто онъ такой что летитъ невидимъ, а воетъ по-вѣтриному, плачетъ по-человѣчьему, гнетъ, рветъ, ломаетъ что ни попало. Лѣса въ лоскъ кладетъ, дома валитъ, крыши

за версту уносить, людей и скотину о землю бьеть до смерти. Снуеть и кружить вотъ на подачу руки, въ ухо взвизгиваетъ, въ лицо хлещеть... а самого не видать, не поймать. Люди вѣтромъ зовуть, а кто онъ таковъ, этотъ силачъ-летунъ? Откуда онъ вдругъ примчить, куда вдругъ сгинеть, гдѣ бываетъ, никому то не вѣдомо!.. Народъ глупъ... Скажутъ, вѣтеръ моль это. Ну и ладно. Знаю! А что знаешь-то? Ничего! И на умъ не идетъ, что вѣтеръ-то этотъ, можетъ, окаянная, Богомъ проклятая сила мечется по землѣ, межъ людей, безъ упокоенія, безслѣдно, невидимо. И стонетъ, и воетъ, и съ присвистомъ бѣсовскимъ лѣзетъ въ города, въ села, въ чащу лѣсную, въ просторъ полей и луговъ. Скачетъ, пляшетъ, кубаремъ идетъ, сатанинскую пѣсню поетъ, и эту пѣсней и людей, и ребятъ, и звѣрей пугаетъ...

Надъ избой летить и въ трубы гудить, въ щели подоконниковъ и въ дыры избѣнки лѣзетъ, и гогочетъ, и насмѣхается злобно надъ бѣдностью, весело зная ему, что холодная иль голодная семья въ кучу сбилась... Будто оретъ въ трубу и въ щели:

„Э-эхъ вы, горемыки, помирайте скорѣй! Э-эхъ вы, оголѣлые, помирайте дружнѣй!!“

Надъ хоромами летить, скользить у стѣнъ каменныхъ, злобно завываетъ—не проймешь ихъ... Не слышитъ хозяинъ... Укутался въ шубу теплую, послѣ ужина сытнаго, и плевать ему на шатуна-ревуна.

Надъ деревянною церковью летить, надъ крестомъ ея ржавымъ да кособокимъ взвизгиваетъ, будто ругается злобно и на земь сбить хочетъ. Надъ кладбищами и могилами кувыркою да ползкомъ катится... Праведные спятъ, не слышать имъ, а лютые грѣшники пошевеливаются, косточки ихъ встряхиваются и стучатъ объ гнилую крышку гробовую...

А люди вѣтромъ зовуть! Кабы увидѣть глазами его, поймать, да оглядѣть, такъ можетъ волосъ дыбомъ станеть. А то съ перепугу и духъ вонь...

Такъ-то вотъ думалось и Киряку. Лежалъ онъ въ избушкѣ да и слушалъ вой злобный шатуна этого и еще тяжелѣе становилось. Чудился и ему голосъ изъ трубы печи: Эй! ты! Горемыка! Помирай, братъ, скорѣй!!..

Пришла еще хуже погодка. Темь, зги не видно, дождь такъ хлещетъ, что не будь крыша новая, всю бы избушку насквозь прохлестало. Вѣтеръ такъ и ходить, снуеть, дикимъ звѣремъ

реветь, слышно какъ могучій лѣсъ кругомъ хруститъ, трещитъ и валится древо столѣтнее. Ломить его, гнетъ и кладетъ невидимка-ревунъ грозный. А сверкнетъ, засіяетъ молнія, загремитъ громъ,—словно все небо горитъ, разрывается и валится кусками на землю; и пойдутъ удары дробью рассыпаться все дальше, дальше. Только-что стихло, опять хватить молнія красная и опять загрохочетъ небо, задрожитъ избушка... Изъ тьмы кромѣшной вдругъ встанутъ предъ избушкой вся поляна и весь лѣсъ, словно днемъ; все видно, и все стоятъ не то синимъ, не то краснымъ заревомъ политое. Всю горницу освѣтитъ вдругъ, столъ, иконы, и печурку уголокъ, гдѣ зайченка жметса, уши наостриль.

Кирякъ громъ слышалъ, не перекрестился. Слушалъ, слушалъ и захохоталъ вдругъ грѣшный человѣкъ въ гордости безумной.

— Будь Ты милостивъ. Убей Ты меня! шепчетъ одичалый горемыка... И полѣзъ вдругъ изъ угла и вылѣзъ изъ избушки.

Тьма, мгла, не видать ни зги. Реветь вѣтеръ, гудитъ и лѣсъ. Борется онъ со злодѣемъ-шатуномъ, борется со стономъ, оробѣлъ знать, что не одолѣешь проклятаго.

— Чего воешь, невидимый? Красавица была чтоль у тебя да обманула? крикнулъ Кирякъ.—Унеси вотъ меня съ собой на край земли! Пусть пропадетъ пропадомъ тѣло мое... Унеси да разорви въ клочья...

Опустился Киря на заваленкѣ, голову горячую въ руки схватилъ и низехонько къ землѣ погнулась она.

Вспыхнула опять заревомъ сизымъ вся поляна; молнія съ мутныхъ небесъ змѣемъ краснымъ сверкнула... Возсталъ опять изъ тьмы непроглядной лѣсъ и будто лохматый живой звѣръ барахтается въ огнѣ синемъ. Мигнулъ онъ Киряку со всѣхъ сторонъ, словно сразу лапы темныя раскрылъ и позвалъ къ себѣ...

Вскочилъ Кирякъ, крикнулъ дикимъ голосомъ и помчался въ чащу.

— Силы нечистыя! Аксюту дайте. Отняли люди, такъ дайте вы!..

Звѣремъ дикимъ помчался безумный человѣкъ по чащѣ лѣсной. Буря реветъ, дождь хлещетъ по вѣтвямъ и стволамъ, громъ гремитъ. Молнія бѣгаетъ и сіяетъ, то вьется по лѣснымъ макушкамъ, то ползетъ по землѣ. Будто алый змѣй-богатырь вырвался погулять на свѣтъ Божій изъ гѣнны огненной. Бе-

зумный человекъ не боится ничего, затвердилъ безумныя рѣчи, сжалъ кулаки и надъ головой поднялъ, зубами скрежещетъ... Пропала знать и душа его.

Выбѣжалъ Кирякъ на опушку лѣса. Сверкнулъ около него красный змѣй, грохнуль громъ тутъ же, задрожала вдругъ сосна высокая, разорвалася, вспыхнула и гранулась о земь горячая, опаленая, въ щепакъ, въ дыму...

— Э-эхъ! Громъ, батюшка, меня не примѣтилъ! За мной и молнія бѣжала, да промахнулась! захохоталъ Кирякъ. — Жгла бы, да жгла, коли самъ напрашиваюсь...

Влѣзъ безумный прыжкомъ на сосну горячую, сѣлъ верхомъ на опаленныхъ вѣткахъ и заоралъ хриплымъ голосомъ:

— Здорово, голубушка! Зачѣмъ торчала одна на опушкѣ. Тебя-то грохнули о земь, а меня нѣтъ. Ты стояла, не ждала, а я бѣгалъ да зазывалъ!... Охъ, анаѣема, громъ! Разрази ты меня!..

## XXV.

Среди ночи дотащился ошалѣлый человекъ въ избушку и мокрый, грязный легъ въ углу, гдѣ бывало Шарикъ спалъ. Погодка унялась, а Киряку еще хуже.

Долго не спалъ онъ, но и не двигался. На зарѣ задремалъ и очнулся въ полдень. Двинуль отяжелѣлою головой и чувствуетъ, будто огнемъ палить въ ней, и какъ шевельнешься, пуще разгорается; а тамъ и все тѣло начало тяжелѣть, руки и ноги будто чугуномъ налиты, еле двинешь. Прележалъ такъ парень много времени. Тѣло чурбанъ, голова полыхаетъ, глаза будто выдѣзаютъ наружу, мыслей на умѣ никакихъ, тѣло и вовсе одеревенѣло, будто чужое. Онъ хочетъ встать, а тѣло его не хочетъ. Коли собраться съ силами, двинуться можно, и встать можно, да не то лѣнь это, не то труда много, а все только собирается парень, и все не встаетъ и лежитъ пластомъ.

„Пушай такъ... думается ему. Умаялся знать...“

Прошло эдакъ много времени. Голодъ пронялъ Киряка... Двинулся онъ, хочетъ встать на ноги, и совсѣмъ не можетъ; подгибаются ноги, какъ изъ лыка плетенныя.

Дотащился онъ ползкомъ до лая, досталъ хлѣба сухого, закусилъ ломоть и жевать не можетъ; проглотилъ два куска нежеваныхъ, ободралъ ими себѣ горло и выронилъ ломоть.



Через силу зачерпнул воды ковшомъ изъ кадушки, выпилъ и, будто совсѣмъ разваливаясь на части, тутъ же и растянулся на полу.

„Хворость... Застудился, думается ему... А можетъ и Господь наказываетъ... Молнія чтоль вчера опалила, либо громъ зашибъ. Аль навожденіе это какое врага человѣческаго. Помирать видно приходится... Что жъ? Лучше эдакъ помереть, чѣмъ давиться...“

Стемнѣло совсѣмъ на дворѣ. Кирякъ все лежитъ на томъ же мѣстѣ, на полу у кадушки, и не то спитъ, не то нѣтъ. Храпитъ онъ шибко, а глаза нѣтъ-нѣтъ да и откроются сами собой и бродятъ, мутные, осовѣлые, дикіе... Ничего эти глаза не видятъ, а зря колобродятъ. Чудится имъ все такое, чего и не поймешь.

Стоитъ предъ ними избушка вся изъ красныхъ бревенъ кладеная, и вся-то огнемъ пышетъ, какъ печь у кузнеца Егора. Вотъ Филиппъ Андроничъ тутъ же стоитъ и тоже весь огненный, красный. И все-то кружить вокругъ него, все-то смѣется, и все-то выкрикиваетъ что-то злое да смѣшное; больно и обидно парню отъ этихъ словъ Филипповыхъ, а что кричить мужикъ, не разберешь. Замахнулся наконецъ на него парень со злобы и со всей мочи ударилъ. Загремѣло, зазвенѣло вдругъ въ ушахъ у него, и смотреть, разсыпался Филиппъ Андроновъ и на мелкія кучки уکلался вокругъ него.

— Эка, грѣхъ какой. Убилъ вѣдь человѣка, захохалъ Кирякъ.—Что теперь дѣлать? Надо живѣе подбирать всѣ кучки.

И началъ парень ползать да загребать кучи эти. И чего, чего тутъ нѣту, и тряпочки, и черепочки, и кочерыжки, и грибки, и всякая-то всячина негодная.

„Что ты дѣлаешь тутъ? Чего ползаешь? Брось! Это все грѣхи твои человѣчьи кучами навалены. Не соберешь. Брось!“ кричитъ кто-то.

Смотритъ Кирякъ, а это ужъ Ванька Агаѣинъ стоитъ и смѣется. „А? ты тутъ, окаанный!“ крикнулъ Кирякъ; и со зла ухватилъ онъ врага своего поперскъ тѣла, повалилъ на земь, бухнулся на него и мнетъ злобно.

— Ухожу я тебя, злодѣя проклятаго! Зубами загрызу! кричитъ парень.

Ванька Агаѣинъ тоже обхватилъ его руками и крѣпко тиснулъ къ себѣ, тоже знать душить. Нѣтъ, не душить, а щекочетъ губами. Глянулъ Кирякъ подъ себя, а это совсѣмъ

не Ванька, а сама Аксюта. Лицомъ красивая, бѣлая, глаза тѣ же быстрые, а грудь высокая, будто огненная, полымежь пышетъ и жжетъ его.

— Я тебя зацѣлю, замилую, говорить она.—Ты мой сватаный да ряженный.

Крѣпко она обнимаетъ Киряка, а сама бьется подъ нимъ и хлещетъ чѣмъ-то по полу. Глянулъ Кирякъ и видитъ большущій рыбій хвостъ, бѣлый, серебряный...

— Не Аксюта. Русалка это! шепчетъ кто-то.

Обмеръ онъ, хочетъ оторваться отъ русалки, а она пуще обвиваетъ руками, пуще липнетъ къ нему, длинными волосищами своими нутаетъ, да въюномъ вьется съ нимъ по полу. И вотъ потащила вдругъ, повезла на себѣ изъ избушки. И цѣлуешь, и щекотить, и колетъ, и въ лицо хохочетъ. И хорошо бы съ ней, да и страхъ береть, волосъ дыбомъ становится.

— Молися, Кирякъ!.. кричитъ кто-то.

— Охъ! не могу, да и что толку молиться...

— Молися, Кирякъ... Пропала твоя душенька.

— Пусти! крикнулъ Кирякъ, вырываясь.

Но русалка крѣпко обхватила его и жметъ на грудь, хвостомъ рыбьимъ обвилась вокругъ него и космами своими все одѣваетъ, будто паукъ паутиной муху путаетъ.

— Унесу я тебя къ себѣ! хохочетъ она и грудь ея отъ хохота этого трепещетъ подъ нимъ.

Крикнулъ Кирякъ пуще, рванулся... И самъ свой крикъ услышалъ и отъ своего крика очнулся. Лежитъ онъ одинъ въ темнотѣ, только рядомъ гогочетъ все еще кто-то, громко да страшно...

— Она это... Русалка! ахнулъ Кирякъ, поднялся чрезъ силу на ноги и бросился отъ хохота этого. Но тутъ же, отъ удара невидимаго, свалился навзничъ и опять память отшибло у него.

## XXVI.

Такъ-то вотъ три дня болѣлъ человекъ, одинъ въ лѣсу, въ избушкѣ, помиралъ отъ сновидѣній, помиралъ отъ жажды, бился въ бреду объ стѣну. И никто того не зналъ, не видалъ, не пришелъ пособить хворому...

Но видно, еще не пришелъ его часъ смертный. На четвертый день открылъ глаза Кирякъ ужъ не такіе мутные, оглядѣлся и перекрестился три раза.

„Господи Іисусе! Что жъ это было? подумаль онъ. Хвораль знать?.. И сколько хвораль?.. Помилуй, Господи, чуть нѣ померъ собакой“.

Хворость эта была не простая. Исхудаль парень, посѣдѣль и ослабъ. Полежалъ онъ еще дня два, и когда поднялся черезъ силу и взялся было за охапку дровъ, какія прежде таскаль, то не совладаль. Вспомнилъ онъ о бѣлкѣ, о кургузкѣ сѣрой, и вздохнулъ. Бѣлка и соловушко оба околѣли безъ корма.

Не скоро справился и самъ хозяинъ. Недѣли двѣ все ему недужилось. За то хворость эта будто подточила, высосала изъ него злобу его на людей.

Сидѣль онъ больше все въ избушкѣ ужъ совсѣмъ одиноконекъ, безъ звѣрей пріятелей, да исправно печь топилъ, потому что холодно становилось на дворѣ. Скоро ужъ снѣгу ждаты приходилось.

Разъ завидѣль онъ двухъ мужиковъ въ лѣсу, вышелъ къ нимъ, смирно да ласково поздоровался, и слово за слово, разсказаль какъ было померъ одинъ и прибавилъ:

— Скажите вы Филиппу Андроничу, чтобы простилъ буняства мои. Хвораль, не въ себѣ былъ. Не помню что и творилъ, да народъ пужаль. Теперъ того, скажи, не будетъ... Богъ съ вами. Никого пальцемъ не трону. Приходи всѣ, за чѣмъ нужда будетъ.

Черезъ день и въ околоткѣ узнали, что бѣшенный Кирякъ и перебѣсилъ и прощенья просить.

„Стало теперъ и драть можно!“ подумаль Филиппъ Андроновъ, но однако за этимъ никого въ избушку не отрядилъ.

Черезъ день зашли къ Киряку кой-кто съ села, поглядѣтъ на него. Сначала робѣли, а тамъ увидѣли, что совсѣмъ молодецъ присмирѣль. Даже съ лица на парня не похожъ, будто ему годовъ не двадцать, а всѣ сорокъ съ хвостикомъ. Вотъ что хворость-то дѣлаеть съ человѣкомъ.

Сталь просить Кирякъ черезъ мужиковъ дозволеніе прійти исповѣдаться и причаститься, но батюшка Воскресенскій струхнулъ и на дыбки всталь, велѣль сказать Киряку, чтобы шель въ другое село, за десять верстъ.

— А я не хочу. Не ровень часъ, укусить. Ну его!

Такъ въ чужой приходъ и пошелъ парень. Тамъ старый пощ безпамятный исповѣдалъ и причастилъ Киряка.

Вернулся онъ изъ храма въ лѣсъ и цѣлый день ему не по себѣ было. Многое тамъ видѣлъ онъ и слышалъ, чего давно не видалъ и не слышалъ.

„Вѣдь я не пещь! За что же я такъ девять годовъ выжилъ?“ думалось ему.

## XXVII.

Разъ какъ-то въ ясный осенній день стукнулъ кто-то на крыльцѣ, отворилась дверь и обомлѣлъ Кирякъ, видить, — стоитъ предъ нимъ Аксюта. Затрясся парень всѣмъ тѣломъ, какъ бы навождеііе какое привидѣлось ему.

— Здорово, Кирюша, слышитъ онъ и не можетъ ничего выговорить.

— Здорово, что молчишь? говорить опять Аксюта ласково.

— Охъ ты... Что ты... махнулъ Кирякъ рукой и опустилъ глаза.—Зачѣмъ пришла? Уходи...

— Провѣдать тебя, Кирюша. Какъ тебѣ живется? Сказывали, ты хворалъ, чуть не померъ и съ той хворости совсѣмъ смиренъ сталъ. Вотъ я и надумалась провѣдать: что, моль, ты...

Каждое слово Аксюты будто ножомъ рѣзало Киряка по сердцу.

— Поди, поди... еле выговорилъ онъ, схватился рукой за столъ и вдругъ сѣлъ на скамью. Ноги сами собой будто подкосились. А сердце запрыгало, будто выскочить хочеть.

— Аль на меня злобствуешь? Не моя вина была. Самъ знаешь, Кирюша, какъ дѣло было.

Долго что-то говорила Аксюта, стоя среди горницы, но рѣчь ея гудѣла въ ухахъ Киряка, а словъ онъ не слыхалъ ни одинаго... Наконецъ будто отошло отъ него его безчувствіе и, не подымая глазъ на лиходѣйку свою, вымолвилъ парень глухимъ да хриплымъ голосомъ.

— Какъ живется?..

— Мнѣ-то?.. Ничего. Живу. Иванъ Ѳедосейчъ мой меня не обижаеть.

— Какой Иванъ Ѳедосейчъ? Ванька-то?

— Да хозяинъ мой, стало быть.

— Стало не жалѣешь всѣхъ передѣловъ этихъ? Тебѣ не въ тягость, стало, замужня жизнь... съ Ванькой-то этимъ?

— Чтожъ? Воля Божья. Стало такъ сужено мнѣ. Наше дѣло бабье. Тятка повѣнчалъ.

— Стало тебѣ хорошо? опять выговорилъ Кирякъ.

— Ничего. Слава Богу. Что Бога гнѣвить! Живу...

— Ну... Ну... началъ было Кирякъ и голосъ его осипъ и пропалъ.

— Ты какъ, Кирюша?

Поднял Кирякъ глаза на Аксюту и затрепетало въ немъ все. Всякая жилка дрогнула и затряслась. Рука, что столъ все держала за уголь, и та встряхнулась и столъ сдвинула съ мѣста.

— Ахъ ты, душегубка... Ахъ вы лиходѣи... Зачѣмъ было въ лѣсъ сюда бѣгать? Кто тебя гналъ?... Поди... Уходи!

— Ну, Богъ съ тобой. Я провѣдать.

— Поди, поди... Не пытай... Поди...

— Прости.

— Прощай. Иди... Къ своему Ивану-то Федосеичу... иди. На мои денежки разживайтесь...

— Каки таки твои деньги? Что ты!

— Пошла! пошла!

— Пойду. А ты поклеповъ не взводи, Кирюша. Грѣхъ это тебѣ...

— Уходи, окаянная!! заоралъ вдругъ Кирякъ и такъ треснулъ кулакомъ по столу, что вся избушка встряхнулась и охнула.

Аксюта вышла и пошла чрезъ поляну. Кирякъ глядѣлъ съ своего мѣста въ окошко какъ шла она... Вотъ дошла до лѣсу и пропала... И нѣтъ ничего. Вотъ была она, тутъ стояла сейчасъ. И опять нѣтъ! И вдругъ ходуномъ заходило все вокругъ Киряка.

— Что жъ это? крикнулъ онъ, вскочивъ съ мѣста.—Какъ же такъ-то! Господи, Батюшка! Нешто это дѣло? Разжилися, живуть... А я тутъ... Да нѣтъ... Врешь!!..

И помутилось все у Киряка на душѣ, помутилось все и въ глазахъ. Небо будто на сторону покосило, лѣсъ качнулся и на землю ложится, избушка тоже будто запаталась и на бокъ легла...

— Съ Ванькой-то? кричитъ Кирякъ.— А я тутъ... Они

тамъ въ масляницѣ, а я тутъ какъ песь... Врешь... Не бывать тебѣ ни чьей...

Бросился Кирякъ къ углу, сцѣпилъ топоръ съ гвоздя и шаркнулъ изъ избушки.

— Стой! закричалъ онъ и бросился опрометью въ догонку за Аксютой.

— Стой! заораль онъ опять на весь лѣсъ.

— Сто-о-о-ой! крикнулъ будто и весь лѣсъ Солдатская Свѣчь, увидя, что бѣжитъ сожитель его Кирякъ на расправу съ лиходѣйкой своей.

Аксюта обернулась на крикъ и увидала знать сквозь чащу какъ безумный несется за ней съ топоромъ. Раздался въ лѣсу ея крикъ отчаянный. Бросился Кирякъ въ кусты и завидѣлъ на поворотѣ, мелькаетъ платью бѣлое. Бѣжитъ отъ него лиходѣйка его, что есть мочи въ ней, и крестится и кричить. Сталь онъ ужъ нагонять ее... Вдругъ остановилась Аксюта, прижалась къ дереву спиной, подняла на него руки, и вся бѣлая лицомъ, зарыдала, замахала на него руками.

— Спаси, Господи... Не губи... Двѣ души загубишь... Нешто не видишь, дурной. И меня и младенца безвиннаго загубишь.

Налѣтълъ на нее Кирякъ съ топоромъ, замахнулся ужъ рубить, но вдругъ сталь, бросилъ топоръ на землю и схватился за голову.

А Аксюта стоитъ у дерева, дрожить и не знаетъ бѣжать ли покуда иль обождать.

— Кирюша, Богъ съ тобой! Экое дѣло вздумаль. Два грѣха бы взялъ на себя.

— Поди... хрипитъ Кирякъ, не глядя и держа голову руками.—Иди, иди...

— А ты опять за топоръ... Мнѣ съ тобой, да еще тяжелой, не совладать.

— Иди. Не трону. Богъ съ тобой. Не приходи ко мнѣ... Слышь, не приходи ни въ жисть. Не вводи въ грѣхъ лютый.

Кирякъ сѣлъ на землю, гдѣ стоялъ, уткнулъ голову свою въ руки и колѣна и долго просидѣлъ такъ не двинувшись.

„Только-что причастился... А что было натворилъ! думалось ему.

Когда онъ шелохнулся, поднялъ голову, то въ лѣсу было ужъ темнѣе. Аксюты не было. Топора тоже не было. Лихо-

дѣйка убѣжала, но и топоръ не забыла. Иль унесла, иль зашвырнула въ кусты.

— Что жъ теперь дѣлать? Господи, Батюшка, возьми Ты мою душеньку къ себѣ. Мнѣ въ міру тѣсно. Мѣста нѣту мнѣ. Грѣхъ одинъ.

Вернулся тихонько Кирякъ въ избушку, вошелъ и легъ въ углу. И вотъ не прошло часу, видитъ онъ вдругъ предъ собой—и какъ обухомъ ударило по головѣ—сидитъ на скамьѣ у стола дядя Власъ. Сѣдая борода, добрые глаза, доброта святая во всемъ лицѣ. Ухмыляется праведникомъ старый человекъ.

Обмеръ Кирякъ, задохнулся было отъ страху, вскочилъ на ноги, протеръ глаза и опять глядитъ... Ничего нѣтъ, привидѣлось!

И не во снѣ привидѣлось. Наяву видѣлъ. Упалъ парень на колѣни и зарыдалъ громко. А тамъ легъ ничкомъ предъ иконами угодниковъ святыхъ, припалъ головой къ полу, и боясь подняться, долго пролежалъ такъ, творя молитвы, какія только слыхалъ когда отъ людей, да знавалъ сказывать на свой ладъ.

— Иди ты, Господу Богу послужи!

Кто это такое сказалъ? Никто не говорилъ. И дядя Власъ не говорилъ, молча глядѣлъ. А слышалъ это Кирякъ. И какъ слышалъ еще! По сию пору въ ухахъ звенить.

## XXVIII.

Ползимы выжилъ еще горемыка въ лѣсу и въ избушкѣ своей на курьихъ ножкахъ. Запали ему въ душу слова, слышанные имъ, когда Власъ привидѣлся на скамьѣ.

— Иди, Богу послужи! будто шепталъ ему кто-то отъ зари до зари.

И радъ бы онъ сейчасъ итти, да куда?... Изъ избушки на курьихъ ножкахъ прямая дорога не міру, а Богу служить! Но какъ это дѣло начать, кому сказать, кого спросить? Послужить?.. Не въ лѣсу же сидючи Богу служить.

Разъ, подъ зимніе Миколы, затесался тайкомъ мужиченко какой-то въ лѣсъ за дровами. Порубка — дѣло житейское и кто въ ней не грѣшенъ. На дворѣ морозъ, въ печи пусто, холодно и голодно. А тутъ торчитъ тебѣ цѣлый лѣсъ непро-

лазный, деревьямъ счету нѣтъ, инья столѣтнія зря гніють и молодой поросли отъ нихъ ходу нѣтъ. Лѣсъ Солдатскую Сѣчь не даромъ стѣной зовуть. А все жъ сказано, не смѣй рубить. Барскій онъ, лѣсъ-то. Порубишь дерево какое на дровишки, тебя за порубку въ острогъ, а то и въ Сибирь. И знаетъ указъ тотъ всякъ. А какъ не рубить! Рубить! Дѣло-то это такое мудреное и непокладное. Къ примѣру будетъ: сунь голодному хлѣба въ ротъ да скажи: не глотай моль, выплюнь!.. Нешто можно! Что вы это! Такъ и порубка. Добро лѣтомъ, а въ стужу зимнюю морозъ подлець такъ и толкаетъ на это дѣло.

Кирякъ по должности своей лѣсниковой накрылъ того мужика, какъ и прежде бывало другихъ накрывалъ.

И прежде не бывалъ онъ строгъ на это, а теперъ и вовсе не до того, чтобы сору изъ-за этого заводить.

Набрелъ онъ на стукъ топора какъ ужъ дѣло сдѣлано было. Ужъ сидитъ незнаемый человѣкъ верхомъ на лежачей березкѣ и дрова ужъ колеть изъ нея.

Увидя Киряка, оробѣлъ мужикъ, вывалился у него топоршко изъ рукъ и говорить сипло:

— Не губи, родимый. Хозяйка да ребятишки у меня померзли. Знаю, не годное затѣялъ. Да что жъ дѣлать-то. Не губи! Будь милостивъ. Я про твое здоровье свѣчу Миколѣ угоднику поставлю завтра въ обѣдни.

Кирякъ вздохнулъ, молча сѣлъ на ту же березку, и, обходя мало, завелъ бесѣду съ мужикомъ.

Оказался тотъ дальній, верстъ за десять, изъ чужого села, звать Софрономъ Аникѣевымъ. Мужиченко махонькій, тощій, безбородый, а голова у него на повѣрку вышла — тяжело-вѣсъ. Почитай не глупѣе Власовой головы.

Узналъ Кирякъ, что Софронъ на вѣку своемъ видываль не мало, потому что въ Москвѣ былъ въ самой, годъ цѣлый въ ней прожилъ, въ острогѣ тамошнемъ, потому что по грѣхамъ своимъ во свидѣтели попалъ. При немъ одинъ мужикъ хозяйку свою зарубилъ.

Побесѣдовали Кирякъ съ Софрономъ съ часъ мѣста, сидя на березѣ, а тамъ встали и за дѣло взялись...

Кирякъ березу эту помогъ нарубить, да взвалить на санки, а послѣ того зазвалъ Софрона къ себѣ. Лошадь оставили у крыльца, сами вошли. Мѣсто глухое. А и увидить кто изъ Воскресенскихъ, такъ не пойдетъ ябедничать. Дѣло житей-



ское. Сами тѣмъ же занимаются, съ Успенскаго поста и вплоть до Великаго.

И съ этого же самаго разу сдружились Кирякъ съ Софрономъ этимъ, порубщикомъ. Будто Господь его Киряку послалъ въ помощь и наученіе.

Черезъ недѣлю пошелъ Кирякъ и на село на побывку къ Софрону, и опять утро цѣлое слушалъ, какъ живутъ люди въ городѣ Москвѣ, и въ острогѣ, и просто такъ, въ своихъ домахъ.

Много о чемъ говорилъ Софронъ и все-то зналъ.

Бѣденъ былъ мужикъ, голъ какъ соколъ, а разуменъ и рѣчистъ диковинно.

— Спасибо, говорить, острогу! Тамъ разума признаялъ!

Эдакъ-то вотъ Софронъ болталъ, а Кирякъ все слушалъ. И не разъ, и не два, и не десять разовъ повидались они и побесѣдовали. То Софронъ за дровами пріѣдетъ и сидитъ въ избушкѣ, то Кирякъ къ нему навѣдается и ночуетъ. Дома-то беречь ужъ нечего отъ грабителей, да и на умѣ ужъ не то теперь...

Видались, видались Кирякъ съ Софрономъ... И что вышло? Богоугодное дѣло вышло!..

Послѣ Крещенья пришелъ на село Воскресенское парень Кирякъ, разыскалъ Филиппа Андронова, и обходительно такъ, да смѣло, да рѣчисто, сталъ его просить нужду его справиться, пособить ему грѣхи свои отмолить и доброе дѣло на душу положенное къ благому начинанію иривести.

Филиппъ Андроновъ, а за нимъ и батюшка сельскій, а тамъ и самъ управляющій, всѣ диву дались: каковъ „бѣшенный“ сталъ, и какого разума, и какихъ рѣчей набрался! И не сговоришь съ нимъ. Про Москву говорить, а самъ въ ней и не былъ. Про бумажные казенные порядки толкуетъ и про разное начальство судить, а самъ изъ лѣсу всю жизнь не выходилъ.

— Неужто и это съ волчьего укуса далось? подумалъ ужъ Филиппъ Андроничъ и, ухватя себя за бороду, призадумался крѣпко.

Не скоро, не легко, а добился Кирякъ своего...

## XXIX.

Вотъ и ходить по Руси Святой изъ края въ край мужикъ; не молодъ, не старъ, смиренъ, ласковъ, добролицъ, много смыслить, мало говорить.

Ноги тысячи версть исходили, глаза тысячи людей, сотни городов видѣли, разума набралъ не занимать стать, но свой больше про себя держать.

Морозъ ли крещенскій, жара ли майская, стужа ли и мокреть осенія—онъ все въ одномъ зипунѣ; ни тепло, ни холодно ему въ немъ. Голова безъ шапки, зимой платкомъ повязана, а въ рукахъ книжка и на ней крестикъ вытисненъ; былъ золотой да полинялъ. Смыли его дожди и мятелицы... также какъ смыли да унесли всѣ помыслы людскіе и грѣшныя изъ головы его обнаженной...

Человѣкъ этотъ по свѣту ходить, Богу служить, на храмъ святой собираетъ. Идетъ съ деньгами, и ночью, и въ бурю, и лѣсомъ, и глушью проселковъ, а разбойникъ и душегубъ наскочить и не трогаеть. Идетъ безъ хлѣба, Божью копѣчку не истратить, а сытъ всегда. Идетъ поселками и вѣсьми межъ голя и больше собираетъ; идетъ Москвой, Кіевомъ, городами большими, и меньше собираетъ. Въ избахъ хлѣбъ даютъ, въ домахъ денежку подають, изъ хоромъ и дворовъ, бываетъ, и гоняють. Ругается иной:

— Знаемъ васъ, ходишь за тѣмъ, что плохо лежитъ. Гони!

А кто и гонить, того, знать, стыдъ беретъ:

— Не взыщи, дяденька! говорить.

Такъ и ходить человѣкъ этотъ. Ходилъ всегда, идетъ понынѣ, пойдетъ и завтра.

А пошелъ-то онъ по міру, чтобъ отъ людей уйти: отъ подначалья, отъ палки, отъ тягла, отъ кабака, отъ грѣха...

И не одинъ храмъ на Святой Руси человѣкъ этотъ построилъ.

Какъ его звать? Не въ званьи дѣло... Много ихъ такихъ. Богъ помочь имъ!..

Село Ивановское.  
Іюнь. 1876.



# СЕНАТСКІЙ СЕКРЕТАРЬ.

---

ИСТОРИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.





## I.

**В**

ъ августѣ мѣсяцѣ 1791 года, около полудня, по маленькому переулку Петербургской Стороны двигалась рысцой телѣжка парой лошадей, усталыхъ и взмыленныхъ. Мужиченко, приткнувшійся на облучкѣ, не только не погонялъ лошадей, но почти дремалъ.

Въ телѣжкѣ сидѣла очень молоденькая дѣвушка, совершенно запыленная, но съ оживленнымъ лицомъ. Она съ видимымъ нетерпѣніемъ поглядывала на возницу и лошадей.

— Подгони, Игнатъ! выговорила она жалобно.

Слова эти пришлось ей произнести во время пути по крайней мѣрѣ съ полсотню разъ. Мужиченко на этотъ разъ очухался, встряхнулся, дернулъ возжей, но прибавилъ:

— Да ужъ что жъ подгонять?! Приѣхали...

— То-то приѣхали! Шутка ли? Отъ Царскаго Села больше четырехъ часовъ ѣхать.

Телѣжка завернула въ другой переулокъ, повернула опять и остановилась у маленькаго домика, ярко выкрашеннаго зеленою краской.

Молодая дѣвушка при видѣ домика уже заволновалась и повидимому готова была выпрыгнуть на ходу. Едва только телѣжка остановилась, какъ изъ домика за ворота выбѣжалъ молодой человѣкъ, а за нимъ поспѣшно, но переваливаясь съ боку на бокъ, вышла пожилая и полная женщина.

— Что? что? заговорилъ молодой человѣкъ, помогая дѣвушка вылѣзти изъ телѣжки.

— Все слава Богу! Все хорошо! отозвалась она. — И Царицу видѣла.

— Какъ?!

— Видѣла, видѣла Царицу... Близехонько...

Молодая дѣвушка бросилась на шею пожилой женщинѣ, матери, расцѣловалась съ ней и затѣмъ вошла въ домъ.

— Ну, Настенька, ужъ и запылилась же ты! Гляди-ка, вся спина бѣлая... А волосы-то! Смотри-ка, сѣдая, или будто въ парикѣ напудренномъ...

— Устала небось? прибавилъ молодой человекъ, влюбленными глазами оглядывая дѣвушку.

— Нѣтъ, не устала... Дайте умыться, переодѣться, и все расскажу. Все слава Богу! Дядюшка согласился. А Царицу видѣла! Видѣла...

— Царицу-то какъ же видѣла, скажи? спросила изумляясь мать.

— Видѣла, видѣла...

— Заладила одно: видѣла... Да скажи, какъ, гдѣ!..

— Дайте срокъ, переодѣнусь, все подробно расскажу. Видѣла, вотъ какъ васъ вижу. Поклонилась. И она мнѣ поклонилась, усмѣхнулась. Ей-Богу!

Переодѣвшись въ платье, дѣвушка вернулась и рассказала подробно все свое далекое путешествіе.

Настенька ѣздила въ Царское Село къ дядѣ родному, священнику, чтобы сообщить ему важную семейную новость и просить если не его собственно согласія, то подтвержденія рѣшенія матери. Дѣло было важное...

Анна Павловна Парашина уже давно была вдовой и мирно проживала съ единственною дочерью Настей на пенсію послѣ покойнаго мужа, бывшаго когда-то актуаріусомъ въ бергъ-коллегіи. Мать и дочь не бѣдствовали, кое-какъ сводя концы съ концами, и даже нанимали квартиру въ четыре горницы. Но за это лѣто случилось у нихъ самое крупное, какое когда-либо бываетъ въ жизни, событіе. За Настенькой сталъ ухаживать сенатскій секретарь Иванъ Петровичъ Позднякъ. Это былъ для Настеньки блестящій женихъ, такъ какъ Позднякъ былъ кромѣ того частнымъ секретаремъ такого лица, которое быстро шло въ гору—Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго.

Послѣ семилѣтняго вдовства и тоскливой сѣренькой жизни, вдругъ обѣ—и вдова, и семнадцатилѣтняя Настенька—стали

чуть не самыми счастливыми женщинами на весь Петербургъ.

Позднякъ сдѣлалъ уже предложеніе, которое было принято съ восторгомъ, и затѣмъ испросилъ разрѣшенія на бракъ у своего единственнаго родственника — богатаго челоуѣка, отставнаго капитана лейбъ-компанца, у котораго были два дома въ Петербургѣ.

Настенька поѣхала въ Царское Село къ родному дядѣ, священнику, чтобы тоже получить его согласіе. Теперь оставалось только просить разрѣшенія начальства.

Когда Настенька рассказала подробно, какъ дядя былъ радъ ее видѣть, какъ водилъ ее по всему Царскому Селу, показывалъ дворецъ и паркъ, она перешла къ главному происшествію. Рано утромъ, соскучившись сидѣть дома, отправилась она около семи часовъ по тѣмъ же дорожкамъ парка, гдѣ прошла наканунѣ съ дядей.

Въ одномъ мѣстѣ, около обелиска, она сѣла отдохнуть на скамейкѣ и тотчасъ же увидѣла вдали даму, которая тоже прогуливалась. За ней бѣжала маленькая собачка. Настя, конечно, и не воображала, кто это такъ рано гуляетъ. Но какой-то работникъ, копавшійся въ клумбѣ около скамеечки, крикнулъ ей осторожно: „Барышня, не сиди такъ - то... Встань! Это Царица“.

— Такъ у меня ноги и подкосились, прибавила Настя. — Какъ только собралась я вставать, такъ ноги и онѣмѣли... Перепугалась на смерть. Думала, что жъ это будетъ! Однако не успѣла еще Царица подойти, я справилась съ собой, поднялась, и ужъ, по правдѣ сказать, хотъ ноги у меня и тряслись, а все-таки я присѣла такъ вотъ... А какъ приподнялась, такъ всю Царицу разглядѣла до ниточки, и сто лѣтъ проживу—помнить буду.

— Въ какомъ же она платьѣ? спросила мать.

— Не въ платьѣ, маменька, а въ салопѣ или въ эдакомъ длинномъ капотѣ поверхъ платья, сѣромъ шелковымъ съ позументомъ. А на головѣ шляпа съ перьями... Въ рукѣ тросточка... Дяденька говоритъ, что Царица ужъ сколько лѣтъ завсегда такъ гуляетъ, все въ одномъ этомъ одѣяніи. А за ней собачка всегда. Такая чудная! Вертлявая, тонконогая и все какъ-то поджмается, будто ей все холодно... Ужъ какъ я рада, что повидала Царицу. Я все думала, она эдакая большущая да гнѣвная, совсѣмъ на челоуѣковъ не похожая...

А она такая же барыня по виду. Только лицо свѣтлое, не простое. Видать, что Царица.

Анна Павловна была рада, что дочери удалось видѣть Государыню.

— Это къ счастью, рѣшила она. — Да оно такъ и выходить. Спроси-ка, Настенька, у Ивана Петровича, какую онъ въсточку сейчасъ принесъ.

— Да, Настя! весело вымолвилъ Позднякъ. — Я сейчасъ отъ своего дядюшки. Онъ обѣщаль мнѣ отъ трехъ до пяти-сотъ рублей въ годъ давать. А со временемъ, говорить, если твоя будущая жена мнѣ придется по душѣ, то помирая откажу вамъ и вашимъ дѣткамъ изрядный капиталецъ.

— Слава Богу! перекрестилась Настя набожно.

До вечера пробесѣдовали пожилая женщина и женихъ съ невѣстой. Радость искренняя, полная, не сходила съ ихъ лицъ. Это были теперь самые счастливые люди всей столицы.

Позднякъ при наступленіи вечера собрался домой, такъ какъ у него было много работы. Всѣ служившіе при Троцинскомъ не имѣли много свободного времени.

Молодой человѣкъ простился съ невѣстой и съ будущей тещей и направился въ свою маленькую квартирку на Галерной. До полуночи просидѣлъ онъ у себя за перепиской всякихъ бумагъ, затѣмъ легъ спать и часа два не могъ заснуть,—мечталъ о томъ, какъ счастливо и удачно поворачивается его жизнь.

Не далѣе какъ пять лѣтъ тому назадъ, потерявъ мать, онъ остался въ Петербургѣ одинъ-одинехонекъ, бобылемъ. Родни близкой никого у него не было. Но тотчасъ же онъ былъ призренъ дальнимъ родственникомъ, который занялся его судьбой и, имѣя въ столицѣ друзей, записаль его въ Сенатъ.

Прилежаніемъ и аккуратностью Позднякъ заставилъ себя вскорѣ замѣтить въ числѣ прочихъ писарей. Къ тому же дочеркъ его былъ настолько красивъ, что отличаль его въ глазахъ ближайшаго начальства.

Троцинскій былъ правителемъ канцеляріи графа Безбородко, и бумаги писанныя Позднякомъ обратили на себя вниманіе графа. Онъ однажды спросилъ, какъ зовутъ того писаря, бумаги котораго попадаютъ у него въ числѣ прочихъ. Позднякъ былъ графу представленъ. Послѣ этого раза два или три самъ Дмитрій Прокофьевичъ Троцинскій выбираль Позняка, чтобы переписать нѣсколько важныхъ бумагъ для доклада Императрицѣ.



Въ бесѣдахъ съ нимъ Трощинскій замѣтилъ дѣльнаго, скромнаго и прилежнаго молодого малаго. Когда два года назадъ одинъ изъ сенатскихъ секретарей вдругъ умеръ, то, ко всеобщему удивленію, двадцати-трехлѣтній Позднякъ получилъ первый чинъ и заступилъ его мѣсто. Затѣмъ спустя полгода онъ сталъ частнымъ секретаремъ Трощинскаго.

Теперь служебное положеніе Поздняка стало еще выше, благодаря случаю: графъ Безбородко уѣхалъ въ Молдавію заключать миръ съ Турками, а Трощинскій сталъ лично докладывать дѣла Государынѣ и пошелъ въ гору... Удачи по службѣ начальника должны были отразиться и на его домашнемъ секретарѣ, который считался любимцемъ начальника.

Прошлою весной молодой сенатскій секретарь встрѣтилъ въ Лѣтнемъ саду двухъ женщинъ: пожилую и молоденькую. Сразу влюбился онъ, и узнавъ, что молодая дѣвушка — дочь небогатой вдовы, чиновникъ познакомился съ ней при выходѣ изъ церкви, при содѣйствіи просвирни. Позднякъ не думалъ никогда о томъ, чтобъ искать жену съ приданымъ, и поэтому онъ началъ часто бывать у Парашиныхъ, усиленно ухаживать за дѣвушкой, и наконецъ сдѣлалъ предложеніе.

Настя принесла счастье, такъ какъ теперь родственникъ, котораго онъ звалъ дядей, совершенно неожиданно обѣщаль крупную ежегодную помощь.

Все ладилось и устраивалось какъ нельзя лучше. Его жалованье, пенсія Парашинной и помощь дяди составляли ежегодный доходъ почти въ тысячу рублей, на которые по времени можно было жить въ довольствѣ.

## II.

На другой день въ девять часовъ Позднякъ былъ уже въ своемъ вицѣ мундирѣ въ сенатѣ и сидѣлъ около маленькаго столика, на которомъ лежала куча дѣлъ въ обложкахъ. Отдѣльно отъ прочихъ онъ положилъ нѣсколько красиво переписанныхъ наканунѣ бумагъ. Вокругъ него въ большой горницѣ двигались и сидѣли чиновники цѣлою толпой. Нѣкоторые торчали за столами ничего не дѣлая, другіе скрипѣли перьями.

Всѣмъ, кто подходилъ къ Поздняку, онъ отвѣчалъ разсѣянно, хотя лицо его было не задумчивое и не озабоченное,

а напротивъ чрезвычайно веселое. Онъ былъ настолько поглощенъ грезами о своемъ предстоящемъ счастьи и благополучи, что ему не хотѣлось болтать съ сослуживцами о всякихъ пустякахъ.

Наконецъ около полудня солдатъ съ георгиевскимъ крестомъ вошелъ въ горницу, прошелъ ее до половины и выкрикнулъ:

— Иванъ Петровичъ, васъ!

Это было почти ежедневное объявленіе Поздняку, что Троцинскій требуетъ его къ себѣ.

Позднякъ собралъ бумаги, посмотрѣлся въ зеркало и остался совершенно доволенъ собой. Лицо его, сіявшее счастьемъ, дѣлало всю его фигуру еще болѣе благообразною и даже приятною каждому. Онъ былъ въ такомъ нравственномъ состояніи, что оно должно было, казалось, дѣйствовать на постороннихъ. На него, по русскому выраженію, „весело было смотрѣть“.

Пройдя нѣсколько горницъ, Позднякъ осторожно отворилъ дверь, вошелъ и, пріостановившись на порогѣ, низко поклонился. За большимъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, сидѣлъ важный сановникъ въ напудренномъ парикѣ, но въ простомъ ежедневномъ мундирѣ.

Это и былъ Дмитрій Прокофьевичъ Троцинскій, одинъ изъ дѣльцовъ времени Великой Екатерины, не отличавшійся никакими особенными талантами, но сдѣлавшій затѣмъ при Императорѣ Павлѣ блестящую карьеру, благодаря аккуратности и усидчивости въ трудѣ, неблагодарномъ, незамѣтномъ, но необходимомъ въ государственной машинѣ.

Троцинскому было около сорока лѣтъ. Онъ былъ не очень красивъ собой и смолоду. Крупный, мясистый, слегка вздернутый носъ, толстыя губы, дѣлали его некрасивымъ, но большіе, свѣтлые, умные глаза придавали лицу много жизни.

Пересмотрѣвъ поданныя Позднякомъ бумаги, Троцинскій молча кивнулъ головой, отпуская секретаря. Позднякъ замаялся на одномъ мѣстѣ, но затѣмъ рѣшился и выговорилъ:

— Ваше превосходительство! Дозвольте обратиться съ нижайшею просьбой...

— Что такое?

— Дозвольте вступить въ законный бракъ...

— Здравствуйте!.. воскликнулъ Троцинскій и, поднявъ свои большіе глаза на молодого человѣка, онъ просопѣлъ и

молчалъ.—Озадачилъ, братецъ ты мой! выговорилъ онъ наконецъ.—Не ожидалъ я отъ тебя эдакаго пассажира...

Позднякъ струхнулъ и даже слегка покраснѣлъ.

— Сколько тебѣ лѣтъ?

— Двадцать пять.

— Э-эхъ, братецъ! Обождаль бы малость самую.

— Если прикажите... прошепталъ Позднякъ.

— Самую бы малость обождаль. Какъ этакъ вдругъ жениться... Ну, пять лѣтъ бы обождаль...

Позднякъ, пораженный, разинулъ ротъ и замеръ на мѣстѣ.

Онъ думалъ: мѣсяць, два...

Трощинскій снова поглядѣлъ на секретаря и, замѣтивъ страшную перемену на его лицѣ, прибавилъ:

— Да ты не пугайся! Я же запретить не могу. Только жалко... Ужъ какой же ты будешь секретарь, коли женишься?..

— Помилуйте, ваше превосходительство, я...

— Знаю, знаю... Ты-то вотъ не знаешь. Жена, семья, дюжина дѣтей, возня, хлопоты, заботы... Одинъ въ жару, у другого—желудочекъ, у третьяго—подъ ложечкой, у четвертаго невѣдомо что... Крестины, да всякія такія именины и всякая такая канитель... Настоящій чиновникъ тотъ, кто бобыль! Я тебя за то и взялъ... За твое одиночество. Ну, что жъ дѣлать! Мнѣ что же... Тебѣ же хуже. Будешь неаккуратень—другого возьму.

— Я докажу вашему превосходительству, вдругъ храбро заговорилъ Позднякъ:—изволите увидѣть, я буду еще пуще радѣть.

— Увидимъ... Когда же свадьба?

— Когда позволите.

— Да ужъ коли не хочешь малость обождать, такъ женись скорѣй, потому что, будучи мужемъ, все-таки станешь лучше служить, чѣмъ теперь. Теперь, поди, у тебя въ головѣ базарь, ярмарка, мозги-то небось кверху ногами. Нѣтъ, ужъ поскорѣй женись.

— Какъ прикажете...

— Сдѣлай милость! Сегодня суббота, ну, въ слѣдующую субботу... не позже.

— Виновать, ваше превосходительство, въ субботу вѣнчаться... нельзя-съ....

— Ну, тамъ какъ можно!.. Два раза въ году слѣдовало бы

позволить вѣнчаться, эдакъ-то сколько бы свадебъ не состоялось. Иной бы собрался жениться, да успѣлъ бы двадцать разъ одуматься, если бы вѣнчали только перваго января да перваго іюля. Ну, такъ заходи ко мнѣ на квартиру послѣ-завтра, свадебный подарочекъ получишь... единовременное пособіе въ размѣрѣ годового жалованья.

— Ваше превосходительство! воскликнулъ Позднякъ и тотчасъ же двинулся съ намѣреніемъ поцѣловать начальника въ плечо.

— Не люблю этого! сурово выговорилъ Трощинскій. — Помни, коли разныя именины да крестины тебя не изгадятъ, будешь попрежнему служить, получишь прибавку жалованья на одну треть.

— Постараюсь всячески заслужить! выговорилъ Позднякъ чуть не со слезами на глазахъ.

Молодой человѣкъ вышелъ изъ кабинета начальника, положительно не чувствуя подъ собою ногъ. По дорогѣ въ отдѣленіе, гдѣ онъ обыкновенно сидѣлъ, онъ натолкнулся на трехъ чиновниковъ и чуть не сшибъ съ ногъ того же солдата съ крестомъ.

Разумѣется, двумъ или тремъ сослуживцамъ Позднякъ тотчасъ же рассказалъ все съ нимъ приключившееся, а затѣмъ, когда кончилось присутствіе, онъ полетѣлъ на Петербургскую Сторону, объявить Парашинымъ о приказѣ начальства—жениться какъ можно скорѣй.

Настенька, разумѣется, обрадовалась. Анна Павловна поохала, но уступила убѣжденіямъ жениха и просьбамъ дочери. Было рѣшено, что черезъ четыре дня молодые люди будутъ обвѣнчаны въ приходскомъ храмѣ.

### III.

Съ этого же вечера на Позднякъ оправдалось мнѣніе Трощинскаго. Онъ не ходилъ, а леталъ. Все у него прыгало предъ глазами: отъ сослуживцевъ въ сенатѣ до послѣднихъ предметовъ на улицѣ.

Мысли въ головѣ смѣняли одна другую, одна диковиннѣе другой. Разумѣется, главная мысль была Настенька и будущее счастливое супружество, будущая семья; мысли о службѣ были затѣснены.

Съ первыхъ же дней Позднякъ однако самъ замѣтилъ, что у него не все въ головѣ обстоитъ благополучно, не все въ порядкѣ.

На второй день онъ чуть не вышелъ изъ квартиры въ туфляхъ, которыя подарила ему невѣста. Затѣмъ чрезъ день, будучи въ сенатѣ, онъ переписалъ красиво бумагу, дописалъ до конца третью страницу, и прежде чѣмъ перевертывать ее, по обыкновенію, собрался засыпать пескомъ. Но вмѣсто песочницы онъ ухватилъ чернильницу и, опрокинувъ ее, шлепнулъ чернила на столъ, и разумѣется не только залилъ все, но даже спрыснулъ и свой мундиръ. При этомъ Позднякъ такъ закричалъ, что всѣ кругомъ сидѣвшіе чиновники повскакали съ мѣстъ какъ шальные.

Конечно, смѣху было не мало, но самъ Позднякъ былъ пораженъ, какъ еслибы случилось что-нибудь невѣроятное. Опрокинуть чернильницу вмѣсто песочницы, конечно, случилось часто всюду, да и въ сенатѣ бывало не менѣе разовъ двухъ, трехъ въ годъ.

— Съ кѣмъ такое не бывало! замѣтилъ тотчасъ же одинъ изъ чиновниковъ.

Но Позднякъ былъ серьезенъ и задумчивъ, даже перепуганъ. Онъ никогда не допускалъ мысли, чтобы съ нимъ могло случиться подобное. Это доказало ему ясно, что онъ находится не въ естественномъ состояніи.

„Вотъ что значить умный-то человѣкъ... Провидецъ! подумалъ онъ про Трощинскаго.—Предсказалъ вѣдь просто!“

Позднякъ при помощи солдата вытеръ столъ, обмылъ водой чернильныя пятна на своемъ мундирѣ и затѣмъ сѣлъ снова переписывать бумагу. Переписывая, онъ мысленно давалъ себѣ честное слово, клятву, быть осторожнѣе, меньше думать о невѣстѣ и свадьбѣ.

Къ вечеру, разумѣется, все было забыто кромѣ Настеньки, и молодой человѣкъ снова метался и почти прыгалъ.

На третій день, когда онъ по обыкновенію явился съ докладомъ, Трощинскій принималъ отъ него нужныя бумаги, проглядѣлъ ихъ и усмѣхнулся.

— Ишь, вѣдь, погляди-ка! выговорилъ онъ, показывая пальцемъ на нѣкоторыя строчки.—Смотри-ка. Вотъ вишь, у тебя какіе крючечки пошли... Вонъ гляди! Я твой почеркъ хорошо знаю... Прежде вотъ этихъ крючечковъ не бывало.. Ишь ты какая завитушка! А вотъ это чистый выборгскій крендель! А

вотъ тутъ цѣлая козявка вышла съ усами... Это что означаетъ по-твоему?

— Виновать-съ... отозвался Позднякъ.—Я перепишу...

— Нѣтъ, ты не виновать! А бѣсъ въ тебѣ сидитъ жениховскій... Вотъ женишься ты, пройдетъ мѣсяца два, три, и всѣ эти крендели и букашки исчезнутъ. Теперь, выходитъ, рука-то балуетъ. Не у спокойнаго человѣка дѣйствуетъ. Сдѣлай милость, женись ты поскорѣй!

— Безпремѣнно въ пятницу, ваши превосходительство.

— Ну, и хорошее дѣло! А куда на вотъ тебѣ. Дѣла все спѣшныя, а особливо одно...

Троцинскій взялъ со стола нѣсколько бумагъ и, передавая ихъ секретарю, выбралъ одну изъ нихъ и положилъ сверху.

— Вотъ гляди... Это указъ сенату, уже подписанный Государыней. Перепиши мнѣ его въ двухъ видахъ. Да смотри—какъ-нибудь не выпачкай.

— Слушаю-съ. Будьте покойны.

— Одинъ перепиши какъ можно красивѣе, только безъ крючковъ пожалуйста. А другой перепиши какъ знаешь,—онъ, собственно, мнѣ лично. Да смотри, говорю, указъ не испачкай.

— Какъ можно, помилуйте!

— Къ завтраму все будетъ готово?

— Точно такъ-съ! Сегодня же вечеромъ перепишу-съ.

— Ну, ладно! коли не успѣешь—не бѣда...

Позднякъ взялъ бережно указъ, и придя въ свое отдѣленіе со всѣми полученными бумагами, переглядѣлъ ихъ снова. Главная бумага для переписки была Высочайшій указъ сенату съ подписью красивыми крупными буквами: „Екатерина“.

„Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ рука самой Царицы лежала, подумалъ онъ.—А какъ писать-то!“

Полюбовавшись на подпись Монархини, Позднякъ взялъ указъ, положилъ отдѣльно въ чистый листъ бумаги и хотѣлъ на обложкѣ написать: „Указъ Ея Императорскаго Величества“, но остановился. „Чего я буду себѣ-то самому писать? подумалъ онъ. И такъ знаю, что онъ въ этой бумагѣ.“

Зайдя домой и оставивъ всѣ полученные бумаги у себя въ столѣ, Позднякъ, разумѣется, тотчасъ же побѣжалъ на Петербургскую Сторону.

Здѣсь въ квартирѣ были хлопоты. Настенька бѣгала и прыгала точно такъ же, какъ и ея женихъ. Будь у нея какое

дѣло или обязательство, то, конечно, и она бы напутала. И она бы тоже опрокинула чернильницу на какое-нибудь платье изъ приданого.

Посидѣвъ часа два и закусивъ, Позднякъ отправился на другой конецъ Петербурга, ко Владимірской, гдѣ жилъ его родственникъ. Высокій и плотный человекъ, въ военномъ кафтанѣ покроя Елисаветинскихъ временъ, ласково встрѣтилъ и облобызалъ племянника.

Разумѣется, разговоръ зашелъ о томъ же—о свадьбѣ. Молодой человекъ объявилъ день и часъ вѣнчанія, прося пожаловать. Дядя обѣщалъ и снова повторилъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ свое обѣщаніе помогать племяннику, который отличался по службѣ.

— Покуда буду живъ, Ваня, будешь получать отъ меня рублей четыреста, а то и больше. Самъ знаешь, прямыхъ наслѣдниковъ у меня нѣту, а тебя люблю за то, что ты меня надуль. Былъ ты совсѣмъ заморышь лупоглазый. Тебя я полагалъ не жалко будетъ на первомъ суку въ лѣсу повѣсить, когда придешь въ возрастъ. А вышло-то вонъ что!... Дѣлецъ, сенатскій чиновникъ, секретарь вельможи, бумаги важныя пишешь. Вонъ что на свѣтѣ-то бываетъ! Вотъ и я въ деревенскихъ крѣпостныхъ мальчуганахъ находилъ, затрещины отъ господъ получалъ, а тамъ въ солдаты за провинность попалъ. Думалось ли въ дворяне и капитаны выйти? Все такъ на свѣтѣ! А былъ у меня въ Преображенскомъ полку товарищъ. Голова!.. Думали всѣ, изъ него фельдмаршалъ выйдетъ, а онъ въ винокуры попалъ, да прогорѣлъ и съ горя самъ пить началъ. Такъ вотъ благо ты умница, мнѣ и слѣдъ тебѣ помогать. Лучше пойдешь по службѣ, и я больше денегъ буду давать. А коли будетъ на тебя начальство взирать не хорошо, не угодишь ему, тогда и на меня не рассчитывай.

Позднякъ, посидѣвъ довольно долго у лейбъ-кампанца, наконецъ собрался домой, чтобы съ вечера покончить все, что нужно было сдѣлать. Съ Владимірской въ Галерную молодой малый пролетѣлъ шибко. Снова онъ чувствовалъ себя въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи.

Все ему хотѣлось сдѣлать скорѣе, ловчѣе, быстрѣе, да и работа, какая бы ни была, казалась ему легче.

Вернувшись къ себѣ, онъ досталъ всѣ черновыя бумаги, какія получилъ отъ Трощинскаго, и нѣсколько удивился. Онъ думалъ, что работы будетъ часа на три, а оказалось, что придется просидѣть часовъ до двухъ ночи.

Думая все объ указѣ, который надо было переписать въ двухъ экземплярахъ, онъ совершенно забылъ, что помимо этой работы было еще много бумагъ для переписки. Это его озадачило.

— Вѣдь это опять въ родѣ чернильницы... выговорилъ онъ,—ничего подобнаго никогда со мной не бывало. Всегда зналъ какая предстоитъ вечерняя работа. А тутъ вдругъ проглядѣлъ... Да и что проглядѣлъ-то! Забылъ, что цѣлыхъ восемь бумагъ есть помимо указа... Все пустое!—рѣшилъ Позднякъ весело:—перепишу все въ три часа, или въ четыре времени.

И ему показалось, что всякая работа, а въ особенности его собственная, зависитъ отъ душевнаго настроенія. Ему казалось, что сегодня онъ можетъ въ четыре часа написать втрое больше, нежели бывало прежде въ восемь и девять часовъ времени.

— Вся сила въ томъ, заговорилъ онъ снова,—что внутри что-то горитъ, отчего и руки дѣйствуютъ скорѣй и ловчѣе. Лишь бы вотъ только крючковъ да завитушекъ не давать рукѣ дѣлать. А еще того хуже въ какую бумагу не вписать бы имя Настеньки.

Молодой человекъ тотчасъ же усѣлся за работу и, конечно, прежде всего бережно положилъ предъ собой Высочайшій указъ и началъ его переписывать.

Первый экземпляръ онъ постарался переписать какъ можно отчетливѣе и красивѣе, причемъ старался не дѣлать тѣхъ крючечковъ, про которые говорилъ начальникъ.

Черезъ полчаса красивая копія была готова, и онъ отложилъ ее на правую сторону стола. Затѣмъ быстро поспѣла вторая копія, которую онъ написалъ менѣе тщательно, а вслѣдъ за ней еще быстрѣе поспѣла и третья. И всѣ три отложилъ онъ направо. Затѣмъ, взявъ указъ въ обложкѣ, онъ положилъ его налѣво.

— Зачѣмъ же я три копіи снялъ? вдругъ сообразилъ онъ.— Совсѣмъ стало быть умъ за разумъ заходить. Ну, что - жъ дѣлать. Не бѣда!

Позднякъ переглядѣлъ всѣ черяки, которые надо было переписать, и рѣшилъ, что работы еще не болѣе, какъ часа на три. Дѣйствительно не прошло и часу, какъ три бумаги были уже переписаны, но Позднякъ спѣшилъ, самъ не зная зачѣмъ и почему.



Переписанные черняки онъ клалъ налѣво сверхъ указа, а чистыя копіи клалъ направо на копіи съ указа. Подобное правильное раздѣленіе на столѣ вновь переписанныхъ бумагъ и черняковъ, которые остались у него для уничтоженія, Позднякъ всегда аккуратно дѣлалъ на одинъ и тотъ же ладъ.

На этотъ разъ работа затянулась, и чѣмъ дальше, тѣмъ медленнѣе работалъ молодой малый, потому что, набѣгавшись и проволновавшись цѣлый день, онъ чувствовалъ, что его клонитъ сонъ. Кромѣ того поневолѣ работа прерывалась мыслями о невѣстѣ и предстоящемъ бракѣ.

Наконецъ, около часу ночи онъ дописалъ послѣднюю бумагу, обсыпалъ пескомъ и положилъ направо, а чернякъ бросилъ налѣво.

— Все! выговорилъ онъ.— Слава Богу! Всѣ готовы! И даже переписалъ безъ крючечковъ.

#### IV.

Дописавъ послѣднюю бумагу, Позднякъ всталъ, потянулся, прошелся нѣсколько разъ по своей горницѣ и, сѣвъ на кровать, сталъ раздѣваться, чтобы лечь спать.

Уже собираясь лечь подъ одеяло, онъ вдругъ поглядѣлъ на свой столъ и покачалъ головой. Никогда за все время службы ничего подобнаго не бывало...

— Это все—мое женихово состояніе творить! выговорилъ онъ.

Дѣйствительно, никогда не оставлялъ онъ письменнаго стола въ такомъ видѣ. Всегда вновь написанныя бумаги онъ порядливо укладывалъ въ картонную папку, а черняки всегда, разорвавъ пополамъ, бросалъ въ ящикъ, стоящій у окошка.

— Не годно, Иванъ Петрович! выговорилъ онъ самъ себѣ.— Хоть и пустое дѣло, а все-таки дѣлай такъ, какъ всегда дѣлалъ.

Онъ всталъ съ кровати, нацѣпилъ вышитыя Настенькой туфли и подошелъ къ столу. Собравъ все написанное въ кучу, онъ положилъ въ картонъ, а тесемочки его завязалъ съ трехъ сторонъ аккуратными бантиками. Положивъ папку среди стола, онъ прибралъ перья и даже чернильницу подвинулъ, чтобы она стояла прямѣе.

Затѣмъ захвативъ разомъ ненужные черняки, онъ ловкимъ,

привычнымъ движеніемъ дернулъ за два края, разрывая сразу листовъ по десяти.

Толстыя бумаги будто злобно шипѣли и скрипѣли, разрываемыя пополамъ. Позднякъ швырнулъ куски въ ящикъ, снова перешелъ на кровать, легъ и, съ наслажденіемъ потянувшись, собрался сладко заснуть.

Онъ двинулся уже тушить свѣчу, какъ вдругъ вскрикнулъ и вскочилъ какъ ужаленный. Онъ взялъ свѣчку и бросился къ столу. Рука его настолько дрожала, что шандаль едва не выпалъ на полъ.

— Помилуй Богъ!.. шепталъ онъ бессмысленно.

Поставивъ свѣчу на столъ, онъ сталъ развязывать картонъ, но руки плохо повиновались. Кое-какъ развязавъ, онъ раскрылъ папку, переглядѣлъ бумаги и онѣмѣлъ...

Простоявъ истуканомъ нѣсколько мгновеній, онъ бросился къ ящику, вытащилъ всѣ разорванные листы, переглядѣлъ ихъ и безъ силъ опустился на полъ, схвативъ себя за голову.

Предположеніе было вѣрно. Императорскій указъ былъ разорванъ пополамъ вмѣстѣ съ черняками.

Часа два недвижно просидѣлъ молодой человѣкъ на полу около ящика, схвативъ голову руками. По временамъ онъ тихо стоналъ, какъ отъ боли. Мысли его совершенно помутились. Онъ даже не сознавалъ, гдѣ онъ находится, гдѣ сидитъ. Иногда ему казалось, что ужъ онъ не живъ, что онъ убитъ.

Среди ночи онъ перебрался, наконецъ, на кровать, легъ, но заснуть не могъ и проворочался до утра въ болѣзненномъ бреду.

Часовъ въ восемь онъ былъ снова на ногахъ, но это былъ уже совершенно другой человѣкъ: блѣдный, осунувшійся, съ полубезумными глазами, какой-то пришибленный. Онъ почти не сознавалъ того, что дѣлалъ. Одна только мысль была въ головѣ: „Императорскій указъ изорвалъ!“ Ему стало быть предстоить попасть подъ судъ и, конечно, быть исключеннымъ изъ службы.

И вдругъ Поздняку пришло на умъ, что есть въ Петербургѣ большая, глубокая рѣка — Нева. Затѣмъ пришло ему на умъ еще одно важное обстоятельство, очень благоприятное. Онъ, Позднякъ, плавать не умѣетъ. Какъ ни учился, никогда не обучился. Стало быть дѣло выходить самое простое, легко

исполнимое. Взять лодку, выѣхать на середину Невы и выскочить изъ нея.

Положительно все обойдется какъ слѣдуетъ, потому что онъ никоимъ образомъ на водѣ не удержится, непременно потонетъ. Тогда все и отлично. Рвалъ ли указъ, не рвалъ ли — все равно! А жить-то? Вѣдь ужъ жить-то нельзя будетъ. Объ этомъ онъ какъ будто и позабылъ... Вѣдь коли онъ утонетъ, такъ жизнь-то кончится. Да, дѣйствительно! Да что же дѣлать?..

Позднякъ взялъ разорванный пополамъ указъ и снова поглядѣлъ на него. Подпись Императрицы большими буквами была тоже разорвана пополамъ. На одной половинѣ стояло: *Еки*, а на другой: *терина*.

Поглядѣвъ на Монаршую подпись на двухъ разныхъ клочкахъ бумаги, Позднякъ почувствовалъ, что ноги у него затряслись, и онъ опустилсѣ на первый попавшійся стулъ.

## V.

Черезъ часъ, положивъ въ карманъ разорванную бумагу, Позднякъ собрался на Петербургскую Сторону, но чувствуя, что идти не можетъ, взялъ извозчика. Онъ отправился пройтись...

Не прошло получаса, какъ въ квартирѣ невѣсты, гдѣ всегда бывало теперь веселье и смѣхъ, двѣ женщины: пожилая и молоденькая, горько плакали, а самъ Позднякъ сидѣлъ, согнувшись, блѣдный, едва живой.

Глухимъ голосомъ передалъ молодой человѣкъ невѣстѣ и Аннѣ Павловнѣ, что онъ будетъ отданъ подъ судъ и будетъ исключенъ изъ службы. Слѣдовательно, все потеряно! Жалованья не будетъ, а дядя, конечно, исключенному изъ службы не дастъ ничего. Аннѣ Павловнѣ приходилось приобрѣсти жениха для дочери бобыля и нищаго. Онъ самъ этого не желаетъ...

— Что же вы хотите дѣлать?! воскликнула Парашина.

Позднякъ поглядѣлъ на нее, потомъ посмотрѣлъ на невѣсту и ничего не отвѣтилъ. Однако Настенька по его взгляду поняла все и залилась еще пуще слезами.

— Иванъ Петровичъ, общайте мнѣ обождать сутки. Богъ милостивъ, что-нибудь придумаемъ... вымолвила наконецъ Настенька.

— Мнѣ черезъ часъ надо нести бумаги Дмитрію Прокофьевичу. Какъ же я буду обжидать?..

— Не идите... Скажитесь больнымъ... Лягте въ постель... сказала Парашина.

Позднякъ помоталъ головой и ничего не отвѣтилъ.

Просидѣвъ около часу, онъ вышелъ изъ квартиры, не прощаясь ни съ Парашиной, ни съ Настенькой. Видно было, что онъ не сознаетъ ничего и не знаетъ куда собирается и что хочетъ дѣлать.

Едва только Позднякъ вышелъ, какъ молодая дѣвушка, тайкомъ, не спрося съ матери, накинула на голову платокъ и выбѣжала вслѣдъ за женихомъ. Она догнала его на углу переулка и, заливаясь слезами, выговорила:

— Ступайте къ Спасу... Знаете? Спасъ Нерукотворенный. Здѣсь. Близко... Помолитесь Господу...

— Хорошо!.. выговорилъ молодой человѣкъ, едва понимая что говорить и на что соглашается.

— Господь милостивъ!.. восторженно произнесла Настенька.—Я вѣрю крѣпко, что никакой бѣды не будетъ. Слышите? Никакой! Только помолитесь всѣмъ сердцемъ.

Дѣвушка вдругъ обхватила руками жениха, поцѣловала его, потомъ перекрестила и бросилась бѣжать домой.

Позднякъ двинулся медленно по улицѣ и, почти ничего не соображая и не видя предъ собой, дошелъ до Невы. Онъ остановился на берегу и сталъ глядѣть на гладкую зеркальную поверхность воды.

„Очень мудро собираться, подумалъ онъ.—Страшно! Да, собираться страшно... А когда будешь на глубинѣ, оно уже само собой все потрафится. За то и конецъ всему... Что тогда Дмитрій Прокофьевичъ? Да и Царица сама—съ того свѣта—ничего...“

Позднякъ вздохнулъ, опустилъ голову и стоялъ какъ истуканъ. Прохожіе оглядывали его съ любопытствомъ. Вся его фигура, висящія безжизненно вдоль туловища руки, блѣдное, будто вытянутое лицо, бессмысленно открытые глаза—говорили ясно о томъ, что съ этимъ человѣкомъ совершилось что-то роковое.

„Неужели же нельзя простить ненарокомъ содѣянное преступленіе?.. снова сталъ думать Позднякъ.—Изорви я царскій указъ въ пьяномъ видѣ или по дикой злобѣ,—понятно, мнѣ въ Сибири мѣсто. А эдакъ, по оплошности, по разсѣянно-

сти... Неужели простить нельзя? Ей Богу, можно. Но Дмитрій Прокофьевичъ не проститъ. Ни за что..."

Позднякъ сталъ вспоминать тѣ случаи, которые были между его сослуживцами за послѣднее время. Каждый разъ, что бывали провинившіеся, Трощинскій относился безпощадно строго. Онъ слылъ за справедливаго и добраго начальника, а сколькихъ людей погубилъ своею строгостью. Старикъ подъячій, потерявшій нѣсколько бумагъ съ полгода назадъ, былъ тотчасъ же исключенъ со службы. Бумаги нашлись чрезъ недѣлю у извощика въ саняхъ, а старикъ не былъ все-таки принятъ обратно на службу. Онъ запилъ съ горя и спился...

— Нѣтъ, отъ Дмитрія Прокофьевича не жди помилованія! вслухъ воскликнулъ Позднякъ.—А Царица сама простила бы... Да, простила бы. Вѣрно... Да, да...

И Позднякъ началъ ходить взадъ и впередъ по берегу и повторять на разные лады.

— Да... Да... Да... Да...

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сталъ думать о невѣстѣ, вспомнилъ ея послѣднія слова, ея увѣренность, что все обойдется счастливо.

— Легко сказать... А какъ быть?.. Помолишься—ничего не будетъ! Молишь не молишь—ничего!..

Позднякъ тяжело вздохнулъ, глянулъ еще разъ искоса на гладкую, ясную Неву и отошелъ отъ берега.

— Это не уйдетъ. Утопиться всегда успѣешь...

Молодой человѣкъ двинулся тихо по берегу, и вдругъ, поднявъ опущенную голову, увидѣлъ на синевѣ неба ярко сіявшій крестъ. Онъ даже вздрогнулъ. Синій куполь храма сливался съ синевой небесъ, и золотой, сверкающій, будто пылающій крестъ казался въ пространствѣ. Мало этого... Въ этомъ сіяніи креста была какая-то особенность, таинственно подѣйствовавшая на несчастнаго сенатскаго секретаря. Тысячи разъ въ жизни видалъ онъ сіяющіе кресты на храмахъ и не находилъ въ нихъ ничего особеннаго. А теперь этотъ крестъ грозно сверкнулъ на него, ослѣпилъ его... Онъ, казалось, будто шевелится, то казалось улетаетъ въ вышину...

— Какъ ты смѣешь, грѣшный человѣкъ! Глупый человѣкъ! Говорить, что ничего не будетъ отъ молитвы! будто произнесъ кто-то тихо надъ ухомъ Поздняка.

Молодой человек оглянулся... Он был один. Никто не мог этого сказать ему.

Крест этот на храм будто говорил это своим чудным сверканьем.

Поздник вдруг пошел скорее, прямо к храму, и все прибавлял шагу. Через минуту он почти бжал, будто боясь опоздать.

— Неправда... Неправда... повторял он шепотом и даже не понимал сам, откуда взялось это слово и что оно значить. А этим словом он отвечал сам себя на свое внутреннее смущение, на свои сомнения, на свою безнадежность.—Неправда... Помолюся—Царица простит. А как до нея дойти—Господь на душу положит. Да, Господь укажет...

С этим шепотом на губах Поздник вошел в церковь Троицы, где шла вечерня. Он стал в уголк, опустил на колени и, не крестясь, закрыл лицо руками.

— Я же не виноват. Видит Бог, не виноват. Да. Он видит. И она тоже увидит. Она... Царица... Она милостиво поклонилась Настеньк. Улыбнулась ласково... И мн она также может поклониться... И я ей все скажу... Скажу: простите! И она простит...

Слезы были на глазах Поздника, когда он поднялся на ноги... Ему подумалось, что он не молился, а так только рассуждал сам с собой. А вмст с тем сладкое, спокойное чувство сказывалось ясно на сердц, даже будто разлилось какою-то теплотой по всему телу. Тревоги и смущения не было больше в нем. Отчаяния от безвыходности положения не было и там.

Все казалось теперь просто. Совсм просто.

— Похат в Царское Село, стать на дорожк, около обелиска, где всякое утро проходит царица. И ей все сказать. Ей самой... И она простит... И Дмитрию Прокофьевичу прикажет простить его.

И Поздник вдруг ахнул от удивления. Кто же это его надоумил хат в Царское и стать на дорожк? Никто... Рассказ Настеньки. Не побывай она там и не повидай царицу, то и ему теперь не пришло бы на ум сдлать это...

— Чудно! Милость Божья! зашептал Поздник.—И как просто... А ране на ум не приходило... Побжал было топиться... А надо в Царское... И царица простит!

Молодой человек вышел из церкви улыбающийся, по-

чти радостный, и, повернувъ къ Петербургской Сторонѣ, бодро зашагаль по улицѣ...

Черезъ четверть часа онъ снова былъ уже въ домикъ Па-рашиныхъ и входилъ на крыльцо.

— Иванъ Петровичъ!.. вскрикнула Настенька.—Ахъ, слава тебѣ Господи! Ахъ, какъ я намучилась! Думала, что вы уже... Ахъ, Господи помилуй!.. Идите, идите... Слушайте... Я надумалась... Нѣтъ, идите...

Настенька взволнованная, румяная, съ заплаканными глазами ухватила Поздняка за руки и потянула за собою въ домъ.

— Въ Царское вамъ надо сейчасъ ѣхать. Къ дядѣ... Все ему сказать... А то прямо къ той скамеечкѣ, гдѣ я сидѣла...

— Я за этимъ къ вамъ пришелъ, отозвался Позднякъ, грустно улыбаясь.—Намъ обнимъ одно и то же на умъ пришло.

— Я молилась... И мнѣ будто кто шепнулъ... воскликнула дѣвушка съ сіяющими глазами.

— Я тоже, Настенька...

— И царица васъ простить! Вотъ ей-Богу... Я знаю... знаю... Всѣмъ сердцемъ...

— И я тоже, Настенька...

И женихъ съ невѣстой, довольные, спокойные, почти счастливые, перетолковали подробно о тайномъ предпріятіи.

## VI.

Около полуночи телѣга выѣхала по дорогѣ въ Царское Село и двигалась рысцой и шагомъ. Часа въ четыре утра Позднякъ былъ уже въ Царскомъ, около домика священника.

Женщина, служившая у батюшки въ кухаркахъ, узнавъ, что пріѣзжій—женихъ Настеньки, о которомъ было не мало разговоровъ за послѣднее время, вызвалась тотчасъ же разбудить батюшку.

Позднякъ, попрежнему смущенный, но нѣсколько менѣе, чѣмъ наканунѣ, въ короткихъ словахъ объяснилъ, въ чемъ дѣло. Священникъ вздохнулъ, подумалъ и наконецъ выговорилъ:

— Вы и моя Настенька—умники! Дѣло не простое—бѣдовое, но все жъ таки, прежде чѣмъ бѣжать топиться, слѣ-

дуетъ счастье испробовать. Матушка Царица всему міру извѣстна. Она и агнецъ кротости, и змій мудрости. Да, сударь мой, какъ рѣшили, такъ и поступайте. Не даромъ все это пришло вамъ на умъ среди молитвы. Обождемъ часъ, и я васъ сведу и поставлю на то самое мѣсто, гдѣ всякое утро проходитъ Царица. Только молитесь Бога, чтобы вотъ эта тучка всю вашу судьбу не перемѣнила... показалъ священникъ на небо.—Если пойдетъ дождикъ, не выйдетъ Царица на прогулку.

— Тогда я прямо отсюда въ Неву... глухо проговорилъ Позднякъ.

Ровно черезъ часъ, въ одной изъ аллей Царскосельскаго парка, около обелиска, сидѣлъ на скамейкѣ молодой человекъ въ сенатскомъ мундирѣ, блѣдный, взволнованный, и мутными глазами поглядывалъ все въ одну сторону.

Въ паркѣ была полная пустота и тишина. Не было ни души. Наконецъ, вдаль, среди чащи зелени, показались на дорожкѣ двѣ дамы и тихо двигались по направленію къ тому мѣсту, гдѣ былъ Позднякъ.

Онъ встрепенулся, перекрестился, потомъ вытеръ затуманившіеся глаза.

Дамы подходили все ближе. Позднякъ отошелъ нѣсколько отъ лавки и сталъ на колѣни. Онъ снялъ шапку, бросилъ ее на землю около себя, взглянулъ еще разъ на двухъ дамъ, которыя были уже шагахъ въ пятьдесятъ отъ него, и невольно отъ внутренней тревоги скрестилъ руки и опустилъ голову.

Чѣмъ ближе слышалось шуршанье платьевъ, тѣмъ болѣе мутилось въ головѣ молодого человека. Онъ едва дышалъ.

— Что вы? раздался надъ нимъ мягкій голосъ.

Онъ поднялъ голову и увидѣлъ предъ собой Императрицу, которую, какъ и всякій петербургскій чиновникъ, видалъ часто, но всегда издали, и всегда въ другомъ одѣяніи, нежели теперь.

Но однако онъ тотчасъ же призналъ Царицу, несмотря на то, что на ней былъ простой сѣрый капотъ и простой бѣлый чепецъ, подвязанный бантомъ подъ подбородкомъ. Онъ хотѣлъ отвѣчать, но языкъ его не шевелился.

— Кто вы? выговорила Императрица.

— Несчастный, Ваше Императорское Величество! проговорилъ наконецъ Позднякъ.



— Что съ вами?

И Позднякъ, вспомнивъ слова невѣсты: „пуще всего не оробѣйте“, вдругъ почувствовалъ въ себѣ храбрость отчаянія. Вкратцѣ, въ нѣсколькихъ словахъ, передалъ онъ свое преступленіе.

— Совершенно разорвали? спросила Императрица.

Позднякъ сунулъ руку въ боковой карманъ и вынулъ два куска указа.

Государыня посмотрѣла и произнесла что-то по-французски, обращаясь къ своей спутницѣ. Затѣмъ она довольно долго думала.

— Да... Трудно, очень... произнесла она наконецъ.— Скажите, Дмитрій Прокофьевичъ не знаетъ конечно...

— Никакъ нѣтъ, Ваше Величество. Ничего не знаетъ.

— Скажите, кто писалъ этотъ указъ... сенатскій писарь?..

— Я самъ писалъ, Ваше Величество.

— Вы?.. О, тогда другое дѣло... Это на ваше счастье. Вы, стало быть, можете точно скопировать его?

— Могу, Ваше Величество... Точнехонько...

— Вѣрю. Но можете ли вы сдержать слово, можете ли не рассказывать всю жизнь никому какую-либо тайну? Если я помогу вамъ, общаетесь ли вы никогда ни слова не проронить... дать мнѣ слово, и держать его крѣпко?

— Клянусь Ваше Императорское Величество. По гробъ гробъ жизни умолчу. Помилосердуйте!

— Успокойтесь! Слушайте... Ступайте же домой, перепишите этотъ указъ точь въ точь такъ же, до единой буквы, а завтра будьте здѣсь съ новымъ указомъ. Но возьмите съ собой, — прибавила Екатерина, улыбаясь, — чернильницу и перо.

И Государыня двинулась далѣе.

Позднякъ остался на колѣняхъ и глядѣлъ ей вслѣдъ. И только когда Императрица уже скрылась въ чащѣ, онъ пришелъ въ себя, схватилъ себя за голову и не зналъ, проснулся ли онъ, во снѣ ли онъ все видѣлъ, или все это дѣйствительность.

Прошли сутки. Точно также въ семь часовъ утра, на томъ же мѣстѣ, около обелиска, прохаживался взадъ и впередъ тотъ же сенатскій секретарь, но онъ былъ почти въ томъ же счастливомъ состояніи, въ какомъ находился нѣсколько дней назадъ. Онъ считалъ себя уже спасеннымъ.

Наконецъ, съ той же стороны появилась снова также Государыня въ сопровожденіи дамы.

Позднякъ взялъ со скамейки бѣлый исписанный листъ, пузырекъ съ чернилами и, доставъ изъ кармана гусяное очищенное перо, снова опустился на колѣни. Но этотъ разъ онъ смотрѣлъ на приближающуюся Государыню со смутныъ восторгомъ на сердцѣ.

Императрица приблизилась, кивнула головой и улыбнулась.

— Здравствуйте! произнесла она, принимая изъ рукъ Поздняка чисто и красиво переписанный листъ.

Точъ въ точъ такой же указъ до малѣйшихъ мелочей скопировалъ чиновникъ.

Государыня взяла у него перо и обмакнула въ пузырекъ съ чернилами, который онъ держалъ.

— Встаньте! выговорила она.

Императрица отошла къ скамейкѣ, хотѣла нагнуться, потомъ собралась было опуститься на одно колѣно, чтобы положить бумагу на скамейку и подписать ее, но остановилась въ нерѣшительности.

Она подумала мгновенье, потомъ улыбнулась и вспомнила.

— Подите сюда. Нагнитесь...

Позднякъ подошелъ, склонился съ замираньемъ сердца и опустил голову.

Въ первый разъ съ тѣхъ поръ, что міръ стоитъ, принималъ позу осужденнаго на казнь—оправдываемый! Къ тому же самимъ Монархомъ!..

Императрица положила листъ на плечо чиновника и не спѣша подписала.

— Вотъ... тихо произнесла она.

Позднякъ выпрямился, принялъ бумагу, но тотчасъ опустился снова на колѣни.

— Ваше Величество... Былъ бы счастливъ умереть по вашему приказанію... дрогнувшимъ голосомъ вымолвилъ онъ.

— Нѣтъ, не надо... Вамъ вѣдь предстоитъ жениться... Но помните одно... Никогда никто не долженъ знать нашъ заговоръ противъ Дмитрія Прокофьевича. Я надѣюсь, что ваше слово крѣпко.

— Помру, никому не скажу, Ваше Величество.

— Ну, ступайте съ Богомъ и служите отечеству и Монарху такъ же, какъ до сихъ поръ служили... до бѣды съ указомъ...

Государыня, улыбаясь, кивнула головой и двинулась. Позднякъ остался на колѣняхъ, какъ былъ, и глядѣлъ вслѣдъ удаляющейся Царицѣ. Наконецъ чаща зелени скрыла ее изъ виду.

Позднякъ перекрестился, вскочилъ на ноги и, бережно завернувъ бумагу въ свертокъ, пустился бѣгомъ по парку.

## VII.

Къ одиннадцати часамъ того же дня сенатскій секретарь былъ уже около своего стола и сидѣлъ глубоко задумавшись; но затѣмъ онъ всталъ, встряхнулся, какъ дѣлаетъ мокрая птица, и повеселѣлъ.

„Не бѣда... подумалъ онъ.—Послѣ той бѣды, что миновала, всѣ эдакія бѣды, смѣхъ одинъ...“ Позднякъ вспомнилъ что за время своихъ тревоженій онъ ничего не далъ знать по мѣсту службы, не сказался больнымъ и ничего не объяснилъ. Просто пропадалъ безъ вѣсти. „Хорошъ!“

Явившись въ сенатъ, онъ прежде всего спросилъ у солдата, дежурившаго всегда у дверей Трошинскаго, спрашивалъ ли объ немъ начальникъ. Солдатъ объяснилъ, что вчера Дмитрій Прокофьевичъ приказывалъ позвать Поздняка, а затѣмъ тотчасъ же вернулъ и сказалъ: „не надо“. Стало быть ему и неизвѣстно ничего.

Около двѣнадцати часовъ солдатъ явился и выговорилъ съ полгорницы:

— Иванъ Петровичъ—васъ!

Позднякъ украдкой перекрестился, собралъ бумаги, положилъ поверхъ всѣхъ указъ и двинулся...

Когда онъ вошелъ въ горницу Трошинскаго, то сердце замерло въ немъ. Начальникъ глянулъ на него угрюмо изъ-за своего стола и проговорилъ строго:

— Помни впередъ... заруби себѣ на носу, что когда я даю особенное какое дѣло, то не жди чтобъ я самъ тебя вызывалъ. Я могу за дѣлами позабыть. Ровно въ двѣнадцать часовъ самъ о себѣ докладывай... Ну, что тамъ?..

— Указъ приказывали переписать въ двухъ видахъ и еще другія бумаги... прошепталъ Позднякъ, подавая указъ и копій.

Руки его задрожали... Трошинскій удивленно взглянулъ на него и сказалъ мягче:

— Бѣды особой нѣтъ. И вины особой нѣтъ! Вотъ впредь того не дѣлай и не получишь замѣчанія.

Троцинскій принялъ бумаги и сталъ проглядывать копіи съ указа.

— Хорошо... Красиво ты пишешь. Просто рисуешь. Ну, а указа не измараль?

— Никакъ нѣтъ-съ... едва слышно вымолвилъ Позднякъ.

Троцинскій осмотрѣлъ обѣ страницы Императорскаго указа и указалъ на край листа, гдѣ была маленькая чернильная крапинка съ булавочную головку.

— Гляди... Капнулъ...

Позднякъ молчалъ. Онъ самъ не замѣтилъ этой черной точки... А кто ее сдѣлалъ?—сама Государыня!

— Что дѣлать? Все это отъ твоего жениховскаго положенія... усмѣхнулся Троцинскій.—Ну, бери. Тутъ все пустыя бумаги. Можешь взять отпускъ на недѣлю ради свадьбы. Гуляй. Отгуляешься—явись на службу и служи по прежнему... Ну, ступай...

Позднякъ не помня себя вышелъ изъ кабинета начальства. Онъ не шель. Его будто какая-то невидимая сила подняла и понесла по Сенату...

Гроза совсѣмъ, совсѣмъ миновала! Позднякъ вернулся къ своему столу, и не имѣя возможности сдержать въ себѣ радость и счастье, сталъ болтать съ двумя секретарями.

Не прошло десяти минутъ, какъ въ горницу вбѣжалъ тотъ же солдатъ и, запыхавшись не столько отъ бѣжанья, сколько отъ перепуга, закричалъ Поздняку не своимъ голосомъ:

— Васъ! Васъ! Скорѣе...

Позднякъ перемѣнился въ лицѣ и задохнулся. Онъ двинулся за солдатомъ и самъ себя спросилъ раза три:

— Чего я струсилъ?

Войдя въ кабинетъ начальника, Позднякъ сразу лишился со страху способности мыслить и соображать.

Троцинскій ходилъ взадъ и впередъ по горницѣ быстрыми шагами...

А этого никогда не бывало съ нимъ.

Лицо его было искажено волненіемъ или гнѣвомъ.

Такого выраженія лица Позднякъ никогда не видалъ у него.

Молча начальникъ приблизился...

— Это невѣроятно! Это неслыханно! Этого на Руси спо-

конъ вѣку, со времянь Варяговъ не бывало... заговориль Трощинскій глухимъ голосомъ и нагибаясь къ секретарю, какъ бы ради того что повѣряеть ему страшную тайну.

— За это повѣситъ мало... Голову отрубить мало! Четвертовать...

Трощинскій задохнулся и затѣмъ уже громко выкрикнулъ:

— Отвѣчай!..

— Не... не могу знать-сь... прошепталъ Позднякъ...

— Отвѣчай! Говори... Признавайся! Я знаю... Я подъ присягу пойду... Я не ошибаюсь... Говори! Съ лица земли сотру!.. Будешь ты говорить?!

— Что прикажете... поперхнулся Позднякъ.

— Указъ подложный! Указъ не тотъ! Указъ другой! Ты не былъ два дня на службѣ. Гдѣ пропадалъ? Гдѣ указъ? Потерялъ! И самъ подпись Монархини... Самъ... Подложно... Ахъ ты!.. Ахъ!..

Трощинскій задохся отъ собственнаго крика и взялъ себя за голову...

— И это у меня! У меня! Мой домашній секретарь! Что скажетъ графъ, когда вернется изъ Молдавіи? Каково я людей себѣ выбираю... Зарѣзалъ!

Трощинскій кликнулъ солдата и велѣлъ послать къ себѣ экзекутора.

Позднякъ стоялъ у самой стѣны, готовый прислониться къ ней, такъ какъ ноги подъ нимъ подкашивались. Голова холодѣла и предъ нимъ двигались въ горницѣ цѣлыхъ трое Дмитріевъ Прокофьевичей...

— Царица простила, а онъ погубить!.. шепталъ будто кто-то ему на ухо.

И сквозь какой-то туманъ, сквозь какой-то шумъ, даже грохотъ, Позднякъ глядѣлъ на Трощинскаго и появившагося экзекутора и слышалъ:

— Помѣтку свою карандашомъ я потомъ стеръ хлѣбомъ, но остался значокъ. А теперь, глядите на свѣтъ — ничего нѣтъ. Это разъ! Здѣсь въ послѣдней строкѣ была козявка съ усами... Чертъ! Не козявка, а крючочекъ у буквы „ры“. Его нѣтъ. Это два! А чернила? У Государыни аглицкія чернила, черныя, густыя... У насъ простыя, сѣрыя, блѣдныя... Глядите! Вотъ еще два нынѣшніе указа... Глядите подписи Государыни. И глядите эту... Какія это чернила? Наши, сенатскія! Это три!.. Да-сь. Вотъ что у насъ произошло! Опо-

зорилъ негодяй весь Сенатъ. Я ему голову сниму... Прикажете написать докладъ... Какъ я съ нимъ къ Государынѣ пойду, и самъ не знаю... Дожилъ до сраму!.. Мой секретарь личный...

И затѣмъ чрезъ нѣсколько мгновений Позднякъ услыхалъ снова голосъ Трощинскаго:

— Прикажете его арестовать. Пока здѣсь при Адмиралтействѣ на гауптвахтѣ... А завтра и въ крѣпость.

Позднякъ кто-то взялъ за локоть, онъ двинулся и пошелъ...

Всюду, гдѣ онъ проходилъ, всѣ чиновники толпились кругомъ него и испуганно заглядывали ему въ лицо.

— Молодецъ Позднякъ!.. выкрикнулъ кто-то.— Съ учрежденія Сената такихъ мерзавцевъ не бывало у насъ! Насъ всѣхъ осрамилъ! Мошенники за подложныя подписи на векселяхъ въ Сибирь идутъ. Что же съ эдакимъ гусемъ сдѣлать, который подъ руку Царицы подписался?

— Неправда! Неправда!.. вскрикнулъ Позднякъ, и слезы досады и обиды выступили у него на глазахъ.

Слова Поздняка подѣйствовали на многихъ. Слишкомъ много чувства правды сказалось въ звукѣ его голоса.

Но въ ту же минуту вбѣжалъ какой-то молоденькій чиновникъ чуть не въ припрыжку и крикнулъ весело:

Нашель! Нашель! На квартирѣ разыскалъ! Разорванъ указъ-то... Настоящій-то! Разорванъ надвое!..

Позднякъ ахнулъ и пошатнулся какъ отъ удара. Между тѣмъ молоденькій чиновникъ радостно и весело объяснялъ собравшимся въ кучу чиновникамъ, что отправившись на квартиру Поздняка по приказанію Трощинскаго съ обыскомъ, онъ нашель подлинный Царскій указъ въ двухъ клочкахъ и доставилъ ихъ.

— Дмитрій Прокофьевичъ обѣщалъ меня наградить за услѣженный обыскъ... закончилъ онъ почти приплясывая отъ радости.

## VIII.

Въ сумерки на гауптвахту предъ Адмиралтействомъ былъ приведенъ сенатскій чиновникъ и посаженъ подъ арестъ. Позднякъ былъ нѣсколько спокойнѣе. Онъ немного пришелъ въ себя и обдумалъ свое положеніе. Онъ считалъ себя виноватымъ—предъ Царицей. Поэтому она быть-можетъ не захочетъ.

его спасти отъ строгаго начальника. Онъ никому не сказалъ объ ея милости къ нему, но онъ имѣлъ неразуміе сохранить изорванный указъ. А эти два клочка выдали его теперъ головою и обнаружатъ все дѣло, какъ оно было...

„Потрафилось все такъ, какъ еслибы я проболтался, рассказалъ все, всѣмъ... думаль Позднякъ.—Я выдалъ тайну! А Царица велѣла держать ее крѣпко.“

Что будетъ съ нимъ, Позднякъ никакъ не могъ себѣ представить. Ему казалось, что Государыня непременно разгнѣвается за то, что все дѣло огласилось, и не захочетъ вновь спасти его отъ суда и наказанія.

Въ вечеру около гауптвахты появилась молодая женщина и долго бродила по площади и около зданія. Наконецъ рѣшившись, она приблизилась и обратилась къ солдатамъ съ просьбой сказать объ ней караульному офицеру. Офицеръ вышелъ. Женщина плача стала просить его допустить ее видѣться съ арестованнымъ чиновникомъ.

Это была Настенька Парашина, знавшая уже о судьбѣ, постигшей жениха. Побывавъ на квартирѣ Поздняка и въ Сенатѣ, дѣвушка узнала страшную, невѣроятную вѣсть, что ея Иванъ Петровичъ совершилъ государственное преступленіе, подписавшись на подложномъ указѣ подъ руку самой Монархини.

Караульный офицеръ не имѣлъ никакого предписанія не допускать никого къ арестованному и поэтому, поколебавшись, согласился.

— Вы его невѣста? Вѣрно ли это?.. переспросилъ онъ молодую дѣвушку.

Настенька побожилась крестясь и плача..

— Ну что жъ... Идите.

Офицеръ провелъ дѣвушку въ маленькую горницу около караульной, гдѣ сидѣлъ арестованный. Позднякъ ахнулъ при видѣ невѣсты и готовъ былъ заплакать отъ радости.

— Что же все это значить, Иванъ Петровичъ? Что вы надѣлали?.. заговорила Настя, когда офицеръ вышелъ и они остались наединѣ.

— Ничего я, Настенька, не дѣлалъ. Такъ ужъ все случилось. Не догадливъ я...

— Зачѣмъ вы не поѣхали въ Царское? Какъ вы рѣшились на эдакое страшное дѣло! Царица бы простила васъ. А теперь что же?.. Теперь, говорятъ всѣ, вы въ Сибирь пойдете...

Позднякъ молчалъ, уныло понурившись...

— Какъ могли вы, Иванъ Петровичъ, такое страшное дѣло надумать?

— Какое?

— Подписать подь руку Царицы...

— Помилуй Богъ! Не стыдно ли тебѣ меня въ эдакомъ подозрѣвать. А говоришь еще, что любишь! воскликнулъ Позднякъ.— Не бывалъ я никогда мошенникомъ!

— Такъ объясните... Что все это?.. Были вы въ Царскомъ Селѣ?

— Былъ.

— Видѣли Царицу?

— Видѣлъ, Настенька... И все вышло слава Богу. Царица простила... А потомъ я...

Позднякъ махнулъ рукой.

— Написалъ подложный указъ... Зачѣмъ?

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ... Но что и какъ вышло, какая вышла бѣда—этого я не скажу никому. И тебѣ не скажу...

— Виноваты же вы въ чемъ-нибудь, коли арестованы?

— Ни въ чемъ, Настенька. Я виноватъ, что не изорвалъ въ клочки или не сжегъ первый указъ. Собирался десять разъ—духу не хватило! Нечаянно, иное дѣло! А какъ пришлось рвать въ клочки—руки не дѣйствовали, отказывались. Какъ погляжу на подпись, такъ руки и опустятся! Да признаюсь, на память хотѣлъ сохранить...

— За что же вы арестованы? приставала Настя.

— За напраслину, клевету. Обвиненъ, что якобы подписался на указъ.

— Такъ кто же подписался, если не вы?

— Не скажу, Настенька, не могу.

— И мнѣ не скажете?

— Никому. Слово далъ. Зарокъ. Клятву. Пускай будетъ, что Богу и Царицѣ угодно. Знай только, дорогая моя Настенька, что твой Иванъ Позднякъ—честный человекъ.

— Вѣрю и я въ это... Но ничего, ничего не понимаю. У васъ въ Сенатѣ солдаты мнѣ говорили и два чиновника тоже объясняли, что вы подлогъ сдѣлали... А вы говорите—нѣтъ... Я вамъ вѣрю... Но что теперь будетъ. Васъ судить будутъ и засудятъ.

— Не знаю.

— Въ Сибирь сошлютъ?



— Не знаю... Не вѣрится. Но изъ службы исключать. И я буду нищій... И тебѣ не женихъ. Дядя такъ же отъ меня откажется.

Несмотря на новыя усиленныя моленья Настя рассказать ей всю правду, молодой человѣкъ не прибавилъ ни слова разъясненія.

Офицеръ вскорѣ снова явился и попросилъ дѣвушку уходить. Онъ все-таки боялся итти въ отвѣтъ за то, что допустилъ ее видѣться съ арестованнымъ. Настя простилась, горько плача, и вышла.

Между тѣмъ въ тотъ же вечеръ придворная дама, сопровождавшая Государыню на прогулкѣ, уже знала все происшедшее съ сенатскимъ секретаремъ и тотчасъ же приняла свои мѣры. За два дня предъ тѣмъ она, по приказанію Государыни, разузнала все про Поздняка, узнала, что онъ женится, и все передала. Теперь она поспѣшила тоже довести немедленно до свѣдѣнія Государыни про общее смущеніе въ Сенатѣ и арестъ секретаря.

На другой день въ Царскосельскомъ дворцѣ въ числѣ другихъ сановниковъ дожидался очереди съ докладомъ и Дмитрій Прокофьевичъ Трошинскій.

Онъ былъ угрюмъ, разстроенъ, почти ни съ кѣмъ не разговаривалъ, и только на вопросъ одного изъ присутствовавшихъ, полицеймейстера Рылѣва, отвѣтилъ озлобленно:

— Да... Стряслась бѣда... Срамная... Вамъ по вашей должности извѣстно вѣроятно все...

— Извѣстно, Дмитрій Прокофьевичъ... Такого, признаюсь, никогда кажется на Руси не бывало. Какая дерзость! Весь Питеръ толкуетъ о преступленіи. Но изволите видѣть... Цѣль непонятна. Преступленіе совершается съ цѣлью. Какая тутъ цѣль была?

— Изорвалъ указъ нечаянно и замѣнилъ своимъ. И сошло бы, еслибы не мое сугубое вниманіе... объяснилъ Трошинскій.

Черезъ полчаса докладчикъ по невѣроятному преступленію стоялъ предъ Императрицей, сидѣвшею за столомъ, и волнуясь, злобясь и стыдясь вмѣстѣ, объяснилъ ей, какъ приключилось „срамное дѣяніе“ въ Сенатѣ.

Государыня молча выслушала весь докладъ, потомъ взяла „подложный“ указъ, внимательно осмотрѣла его, потомъ взяла два куска другого указа и тоже стала разглядывать...

— Изволите видѣть... указывалъ Трощинскій.—Вотъ чернила Вашего Величества. А на этомъ указѣ и чернила наши сенатскія, сѣроватыя. Я буду умолять Ваше Императорское Величество... добавилъ Трощинскій,—о примѣрномъ и безпопадномъ наказаніи преступника. Еслибы это было въ моей власти, я бы его казнилъ за кощунство...

— Кощунствомъ именуются совсѣмъ инныя преступныя дѣйствія, Дмитрій Прокофьевичъ... холодно заговорила Государыня.—Не надо преувеличивать! Императорская подпись святого ничего не заключаетъ въ себѣ... Русский Монархъ и безъ того такъ твердо и такъ высоко стоитъ, что не нуждается въ маленькихъ подпоркахъ... А льстивое преувеличеніе Монаршихъ прерогативъ и Царскаго значенія, на мой женскій разумъ, кажетъ именно въ родѣ подпорки, шеста, поставленнаго у гранитной скалы, будто ради ея пущей твердости. Даже забавно... Вотъ что я вамъ скажу, мой любезный... Этотъ якобы поддѣльный указъ—настоящій, что бы вы про чернила ни говорили. Это моя подпись...

— Ваше Величество, но этотъ разорванный доказываетъ... началъ было Трощинскій.

— Доказываетъ, что секретарь вашъ шалилъ сидя дома. Это нехорошо дѣлать съ Царскими указами, но это не преступленіе. Онъ написалъ два указа, одинъ вы подали мнѣ для подписи, а другой оставался у него... Вѣроятно онъ счелъ его не красиво написаннымъ. А затѣмъ ради шалости онъ самъ его моимъ именемъ подписалъ. И даже очень искусно... А потомъ конечно разорвалъ. Просто шалость. И за это надо ему сдѣлать выговоръ...

— Но помилосердуйте, Государыня... По черниламъ подписи и по всей бумагѣ я знаю, что этого указа я не подавалъ вамъ къ подписанію. Вотъ настоящій... А этотъ подложный... И эта подпись...

— Это моя подпись, Дмитрій Прокофьевичъ.

— Ваше Величество, вы, по несказанной добротѣ, желаете спасти негодяя, не стоящаго вашихъ милостей. Вы признаете изъ жалости подложную подпись своею...

— Нѣтъ, это я писала. Я не могу отказаться отъ своей подписи. Это было бы нечестно.

— Господи помилуй!.. выговорилъ Трощинскій, потерявшись, и прибавилъ, разводя руками:—какъ же повелите поступить?

— Очень просто...

Екатерина разорвала два клочка указа на мелкіе куски и бросила ихъ въ корзину у стола.

— До шалости чиновника у себя на квартирѣ намъ нѣтъ дѣла... выговорила Государыня, улыбаясь.— Не надо было его обыскивать. Если мы пороемся у иного въ бумагахъ, то можетъ-быть найдемъ листы подписанные именами Александра Македонскаго, короля Магнуса и всѣхъ королей Лудовиковъ французскихъ...

— Простите, Ваше Величество! воскликнулъ Трощинскій, — но я прошу васъ еще разъ поглядѣть внимательнѣе, ваша ли это подпись... Такихъ чернилъ у васъ, Государыня...

— Дмитрій Прокофьевичъ, дѣло не въ чернилахъ! Холодно вымолвила Екатерина.— Считать эту подпись подложною, не узнавать ея— есть... пожалуй даже... государственное преступленіе.

Трощинскій нѣсколько оробѣлъ отъ голоса Государыни, поспѣшилъ молча склониться и, получивъ бумаги, вышелъ.

## IX.

Однако сановникъ изъ мелкихъ чиновниковъ, педантъ и упрямецъ— не сдался.

Трощинскій былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что Государыня или по добротѣ, ради спасенія чиновника, или ради иныхъ высшихъ соображеній признала явно подложную подпись за свою, не желая допущенія мысли о возможности такого дерзкаго преступленія. Но тогда за что же онъ, Трощинскій, пострадалъ, прослывъ за опрометчиваго государственнаго мужа, не признавшаго монаршей подписи и поднавшаго шумъ „изъ-за сновидѣній“.

— Весь срамъ на меня палъ!.. озлобяясь говорилъ Трощинскій.— Негодяй остался безнаказаннымъ, а я осмѣяннымъ!

Черезъ два дня, явившись снова съ дѣлами въ Царское Село, Трощинскій, окончивъ докладъ Государынѣ, выговорилъ взволнованно:

— Ваше Императорское Величество, дозвоьте мнѣ за мою вѣрную службу просить васъ о милости несказанной.

— Что такое, Дмитрій Прокофьевичъ? ласково отозвалась Екатерина.

— Просьба, Ваше Величество.

— О чемъ?.. Я готова всякое возможное для васъ сдѣлать...

— Но это такая просьба, съ какими еще никто не дерзаль обращаться къ Вашему Величеству.

— Вы меня удивляете... Зачѣмъ же... Почему же вы съ такою просьбой надумались ко мнѣ обращаться?..

— Необходимость, нужда... безъисходность положенія... Исполнить таковую мою просьбу, Ваше Величество, можете однако совершенно спокойно... Дѣло самое простое... для васъ ничего не стоящее.

— Тогда я ее исполню съ удовольствіемъ, не понимаю вашего предисловія... улыбнулась Государыня.—Говорите!

— У меня есть заранѣе приготовленный указъ. Дайте мнѣ ваше Царское слово поднискать его, каковъ бы онъ ни былъ. Дѣло самое пустое...

Троцинскій досталь изъ портфеля написанный листъ и держа его въ рукахъ прибавилъ съ чувствомъ:

— Довѣрься мнѣ, Царица матушка, и подпиши его не читая...

Императрица послѣ мгновеннаго колебанія протянула руку и вымолвила:

— Извольте... Подпишу! Но прочту все-таки...

Троцинскій положилъ на столъ бумагу. Екатерина просмотрѣла ее... Лицо ея тотчасъ стало сурово, но она рѣзкимъ движеніемъ взяла перо и подписала.

Указъ повелѣвалъ заключеніе въ крѣпости сенатскаго чиновника Поздняка за преступленіе по службѣ, но безъ объясненія, въ чемъ именно оно состоитъ.

Троцинскій просіялъ и сталъ горячо благодарить. Государыня ни слова не вымолвила и отпустила его, кивнувъ головой.

Вслѣдъ за Троцинскимъ тотчасъ вошелъ личный секретарь Государыни Храповицкій.

— Задержи-ка мнѣ, Александръ Васильевичъ, Троцинскаго въ пріемной разговорами... быстро вымолвила она.

Храповицкій поспѣшилъ исполнить порученіе, а чрезъ четверть часа Екатерина поднялась и явилась въ сосѣдней горницѣ, гдѣ было много чиновниковъ, дожидавшихъ пріема. Императрица отвѣтила на поклоны и прямо направилась къ Троцинскому, которому что-то рассказывалъ, конечно умышленно, Храповицкій.

— Дмитрій Прокофьевичъ, я къ вамъ съ просьбой... Сейчасъ мнѣ на умъ пришло...

— Что повелѣтъ изволите, Ваше Императорское Величество? отвѣтилъ этотъ склоняясь.

— Просьба всенижайшая, сердечная. Общайте мнѣ, дайте слово исполнить въ чемъ бы дѣло ни заключалось...

— На смерть пойду, Государыня, если указать изволите, восторженно произнесъ Троцинскій, польщенный такою милостивою бесѣдой при постороннихъ лицахъ.

— Нѣтъ, дѣло простое, ничего для васъ не стоящее. Докажите-ка тотъ указъ, который сейчасъ подписала я, по вашему желанію.

Троцинскій быстро досталъ бумагу изъ портфеля, который лежалъ на окнѣ, и подаль ея.

— Ну, вотъ... Этотъ самый... Даете слово исполнить мою просьбу безъ гнѣва и безъ ропота?..

— Все что изволите... заговорилъ Троцинскій другимъ голосомъ, предчувствуя въ чемъ дѣло...

— Разорвите этотъ указъ.

Троцинскій склонился молча и, немного мѣняясь въ лицѣ, разорвалъ листъ пополамъ.

— Благодарю васъ! выговорила Екатерина.—Это доброе дѣло сдѣлано вами. Вѣдь вся ошибка была въ чернилахъ. Чернила очернили чистаго человѣка въ вашихъ глазахъ.

Троцинскій вернулся въ Петербургъ внѣ себя и, несмотря на позднее время, проѣхалъ въ Сенатъ, гдѣ всѣ его подчиненные по обыкновенію были еще налицо, не смѣя разойтись до возвращенія его изъ Царскаго Села.

— Доставить сюда сейчасъ Поздняка! приказалъ онъ экзекутору.

Черезъ полчаса сенатскій секретарь, взволнованный, предсталъ на глаза его.

— Я докладывалъ Ея Величеству о вашемъ неслыханномъ преступленіи! строго сказалъ Троцинскій.—Государыня желаетъ знать, какъ все это произошло. Поэтому сознавайся и расскажи мнѣ, когда, зачѣмъ и почему рѣшился ты на подлогъ.

Позднякъ пристально присмотрѣлся къ лицу сановника и вздохнувъ вымолвилъ:

— Я ничего, ваше превосходительство, сказать не могу. Ни единого слова не могу прибавить.

— Сознайся, и наказаніе тебѣ будетъ легче... Ну, простое исключеніе изъ службы. Не сознаешься, на поселеніе въ Сибирь пойдешь, а въ крѣпости сгниешь. Даже хуже, много хуже будетъ.

— Какъ Богу и Царицѣ угодно.

— Такъ ты ничего не скажешь?! крикнулъ Трощинскій.

— Не могу. Помилосердуйте...

Наступило молчаніе.

— Ладно. Ладно... заговорилъ Трощинскій безъ конца.— Ладно, негодяй... Ладно... Такъ примѣнимъ къ тебѣ высшую мѣру.

И, кликнувъ солдатъ, сановникъ приказалъ:

— Отвести его въ крѣпость и сдать отъ моего имени дежурному по караулу. Скажи, что долго у нихъ не насидить. Его указано завтра судить по военному и разстрѣлять... Ну, ступай...

Поблѣднѣвшій какъ смерть, Позднякъ двинулся чрезъ силу; но когда онъ былъ въ дверяхъ, Трощинскій остановилъ его.

— Слушай. Ну, ради моихъ милостей къ тебѣ... Вѣдь я же тебя изъ ничтожества взялъ и... Ну, изъ благодарности ко мнѣ. Признайся, какъ дѣло было... Расскажи все, и пойдешь вотъ, сядешь сейчасъ за свой столъ... Все забудемъ. Какъ еслибъ все это намъ обоимъ однимъ злымъ сновидѣніемъ было... Ну, голубчикъ Иванъ Петровичъ, сознайся.

— Ваше превосходительство! воскликнулъ тронутый до глубины сердца Позднякъ. — Не могу я... Бываютъ такія дѣла на свѣтѣ... что умъ за разумъ заходитъ. Всей бы душой желалъ сознаться вамъ во всемъ, за всѣ ваши благодѣянія... И не могу. Хоть голову рубите—ни слова не скажу...

Трощинскій измѣнился въ лицѣ отъ гнѣва, молча махнулъ рукой и отвернулся. Позднякъ вышелъ и двинулся за солдатомъ, схвативъ себя за голову руками.

Черезъ нѣсколько минутъ экзекуторъ, тотчасъ же вызванный начальникомъ, приказалъ Поздняку идти домой.

— Какъ?! выговорилъ этотъ, не вѣря ушамъ.

— Идите домой! Дмитрій Прокофьевичъ приказалъ. Завтра узнаете резолюцію о себѣ.

— Ничего не понимаю... произнесъ Позднякъ, дрожа отъ радости. — Онъ приказалъ сейчасъ въ крѣпость... Я ничего не понимаю.

— Ну, сударь мой... озлобленно крикнулъ экзекуторъ.—

Вы-то еще въ этомъ дѣлѣ можете кой-что понимать! А вотъ Дмитрій Прокофьевичъ и мы всѣ—такъ дѣйствительно никакого дьявола понять не можемъ!

Позднякъ, не помня себя отъ радости, побѣждалъ на свою квартиру... Послѣ крѣпости, Сибири, каторги, военнаго суда и разстрѣлянія, которые промелькали въ его головѣ, ударяя по сердцу, онъ былъ почти счастливъ при мысли, что цѣль и невредимъ и на свободѣ. Онъ догадывался неволью, что Трощинскій его просто пугаль... Докладъ Царицѣ имѣлъ очевидно инныя послѣдствія. Однако, вернувшись къ себѣ, Позднякъ, несмотря на страстное желаніе повидаться съ Парашинными, не рѣшился отлучиться изъ дому и просидѣлъ сутки безвыходно въ ожиданіи своей участи.

На утро онъ получилъ бумагу изъ Сената — формальную отставку.

— Нищій! Лишенъ всего... вымолвилъ Позднякъ.—Лишенъ даже дѣвушки, которую люблю...

Но едва только молодой человѣкъ выговорилъ эти слова, какъ въ дверяхъ его квартиры показалась Настенька, счастливая, сіяющая радостью и румянцемъ на щекахъ.

Она бросилась на шею жениха.

— Ничего не будетъ! Все слава Богу! воскликнула она.

— Я отставленъ... Настенька. А нищій тебѣ не пара. А мнѣ жизнь безъ тебя—та же Сибирь.

— Ничего не будетъ... Иванъ Петровичъ. Слушайте. Слушайте!.. „Моя милая, успокойтесь, не плачьте. Вашъ женихъ получить другую должность и женится на васъ“. Кто это мнѣ сказалъ, Иванъ Петровичъ? Кто это такъ сказалъ?.. восторженно воскликнула дѣвушка, представивъ кого-то другого предъ изумленнымъ Позднякомъ.

— Дмитрій Прокофьевичъ?.. спросилъ онъ.

— Царица! вскрикнула Настя.

— Царица?

— Да. Да... Я была въ Царскомъ...

И Настя рассказала жениху, какъ она рѣшилась на тотъ же поступокъ, что и онъ. Она была въ Царскосельскомъ паркѣ, на той же дорожкѣ и у той же скамеечки, что и первый разъ. Она рассказала все Царицѣ про арестъ его изъ-за напраслины. И Царица сказала ей, чтобы она успокоилась, что никакой бѣды не будетъ. И Настя повторила снова тѣ же слова Государыни.

Позднякъ перекрестился нѣсколько разъ и горячо расцѣловалъ дѣвушку.

Затѣмъ онъ сталъ снова переспрашивать ее о малѣйшихъ подробностяхъ ея свиданія съ Государыней.

— Очень удивилась она... объяснила между прочимъ Настя, — когда я ей сказала, что не вы подписались подъ ея руку. Что виновенъ другой человѣкъ. И его надо судить. А не васъ!

— Какъ? Что ты?..

— Да. Очень удивилась. Спросила меня, знаю ли я все дѣло... какъ что было... отъ васъ. Я отвѣтила, что вы ничего мнѣ не захотѣли сказать. Тогда Царица еще больше удивилась и сказала такъ: „Даже вамъ ничего не сказалъ?“ Я говорю: ни слова не хотѣлъ сказать, но я-то знаю, говорю, и вѣрно знаю, что не Иванъ Петровичъ, а другой какой негодный человѣкъ подлогъ этотъ сдѣлалъ...

— Ахъ, Настенька, Настенька!.. весело воскликнулъ Позднякъ.—Что же Государыня на это сказала?

— Разсмѣялась и сказала: „Молодецъ, держитъ свое слово!“ А потомъ сказала мнѣ, что все обойдется слава Богу, что вы должность другую получите и мы обвѣнчаемся...

Позднякъ снова расцѣловалъ невѣсту, а затѣмъ вдругъ выговаривалъ:

— Настенька! пойдемъ Богу молиться. Вмѣстѣ.

— Идемте. Сначала за Царицу помолимся, а потомъ за себя! радостно согласилась дѣвушка.

## X.

Прошла недѣля, другая, третья... Прошелъ мѣсяць.

Исключенный изъ службы сенатскій секретарь ничего не дождался. Все, что сказала ему его невѣста, на что они надѣялись, все оказалось мечтой.

Позднякъ, не имѣя жалованья, нанялъ себѣ уголь на Выборгской и не имѣлъ даже на что купить хлѣба. Онъ съ трудомъ доставалъ для переписки бумаги, ибо такой работы было въ столицѣ мало. На службу его никто не бралъ. Многія лица, узнавъ отъ него, какая его постигла судьба, не хотѣли давать никакой должности и какъ бы сторонились отъ него.



Уныніе напало на молодого человѣка, а затѣмъ и отчаяніе... Послѣднею каплей, переполнившюю горькую чашу испытаній, было свиданіе его съ родственникомъ богачомъ. Когда Позднякъ обратился къ нему за помощію и рассказалъ свою бѣду, не объясняя все-таки, какъ было все дѣло, родственникъ выгналъ его вонъ и не велѣлъ болѣе переступать порогъ своего дома.

И въ тотъ же день, будто злая судьба захотѣла этого, Анна Павловна Парапина запретила дочери видаться съ „господиномъ“ Позднякомъ, говоря, что нашла ей другую хорошую и выгодную партію...

Спустя мѣсяцъ послѣ исключенія секретаря изъ службы, къ нему явился на его новую квартиру-уголь неизвѣстный человѣкъ, хорошо одѣтый, по виду важный, и заявилъ, что является по дѣлу. Въ короткихъ словахъ объяснилъ онъ Поздняку, что предлагаетъ ему выгодное частное мѣсто, гдѣ онъ будетъ получать пятьсотъ рублей жалованья, а впоследствии и болѣе...

Позднякъ обрадовался и тотчасъ согласился. Но незнакомецъ поставилъ условіемъ полученія этого мѣста, чтобы онъ рассказалъ подробно и искренно, что за темная исторія была у него въ Сенатѣ. Былъ ли имъ поддѣланъ указъ съ подписью Императрицы. Человѣку способному на подлогъ онъ мѣста дать не можетъ. Позднякъ отказался на - отрѣзъ объяснить что-либо по этому дѣлу. Незнакомецъ предложилъ снова выгодное мѣсто и единовременное пособіе въ триста рублей еще до полученія этого мѣста.

Позднякъ не догадался по наивности и чистосердечности, что неизвѣстный человѣкъ просто подосланъ купить его тайну. Быть-можетъ даже самимъ Трощинскимъ.

Его только удивила настойчивость и щедрость знакомаца.

— Какъ было все дѣло объ указѣ, я никому никогда не скажу! отвѣтилъ Позднякъ.

— Подумайте, вы умираете съ голоду... А тутъ средства большія...

— Ну, и помру... и съ голоду, и съ горя, а все - таки ничего рассказывать не стану.

На этомъ бесѣда ихъ и кончилась.

Черезъ три дня послѣ посѣщенія неизвѣстнаго господина, Позднякъ получилъ повѣстку, приглашавшую его явиться къ оберъ-полицеймейстеру Рылѣву. Молодой человѣкъ смутился.

— Неужели не конецъ всѣмъ бѣдамъ и мытарствамъ?! воскликнулъ онъ.

На утро унылый и смущенный отправился онъ по вызову и былъ тотчасъ же позванъ въ кабинетъ оберъ-полицеймейстера

— Вы г. Позднякъ? спросилъ его Рылѣевъ.

— Точно такъ-съ.

— Какую желаете вы получить должность, по какому вѣдомству?

— Всякому мѣсту буду радъ. Я погибаю... отозвался Позднякъ. — Я исключенный изъ службы и нищій... Меня никто не возьметъ на службу, если сильный человѣкъ не вымолвитъ за меня словечко.

— Вы ошибаетесь, г. Позднякъ. Во первыхъ, я приму васъ на службу съ удовольствіемъ, если вы того пожелаете... Во вторыхъ, вы Владимірскій кавалеръ! Въ третьихъ, вы не нищій, потому что у васъ сто душъ, пожалованныхъ вамъ Государыней... Вотъ указъ... А вотъ крестъ...

Позднякъ стоялъ ошеломленный...

— Къ этому я имѣю добавить вамъ, что Государыня Императрица жалуетъ все это вамъ за то, что вы умѣете, несмотря ни на какія терзанія, держать ваше слово крѣпко и не выдавать чужихъ тайнъ. Какое это слово и какая это тайна — я не знаю, но Государынѣ, очевидно, все это извѣстно... Извольте получить...

И Рылѣевъ взялъ со стола и передалъ Поздняку футляръ съ крестомъ Св. Владиміра 4-й степени, затѣмъ указъ о пожалованіи ста душъ изъ государственныхъ крестьянъ въ Бѣлоруссіи.

— А завтра, продолжалъ Рылѣевъ, — прошу быть здѣсь въ качествѣ помощника правителя моей канцеляріи. Мнѣ такіе люди, какъ вы, нужны. Да и всякому начальнику нужны. Я же принимаю васъ къ себѣ на службу по приказанію, не смѣю выражаться — по совѣту Государыни Императрицы.

— Что мнѣ дѣлать, научите?! воскликнулъ наконецъ Позднякъ, выйдя изъ своего столбняка. — Какъ мнѣ заслужить всѣ эти милости Царицы?

— То, что сдѣлаетъ иногда своему подданному нашъ Монархъ Екатерина Великая, выговорилъ съ чувствомъ Рылѣевъ, — иному бываетъ не въ силахъ заслужить за всю свою жизнь...

Через три года видный столичный чиновникъ, богатый, уже давно женатый на любимой дѣвушкѣ и семейный, Иванъ Петровичъ Позднякъ, встрѣтилъ на улицѣ тихо проѣзжающую мимо Императрицу, и очутившись въ трехъ шагахъ отъ сани, опустился на колѣни въ снѣгъ...

— Просите о чемъ? спросила Государыня, остановивъ экипажъ.

— Нѣтъ, Ваше Величество, я благодарю за все, что имѣю незаслуженно...

— Кто вы?

Позднякъ назвалъ и напомнилъ Государынѣ дѣло объ указѣ. Екатерина узнала бывшего сенатскаго секретаря и улыбнулась ласково.

— Служите вѣрой и правдой отечеству и Монарху, вымолвила она, — выходите въ люди. И если когда станете государственнымъ дѣятелемъ, то... держите данное слово такъ же крѣпко. И притомъ еще...

Государыня усмѣхнулась весело и прибавила:

— ...Узнавайте Монаршія подписи не по черниламъ, а по почерку.

— Нѣтъ, Ваше Величество, будутъ узнавать ихъ не одни глаза мои! воскликнулъ Позднякъ. — Благодарное сердце будетъ узнавать ихъ!



.....



PG3470

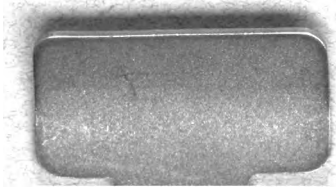
.S2

1894

t.17



A000002164946





A000002164946